

Н О В Ы Й  
М И Р

6

Н О В Ы Й  
М И Р

6

1955

1955

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 6

Июнь, 1955 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — У наших знакомых, поэма	3
БОРИС ГОРБАТОВ — Алексей Гайдаш, повесть	31
ИЗ СТИХОВ БАШКИРСКИХ ПОЭТОВ. Переводы К. Симонова, М. Дудина, Ирины Снеговой, Льва Пеньковского	85
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Сирота, повесть. Продолжение	89
ФРИДРИХ ШИЛЛЕР — Два стихотворения. Перевод с немецкого Льва Гинзбурга	112
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Беспокойная юность, повесть. Окончание	115
И. А. БУНИН — Рассказы и очерки	157
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Инженер А. МАРКИН — Сибирь зовёт	173
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
С. ОБРАЗЦОВ — Две поездки в Лондон	186
ЮРИЙ ЖУКОВ — Париж, март 1955. Странички из дневника журналиста	240
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
И. КОЗЛОВ — О сжатости в прозе	263
К. ГОРБУНОВ — Черты жизни	279
<b>ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ</b>	
М. Исаковский. По поводу одного стихотворения. — Вера Инбер. По поводу стихотворений Юрия Савельева	287
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Кардин. Активность очерка. — Юрий Нагибин. Поэзия достоверности. — Н. Муравина. Несовершенства содержательного романа. — А. Сахалтуев. Живые страницы истории. — А. Шумский. Горький — пролетарский интернационалист. — Анна Илупина. Самодетельности — настоящую помощь! — Я. Фрид. Письма Флобера Тургеневу. — А. Диригера. Не к лицу.	292

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	307
Кандидат исторических наук <b>М. Юрьев</b> . Молодой Китай. — <b>Ю. Милёнушкин</b> . Ценное издание. — Кандидат исторических наук <b>В. Лейкина-Свирская</b> . Забытый историк и публицист. — Кандидат исторических наук <b>А. Николаева</b> . Посланцы Русского государства.	
<b>РЕПЛИКИ</b>	315
<b>Александр Морозов</b> . О памятниках искусства. — <b>Я. Эльсберг</b> . Опровергнутый предрассудок. — <b>Александр Дейч</b> . Комментарии не излишни!.. — <b>Александр Жаров</b> . Фильмы-песни.	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	319

---

---

---

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

★

## У НАШИХ ЗНАКОМЫХ

*Поэма*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Степан Петрович Холодков  
Пьёт пятый час подряд —  
Степан Петрович Холодков  
С работы в тресте снят.

Снят — словно высажен в кювет,  
И тот, что был твоим,  
Ушёл, оставив мокрый след,  
Увёз другого «ЗИМ».  
И не маши ему рукой  
И голос не труди —  
По праву в нём сидит другой,  
А ты пешком ходи.

В глазах ещё дела стоят,  
Тиснёных папок ряд,  
В ушах ещё, как бы сквозь сон,  
Трезвонит телефон,

Но нет чудес для нас. и нет  
Возврата жизни в старый след —  
Характер не таков!..  
С тоской глядит на белый свет  
Товарищ Холодков,  
И, морщась, в одиночку пьёт,  
И курит без конца,  
И дым синеет и плывёт  
У самого лица.

На лбу, где нерв тревогу бьёт,  
Морщины всё ясней —  
Сорок восьмой от роду год  
Перепахал участок тот,  
А там — что хочешь сей.

А в волосах белеет снег,  
Лежит, не тает он,  
Из непогод январских всех  
С годами нанесён;

Сутуло согнута спина,  
 Как будто под удар она  
 Подставлена кому...  
 Пьёт Холодков, но от вина  
 Не весело ему!..

## 2

Да ведь неведомо оно  
 Лишь детям да глупцам —  
 Тогда и веселит вино,  
 Когда ты весел сам,  
 Когда не просто ешь и пьёшь,  
 А добрый разговор ведёшь,  
 Блеснёшь ума игрой,  
 А запоют — и ты споёшь,  
 А пляшут — и плясать пойдёшь,  
 Притопнешь раз-другой.

Пить в праздники, на свадьбах пить,  
 На тяге рюмку зарядить,  
 С морозца зимним днём,  
 С простуды выпить — так и быть.  
 Но как в вине тоску топить?  
 Она ж не тонет в нём!

## 3

Всё так. Но гражданин иной  
 Пьёт, ссорясь с тещей и женой,  
 При неприятности в делах,  
 Взысканьем с толку сбит...  
 Пьёт, словно бы наводит лак  
 На свой потёртый быт,

Забвенья ищет хоть на миг  
 От бед и горестей своих,  
 Ныряет в хмель, как в сон.  
 А то забвеньё — только миф,  
 И нами ж создан он.

Вот так и Холодков — как сел,  
 Так и дошёл, так и доспел  
 До тех, что рюмками звонят,  
 Придумав свой резон.  
 А он уволен, отстранён,  
 А он с работы снят!

И мысль тревогу будит в нём,  
 Приводит свой пример:  
 Тот снят — зато он агроном,  
 Тот снят — он инженер.

Такого и уволь — так что ж,  
 Невелика беда,  
 Что знает он — не отберёшь,  
 Не денешь никуда.

Такой, когда он любит труд,  
Везде незаменим:  
Как добрый батька, институт  
Везде идёт за ним,

Идёт, как лучший из отцов,  
Через десятки лет,  
В любых трудах помочь готов  
Или подать совет.

А он обсевок, сирота:  
Жизнь, словно ложку мимо рта,  
Всё пронесла за годом год —  
Волнение курсовых работ,  
Зачётов кутерьму —  
И знаний ясный горизонт  
Открыла не ему.

А он и то перезабыл,  
Что раньше приобрёл.  
Всю жизнь он лишь руководил,  
Лишь возглавлял и вёл...

## 4

В Борках, в родном селе своём  
Он первым был секретарём  
Ячейки комсомольской. В ней  
По той поре глухой  
Был он, казалось всем, умней,  
Чем кто-нибудь другой.

Читал тогда он много книг,  
Хоть приходилось из-за них  
Пять вёрст молоть пешком.  
Могучий лермонтовский стих  
То пел, то плакал в нём,  
И Медный всадник за окном  
Всю ночь, всю напролёт  
Скакал в метель, и под конём  
Сверкал, дробился лёд;

Наедине с самим собой  
То слышал он полтавский бой,  
То бородинский гром,  
То буревестник над избой  
О тучи бил крылом,

Бил, звал на гордые дела,  
Манил под облака.  
И зря гулянка вдоль села  
Шумела, как река,

Вгоняла в землю каблуки,  
Стучала наперегонки,  
Как в пору молотьбы,  
Заламывала козырьки  
На русые чубы

И на семнадцать вёрст окрест,  
До городской черты,  
Водила под руку невест,  
Рвала для них цветы,

Пока заря, спросонья зла,  
Росой поля не залила  
Под песню соловья...  
Да, есть у русского села  
Романтика своя.

И если волновала грудь  
Она тебе когда-нибудь,  
То, сколько ни живи потом  
По всем иным местам,  
А сердцу настоящий дом  
Всё там, всё только там.

Всё тех же облаков полёт  
Ты видишь, свет всё тот же льёт  
Луна среди ветвей,  
Всё тот же над тобой поёт  
Повсюду соловей!..

Но Холодков не шёл на круг  
В полях, по росам вброд,  
Не провожал своих подруг  
От рощи до ворот,

Не млея, не пеля, любви не зная,  
А к мысли мысль копил,  
Глотал страницы, главы гнал,  
Читал, что воду пил.

Но в знаниях, что он собрал  
При свете каганца,  
Никто бы в жизнь не отыскал  
Начала и конца,

Хоть голову зажми в тиски,  
Не смог бы в краткий срок  
Те разноцветные куски  
Стачать в один кусок.

Всё ж, непечатых полон сил,  
О подвигах, что не свершил,  
Грустя исподтишка,  
Он впрямь в себе тогда носил  
Задатки вожака:

Умел держать разумно речь,  
Был в разговоре смел,  
На добрые дела увлечь  
И подтолкнуть умел...

## 5

Так в первый час горит костёр  
Под свежим ветерком,  
И пламя рвётся на простор  
Широким языком,

И далеко бросает свет,  
И даже ночь ему в ответ  
Становится жилой.  
А там огонь пошёл на нет,  
Всё гуще пепла слой,  
Всё неизбывней слой золы,  
Всё ниже мрак над ним,  
Всё тоньше синие узлы  
Плетёт и вяжет дым.

Не жмись и не тянись к нему,  
Что толку от того?  
Он светит только одному  
И греет одного.

Да и ему и одному  
Корысть невелика  
В шепотке света и в дыму,  
Чья жизнь, как нить, тонка.

А там сошёл на нет запас  
Сиротского тепла,  
А там и вовсе он погас,  
И, как вода, у самых глаз  
Воронки крутит мгла...

## 6

Так Холодков. В расцвете сил  
Разумным он, способным слыл,  
Да что за радость в том?  
Не много стоят ум и пыл,  
Когда ты их не укрепил  
Ученьем и трудом,

Не много стоит тот талант,  
Что только сам собой крылат,  
Что, сам заморожен собой,  
Глух к жизни, как стена,  
Что всем суёт лишь опыт свой,  
Хоть опыту тому порой  
Всего-то грош цена.

На курсах не был Холодков,  
В рабфак не поступил —  
Был этот путь в ту пору нов  
Да и нелёгок был:

И голодал тогда студент,  
И худо был одет,  
В столовке мёрз, за партой мёрз  
И сто нарузок нёс.

Нет, вскоре избран в волкомол,  
Решил Степан, что он  
Талантом к руководству, мол,  
Особым наделён,

Что тут и крылья развернуть  
На вираже крутом,  
А знания после как-нибудь,  
Потом возьмёт... Потом!

## 7

По логике житья-бытья  
Безжалостным судом  
Не раз себя судил и я  
За всякие «потом»:

Тут кое-что недоучил,  
Там пары строк не отточил,  
Не выверил тона,  
Там с другом встречу отложил,  
Решив, что жизнь длинна...

А что ж такого, что длинна?  
Товарищ дорогой,  
Она длинна, зато одна,  
Промчится, выгорит до дна,  
И не дадут другой.

Нет, не дадут, не повторят:  
За часом час идёт подряд,  
Секунды бьют, как дождь,  
И в ту же реку, говорят,  
Два раза не войдешь.

И Холодков своим путём  
Пошёл под шум секунд,  
Так и не выбившись потом  
В рабфак и институт,

Повёз сквозь жизнь служебный воз.  
Подчас полупустой,  
На оргработе и на хоз  
Мерцал меж восходящих звёзд  
Блуждающей звездой,

Петлял, как бойкая на вид,  
Но мелкая река,  
Был бит, но очень в меру бит,  
Отмечен, но слегка.



И было некогда ему  
При суете шальной  
Ни думу думать самому,  
Ни посидеть с женой...

А впрочем, что судить других?  
И наш удел таков —  
В различных секциях своих  
Млеть на собраниях до вторых,  
До третьих петухов.

Читатель ждёт стихов, поэм,  
Новелл, романов, драм,  
Мы ж заседаем скопом всем,  
Корпим не тут, так там.

А творческий багаж кой-чей,  
Как говорится — «тот»:  
Том заявлений, том речей  
Да том слезниц в Литфонд.

Давно молчит его перо,  
Спят музы мёртвым сном,  
Зато он где-то член бюро  
И чем-то правит в нём,  
Зато легко и без помех,  
Бия цитатой в грудь,  
Он учит или судит тех,  
Кто пишет что-нибудь.

Теперь другой по всей стране  
Порядок заведён. А мне  
Представить трудно срок,  
Когда и мы благой волне  
Пойдём не поперёк,

Когда не в позу и не в речь  
Мы сможем жар души облечь,  
А в добрые тома,  
Что будут вправду сердце жечь,  
Светить, как жизнь сама,

И не за тот трибунный гром,  
Что мы при случае любом  
Рожаем напоказ, —  
За книгу и протрут с песком,  
Но и похвалят нас!..

## 9

И вот за свой просчёт лишён  
Товарищ Холодков  
Высот, откуда правил он.  
Лишён, съезжает под уклон,  
На землю с облаков.

И, огорчён, сидит и пьёт,  
И скатерть мнёт рукой,  
И так глядит, как будто ждёт  
Амнистии какой...

Меж тем и день сгорел совсем,  
И по следам зари  
Идут всех рангов и систем  
Вдоль улиц фонари,

И, как у скал прибой морской,  
Когда слабеет шторм,  
Всё глуше транспорт городской  
Бушует за окном.

И как ни отводи глаза  
От стрелки часовой,  
Она за полночь заползла,  
Характер держит свой —

Швыряет звёздами в простор,  
Вгоняет петухов в задор,  
И тушит в комнатах огни,  
И гонит из гостей.  
И лишь влюблённые одни  
Совсем не верят ей,

Не верят, словно, донося  
Свет лишь для них для двух,  
Вселенная на месте вся  
Забуксовала вдруг...

Но то — влюблённые. А муж,  
Что и с работы снят к тому ж,  
Хоть кое-как, хоть и с трудом,  
Раскисший от вина,  
Себя сквозь город тащит в дом,  
Где ждёт его жена,

Попрёки, правда горьких слов  
И злость слезы скупой...  
Иди — а там хоть плачь, хоть пой,  
Товарищ Холодков!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Сон — что он? Древнее кино,  
Фильм, снятый памятью давно,  
Где режиссёру вопреки,  
Как под руку пришлось,  
Разновременные куски  
Клеили вкривь и вкось.  
И хоть картина впрямь плоха,  
Беды в том нет. По мне,  
Живая, бодрая блоха  
Страшней, чем лев во сне,

Но кое-кто известный нам,  
 Не веря в бога, верит снам.  
 И не замшелый сельский дед,  
 С которого и спросу нет, —  
 Мужчина, что в расцвете сил,  
 Что видел белый свет,  
 И диалектику учил.  
 И носит партбилет.

Он свой по снам  
 Ведёт учёт:  
 К прорыву в плане —  
     чёрный кот,  
 Дивчина — к диву,  
 Сор —  
     к деньгам,  
 Стог —  
     к премии и пирогам,  
 А баня с жаркою парной,  
 По сходственной причине, —  
 К проборке внеочередной  
 И к пониженью в чине.

Приснится заву сон такой —  
 И ходит, бедный, сам не свой,  
 И ждёт, откуда грянет гром,  
 И в подысканьи ссылок  
 Рассеянно скребёт пером  
 Жиреющий затылок.

А подчинённые глядят,  
 Как мучается он, а штат  
 Уже всю судачит:  
 — Раскритикуют...  
 — Будет снят!  
 — Видать, что не орёл...  
 — Не хват...  
 — Прорехи в плане, значит...

Намёков муторных полны,  
 Когда совсем нельзя вам,  
 Вы хоть пореже снитесь, сны,  
 Директорам и завам,  
 Лишь для острастки  
 Иногда  
 Включая баню  
 И кота!

## 2

А как товарищ Холодков?  
 Он спал, совсем не видя снов,  
 Стогов на пойме не метал,  
 Не парился в парной,  
 Как будто не в постель упал,  
 А в омут головой, —  
 Ему, немерянной длины,  
 По службе только снялись сны.

И не слышал он, как жена  
Всю ночь ворочалась без сна,  
Не знал, что за ночь перед ней,  
Тоскою тяжела,  
От прошлых лет до этих дней  
Вся жизнь её прошла,

Мелькнула лучшая пора,  
Когда, что там ни есть добра,  
Всё в пору, в радость, в прок,  
Когда ещё душа щедра  
И мир, как мир, широк,

Когда, что ни поел, всё сыт  
И весел всё равно,  
Когда ещё ни дождь не злит,  
Ни очередь в кино,

И смех от сердца, и слеза  
Чиста и горяча  
И, как июньская роса, —  
До первого луча.

Когда б вернуть нам иногда  
Минувшие года,  
Когда б ступить в знакомый след  
Там, где нас больше нет,

Перенестись издалека  
В былые дни, чтоб в них  
Подправить кое-что слегка,  
Продлить какой-то миг,

Побыть наедине хоть раз  
У синих рощ и рек  
Со всем, что дорого для нас  
И что ушло навек!..

### 3

В посёлке пыльном над Окой,  
Что по гудку терял покой  
И, чуть стемнеет, спал,  
Мальчишка каждый заводской  
Скворцову Женю знал.

Дым детства, заводская гарь,  
Лохматый старенький букварь,  
Три слова под напев зимы:  
— Мы — не рабы!.. Рабы — не мы!..

Уроки, классные звонки,  
Возня на санках у реки,  
Купанье с тёплых дней...  
И ласка тут и синяки —  
Всё доставалось ей  
От конопатой ребятни,

Которой ведь и мы сродни:  
От той, что нынче, говорят,  
Взамен далёких стран  
Бежит на Дон,  
    под Сталинград,  
    на Днепр и в Казахстан..

Потом в текстильный институт  
Скворцову приняли. И тут,  
Как вишня, чуть весна пришла,  
Чуть стала на постой,  
Она сверкнула, зацвела  
Завидной красотой.

Ржаное золото волос  
На плечи в два ручья лилось,  
И в омут синих-синих глаз  
С предутренним дымком  
Бросались юноши не раз  
И явно и тайком.

Ей что? Тони или пльви,  
Глядь, развлечение всё ж.  
Но наступает час любви,  
Ждёшь ты или не ждёшь...  
Есть в каждом вузе свой поэт,  
Свой Пушкин юношеских лет,  
И тот, что был у них,  
Писал ей горестный сонет —  
Про сходство душ и лунный свет  
Витиеватый стих,

С Джульеттой сравнивал её,  
В чертог какой-то звал,  
Хоть сам в углу имел жильё  
И на дерюжке спал,

И под стипендию аванс  
Прихватывал не раз,  
И дырку в сапоге чинил  
При помощи чернил.

Давно поэт в бою убит,  
В мундире офицерском спит  
На дальней стороне,  
А всё стихи она хранит  
В шкафу, на самом дне,  
И в горечи наивных слов  
Всё как бы слышит дальний зов  
Тех лет, которых стёрт и след,  
Тех беспокойных сил,  
Что незадачливый поэт  
Когда-то разбудил.

И, глядя на свою тюрьму,  
Где отразил безделок тьму

Паркетный жёлтый жир,  
Она завидует ему —  
Он в самом деле жил!

## 4

Шумна весенняя гроза,  
Она всего на полчаса,  
Но, словно летняя Кура,  
Вздохмачен и широк,  
Кипит у каждого бугра,  
Бурлит, поёт поток;

С шипеньем молния на нём  
Расписывается огнём,  
Плывёт пенёк, струёй подрит,  
Ныряют травы и цветы,  
И, оборвавшись с высоты,  
Осколок радуги горит;

Короткий бег свершая свой,  
Крутя дорожный сор и прах,  
Он словно даже гул морской  
Рождает, падая в овраг.  
Но дождь всё реже, всё дробней,  
Всё глуше отдалённый гром,  
И капли ртутным серебром  
Блестят, не падая с ветвей,

И, глядь, пробился солнца свет,  
И засинел кусок небес...  
А где поток? Потока нет —  
Пропал поток, исчез,

Отбушевал, замолк вдали,  
Отметив путь к реке  
Травой, склонённой до земли,  
Да пеной в ивняке...

## 5

Так первая любовь: она  
Резва, быстра, шумна,  
Но иногда, как тот поток,  
Живёт недолгий срок.

Нам скучно ссориться, когда  
Мы входим в зрелые года:  
Теряют чувства свой накал,  
Душа — тревогам счёт,  
И даже кровь, как я слышал,  
Помедленней течёт,

И в жизни больше спроса с нас,  
И время нас не ждёт,  
И учит опыта запас —  
Не тронь, само пройдёт.

Не то в студенческих годах.  
Состри не так, скажи не так —  
И ссора, как в степи пожар,  
И ходят врозь друзья,  
И горестно до слёз, и жаль,  
А честь ронять нельзя —

Терзайся скорбью мировой,  
Но прояви характер свой,  
Будь, как Печорин, горд!..  
Они поссорились впервой  
Как раз под Новый год.

И хоть причиной был пустяк,  
Что помнился едва,  
Запас гордыни не иссяк  
Ни в день один, ни в два.

А там он стал казаться ей  
Чуть угловатей, чуть дурней.  
К тому ж поэт и впрямь смешон  
По той причине был,  
Что о своих страданиях он  
Лишь в рифму говорил,  
А рифма, хоть звонка она,  
Да иногда пуста,  
Нам точной прозы простота  
На каждый день дана.

Но кто поэта может в том  
Уверить? Нет и нет!  
С любовью первой ни при чём  
Оставлен был поэт...

## 6

А он, Степан, в расцвете сил  
Хорош, ей-богу, был,  
Он книги умные носил,  
В театр её водил,

Стихами не бросался зря.  
Умно и с жаром говоря  
Про дружбу и семью,  
Дарил ей реки и моря,  
Как собственность свою, —

Всё, что, насколько знаю я,  
По щедрости шальной  
И наши дарят сыновья  
Девчонкам под луной.

Дарить дарил, да не вручил.  
А там в глубинный трест  
Вдруг назначенье получил  
И двинулся в отъезд,

А там, влюблённая жена,  
 Окончив третий курс,  
 К нему уехала она,  
 А там вошла во вкус  
 Веселья, сытости, тепла,  
 Вросла душой в уют.  
 А там в заочный перешла,  
 А там и вовсе не смогла  
 Окончить институт...

## 7

Ночь кончилась. Дождём шурша,  
 Глядит в окно рассвет.  
 Болит у женщины душа,  
 Что жизни лучшая ушла  
 Пора, а счастья нет,

Что муж как муж и дом как дом,  
 А ни тепла для сердца в нём,  
 Ни радости простой.  
 А уж и осень за углом  
 Пылит землистым серебром,  
 Бросает вызов свой.  
 И лучшие труды портних  
 Напрасно моль сечёт.  
 Кому показываться в них —  
 Гостям два раза в год?

Да что они? Пять-шесть мужчин,  
 Сломав закусок строй,  
 По первой выпьют на почин,  
 За первой — по второй,

Потом у сытного стола  
 За гостом именовым  
 Жуют служебные дела  
 Попутно с заливым,

Потом расскажут в сотый раз  
 Неновый анекдот,  
 Потом, когда придёт черёд,  
 Играют в преферанс.

А жёны знают наперёд,  
 Кто сколько пьёт, кто сколько врёт,  
 И в неприкаянной тоске  
 Разносят в прах и в пух  
 Товары, моды на Москве  
 И красоту подруг.

А ведь учились и они,  
 Ведь были и другие дни,  
 Когда над книгой в поздний час  
 Ещё и слёзы жгли,  
 Когда на службу в первый раз  
 По-праздничному шли,

Когда горел, когда сверкал  
 Огонь сердец живых.  
 Кто ж обокрал, кто обобрал,  
 Кто обездолил их?

Когда над сердцем началась  
 Вещей и кухни власть,  
 Портних и сплетен, рынков, мод?  
 Как быть с её тоской?  
 Ночь кончилась. Рассвет встаёт,  
 Синее над Москвой.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1

С газетой вместе по утрам  
 Все страсти века вносят к нам,  
 Его надежды и тревоги,  
 И схваток гром, и чувств накал.  
 И ты, чуть встал, уже в дороге,  
 И кончен краткий твой привал,

И ты вдруг обнимаешь взглядом  
 Стрелу копра под Сталинградом,  
 И на Алтае лёгкий дым,  
 И даль, где снежным бьёт зарядом  
 Пурга по вёслам молодым,

И ты уже обходишь думой  
 Заокеанский край угрюмый,  
 Где бредят прибылью двойной  
 И новой мировой войной,  
 Сквозь пыль и зной, по трассам строк,  
 На Ближний движешься Восток,  
 Спешешь в парламент и лачугу,  
 Вникаешь в речь и ловишь стон,  
 Что как к защитнику и другу  
 К тебе сегодня обращён.

И хоть ещё живёшь ты вроде  
 Своей судьбой, своей семьёй,  
 И на своей горишь работе,  
 Свой рубль кладёшь в бумажник свой,

И вспыхиваешь, словно порох,  
 В служебных распрях или спорах,  
 И для потехи небольшой  
 Остришь, и всё на счёт чужой,

Но, взяв из ящика газету,  
 Ты видишь, что во всю планету  
 Он дышит жаром, фронт борьбы,  
 Что для тебя особой нету  
 Дороги в мире и судьбы,

Что, человечества частица,  
 Среди привычной суеты  
 За всё, что есть и что случится,  
 Несёшь ответственность и ты,  
 Что ни на миг тебе единый  
 Жить на отшибе не дано —  
 Партийный ты иль беспартийный,  
 Стар или молод — всё равно!

## 2

А Холодков читал в газете  
 Сперва министров имена —  
 Кто преуспел и на примете,  
 Кто полетел и в чём вина.

Недели в три одну-другую  
 Просматривал передовую.  
 Зато разносный фельетон  
 Штудировал с улыбкой он

И по утрам воскресных дней  
 Листал страницы «Крокодила»,  
 И так приятно выходило,  
 Что жизнь других нещадно била,  
 А он — не бит, а он — умней...

Всё остальное он считал  
 Агиткою и примитивом,  
 Для подчинённых нужным чтивом,  
 А сам обычно не читал.

Но, чтоб держаться курса верно  
 И не напутать в чём-нибудь,  
 Он раз в неделю непременно  
 В горком старался заглянуть,

По главку изощрённым ухом  
 Охотился за каждым слухом,  
 За тем, что говорит начальство  
 В укор кому или в пример,  
 За тем враньём, что ходит часто  
 Под маркой «из высоких сфер».  
 Всех этих знаний необширных  
 Ему хватало кое-как,  
 Чтоб оставаться на вершинах  
 И аппарат «держат в руках»...

## 3

Что ж прочитал в газете он?  
 Подсказку слышу: фельетон!..

Люблю и я, сказать по правде,  
 Моих собратьев, чьё перо  
 Не зубоскальства — дела ради  
 Живописует зло, остро.

Портрет глупца и бюрократа,  
Блатмейстера, хапуги, хватата,  
Пронырливого спекулянта,  
Торговки, постного ханжи —  
Всех, чьи особые «таланты»  
И в нашей памяти свежи.

Ещё мы ран не залечили  
С войны, ещё в землянках жили  
В колхозах люди,  
а они  
Себе на дачи лес тащили,  
Стекло и гвозди для родни;

Ещё мы досыта едва ли  
Детей кормили в месяц раз —  
Они ж меняли, торговали,  
Из-под полы нам гниль совали  
И по три шкуры драли с нас;

Чтоб каждый день мы были сыты,  
Обуты во-время, обшиты,  
Чтоб встал над миром в полной силе  
Престиж советской стороны,  
Чтоб новой не было войны,  
Мы ношу так свою тащили,  
Что соль белела вдоль спины,

А им и не было печали,  
Они ловили краткий миг  
И лишь от зависти тощали  
К тем, кто пронырливее их!

Газетчик, друг мой и товарищ,  
Мы ценим твой нелёгкий труд,  
Когда ты словом злым ошпаришь  
Кого-нибудь, кто назван тут,  
Когда на свет из тёмной щели  
Их тащишь людям напоказ,  
Когда, предупреждая нас,  
Бьёшь точно и по точной цели.

Но, похвалу приемля эту,  
Учти, что скородум иной  
Статью в журнал или газету  
Строчит, как писарь волостной,

И, верен веяньям и модам,  
Любое дело, факт любой  
То густо заливает мёдом,  
То мажет дёгтем и смолой.

Кричат: «Пожар!» — и он туда же,  
Трезвонят где — поддержит звон.  
В литературе не однажды  
Герой подобный заклеимён.

Но, если говорить конкретно,  
Врубаться в факты напролом,  
Кой-где поныне личность эта,  
Как флюгер, верещит пером.

А это — ой, как нам опасно:  
Газета — наш триумф и суд,  
В газете нас и хвалят гласно  
И на глазах у всех секут.

И если служишь ты печати,  
Так хитрых петель не вяжи,  
Где счастье видишь — пой о счастье,  
Где видишь боль — о ней скажи,

До тошноты не пичкай мёдом  
И дёготь попусту не лей.  
В служеньи целям благородным  
И в одобрении народном  
Свою награду разумей!..

## 4

Что ж Холодков прочёл? Подвал  
На триста с лишним строк,  
Где автор факты подавал  
Правдиво, как знаток,

Не тратил попусту чернил  
На общий гром и звон,  
Разноса всуе не чинил,  
Зря не трепал имён

И Холодкова укорил  
Всего лишь в том одном,  
Что он прилежен, но бескрыл  
И высота, где он парил,  
Как видно, не по нём...

Статья, ей-богу, как статья,  
Без никаких затей,  
Похуже знаю много я  
Рецензий и статей.

А эту кто и всю прочёл,  
А кто едва-едва,  
Пока к столу с газетой шёл,  
Схватил абзаца два,

А кто совсем над той статьёй  
Двух не сидел минут —  
Мол, мы по отрасли не той,  
Соседям холку мнут.

Но Холодков представил вдруг,  
Как непреложный факт,

Что рвут десятки тысяч рук  
Газету нарасхват,

Что от Карпат и до Курил  
О нём лишь разговор:  
— А Холодков-то натворил..  
— Головотяп..  
— Да нет, бескрыл!..  
— Добро ещё — не вор..

— А может, что и прихватил!  
— Всего вернее, закутил  
От бешеных монет..  
— Не пишут — значит, нет..

У страха велики глаза,  
Позлее перца срам.  
И пусть все эти голоса  
Придумывал ты сам,

Пускай они в тебе самом  
Порождены тоской,  
Но, как ни пораскинй умом,  
Тяжёл он, час такой,

Когда на область не одну —  
На всё, что есть у нас,  
Твой промах и твою вину  
Выносят напоказ,

И шутка чья-нибудь при всех  
Внезапно припечёт,  
И чей бы ни услышал смех —  
На свой относишь счёт.

Да, тут ужхватишь через край  
Обиды и стыда.  
Кто этого не знал, пускай  
Не знает никогда!

## 5

Но нет, ещё терзаний повесть  
Не вся, и слышу голос я:  
— Встань, Холодков!  
— Кто это?  
— Совесть.  
— Чья?  
— Ты забыл меня? Твоя.

— Что ж, заходи... Но чем ещё ты  
Пришла корить или стращать?  
Уже свели со мною счёты  
И министерство и печать,

Уже вкатили по заслугам,  
Уже я собственной судьбой  
Унижен перед лучшим другом,  
Перед женой, перед собой.

Но есть всему свои пределы,  
Всё до своей идёт черты.  
Что ты ещё напомним?  
— Дело.  
— Какое?  
— То, что делал ты.

Укорами изрядно мучась,  
Ты забывать о фактах стал.  
Ты только собственную участь  
Коришь...  
— Так я ж и пострадал!  
— Сам по заслугам удостоен.  
Ты вспомни, погляди окрест  
На те дома, что не достроил  
И под жильё не сдал ваш трест.

Припомни ребятишек малых,  
Что жить должны в полуподвалах  
Из-за того, что часто был  
Лишь показным твой шум и пыл.

Припомни школьников, которым,  
На взрослых поглядев с укором,  
Мать для занятий отвела  
Лишь угол, краешек стола.

Припомни тех мужчин и женщин,  
Которым был уже обещан  
Простор, уют в квартирах новых,  
В окошках свет, на кухне газ...  
Они сейчас клянут виновных,  
Твой трест клянут, а значит — нас.

Вообрази, представь их лица,  
Их злую речь и строгий взгляд...  
Тут надо и тому дивиться,  
Что ты ещё не раньше снят!

— Не я один виновен...  
— Правда,  
Что есть любители парадов  
Ещё и по местам другим,  
Но отвечать сегодня надо  
Тебе, а за тобою — им.

И не хвались перед народом,  
Что ты не крал... Не в прок запал!  
Не крал ты — верно, но недодал,  
Недодал — значит, обобрал,

Недодал — стало быть, лишил ты  
Родных людей немалых благ...  
— Стой, совесть!..  
— Не ищи защиты.  
— Я им товарищ... Я не враг!

— Ты не был ни врагом, ни другом,  
 По уши сам в себе увяз... —  
 И Холодков, забившись в угол,  
 Заплакал — в жизни первый раз...

## 6

Есть жёны разные. Одни,  
 Чуть в службе к худу поверни,  
 Неладно выйди что с жильём,  
 С покупкою какой, —  
 Пошли глотать и есть живьём,  
 Читать за упокой:  
 — Я ж говорила — будь смелей...  
 — Я говорила — тише будь...  
 — А с тем — не пой...  
 — А с тем — не пей...  
 — А к тем дорогу позабуди...  
 — А ты всё разузнай сперва...  
 — А ты вперёд не суйся зря...  
 — Я ж говорила!  
 — Я ж права!  
 — А ты...  
 — А я...  
 — А ты...  
 — А я...

Пошло, поехало, держись!  
 Послушать — выйдет так,  
 Что был ты дураком всю жизнь,  
 Да и теперь дурак,

Что ничего ты не умел  
 И неумелым слыл,  
 Что воли собственной имел  
 На грош, и то от сил,

Что если занимал посты  
 Приличные вполне,  
 Так ей, то есть своей жене,  
 Всем и обязан ты,

Что за тебя всю жизнь должна  
 Здоровьем жертвовать она,  
 Умом и красотой —  
 Она, то есть твоя жена,  
 Домашний гений твой!..

Как хочешь, так и назови  
 Семейный этот быт,  
 Что создавался по любви,  
 Да ею позабыт.

Быт, где не круглый год едва ль  
 И за любой пустяк  
 Тебе читается мораль,  
 Порой и при гостях,

Где, накаляясь добела,  
Забыв передохнуть,  
Работает жена-пила.  
Не над бревном отнюдь!

## 7

Скажу и о жене другой.  
Проста, ясна, ровна,  
Пустопорожних слов игрой  
Не тешится она,

Не станет поученьем злить  
При случае любом,  
Не ставит дом с утра вверх дном  
Чтоб работающей слыть.

Ребятам у такой жены  
Ремни и розги не нужны —  
Растут, штаны не слишком рвут,  
Без нужды не режут.

А в час какой-нибудь беды,  
Когда у горла ком,  
Она, хоть и виновен ты,  
Не упрекнёт ни в чём.

И пусть самой ей тяжело —  
При случае таком,  
Чтобы не так на сердце жгло,  
Прольёт слезу тайком.

Прольёт, а нет, не намекиёт,  
Верней отыщет путь:  
— Бывает, жизнь покруче гнёт,  
Потерпим как-нибудь!..

Так медсестра в бою, в огне,  
Где рядом смерть и жизнь,  
Солдата тянет на спине  
И, хоть самой страшной вдвойне,  
Бодрит: — Смелей держись!

Держись, браток... Доставим в **ТЫЛ**,  
Положим в медсанбат,  
Глядь — ты опять такой, как **БЫЛ**,  
Обхаживай девчат...

И хоть кругом пурга визжит  
И не видать ни зги,  
И хоть солдату **после жить**  
Придётся без ноги,

Но эта помощь в первый миг,  
Когда ещё ты не постиг,  
Где боль, где смерть сама,  
Спасала нас от нас самих,  
Чтоб не сойти с ума...

Жаль, нету памятников им,  
 Медсёстрам боевым,  
 Как нету их в краю родном  
 Той женщине простой,  
 Что согревает жизнь и дом  
 Душевной красотой!..

Хоть Холодкова не спала,  
 Хоть вдоволь горя испила,  
 Когда, как с фонарём в подвал,  
 В своё былое шла,  
 Где облик чей-нибудь вставал  
 Из каждого угла,  
 Хоть и не раз её слеза .  
 Ответила без слов  
 На замершие голоса,  
 На отзвучавший зов, —

Она, увидев, что Степан,  
 Нечёсан и небрит,  
 Сидит, как будто всё он пьян  
 Или и впрямь побит,

Присела рядом, провела  
 Рукой по волосам:  
 — Степан, поправятся дела,  
 Пойдут, увидишь сам!  
 Остынь, в чём виноват — пойми  
 Да в руки сам себя возьми.  
 А я и так наедине  
 Подумала вчера:  
 Не вековать же так и мне.  
 И мне служить пора...

## 8

Она права. Наш мир таков,  
 Что не пойдёт в нём Холодков  
 С протянутой рукой.  
 Найдут, дадут в конце концов  
 Поменьше пост, другой,

Но я не буду посылать  
 Его ни в главк, ни в трест,  
 Ни в школу некую совать,  
 Ни на Алтай в отъезд.

Всё разрешится без меня.  
 Есть поважней вопрос:  
 С какого часа он и дня  
 Поехал под откос?

Когда он крылья опустил,  
 В чём отступил и сдал,  
 Так что и сам себе постыл  
 И неудобен стал?

Об этом был однажды спор,  
И так сказал мой друг:  
— Талант — он вправду, что костёр,  
Не поддержи — потух!

Я так сужу: ему открыт  
Был в жизни путь любой,  
Так незадачливой судьбой  
Пусть сам себя корит!..

А то, что он не кончил вуз,  
Не получил диплом,  
Так это плохо, но боюсь,  
Что суть не в том одном.

У нас людей немало есть,  
И даже видных ряд,  
Что трудятся и век свой весь  
Над книгами корпят.

Их опыт ставится в пример,  
Их имена в чести,  
А Холодков и что имел  
Растратил по пути.

Другой сказал:  
— Тут правда есть,  
Но всё-таки не вся:  
И время тоже не учесть  
Нельзя, никак нельзя.

Припомним: двадцать третий год,  
Едим с корою хлеб,  
Промышленность едва живёт,  
В торговле правит нэп,

Там — шпионаж, тут — саботаж,  
Здесь — козни кулаков...  
Тогда-то путь и начал наш  
Товарищ Холодков.

Он честно партии служил,  
Не подличал, не лгал,  
Куда бросали — там и жил,  
Где надо — вожжи брал.

А там колхозы — действуй, брат!  
Там пятилетки — жми!  
Он сам бы поучиться рад,  
Но вот поди, возьми.

Да, многим людям тех годов  
Дожить не довелось  
Ни до конца своих трудов,  
Ни до седых волос.

Работники, бойцы, кряжи,  
Народной силы цвет,  
Они в своём возу гужи  
Не ослабляли, нет:

Пусть вьюги путь перемели,  
Пусть дали в тучах залегли,  
Пусть ветер чёрта злей, —  
Судьбу страны, судьбу земли  
Они, не жалуясь, везли —  
И никаких гвоздей!

А если кто отстал теперь —  
Так ты сплеча не бей,  
Всё взвесь сперва и всё проверь,  
Порасспроси людей...

Встал третий:  
— В случае таком  
Хочу спросить у вас:  
Где был обком,  
где был горком,  
где был партийный глаз?

Я верю партии своей  
Всем сердцем и умом,  
Любая даль открыта ей,  
Всё ей видать кругом.

И если встретит в ком-нибудь  
Хоть маленький талант,  
Она умеет подтолкнуть —  
Лети, когда крылат!

За то, что ехал вниз и вниз  
Наш Холодков с высот,  
Его товарищ коммунист  
Ответственность несёт,

Тот секретарь, что понимал  
И суть и связь идей,  
Что честно планы выполнял,  
Но забывал людей,

Что всех цитатами пытал,  
Известными к тому ж,  
Но не растил, а омертвлял  
Неоценимый капитал  
Людских сердец и душ.

И если право нам дано  
Для честного суда,  
Так с Холодковым заодно  
Пусть хватит он стыда!..

## 9

Я всех прослушал — все верны  
Суждения друзей.  
И хорошо, что так видны  
Причины, следствия вины,  
Что стал вопрос ясней.

И всё же, насчитай причин  
Хоть сорок сороков,  
Ещё и мало получил  
По шапке Холодков.

Кипит ли труд, гремит ли бой,  
А за проступок твой любой  
Не друг и не сосед,  
А ты перед страной родной,  
Ты должен дать ответ!

Прекрасен, но суров наш век,  
И в трудовом строю  
Все на счету; как штык в бою,  
Наш каждый человек.

У нас кругом дела, дела —  
Гляди да поспевай:  
Нас целина века ждала —  
Паши да засевай;

На полюсе, где тьма и лёд,  
Безлюдные места,  
Очередной наш самолёт  
Садится неспроста;

Чтоб жил в довольстве человек,  
Чтоб сил не брать взаймы,  
Теченья величайших рек  
В турбины гоним мы;

Мы изучаем жизнь планет,  
Мы, атома раскрыв секрет  
В отечестве своём,  
Себе творим тепло и свет,  
А пожелает наш сосед —  
Так и ему даём!..

Прекрасен век! Прекрасна даль,  
В которую идём.  
Молчи, стволов военных сталь,  
А мы своё возьмём,

Всем лиходействам вопреки  
Исполним свой завет,  
Чтобы на все материки  
Сиял наш добрый свет.

А ты, мой друг, кто б ни был ты,  
Собравшись в дальний путь,  
Прекрасной этой высоты  
Во всём достойным будь!

## 10

Вот всё, читатель. Всё, что есть:  
Хорош он или плох,  
Я развернул сюжет мой весь  
И всё сказал, что мог.

Пусть он обычен, этот факт,  
И прост на первый взгляд —  
Не с книжной полки напрокат,  
Он мной из жизни взят,

Да не из той, что унеслась  
И скрылась навсегда,  
Как раскатившаяся влать  
Весенняя вода,

И не из той, что чуть видна  
За далью новых лет, —  
Из той, что нам с тобой дана.  
Другой сегодня нет.

Ты сам, пожалуй, в дом зайди,  
Прочти, о чём статья,  
И Холодкова сам суди —  
Ты, высший наш судья, —

И сам назначь ему удел  
Хотя бы с тем одним,  
Что и ему мы не у дел  
Болтаться не дадим.

Один закон для всех нас есть,  
Он праведен и прост:  
По силам — труд,  
по знаниям — пост  
и по заслугам — честь!

1953—1955 гг.



---

БОРИС ГОРБАТОВ

★

## АЛЕКСЕЙ ГАЙДАШ

*Повесть*

Глава первая

1

**У**спеть, только бы успеть! Больше мы ни о чём не думали. Нас трясло, швыряло в сёдлах, подбрасывало; плохо пристёгнутые маузеры шлёпались о бёдра; колени колотились о тощие бока лошади. В этой сумасшедшей скачке не было ни ритма, ни лада — только бы скорее, скорее, скорее, только бы успеть!

Взмыленные кони испуганно косили глазами, хрипели; потные их спины дымились; густой пар колыхался над ними; гнедые хвосты пыли крутились сзади. Задыхаясь от острого, горячего запаха лошадиного пота, от бешеной скачки, от жары и пыли, от нетерпения, злобы, мчались сквозь рыжую колючую степь Алексей Гайдаш и я.

Алексей скакал чуть впереди меня. Он нервничал. Нетерпеливо облизывал пересохшие губы. Торопил коня. То приподнимался на стременах, то падал в жёсткое канадское седло. Хрипло кричал:

— Скорее! Скорее! — и бил коня о бока стоптанными каблуками. Успеть! Только бы успеть!

Ему представлялся истекающий кровью Сёмчик. Он лежал, беспомощно раскинув руки, пальцами зарывшись в пыль. Царапал ногтями горячую, растрескавшуюся землю. Кричал, звал на помощь. Ждал. Один. В чужом селе. Среди врагов. Они добьют его. Дорезут ножами. Скорее, скорее бы!

Мы мчались молча. Только иногда Алёша хрипел: «Скорее!» — и это равно относилось и ко мне, и к лошади, и к самому Алёше.

Между собой мы не разговаривали. Молча сели на коней. Молча ехали.

Давно уже перестали мы дружить с Алёшей. Жизнь развела нас. Мы продолжали работать рядом, бок о бок, но дружбы не было. Она улетела от нас, растаяла, как дым в морозном небе. Бывшие друзья — это хуже, чем чужие люди.

Мне казалось, что я мало изменился с тех пор, как в «Коммуне номер раз» подымал песню и стакан за комсомол, за молодость, за удачу.

Удача! Оказывается, она портит людей. Алексею выпала на долю большая удача. Мы восторженно следили за ним. Он рос на наших глазах. С хрустом распрямлялись его плечи. Он был уже на голову выше нас — мы радовались его удаче. Встречаясь где-нибудь на бегу, случайно, на перекрёстке, в вагоне ростовского ускоренного или у буфетной стойки в театре, мы говорили друг другу: «Наш Алёша-то — молодец!»

И если случались стаканы, мы подымали их за здоровье, за рост и удачу.

Но, став окружным комсомольским вождём, он перестал быть нашим Алёшей. Неужели это тот простой, худощавый, беспокойный паренёк с Заводской улицы, которого я так любил в детстве? Откуда появились у него эти важные, округлые жесты? Этот властный, резкий, требовательный тон? И этот взгляд, пустой, холодный, не замечающий никого, взгляд, который проходит сквозь человека, не окрашиваясь, не загораясь?

Меня подавляла его шумливость. Всюду — в театре, на улице, в клубе — он шёл, расталкивая людей и громко разговаривая. Он не умел говорить тихо. Он не умел слушать — привык, чтобы слушали его. Он не умел соглашаться — привык, чтобы соглашались с ним, подчинялись ему. И всё, что он говорил, разъяснял, рассказывал, делал, он делал шумно, размашисто, по-хозяйски.

В театре, развалившись в кресле, он громко и пренебрежительно спрашивал, нарушая тишину застывшего зала:

— Ну что, скоро там этот старичок помрёт?

Входя в ресторан, он с порога кричал официантке:

— Девушка! Идите-ка накормите меня...

Все в городе знали Алексея Гайдаша. Он гордился этим.

— Это мой приятель, — говорил он небрежно. — Накормите и его, экстра, аллюр три креста.

У него появились специфические остроты, шутки, поговорки. Между собой мы прозвали их «генеральскими». Наливая пиво в бокал и чокаясь, он приговаривал:

— Ну-ка, согласуем!

Меню он называл «повесткой дня», здороваясь, восклицал: «Ну, как жизнь молодая?», подчинённых спрашивал: «Как думаешь, товарищ начальник?», хотя начальником он признавал только себя, себя одного.

У него были любимые словечки, он тшил сделать их крылатыми. Он хотел играть роль большого человека, самостоятельного, независимого, опытного.

У него была сокровенная мечта: выдумать и пустить в ход такой лозунг, который перевернул бы весь комсомол. Он пробовал много раз, но это приносило ему одни неприятности. Однажды в докладе он выпалил: «Плохой комсомолец лучше хорошего беспартийного».

Ему пришлось потом отказываться от этого «лозунга», но упорствовал он долго.

Мы прозвали его «вождик». Он перестал обижаться на кличку. Боюсь, она понравилась ему.

Со мной он усвоил небрежно-дружеский, снисходительный тон. Он вызывал меня к себе в кабинет и, развалясь в кресле, кричал:

— Опять перегибаешь, редактор? Ты зачем сегодня моего Федьку выругал? Федька — мой лучший секретарь района. Мой друг. Ты согласовал со мной?

Я пожимал плечами и уходил.

Он окружил себя людьми пустыми и маленькими. Он нарочно подбирал таких. Они не заслоняли его, а, напротив, выгодно оттеняли его могучую фигуру. Он смеялся, издевался над ними. Он помыкал ими, как слепыми щенками. Он называл их «мои орлы» или «мои гробы». Он любил при случае жаловаться:

— Вот с каким аппаратом приходится мне работать. Один. Совсем один.

Но он дорожил своими «орлами». Грубо накричав на них, натопаив ногами, изругав и ребят и девушек, выгнав, наконец, из кабинета, потом, остыв, звал их обратно и как ни в чём не бывало шутиливо, ласково разговаривал с ними, угощал папиросами. Они покорно выносили и ругань и дикие выходки; они любили этого резкого, смелого и несомненно талантлив-

вого парня. Они боялись его и преклонялись перед ним. С фамильярной почтительностью они называли его «наш хозяин».

«Хозяин сказал», «Хозяин не в духе», — шептались они меж собой.

Но работали они скверно, путали, мешали. Во всём громоздком, торжественно-парадном аппарате Алёши (он любил блеск, гром, кабинеты, дощечки под стёклами) стоял шум, треск, сутолока, видимость кипучей работы; в сущности же была пустота — страшная, унылая.

Алёша не видел этого. Зато видели мы. Разрыв был неизбежен.

Я старался реже встречаться с Алексеем. Впрочем, это было легко. В эти горячие дни тысяча девятьсот двадцать девятого года я мало сидел дома, в городе. Я носился по округу, меняя вагон на бричку и тряскую бричку снова на вагон. Я славно поездил в те дни! Путешествовал на открытой площадке товарного состава, в теплушке рабочего поезда, в «ученике», на случайном паровозе или даже на «кукушке». По скверным донецким шляхам я пробирался в бедарках на высоких колёсах, в старомодных тарантасах, в директорских фазтонах, на пыльных дрожках, бричках, на высокой арбе, а то и верхом, а то и пешком.

Я любил эти поездки без маршрута, а часто и без денег; ночи на заплёванных вокзалах в ожидании поезда; пахнувшие сеном и махоркой хаты сельсоветов; ночёвки где-нибудь на сеновале или в поле, у брички. Жизнь, горячая, трепетная, удивительная, открывалась перед моим любопытным взглядом. Я жадно смотрел, слушал, думал. Многого не понимал, во многом сомневался, многого ждал и о ещё большем мечтал, юношески, трепетно.

Ощущение каких-то больших и неожиданных перемен, которые неизбежно должны произойти в моей судьбе, в судьбе страны, вдруг появилось во мне и больше уж меня не покидало.

Большое ожидание чувствовалось всюду. Воздух, которым я дышал, стал тугим, сгущённым, как перед грозой. Вот грянет шторм! У меня было впечатление, что люди, страна, жизнь приготовились к какому-то огромному прыжку вперёд. И я боялся опоздать, пропустить, задержаться.

Однажды я приехал в маленький, тихий заводской посёлок близ Белокриничной. Было воскресенье, по дороге я слышал благовест сельских церквей; колокола заливались звонко и радостно, как стая молодых щенков. В посёлке стояла воскресная тишина и праздничность. Я знал — в этот день все на футбольном поле. Футбольный матч в Белой Криниче — священнодействие, религиозный обряд, праздник. Стряхнув дорожную пыль с кожаной куртки, я отправился в парк.

Тёплой сыновней любовью любил я этот застенчивый, тихий посёлок, его кривые улицы, его меловые горы, акации в цвету, тополя у проходной будки, берёзку под окном инструменталки, нежный жёлтый дымок над домами. Я любил ветвистый парк, в котором сладостно млели липы, гуляли рабочие с жёнами, смеялась и пела молодость.

Самые молодые из них ещё помнили, что парк принадлежал раньше немцу, владельцу завода, они знали даже имя немца. Они радовались, удивлялись и ахали: «Хозяйский парк стал нашим парком». Теперь и удивляться перестали и имя немца забыли. Я помнил. Гартман — так звали немца.

Я всё помнил, я тщательно хранил всё, что касалось родного посёлка, — героическое и смешное, большое и малое.

Я помнил тревожную январскую ночь двадцать третьего года: измученные, озябшие люди столпились у горна холодной доменной печи и ждали: сейчас всё должно было решиться. Не напрасно ли, голодные, замёрзшие, падающие от усталости, они бились вокруг неё, выколачивали «козёл», застывший в печи, голыми руками создавали печь заново? Что, если при первом вздохе она взлетит на воздух? Что, если печь «не пой-

дёт»? Они стояли, застыв на своих местах. Ждали. Вдруг чёрное облако с шумом вырвалось из печи. На минуту все ослепли, оглохли. На фурмах весело заиграли огоньки. Печь пошла!

Я помнил знойные, сухие дни двадцать шестого года. На окраинах стали возникать скелеты маленьких слепых домиков. Худые люди копошились вокруг. Тащили лес. Пилили, стучали молотками. Работали в одиночку. Каждый — себе. Каждый сколачивал свой домик. Работали жадно, исхудавшие, почерневшие от забот. Всякую свободную минуту отдавали своему дому, погребу, сараю. По ночам беспокойно ворочались на узкой койке — снился собственный домик на собственном клочке земли.

Я мог бы рассказать историю каждого нового дома в посёлке. Как возник здесь первый техникум. Как появился клуб.

Я мог бы рассказать всё и обо всём, что касалось Белой Криницы. Хотите, я расскажу историю всех здешних футбольных матчей — это героическая Одиссея, в которой победы вызывали патристическую гордость Белой Криницы, а поражения повергали в мрачную тоску токарей, слесарей, литейщиков — инструмент валился из рук, литьё вытекало из формы.

Хотите, я расскажу вам, что увижу сейчас на стадионе? Ребятишки освистывают судью, молодёжь криками подбадривает игроков-приятелей, девушки волнуются и аплодируют, а старики бьются о заклад. А дома в это время уже поспевают самовары, ароматный дымок струится над тихой улицей. Стынут тополя, шумят вишнёвые сады, сладостный воскресный вечер падает на крыши, на палисадники, на тихие вербы... Так я дошёл до стадиона.

И вдруг с удивлением увидел, что он наполовину пуст.

Что случилось? Мне объяснили, недоумевая: на заводе введена непрерывка. Воскресенья больше нет. Я встретил вдруг Павлика. Он шёл в рабочем костюме, похудевший и озабоченный. Какой-то новый огонёк в его глазах, беспокойный, лихорадочный, поразил меня. Павлик был не тот. Мы дружески поздоровались, поболтали. Вдруг он качнулся и смущённо сказал:

— Прости, Серёжа, я хочу спать... Три смены подряд... Новую домну кончаем...

На меня налетел старик Омельченко. Не поздоровавшись, он закричал.

— Серёга! По секрету! Этого никто не знает. Напиши в газете. Знаю только я. — Он кричал во всё горло. — Идём, я покажу тебе. Я знаю месторождение руды. Роскошная руда, богатые дела с такой рудой делать можно. Напиши в газете. Пусть шлют комиссию. Нужно каких-нибудь пятьдесят—сто миллионов на первый год, у нас будет своя руда...

У почты меня остановил Шелест, старый инженер, которого я отлично помнил. Он оттащил меня в сторону, к театральной тумбе, и начал кричать:

— Каждый день справляюсь на почте. Почему мне не отвечают? Проект реконструкции, преподанный нам главком, нищенский, крохоборческий, безграмотный. Извольте ли видеть... — Он пошарил в карманах плисовой куртки, вытащил огромный плотницкий карандаш и начал чертить на афише.

Меня завертели. Меня тащили на домны, которые надо ломать, и на домны, которые надо строить. Мне показывали будущие строительные площадки, пальцем в воздухе чертили железобетонные здания корпусов и ажурных газгольдеров; бурьян шумел под нашими ногами, тут и там валялось ржавое железо. Меня водили по цехам будущего и, если я спотыкался о камни и выброшенное на свалку железо, заботливо поддерживали под локоть. У каждого инженера зрел свой собственный проект реконструкции. Каждый старожил открывал какие-нибудь новые богатства

в тихой дотоле Белой Кринице. Овраги и буераки оказывались нефтеносными, горы — неиссякаемыми кладезями руды. Возникали, рушились и снова возникали легенды о кладах. Кладов искали все, теперь это были нефть, руда, уголь. Вдруг стало очевидным, что день мал. Его наполнили до отказа работой. Затем завоевали ночи. Но и этого было мало. Мало, нищенски мало для тех дел, которые всем грезились.

Я тоже потерял сон и покой. Я метался по городам, посёлкам, сёлам. Взволнованные, написанные наспех корреспонденции уходили в газету. Я до хрипоты кричал на сельских сходках, защищая колхозы. Я видел, как в одну ночь возникали артели, коммуны, товарищества. Целые цехи, целые заводы вступали в партию. От всех этих поездок у меня осталось впечатление единого всеобщего рывка.

И когда, запылённый, грязный, но счастливый, в сером пыльнике с капюшоном, в сапогах, к которым пристали глина и нежные усики овса, я входил в гулкое здание окружкома комсомола и попадал в пустынные, унылые кабинеты, меня охватывал страх. Страх за них, за себя, за Алёшу. Неужели он не видит, неужели не понимает?

Я пришёл однажды к нему и честно всё выложил. Он плохо слушал меня, нервничал, наконец перебил и начал ругаться.

Он обозвал меня болтуном, склочником, писакой. Он сказал, что, вероятно, мне пришлось по душе его место — место секретаря. Что ж, он уступит! Садись! Пожалуйста!

Мне стало грустно, я встал и тихо спросил:

— Значит, я могу уйти?

Он сразу затих и нахмурился. Всё-таки когда-то мы были друзьями. Он сказал глухо:

— Как хочешь.

Я пожал плечами. Он вдруг вскочил и стремительно протянул мне руку. Я крепко потряс её. Это было наше последнее рукопожатие. Дружба растаяла. Через неделю я уже работал в партийной газете. С Алёшей мы встречались редко.

И когда вчера ночью он пришёл ко мне, я удивился. Он вошёл и, не здороваясь, бросил:

— Сёмчик умирает, — и стал шарить по карманам. — Папиросы, чёрт, где папиросы?

— Сёмчик?

Я стоял, оглушённый этой вестью. Мне представился вдруг рыженький Сёмчик. Он тихо улыбался своей широкой улыбкой, раздвигающей рот до ушей. Я хотел представить его умирающим — ничего не выходило. Сёмчик весело улыбался. Веснушки на его лице блестели, как звёзды.

— Не может быть, — прошептал я.

Алексей протянул мне телефонограмму. Я прочёл: «В Звановке кулаками тяжело ранен милиционер Дробис». Дробис? Кто это — Дробис? Ах, да ведь Сёмчик же и есть Дробис. Но мы всегда звали его просто Сёмчиком.

— Ты... поедешь со мной? — хрипло спросил Алёша.

Поеду ли? Мне захотелось вдруг подойти к Алёше и по-старому, по-дружески обнять его за плечи, сказать: «Ничего, Алёша, наш Сёмчик будет жить!»

Но я не сделал этого, сам не знаю почему. Молча оделся, молча вышел с Алёшей на серую улицу. На конном дворе хрустела солома, пахло навозом и лошадьми. Выяснилось, что кучера нет. Алексей сказал, что поедем верхом. Заспанный конюх вывел коней. Мы поехали.

И вот мы молча скачем по пыльной, изнывающей от зноя степи — Алёша впереди, я — чуть сзади. Мы мрачно молчим. Мы скачем час, другой, третий.

— Голубовские хутора! — кричу я Алёше, увидя впереди голубые глиняные хатки.

Но Алексей гонит коня, не разбирая дороги. Ярость клокочет в нём, я угадываю её и боюсь.

«Наломает он дров!» — озабоченно думал я и с опаской глядел на маузер, болтающийся у него на боку.

Он, не узнавая Голубовских хуторов, пронёсся мимо. Он ничего не узнавая. Полно, та ли это мирная голубая окрестность, по которой в детстве бродил он с Фedyкой Ковбышем в поисках хлеба, работы, удачи? Тот ли это жирный, усыпанный навозом и отороченный золотой соломкой хуторской шлях, по которому ещё неделю назад он тащился, подрёмывая, в исполкомовском тарантасе и мирные добродушные дядьки останавливались на дороге и говорили вслед лениво и ласково: «Та бувайте здоровы, шастлива путь?»

Сейчас окрестность ошетижилась, съежилась, насторожилась. Жара висит над ней, и это не ленивый, благодушный степной зной, что легко ломит кости и клонит ко сну под случайным тополем. Нет, это тяжёлая, как туча, духота, предгрозовая, мрачная. Нет ни облака в нестерпимо чистом небе, и Алексею кажется, что оно упало ему на грудь и давит своей подозрительной, душной голубизной.

Кругом тихо, но это страшная, неправдоподобная тишина. Алексей знает, что враги попрытались в бурьяне, в буераках, в балках, они притихли и ждут, пока свалится Алексей Гайдаш, чтобы и его, как Сёмчика, полоснуть ножом сзади, в спину.

В лицо вдруг хлестнула ветка, но Алёше кажется, что его полоснули шашкой. А! Враги и тут! Ему кажется, что пули свистят над ним, он падает к луке седла. Конь споткнулся о камень, или ему набросили аркан на ноги, перерубили сухожилие? Всюду враги, вражьи ножи, вражьи обрезы.

Алёша мчится сквозь эту ошетилившуюся, злую округу, сквозь колючую степь. Ему хочется стрелять, кричать, жечь. Ярость душит его, и он хлещет коня нагайкой, колотит о впалые бока жеребца каблуками, кричит нетерпеливо и зло:

— Скорей! Скорей!

Я скакал, еле поспевая за ним. Я подпрыгивал в седле и думал: «Успеем ли мы? Застанем ли Сёмчика в живых?» Я не мечтал ни о расправе с убийцами, ни о репрессиях. Мне хотелось только увидеть тихие глаза Сёмчика, пожать ему руку, сказать: «Если тебе суждено умереть, старик, ты умрёшь на руках друзей».

Жизнь разлучила нас. Где теперь Мотя? Он словно провалился со своей лихой тачанкой, и нет о нём ни вести, ни слуха. Где ты, Федя Ковбыш, по каким морям плавают твои лёгкие шхуны? А ты где, Юлька, девушка с каштановой косой? Был слух, что ты вышла замуж. За кого же, раз Рябинин вернулся к нам мрачным холостяком? Где ты, Юлёша? Отзовись!

Так думал я, а степь, по которой мы мчались, отвечала мне грустным эхом. Печально сохли от зноя вербы, придорожный тополь, жёлтый от пыли, задумчиво уступил дорогу моему коню.

Дорога вдруг упала в балку, густую и зелёную. Грустно застыли на деревьях листья, не шелохнутся. Деревья тесно сомкнулись в молчаливый кружок, как старые друзья, вспоминающие погибших. Почти пересохший ручеек печально замер на камнях.

Кони несут нас сквозь балку, сквозь колючую степь; вот косогор, и от туда вдруг открывается Звановка: мирный дымок над трубами, беленькие глиняные хатки, седой очерет на крышах, ленивое стадо на пустынной улице. Здесь лежит в пыли сражённый кулацкой пулей Сёмчик. Я нервни

натягиваю поводья. Алексей вдруг приподымается на стременах и кричит хрипло, простуженно:

— Я сожгу это проклятое село дотла!.. Камня на камне..

И грозит Звановке нагайкой.

Смущённый и словно виноватый старик — сторож сельсовета — сказал нам, что Сёмчика перевезли в районную больницу.

Старик вздыхал, бормотал, растерянно разводил руками.

— Ай, беда яка... Ай, недоглядели... Какой человек был!

Мы поскакали сквозь притихшее, съёжившееся село. Искося я поглядывал на Алёшу. По совести скажу, я боялся, что он выхватит маузер и начнёт перепалку.

У белого здания районной больницы Алексей на всём скаку спрыгнул с лошади. Жив ли ещё Сёмчик? Алексей был уверен, что Сёмчику не окажут нужной помощи. Кто это мог сделать, раз Гайдаша не было?

— Сволочи! — ругался он, привязывая коня. — Где доктор? Где председатель рика? Где райком комсомола? Что здесь творится?

Но когда он на цыпочках вошёл в тихое, словно застывшее здание, его охватил вдруг страх, страх здорового, никогда не болевшего человека перед больницей.

Осторожно ступая, он пошёл по коридору. Пахло карболкой, хлороформом, лекарствами, и от этого с непривычки першило в горле, хотелось кашлять. Но Алёша побоялся кашлянуть: здесь, рядом, лежал Сёмчик. Он робко вошёл в палату. Я за ним. Сёмчик был ещё жив.

Сёмчик был ещё жив, мы увидели это сразу. Его лицо, его глаза жили, его взгляд, сияющий тихой радостью, был обращён к нам.

— Вот мы приехали, Сёмчик, — сказал я. — Вот мы здесь с тобой, старик.

— Да, мы приехали, — подтвердил Алёша. Кашель душил его.

От наших сапог струилась пыль.

Сёмчик улыбнулся нам.

— Больно? — спросил я и пожалел: нет, не следовало спрашивать об этом.

— Нет, не больно, — ответил Сёмчик, мучительно улыбаясь. — Я думал это будет... страшнее...

— Ничего, Сёмчик. Ого! Мы ещё повоюем вместе, старик.

— Ну, разумеется... Я и не собираюсь умирать. Мне... ничего. Вот только курить охота.

— Вам курить нельзя, — поспешно вмешался доктор.

Сёмчик поднял на него печальные глаза и усмехнулся.

— Вредно?

— Да, губельно.

— А если я курить не буду — выживу?

Доктор опустил голову и махнул рукой.

— Курите уж!

Сёмчик медленно перевёл глаза на меня и, слабея, сказал:

— Так ты... принеси мне папирос... дружище...

Он закрыл глаза, казалось, забылся.

Мы молча сидели около него, смотрели в худое, покрывшееся лёгкой синевой лицо. Знали: он умрёт, ничто не может спасти его. Алёша украдкой смахнул слезу, я сделал вид, что не видел её.

Над койкой Сёмчика висела дощечка. Я прочёл: «Дробис Семён Яковлевич. Год рождения 1907». Как мало он жил!

Когда-то, когда он ещё был «курьером комсомола в уездном масштабе», мы подружились с ним. Он ходил в истрёпанной отцовской фуфайке и в обмотках и был счастлив. Никогда он не унывал, жил, как живёт. Желал ли он чего-нибудь? О, разумеется. Он пламенно мечтал по-

лучить в собственное и безраздельное владение отцов наган или по крайней мере браунинг. Ещё чего желал? Пожалуй, больше ничего.

Он лихо бегал с пакетами по городу, стойко голодал, любил крепко отца, брата и всех товарищей комсомольцев, ничего не читал, зато жадно слушал; утром уходил в уком, а ночью, еле волоча от усталости ноги, брёл домой. Спал, широко разметав руки, причмокивая губами и посапывая. Ему всегда снились воинственные сны. Простаивая ночи в чоновском карауле, он мечтал умереть от пули бандитов, защищая революцию. Вот она и нашла его, бандитская пуля.

У него не было никаких талантов, ни знаний, ни стремлений. Его спрашивали:

— Что ты хочешь делать, Сёмчик? Хочешь учиться, стать инженером?

А он отвечал, пожимая плечами:

— Что мне горком скажет, то и буду делать.

У него была только жизнь, он и предлагал её горкому, а тот знал, что делать с ней.

Долгие годы Сёмчик был курьером укома, наконец его решили выдвинуть. Было просто неловко: все растут, а он курьер да курьер. Его избрали секретарём небольшой ячейки, но с этим делом он не справился. О, это была весёлая, даже слишком весёлая, дружная ячейка. Здесь пели лучше всех в городе. Впрочем, здесь только и делали, что пели да маршировали. Зато как пели! Сёмчика пришлось отозвать.

Потом он был агентом по сбору объявлений в газету, наборщиком, помощником заведующего столовой, комендантом общежития, заведующим каким-то складом, уполномоченным по распространению значков Мопра, кладовщиком в пекарне... За всякое дело он брался охотно — ведь это было поручение горкома, — всё он делал старательно, с душой, но... бестолково. Когда он был агентом, ему никак не удавалось добыть объявление. Очень уж у него был несолидный вид: он долго не мог расстаться с обмотками. В общежитии он никак не мог справиться с протекающей крышей. Он не знал, что делать с ней. Пришёл и заявил:

— Крыша меня губит. Снимите с работы.

Алёша, который к этому времени уже был секретарём губкома, не знал, что делать с приятелем. Тот стоял перед ним, невинно и беззаботно улыбаясь, и моргал рыжими ресницами. Алёша сердился.

— Ну, чего, чего ты хочешь, еловая башка? Хочешь, я тебя осенью учиться pošлю?

Сёмчик пожимал плечами — как хотите, но было ясно: с учёбой у него ничего не выйдет.

Алёша соблазнял его блестящими перспективами. Он хотел разбудить в беззаботном приятеле червячка честолюбия. Сам Алёша горел этим великим чувством: его уже звали заведовать отделом в ЦК комсомола, но это было не то, не то. Он лукаво ухмылялся: «Я от масс не уйду» — и ждал.

Но у Сёмчика не было никакого честолюбия. Куда же девать его?

Кончилось тем, что Сёмчика послали милиционером в Звановку. И это неожиданно пришлось ему по душе. С необычайной важностью он носил форму. К нагану он прикрепил плетёнкой кожаный шнурок и прицепил его на пояс. «Чтобы не украли оружие», — важно объяснял он. Он был вполне доволен и гордился своим званием. Разве не вверили ему порядок и покой целого села? Разве не поручили ему бороться со старым врагом — с кулаком и бандитом? Маленький Сёмчик почуял крылья за спиной. В первый раз в жизни он был на своём месте. Он обнаружил наконец свой талант. Никто лучше него не проникал в кулацкие махинации на селе. Он беспощадно вытряхивал зерно из кулацких ям. От него нельзя было ничего утаить. Он словно видел сквозь землю, чуял зерно.

— Здесь зерно. Здесь пахнет зерном,— говорил он, приказывая рыть яму, и находил гниющее зерно.

Кулачьё возненавидело милиционера— он гордился этим.

— Меня, вероятно, скоро убьют,— хвастливо сказал он мне, заехав как-то по делу в город. Да, он гордился, хвастался этим. Это было единственное, чем хвастался он.

Он нашёл её, бандитскую пулю, о которой думал, простаивая ночами в чоновском карауле, и его короткая, как песня, несложная жизнь вдруг наполнилась необычайным смыслом. Он жил, чтобы вот так умереть в бою. И умирает он, как жил,— просто.

Я вдруг почувствовал, что завидую умирающему Сёмчику. Завидую. Он умирает достойной смертью — так и следует умирать комсомольцу. Пошли и мне, судьба, смерть хорошую — смерть в бою от пули врага. Я боялся умереть в постели от болезни, от сырости, от какой-нибудь простуды.

— От гемороя я умру,— вдруг пробурчал Алёша.

Я вздрогнул. Что это? Он думал о том же.

— Что останется от меня? — задумчиво продолжал Алёша.— Был, скажут, парень, жил, заседал и умер своевременно.

И первый раз за долгие годы он спросил себя, как он живёт. Зачем? И ему показалось, что живёт он зря, пусто, бестолково. Он гнал от себя эту мысль, но она его долго не покидала.

На другой день Сёмчик умер. Он умер, так и не докурив пачки «Дели», которую мы принесли ему в больницу. Открытая коробка лежала тут же, на белом больничном столике. В пепельнице стыли унылые окурки. Перед смертью он прошептал нам:

— Скажите всем, всем ребятам-комсомольцам, скажите, что умереть не страшно. Пусть не боятся... если надо будет... умереть...

Потом он стиснул мою руку и прошептал:

— Тсс! Тсс!

Он прислушивался к чему-то... И умер.

Мы решили похоронить Сёмчика в городе, где его знала и любила вся комсомолия. Гроб положили на линейку, и мы медленно поплелись по скверной дороге. Крестьяне Звановки молча провожали нас. Несмотря на дождь, все они были без шапок.

Я сидел рядом с гробом, охватив его руками. На ухабах мы подпрыгивали, я и мёртвый Сёмчик вместе. Алёша верхом ехал рядом. Мы снова были втроём. Грустная серая дорога... Дождь... Туман...

Когда старик хоронит друга, он думает о смерти: скоро ли его черёд? Когда молодой человек стоит над могилой товарища, он думает о жизни: правильно ли, верно ли я живу?

У постели умирающего Сёмчика Алексей спросил себя: «Как я живу? Зачем?» Он убежал тогда от ответа. Потом были хлопоты, похороны.

## 2

Вечером Алёша засел за работу. Его ждали дела, дела, бумаги. Управделами услужливо подвинул кипу папок. Между прочим, была телеграмма из ЦК ЛКСМУ. Срочно вызывали в Харьков.

— Зачем? — удивился Алёша. Ведь он был недавно.— А, делать им нечего! — Он пожал плечами и углубился в работу.

Тревожные вести приходили из районов. Алёша чувствовал: закипает борьба. Какая, с кем? Как бороться? Стрелять, арестовывать, драться? Превратить комсомол в военный отряд, ринуться в бой?

Он встал, начал ходить по комнате. «Вот когда, Алексей,— сказал он себе,— ты бы должен был выдвинуть новый лозунг». Но со смущен-

нием вынужден был признаться, что, кроме сумятицы, вызванной смертью Сёмчика, у него сейчас ничего нет. Всё, что казалось вчера ясным, понятным, простым, сегодня вдруг треснуло и рухнуло с шумом.

Он вдруг вспомнил свой недавний провал в Белокриничной. Как не понял он, что это был тревожный сигнал? Но ведь это было до смерти Сёмчика. Всю свою жизнь он делил теперь на две части. Первая — большая, путаная, суматошная — была до смерти Сёмчика, вторая только началась сейчас.

В Белокриничной он случайно зашёл на комсомольское техническое совещание. Ему встретился Павлик, и он дружески обнял его. Это была хорошая встреча — все комсомольцы видели: секретарь окружка имеет личных друзей на заводе.

К удивлению Алёши, скромного Павлика избрали председателем. Алёша обрадовался: наши идут в гору.

Павлик был таким же, как и раньше, — нескладным, угловатым парнем, с большими руками, он не знал, куда девать их, смущённо вертел звонок.

Разговор на совещании шёл о производственных делах. Алёша внимательно вслушивался, одобрительно качал головой. Вдруг он поймал себя на том, что он, собственно, не понимает, о чём идёт речь. Начал вслушиваться ещё напряжённее, мучительнее. Он разбирал слова, простые, русские. Но сущность спора — а уже поднялся спор — понять не мог. Речь шла, очевидно, о том, как наладить технологический процесс в связи с переходом на непрерывку. Это-то уловил Алексей, но больше ничего. Это не было удивительным — он имел о производстве смутное представление, — но это было обидно. Как! Он ведь сам был когда-то рабочим парнем, нарезал болты на плохом станочке, ходил в промасленной блузе. Наконец, он был секретарём самой индустриальной организации Украины, на съездах он так часто кричал о рабочем котле, говорил от имени «молодых кротов» Донбасса, употреблял в речах заводские словечки.

Это было страшно: он сидел на стуле, съёжившись, и, тоскуя, смотрел в окно.

Вдруг секретарь райкома комсомола (подхалим, дурак, снять его надо к чёрту!) предложил выслушать мнение товарища Гайдаша.

Все закричали: «Просим, просим!»

Павлик смущённо топтался на месте, улыбался, спрашивал:

— Так как, дать вам слово, товарищ Гайдаш?

«Зачем он мне говорит «вы»?» — поморщился Алёша.

Что же он скажет им? Что он может сказать? Его слушали сухо, потом просто равнодушно, кашляли, шептались. Кое-как он кончил речь. Секретарь райкома зааплодировал. Ещё кто-то. В общем, это был провал.

Алексей сел на своё место и сжался. Ему хотелось уйти, провалиться сквозь землю. Вместо этого он должен был сидеть и слушать. Слушать и не понимать.

Кто-то закричал:

— Павлик! Скажи ты! Как ты думаешь?

И все подхватили:

— Павлик! Павлик!

И сразу стихли, когда Павлик, смущённо откашлявшись, начал говорить. Он говорил сначала тихо, путаясь в словах, потом всё увереннее, громче, он рос на глазах Алёши. Удивительная ясность была в речи молодого слесаря. Завод дышал в его словах мерно и непрерывно, бесперебойно работали цехи. Гудели воздуходувки, шли хопперы с рудой к донам, катали бежали за вагонетками, сталевары стояли у печей... Это был слаженный механизм, действующий мерно, ровно и бесперебойно.

Павлику горячо аплодировали. Старик-инженер, пришедший к комсомольцам в гости, тихо прошептал:

— Умница!

Алёша услышал это.

Тихонько он вышел из клуба. Побрёл по улице — нервно грыз папиросу. Что он чувствовал тогда? Досаду, только досаду. Но утром он всё забыл. Это было до смерти Сёмчика.

Теперь он переживал всё это снова, но во много раз острее, больнее. Он вдруг вспомнил Глеба Кружана — секретаря горкома комсомола, которого он, Алексей, «свергал» семь лет назад. Очевидно, и Кружан метался тогда так по комнате и не понимал, за что поднялась на него вся организация, что происходит там, на заводах, в ячейках, почему он отстал, сбился, напутал...

Тогда Алексей плыл на гребне волны, юный, свежий, сильный пловец. Неужели он так сдал за эти семь лет?

Что же происходило там, за этими широкими окнами? Ему вдруг захотелось броситься к окну, вышибить стёкла, схватить и потрясти раму. Ну! Что там? А?

Он нервничал и злился. Он досадовал на себя за то, что не может разобраться, понять, что происходит у него в округе, в стране, в мире. Он искал и находил себе тысячу оправданий, но они не успокаивали его. В конечном счёте он не виноват, что живёт скверной, небритой, бестолковой жизнью, вечно в работе, в сутолоке, в суете. Подумать некогда, почитать не успеваешь. Ворох газет пылится на диване дома.

— Как я живу? — громко спросил он себя и почесал небритую щёку. Вопрос, родившийся впервые у постели умирающего Сёмчика, снова стоял перед ним во весь рост. — Как я живу? Зачем?

В его возрасте человека называют юношей. «Молодой человек! — говорят ему жёлчные старики в трамвае и обиженно оттопыривают нижнюю губу. — Молодой человек, потрудитесь-ка уступить место». Девушки краснеют при его появлении. Никто ещё не знает его отчества. В газетных статьях его называют уменьшительным именем. Все подозревают в нём футболиста и удивляются, если он не бежит на лыжах.

В этом возрасте любят, мучатся, мечтают. Весной — о девушках, летом — о дорожной котомке, осенью — о командировке в вуз и призыве в армию.

В этом возрасте спать ложатся поздно, бродят, обняв за плечи девушек, разговаривают смеясь и вполголоса. Жизнь кажется лёгкой, розовой, она расстилается, как дорога, всё вверх, вверх, вверх.

Алексей Гайдаш был юношей. Ему шёл двадцать второй год. Девушки краснели при его появлении, в газетных статьях его ещё называли Алёшей.

Но ему казалось, что он прожил долгую, трудную жизнь. Он чувствовал себя усталым и старым. Века стояли за его спиной. Да и был ли он когда-нибудь молодым?

Любил ли он когда-нибудь девушек? Да, но тоже не так, как следует юноше. Насколько он вспоминает сейчас, он никогда ни одной из них не говорил о любви. Он не бродил с ними по улицам, не целовался у ворот. Он говорил им небрежно:

— Приходи сегодня вечером.

И они приходили, робкие, покорные, согласные на всё. Они мастерили ему чай, резали хлеб, колбасу, вероятно, они всё-таки любили его.

Он относился к ним небрежно-нисходительно. И в этой небрежности были и кокетство, и ласка, и, если хотите, даже романтика: я человек деловой, и любовь у меня походная, боевая, случайная. Главное — работа.

Да, главное — работа. Разве он отдыхал? Его лицо посерело, он много курил (заседания!), много работал, много заседал. Он редко бывал в

парке. Попав сюда, он брёл по похрустывающим дорожкам, важный, сосредоточенный. Очевидно, со стороны казалось, что он погружён в думы; комсомольцы, вероятно, шептались между собой: «Наш секретарь-то и тут свои планы планирует». Но ни о чём важном он не думал. Он просто скучал, скучал, как щенок. Скучал потому, что не умел отдыхать. Потому, что разучился петь во всё горло. Потому, что было неловко, несолидно итти по парку, как все, расстегнувшись, улыбаясь девушкам, болтая с парнями.

Иногда ему хотелось попросту подойти к девушке, сказать, что она ему нравится, спросить, что у неё за книжка в руках. Он подходил, девушка смущалась, он тоже смущался, на них смотрели — или ему казалось, что на них смотрят, — он снисходительно спрашивал о пустяках. Она, краснея, отвечала. Неловко молчали. Потом он уходил. И опять брёл один или с шумной гурьбой активистов, жадно втягивал воздух, всей грудью — раз, ещё раз, — вместе с воздухом вдыхал пыль, песок хрустел на зубах, он сердито сплёвывал. Нет, надо было сходить на реку. Как давно он собирался туда! И не был? В этом году не был. Некогда.

И в теннис научиться некогда. И на лыжах он не умеет ходить. Некогда. И на коньках не умеет бегать. Некогда? Нет, просто в своё время не научился, а теперь неудобно. Секретарь окружкома и вдруг пойдёт по голубой ледяной дорожке, неловко ковыляя и падая на каждом шагу.

Однажды после долгого и дымного ночного заседания Алёша вдруг предложил активистам, задумчиво оглядывая их серые, усталые лица:

— А почему бы нам, друзья, не заняться спортом?

Все захотели. Это было смешно. В окружкоме и вдруг сокольская гимнастика. Подскок, руки на бёдра, раз, два, три, четыре...

— Ну, тогда футбол или теннис? — нерешительно спросил Алёша. Он сам не был уверен, нужно ли, можно ли это.

Ему ответил агитпроп:

— Что касается меня, то я для своей головы найду занятие поинтереснее, чем стучать её о мяч.

Больше о спорте в окружкоме не говорили. Было не до спорта, не до стдыха, не до учёбы. Юности не было — была комитетская бестолочь, сутолока, суета, и Алёша любил говаривать: «Эх, не жизнь, а сплошное заседание».

Он был всегда в деле, в драке, в борьбе. По всей Украине его знали как дельного секретаря комитета.

— Деляга! — восхищённо говорили о нём в центре.

Он шумел на съездах. Был мастером комсомольских склок, блоков, съездовских коалиций. Он объединялся с днепропетровцами против харьковчан или Киева. К ним приставала Одесса. Они проводили свой состав Цека, проваливали кандидатуры «противников», горячились, спорили. Нужно ли это было для дела? Над этим не задумывался Алексей. Борьба была его стихией. Какая борьба — всё равно. Другой жизни у него не было. Но сегодня, туманным вечером, после похорон Сёмчика, наедине с собой в гулком пустом кабинете, перед пожелтевшими фотографиями старых съездов и пленумов, Алексей вдруг признался себе:

— Откровенно, между нами, девушками, говоря, Алексей, ведь это всё мышиная возня. Твоя работа, твоя борьба, твоя жизнь.

Что? Он сказал это? Вслух? Его нервы совсем развинтились. Он скрипит, как несмазанный механизм. Вот он стоит и болтает глупости перед померкшими фотографиями. Кто выдумал этот дурацкий, смешной обычай — развешивать на стенах фотографии давно забытых пленумов? Ах, отдохнуть бы! Выспаться! Вырваться из бумажного потока на свежий воздух, глотнуть его — какой он? Солёный, крепкий, свежий? Посмотреть, как живут люди... Подумать...

Ночью он выехал в Цека.

Ростовский ускоренный пришёл в Харьков во-время, молодецкато брякнули буфера, замерли.

Алёша выскочил из вагона и — ослеп. Луч солнца вырвался откуда-то из-за перрона, пробил стеклянную крышу и, озоруя, ударил в глаза. Красные, жёлтые, зелёные, синие брызги, круги, шары запрыгали перед Алёшей.

Солнечные пятна рябили перрон. Железные стропила, фонари, крыши стали лёгкими, воздушными. Весело дрожали тени железных решёток. Солнечные зайчики прыгали по зелёным вагонам, горели на медных бляхах носильщиков, на никелированных ручках чемоданов, на портфелях. Перрон качало, линии ломались, дрожали. Сквозь решётки и стропила на перрон, как листья, падали узорные пятна света. Это был солнечный листопад, июльская утренняя кутерьма, зорька вдруг помолодевшего вокзала, изобилие света и теней.

Странное дело, отчего Алексею стало легко и весело? Словно не было похорон, вчерашнего тяжёлого вечера в пустом кабинете. Он сверил свои часы с вокзальными. Было удивительно их трогательное единодушие. Почему это так обрадовало Алёшу? Он сам удивился этому. Почему он так радовался солнцу, праздничному перрону, девушке в вышитой васильками украинской сорочке, улыбнувшейся ему? Просто он хорошо выспался ночью в поезде. Весело помахивая портфелем, он шёл сквозь длинный перрон, насвистывал, дразнил портфелем собственную тень. Нечаянно толкнул кого-то, вежливо извинился... Солнечные пятна дрожали на его синем костюме, на жёлтых туфлях, на замке портфеля. Хотелось школьничать, прыгать, петь.

Вдруг ему показалось, что кто-то следит за ним. Он резко обернулся. Невысокий молодой человек в роговых очках и сиреновом прорезиненном плаще неотступно следовал за ним, пытаясь заглянуть ему в лицо. Алёша круто остановился.

— Вам что-нибудь нужно от меня? — спросил он в упор.

Молодой человек улыбнулся, снял роговые очки — теперь он был ещё моложе.

— Вы Алексей Гайдаш? Не ошибся?

— Да. Я Гайдаш. Ну?

— Вы меня не помните? Разумеется. Не помните. Назвать себя? Вы всё равно не вспомните. Не старайтесь. Ершов моя фамилия. Нет? Не вспомнили? Я так и знал. — Он весело рассмеялся. — Ведь через ваши руки нас прошло так много. Разве упомнишь всех? А я вас узнал. Сразу узнал. Но сомневался. Нет, это вы, Алексей Гайдаш. Я рад...

— Ершов? Фу, чёрт, ей-богу, не припомню...

— И не старайтесь! Не старайтесь! — почему-то обрадовался Ершов. — А я вас увидел ещё в поезде. Но сомневался. И не рискнул подойти.

— Почему же? Я не кусаюсь. Но что же мы стоим, товарищ Ершов? Пойдём.

Они прошли сияющим перроном, вышли на площадь. Алёша искоса глядел на Ершова. Нет, не может он его вспомнить. Даже неловко...

— Давно я не видел тебя, товарищ Гайдаш. Сколько же? Ну да, шесть лет. Ведь ты меня на учёбу посылал. Ну, вот, — Ершов сконфужено улыбнулся, — я не подвёл тебя. Я химик. Инженер. Недавно кончил. Уже работаю. Если ты, конечно, интересуешься этим.

— А! Как же! Как же!

Они зашли в кафе выпить по чашке кофе. Весело болтали. Ершов ни за что не хотел позволить Алёше уплатить. Они долго спорили. Ершов

настоял на своём. Тогда Алексей потребовал пива. Они торопливо подливали друг другу в бокалы, пена выплёскивалась на столик, на холодное стекло, они высоко подымали бокалы, вставали и чокались.

— За расцвет нашей химии! — провозглашал Алёша, и химик благодарно звенел своим бокалом об алёшин бокал.

— За твои успехи, товарищ Гайдаш!

Они пили холодное пиво в пустынном утреннем кафе. Кроме них, никого не было. Официантка с любопытством смотрела на двух торжественно чокающихся людей.

«Вот он — мой химик, мой! — весело думал Алёша. — Даром я жил на свете? Даром ел советский хлеб? Вот я воспитал человека. Он мой химик, мой».

И он нежно, отечески смотрел на Ершова. Они вышли вместе. На Павловской площади тепло простились, долго жали друг другу руки и наконец расстались, условившись вечером встретиться в ресторане. Алёша пошёл в Цека. Он шёл, высоко поднимая голову и улыбаясь. Шёл и пел. Вот он расскажет сейчас ребятам об этой замечательной встрече. Наша награда, скажет он, награда нам, комсомольским лошадам, — вот эти люди, которых мы воспитали и вывели на широкую дорогу. И он напевал: «Человек сам себе награ-а-а-да-а-а, если только умеешь жить. Хочешь быть человеком, что на-а-а-до-о-о, и не знаешь, сумеешь ли быть... и не знаешь, сумеешь ли быть... И не знаешь...»

В Цека его встретили странно, так по крайней мере показалось Алёше.

Инструкторы, у которых он спрашивал, зачем его вызвали, разводили руками.

— Иди к секретарю. Он вызывал.

— Совещание, что ли, какое? — сердился Алёша.

Но они только пожимали плечами в ответ. Алёша пошёл к секретарю. За его спиной подымались приглушённые разговоры, он слышал какие-то обрывки их, но ничего не мог понять.

Он вошёл к секретарю Цека.

— Я приехал. Ну?

Секретарь поднял голову и улыбнулся.

— А, приехал! Ну, садись. Кури!

Вечером усталый Алёша зашёл в ресторан поужинать. Он не обедал, был голоден и мрачен. Вдруг он увидел своего утреннего приятеля — Ершова. Как некстати была эта встреча! Алексей пошёл было к выходу, но Ершов уже радостно окликнул его. Пришлось остаться. Алексей с тоской подумал, что сейчас хорошо бы побыть одному, пить пиво где-нибудь в сырой пивной, слушать хриплый баян, жевать мокрый горошек...

«Преуспевающий очкарь!» — с неожиданной ненавистью подумал он о химике, мелкими шажками бежавшем к нему.

А Ершов, не подозревая, что вечерний Гайдаш уже не тот, что Гайдаш утренний, радостно спешил навстречу. Очки блестели. Галстук сбился набок.

— Привет! Привет! — дружелюбно выкрикивал он. — Я нашёл чудесный столик у стены. Мы роскошно поужинаем и прекрасно закончим отличный день. Да-а, денёк, денёк...

Он потащил Алёшу к столику, суетясь, заказал ужин, побежал в буфет, вернулся; он был возбуждён, чем-то сильно обрадован и не замечал мрачной молчаливости Алёши. Он один болтал без умолку, перескакивая с предмета на предмет, неумело пыхтя папиросой, которая то и дело истухала, чиркал спичкой и снова говорил, говорил... О том, как его прекрасно встретили в главке и как интересовались его проектом, какие чудесные перспективы открываются перед советской химией и перед заво-

дом, который он, Василий Ершов, будет строить. Какой, в сущности, замечательный денёк сегодня! Началось с того, что утром, на вокзале, случайно он встретил человека, который принимал его в комсомол, посылал на учёбу, о встрече с которым он мечтал все студенческие годы, и вот день кончился, уже темно за окном, звенят трамваи, шумит столица, поют скрипки, блестя люстры, а они с этим человеком сидят в шумном, весёлом ресторане, курят, пьют, чокаются, говорят о будущем завода, страны, об их собственном будущем.

Будущее? Алёша с шумом поставил стакан на стол.

«Будущее? Что ты понимаешь в нём, щенок?»

Он ненавидел сейчас химию, этого восторженного розового поросёнка. Чему он радуется? Что ему повезло сегодня. Его прекрасно приняли в главке? Сегодня ласково встретили, завтра прогонят в шею... Вот он воспитал этого человека, вывел в люди, сделал комсомольцем, учёным-химиком... Он дал ему всё: путёвку в вуз, стипендию, общежитие, возможность учиться, читать, расти. И он спокойно учился, этот беззаботный очкарь, перебирал формулы, играл ими, как ребёнок разноцветными шарами. А Алёша в это время, не разгибая спины, позабыв о сне и отдыхе, трудился над воспитанием и продвижением вверх сотен других таких же. О, конечно, Алексей не научился читать синие чертежи машин. В голубых жилках на кальке он, увы, ничего не смыслит. Он не построил завода аммиака и нашатырного спирта. И даже плохой кирпичной трубы ему не выложить. Даже бани. Даже сарая. Он не учился в университете, простите это ему великодушно. Учились другие, а он занимался в это время пустым, зряшным делом: воспитывал молодых большевиков. Что же, казните его за это! Ругайте! Смейтесь! Он сам над собой смеётся. Дурак! Дурак! Ты не сделал карьеры! Так, кажется, это принято называть. А Ершов сделал, умница, молодец, слава ему...

— Карьерист ты, карьерист, шкура!

— Я карьерист? Я? — смешался Ершов. Его очки вдруг запотели. Он снял их и начал протирать дрожащими пальцами. Теперь, без очков, смущённый, растерянный, с капельками пота на розовом лбу, он был похож на ребёнка, обиженного до слёз. — Я карьерист? — спрашивал он тонким, дрожащим голосом.

Алёша ненавидел его сейчас. За что ему такая удача? Комсомол выучил его, вывел в люди, а он, что он дал комсомолу? О, конечно, химик ответит сейчас, что он даст в будущем, он построит заводы, индустрию, лаборатории... А вот Алёша всё отдал комсомолу, и не «в будущем», а сейчас. Он отдал комсомолу свою молодость, здоровье, силу и ясные дни, в которые он не видел ни солнца, ни реки, ни леса, и лунные ночи, в которые он не знал ни любви, ни сна, ни счастья, а только заседания, бумаги, дела. Он отдал комсомолу самые лучшие дни своей жизни — разве вернёшь их? А что он получил взамен? Что ждёт его в будущем? В будущем, о котором так сладко вопит очкарь? Ничего. Кто он теперь? Бывший секретарь губкома, окружкома многих созывов, бывший. Куда он пойдёт сейчас? О, он не учился в эти годы, как другие. У него нет знаний, специальности, профессии, талантов. Его профессия — руководить комсомольцами. Его талант — воспитывать людей. Но сегодня его прижали негодным для этого дела, его вышвырнули, как щенка, как выжатый лимон, как ветошь. Что ж ему делать теперь? Заведовать баней? Итти чистить ботинки? Конечно, он не пропадёт, не таковский. Он тоже может пойти учиться. Станет желторотым студентом. Пять лет будет долбить формулы. И когда одолеет их наконец — придёт на поклон к Ершову, тому самому, которого принимал в комсомол. Ершов будет уже старым инженером, спецом. «Молодой человек, — скажет он Гайдашу, — нам нужна практика». О! Кто вернёт Алексею потерянные годы!!

Ершов стоял перед ним взлохмаченный, потный. На его глазах дрожали слезинки, лицо было красно.

Он не понимал, за что обругал его Гайдаш, за что он назвал его «шкурой», самым обидным для комсомольца словом. Шкура! Её никогда не щадил Ершов. Увы, ему не пришлось дырять её на фронте, он был мал тогда, но и Гайдаш был молод. Зато в институте он не щадил себя. Парень, никогда не учившийся раньше, до всего дошедший самоучкой, он с трудом одолевал науку. Как он учился! Как голодал! Это знает только он: никому он никогда не жаловался. Чтобы не помереть с голоду, ходил на товарную станцию грузить вагоны. У него небогатые мускулы, случалось, он падал под мешками. Кто знал об этом? Харкающего кровью, его унесли как-то с лекции. Он очнулся в больнице. Первое, что он попросил: «Принесите книги». Он хотел учиться; жадно, с мужицкой лихорадочной страстью он приобретал, копил знания. Уязвимый со всех сторон, воевал с закованными в латы науки консерваторами. Он мечтал скорее кончить вуз, броситься в работу, строить, делать, создавать — химия нужна стране. Однажды старик-профессор, который любил и выделял Ершова среди вихрастой студенческой массы, поделился с ним своей идеей. Два года они с профессором в тайне от всех работали в лаборатории. То были годы сомнений, неудач, тревог, обманутых ожиданий. Однажды, после одной решающей неудачи, старик не выдержал и разрыдался. «Мне осталось немного жить, — говорил он ученику, — зачем я жил? Я умру, не решив задачи». Тщедушный Ершов утешал его: «К сожалению, мы с вами глубоко штатские люди, Константин Васильевич. Солдаты рассуждают не так. Они умирают, но не сдаются». И вот сегодня, когда они победили, он, комсомолец, и старик-профессор, когда их идея признана, для них будут строить завод, когда их труд увенчался таким успехом, его вдруг обругали карьеристом и шкурой. И это сказал ему человек, которого он искал и наконец нашёл, чтобы с радостью и гордостью отрапортовать, как командиру: «Вы послали меня учиться — я выучился. Это было трудно, чертовски трудно. Но вот я победил. Я рад сказать вам об этом, ребята».

Задыхаясь, он говорил всё это Гайдашу. Они говорили оба, вместе, всё повышая голос, не слушая, не понимая друг друга. Они говорили на разных языках, но это был один язык — язык обиды.

Вдруг они разом оборвали спор, поняв, что говорить не о чем, залпом допили бокалы, молча рассчитались, каждый шепетильно, до копейки, оплатил половину счёта, и, не простившись, разошлись чужими людьми.

Алёша вернулся в пустой и неудобный номер гостиницы. Он долго шагал по ковру, вспоминал, переживал свою сегодняшнюю беседу с секретарём Цекамола, разговаривал сам с собой, пробовал петь. Бросился на диван, хотел уснуть — не мог. Снова вскочил, стал смотреть в окно — оно выходило в тёмный и пустой двор. Со всех сторон к окну надвинулись мрачные громады домов. Вернулся к столу. Сел. Взял телефонную трубку. Кому бы позвонить? Подумал. Опустил трубку. Звонить было некому. Раньше, бывало, чуть он только приедет в столицу, телефон в его номере начинает звонить беспрерывно. Находятся друзья, знакомые, девушки. Кому-то он нужен по делу, кто-то хочет зайти потолковать, третий зовёт на вечеринку, в театр, в кино, четвёртый просто хочет зайти пожать руку, поболтать. Сейчас телефон молчал. Один только раз вдруг брякнул звонок. Алёша бросился к трубке.

— Слушаю! — нетерпеливо закричал он.

— Проверка, — равнодушно ответил ему чужой голос.

Больше телефон не звонил. Откуда они узнали, думал Алексей о друзьях, о том, что случилось с ним в Цекамоле сегодня? Неужели уже все говорят об этом в городе? Как быстро исчезают друзья у человека.

Он больше не мог оставаться дома. Его тянуло на улицу, к людям. Одиночество пугало его. Это хуже, чем смерть.

Он выскочил на улицу и пошёл куда глаза глядят. Он толкался среди людей. Вскakiвал в трамвай, куда-то ехал, и там, где сходило больше народу, зачем-то сходил и он. Он отдавался людскому потоку, и его волочило по улицам, вышвыривало на площади, втискивало в сады, скверы, прижимало к стенам. Как странно, что он не встретил ни одного знакомого. Раньше они попадались на каждом шагу. Наконец он устал. В какой-то дымной, полутёмной пивной, похожей на баню, он отдал якорь. Холодное пиво успокоило его. Он стал разглядывать людей, стены, столики.

За соседним столиком шумела какая-то весёлая компания. По развязному поведению её, по клетчатым бриджам и претенциозным костюмам, по специфическим остротам и словечкам, наконец, по их обращению с официантом Алексей сразу узнал в них киношников или журналистов — категории людей, которые он всегда ненавидел. Это были люди другого, нежели он, мира. Он испытывал к ним открытое недоброжелательство и затаённую зависть. Эти шумные, беспечные люди ни за что не отвечали, им всё прощалось, они пили пиво, высоко подымая пенящиеся кружки, кричали «прозит!» и чувствовали себя здесь, в пивной, на Екатеринославской, словно в мюнхенском гофманском кабаке; им казалось, что они, как герои Гофмана, сидят на пивных бочонках, они кричали, пели и смеялись, как следовало богеме. Знали ли они железные слова: «организация», «дисциплина», «выдержка»? Алёша выпил залпом кружку, отёр горячие губы и вдруг спросил ещё пива.

— Алёша? Алёша! Ты ли? — раздался вдруг радостный голос, и к нему на шею бросился человек. Алёша успел узнать в нём Вальку Бакинского.

Валька был в ковбойской рубашке, в серых бриджах и гетрах, он был из компании киношников, и первое, что он сделал, потащил к ним Алёшу.

— Друзья! — торжественно произнёс он и поднял кружку. — Вот мой товарищ Алексей Гайдаш. Я не видел его шесть лет. Но я заявляю всем, имеющим уши, что это лучший человек в мире. И если кто оспаривает это или не соглашается, тот мне не друг, и я попрошу его покинуть наше общество.

Но все закричали, что они горячо убеждены в том, что неизвестный им Алексей Гайдаш — лучший парень в мире, раз он друг такого парня, как Валька Бакинский; все стали чокаяться, пить, разом разговаривать, шуметь, петь... Кислый чад, дым, испарения подымались к низко нависшему потолку. В этом дыму мелькали лица, кружки, столики, и Алексей почувствовал, что всё это нравится ему, всё ему приятно — и люди (киношники), и пиво (холодное, Новой Баварии), и сам он, размякший, распутившийся, как студень, на стуле, подобревший и повеселевший, нравился себе. Всё закрутилось, поплыло перед глазами, тёплое, мягкое, доброе.

Из пивной ушли поздно. Валька пошёл провожать Алёшу. Как всегда, говорил он один, Алёша молча слушал и жадно вдыхал холодный воздух ночи, он трезвел на улице.

Бакинский уже шесть лет болтался в столице. Он приехал сюда, как Растиньяк, завоевателем, а стал обывателем. Как и у Растиньяка, у него было мало денег, зато много талантов. Но много талантов — это ни одного таланта. В этом скоро должен был убедиться Бакинский, но человека можно было убедить в чём угодно, но только не в том, что он бездарен. На место каждой разбитой иллюзии немедленно подымалась новая.

Раньше всего Бакинский попробовал себя на сцене. Ещё в детстве Алёша прозвал его «актёром». Но актёр из него не вышел.

— Я не могу изображать чужие чувства,— говорил он,— когда у меня вот здесь,— он показывал на левую сторону груди,— здесь кипят свои чувства, более богатые, нежели у пошлых персонажей.

Но это была эффектная отговорка, их много было у Бакинского. Одни и те же для всех случаев, они помогали ему беспечно жить, надеяться и даже внушать своим знакомым веру в себя. На самом деле он ушёл со сцены потому, что не хотел работать; он ждал, что его чудесный талант повергнет и режиссуру и зрителей в священный трепет, но режиссёр, признавший, что в Бакинском «кое-что» есть, заставлял его учиться дикции, ритму, пластике, движениям. Бакинский обещал.

Ему показалось, что он умеет рисовать. Часто в восторге он замирал на улице. Паровозный дымок над вокзалом, уголок городского сада, клён, вырвавшийся из чугунной решётки, огни большого города сводили его с ума. Это надо было зарисовать немедленно, тут же. Сельские пейзажи были чужды ему. Он был городской человек до мозга костей, с ног до головы. О степи он писал: «Я брежу по зелёным мостовым», и ветер он называл «стремительным, как трамвай». В восторге он останавливался перед сосульками на водосточном жёлобе. Как это можно нарисовать! Весна в городе, весна, стеснённая площадями и водосточными трубами. Капель падает с крыш. Дворники сгоняют снег мётлами. Дворник, торжествуя, делает весну в городе.

Он любил город. Чем он был шумнее, тем лучше. Сутолока, бестолочь, пестрота большого города владели им. Он хотел рисовать, писать это широко, размашисто — красные, белые, синие пятна, созвездия пятен, бестолочь пятен, музыка пятен.

Он не владел рисунком. Карандаш был непослушен ему. Он мазал широкой кистью. Одни называли его урбанистом, другие — бездарью. Во всяком случае о нём говорили. Следовательно, он был художником. Он мечтал уже о собственной мастерской.

Вдруг картины перестали писаться. Целыми днями просиживал Бакинский перед загрунтованным холстом, курил, нервничал и не мог писать. По неровной, серой поверхности холста проносились какие-то неясные тени, смутные видения картин, призраки образов. Бакинский пробовал задержать их на полотне, приковать кистью, воплотить в материальные формы — ничего не получалось. В отчаянии он бросал палитру, бродил по улицам — и тогда картины, одна полноценнее другой, возникали в его разгорячённом воображении. Он прибегал домой, бросался к холсту, хватал кисти и... иссякал. Что-то корявое, неуверенное, непохожее появлялось на проклятом холсте.

Тогда он придумал отговорку: «Я ношу картины и образы в душе, разве я могу предать их гласности?»

Забросил живопись и успокоился.

Он попробовал писать стихи. Несколько первых эффектных безделушек его появилось в харьковской печати и понравилось. Он начал писать много, но всё пустяки — он подарил всех знакомых девушек стихами, посвящёнными им. Он даже стал говорить стихами. Он сочинял поэму по поводу шницеля, поданного к столу, собаки, найденной приятелем на улице, анекдота, рассказанного за кулисами в шумной актёрской компании. Эти шуточные поэмы добросовестно выучивались приятелями, становились крылатыми, создавали Бакинскому в маленьком мире славу большого поэта. Кто-то прозвал его харьковским Франсуа Вийоном. Чтобы поддержать это имя, Бакинскому пришлось устроить несколько скандалов в ресторане, переночевать в милиции и сдружиться с проститутками Екатеринославской улицы.

Но когда он попробовал написать серьёзные вещи, произошло то же, что с живописью! Девственно чистый лист бумаги долго лежал перед ним

на столе, пока не покрывался пеплом папирос, чёртиками и закорючками. Писать было не о чем. Напрасно копался он в своей душе, в воспоминаниях, в биографии. Странную пустоту ощущал он в себе. Он был прозрачно-стеклянным, как стакан, в который забыли налить жидкость. Оставалось придумать очередную отговорку: «Я поэт в жизни, а не в переплётё» — и приступить к новым поискам. Слишком много талантов было у него, трудно было среди них найти один настоящий.

Литературные друзья любили околачиваться около него. Он был начинён сюжетами, трюками, выдумками. Этим сюжетам не хватало плоти и мяса, им суждено было навеки остаться бесплотными и нематериализованными. Друзья выпрашивали у него сюжетцы, и он охотно дарил их, щедрый, как всякий бедняк.

Свои стихи не выходили, а к поэзии он пристрастился. Тогда он стал читать чужие стихи с эстрады. Тем более, что с деньгами было туго. Он читал стихи своих приятелей, но это не нравилось публике. Она требовала классику и Безыменского. Он любил те стихи, которые совпадали с его настроениями, меняющимися, как погода в мае. Самое замечательное произведение искусства может оставить тебя равнодушным, если ты настроен не в лад с ним, не на одной волне. Счастливо влюблённый никогда не поймёт горьких стихов Катулла. Сейчас Валька любил лиловые стихи. Это тебе непонятно, Алёша? Как же объяснить? Это очень сложно и очень просто. Понимаешь, мир для человека окрашивается по-разному. Вот у тебя, очевидно, всё окрашено в красный колер (Валька снисходительно усмехнулся). У меня бывают то голубые настроения (обычно в июне), то сиреневые, то розовые. Но преобладает лиловое. Лиловые сумерки большого города. Встречи в парках. Лиловый свет заполняет маленькую комнатку. Пахнет тонкими духами, мягким женским бельём, надушёнными цветами... Тёплые девичьи руки, полущёпот, полустихи, полубред...

Чем он жил всё это время? Были ли у него деньги, откуда? По совести, он сам не знал этого. Он что-то писал в газетах, какие-то статьи, рецензии, мелочишку, что-то делал на радио, какие-то инсценировки, оратории, монологи, чем-то промышлял в кино. Об этом он говорил глухо, ему не хотелось признаваться ни перед Алёшей, ни перед самим собой, что он стал просто халтурщиком, ремесленником, зарабатывающим себе на пропитание сдельной работой в искусстве. Блестящие перспективы не покидали его. Теперь он решил стать сценаристом. Но он был уже сильно потрёпан жизнью. Он выглядел значительно старше своих лет. Энтузиазм, восторг, любовь, ненависть — всё это были лишь ходовые слова, Валька давно научился смеяться над ними.

Алёша молча слушал признания друга. Друга? Как давно они не делились. Они разошлись ещё тогда, в двадцать втором году, когда Алёша стал комсомольцем. Он живо вспомнил последнюю встречу с Бакинским. Валька, в знаменитой зелёной толстовке с бантом, шёл по улице, две девушки были с ним — Марина и Тася. Тася! Алёша, усмехнувшись, вспомнил свою первую, смешную любовь. Они остановили Алёшу и весело позвали с собой на вечеринку. Он сказал им, что стал комсомольцем. Как ужаснулись они! Как смешно перепугались! Валька стал отговаривать его, будто можно было его, парня с Заводской улицы, отговорить от комсомола. Что он говорил тогда? Что-то о свободной личности, о насильственной дисциплине, о том, что в комсомоле — разврат (ах, целомудренный Валька!), и ещё о том, что вокруг бродят бандиты и неизвестно, устоит или нет советская власть. Устояла?

Ему вдруг захотелось спросить об этом Вальку, поддразнить его. Он, вероятно, и сейчас не в комсомоле.

Как странно вновь скрещиваются пути маленькой группы ребят — детворы с Заводской улицы! Алексей вспомнил Павлика, Серёжу, Мотю. Где-то теперь Мотя? Потом вспомнился умирающий Сёмчик. Алёша нахмурился. Вальку он больше не слушал и не спрашивал ни о чём.

Так подошли они к гостинице, поднялись в номер; Валька потребовал водки, сбегал в ресторан и сам принёс её. Сели пить.

— А ты напрасно думаешь, Алёша, что я конченный человек, — вдруг сказал Бакинский.

— Вот новостий! Я не думаю этого.

— Нет, думаешь. Многие думают так про меня. Я знаю. Но я-то знаю себя лучше вас. Я знаю, на что способен. Обо мне ещё заговорят.

И он снова стал говорить о себе. Это была единственная тема, на которую он мог говорить, — так было и восемь лет назад. Неудачи? Да, он потерпел немало неудач. Он перепробовал себя во многих профессиях. Не его вина, если эти профессии оказались слишком узки для него. Что же! Не вышел из него художник — тем хуже для живописи. Какого человека она лишила! Он чувствует в себе силы, огромные силы. Их даже слишком много для одного человека. Он не знает ещё, куда приложить их. Последнее время он много занимается политикой. Это не должно удивлять тебя, Алёша. Но политика всегда была любопытна ему. Политика — это борьба. Вспомни хотя бы наши бои в школе...

Алёша усмехнулся. Он вспомнил.

— Что-то было, — сказал он, пренебрежительно пожимая плечами. — Ты в партии? — Он изучающе посмотрел на Бакинского.

— Нет ещё. Я комсомолец. Но...

— Как? Ты комсомолец?

— Это удивляет тебя? — сконфуженно улыбнулся Бакинский. — Тогда не будем говорить об этом. Давай пить водку.

Странное дело, он пил и не пьянел. Видно, был натренирован. Хрустели огурцы между зубами...

— Политика! — вдруг произнёс язвительно Бакинский. — Для тебя политика — это карьера. Прости, — он заметил движение Алёши, — но на правах старого друга я могу тебе сказать, что думаю. Если тебя это устраивает — пей водку. Пройдёт. Да, для тебя политическая работа — это карьера. Ты аппаратчик, так, кажется, называется? Раньше говорили проще: чиновник. Толстый, жирный, равнодушный чиновник. Ты сидишь в своём комитете от и до. Что ты читаешь? Как живёшь? Ты стал провинциалом. Пьёшь, вероятно?

— Пью понемногу. Да тебе-то какое дело?

— И, вероятно, девочек, девочек много?

Алёша пожал плечами. По какому праву этот чужой человек говорит ему те самые обидные вещи, которые он сам себе уже не раз говорил?

— Политическая работа... — продолжал Бакинский. Он неожиданно незаметно для себя и для Алёши, перешёл в наступление, — политическая работа — это только ступеньки той лестницы, по которой ты шагаешь от чина к чину. Кто ты теперь? Губком? Окружком? Разве видишь ты, что делается вокруг? Вы все ослеплены, задавлены аппаратом. Штемпель вместо головы. Ручка от телефона. Вот кто ты. — Он глотнул залпом рюмку. — Тебя удивляет — поэт Бакинский стал политиком. Политическая работа для меня — это борьба. Я не могу быть равнодушным, чёрт возьми, когда всё вокруг идёт к гибели. Все сошли с ума. Страна рвётся куда-то к чёрту, в облака. Она хочет прыжком догнать капиталистические страны. Авантюризм! Они хотят построить у нас эйфелевы башни, будто мы Париж, а не... Рязань. Всё идёт к чёрту, в пропасть. И мы это видим. Видим. О, разумеется, ты не видишь ничего. Ты видишь только лестницу

чинов! Кто ты теперь — высокопревосходительство или ещё только благородие?

— Никто.

— Как никто? Секретарь окружкома или губкома?

— Я тебе сказал: я никто.

Он был сильно пьян, Алексей Гайдаш. Всё, что говорил Бакинский, проходило мимо него, не задевая. Но воспоминание о сегодняшней обиде вдруг вспыхнуло в нём при последних словах Вальки. Никто, да, он теперь никто. Каково ваше социальное положение, Гайдаш? Никто. Должность? Никто. Профессия? Никто. Он никто. Он даже меньше Бакинского, который всё-таки что-то: сценарист, халтурщик, литературная тля.

Именно ему, Бакинскому, знавшему Алексея на подъёме, не хотел он рассказывать того, что случилось сегодня. Но обида клокотала в нём, она мучила его целый день, он не находил себе места, покоя, отдыха. Нужно было кому-нибудь, сочувственно слушающему, излить её. А Бакинский вдруг весь превратился во внимание. Сочувствие было написано на его выразительном лице. С чего же начать? С бессонных ночей, которые он отдал комсомолу? С Ершова, которого он вывел в химики? Или прямо с сегодняшнего разговора в кабинете секретаря Цекамола. Его нетрудно вспомнить. Резкий голос секретаря звучит ещё в его ушах. «Ты отстал, Гайдаш, жестоко отстал! Ты потерял руль, скорость, высоту. Ты потерял ориентировку, организация переросла тебя. Она работает, ты болтаешь. Времена подходят крутые, Гайдаш. Переходим в наступление. По всему фронту. Нужны бойцы, а не чиновники. Нужны работники, а не трепачи. Нужны руководители, а не демагоги. Взгляни правде в глаза. Возьми себя в руки. Пойми свои ошибки. Ещё не поздно». Но Алексей не видел, в чём ему следовало каяться. Разве не отдал он работе всё, что имел, без остатка — силы, здоровье, время, молодость? Почему он вдруг стал плох? Ещё недавно тот же секретарь Цекамола хвалил его. Что произошло? Что случилось?

И со свойственной Алёше раздражительностью он грубо ответил секретарю:

— В тираж меня хочешь сдать? Я нынче уж не пришёл к двору? Сдавай. Сдавай в тираж.

Очевидно, у него были завистники в Цекамоле; они не могли равнодушно видеть, как растёт этот смелый, независимый, не кланяющийся никому и — это готов был признать Алёша, только это — грубый, даже нетерпимый, если хотите заносчивый, парень.

— Но это мои личные недостатки, — говорил он секретарю, — их не переделаешь. Берите, каков есть. Но ведь на моей работе это не отражается.

Секретарь с недоумением смотрел на него.

— Ты что, в самом деле не понимаешь или прикидываешься? — спросил он удивлённо. — Понимаешь ли ты, что происходит у тебя в организации?

Но Алексей ничего не хотел понимать. Почему его считают мальчишкой, ребёнком, олухом? Разве он не видит тайных пружин всего этого дела?

— Тайных пружин? — воскликнул секретарь. Ему вдруг захотелось крепко обругать этого зарвавшегося, самоуверенного парня. Но неожиданно для самого себя он взглянул на него с сожалением и безглаголиво произнёс: — Хорошо. Я тебе потом растолкую. Тебе надо отдохнуть. Поезжай в отпуск. Предварительно сдай организацию. Вернёшься из отпуска — потолкуем. Может быть, можно ещё спасти тебя для работы. Пойдешь в Цека. — Он посмотрел в окно и добавил, не глядя на Алексея: — Будешь инструктором.

Инструктором? Алексей даже задохнулся от бешенства. Он ничем не мог ответить. Он стиснул кулаки, закачался, потом вдруг круто повернулся и сильно хлопнул дверью. Он бежал по прямым коридорам Цекамола, не помня себя. Он выбежал на улицу, вскочил в трамвай, затем немедленно слез. Что произошло с ним? За что? Он не понимал этого и сейчас, в тусклом номере гостиницы, рассказывая об этом Вальке Бакинскому. Может быть, Валька объяснит ему?

Но Валька хохотал. Долго, вкусно, кресло, со смаком он заливался весёлым, злым смехом. Он подпрыгивал в кресле, хватался за живот.

— Вот! — кричал он в восторге. — Вот! Вот! Вот как это забавно! Как это смешно, можно застрелиться от смеха. Ну, кто ты теперь? Кто? Скажи мне, кто ты? Ах, иди в сценаристы, друг мой. Я устрою тебя. Мы напишем с тобой комический фильм об одураченном секретаре окружка...

— Врёшь, сволочь! — уныло отругивался Гайдаш. — Врёшь! — Как он жалел, что рассказал всё Бакинскому. Вероятно, он действительно выглядел сейчас смешно.

А Валька издевался всё злее и злее. Он не пощадил ничего, камня на камне не оставил от Алёши. Тот слушал его, опустив голову на руки, не имея ни сил, ни желания возражать, спорить, драться. Что он мог сказать ему? Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! Он казнил себя и мрачно хлебал водку.

Вдруг Бакинский переменял тон. Что это? Он стал нежным. Его голос звучал легко, тепло, дружески.

— Ах, Алёша! Мой старый, бедный друг! Это не смешно... Это, знаешь, грустно, очень... Я смеюсь, скрежеща зубами. Мне обидно за тебя, за себя, за всех нас. Но ведь это не случайность. Это система, страшная, бездушная система. Слушай, — его голос вдруг перешёл в шёпот, — слушай, что я скажу тебе. Никогда ещё я не был так серьёзен, как сейчас. Слушай, пожалуйста.

Он начал взволнованно шептать, придвинув свой стул ближе к Алёше. Он говорил о стране, о партии, о времени, в которое живём. Он горячо шептал, приближая своё лицо к лицу Алёши, обдавая его тяжёлым запахом водки, гниющих зубов, затхлого рта. Алёша слушал его молча, потом подозрительные ноты заставили его насторожиться. Он наклонил голову, чтобы лучше слышать. Он внимательно вникал в слова. Он трезвел. Что такое? Что происходило? Бакинский растревлял его обиду, он направлял её в какое-то новое, неожиданное русло и давал ей политические ярлыки, организовывал, раздувал её. Вот он уж зовёт куда-то Алёшу. Предлагает ему встретиться с другими людьми, с настоящими друзьями, которые поймут, оценят Алёшу...

Как он смеет! Как он смеет говорить такое Алёше! Как он смеет предлагать ему такие вещи! Алёша начал тяжело дышать, он побагровел весь, кулаки его сжались. Неужели он так низко пал, что всякая сволочь уже считает его своим? Почему? Потому, что его обидели? Что за чушь? Партия не может его обидеть, партия знает, что делает. Она может распорядиться его жизнью, как нужно. Дрогнет ли он, если нужно будет умереть за неё? Как же смеет эта гнусная сволочь рассчитывать на него, вербовать его, звать к себе? Неужели он так низко пал, ослеплённый своей обидой? Кровь бросилась ему в голову, он почувствовал, что может сейчас убить, раздавить, уничтожить гадину, замершую в кресле рядом. Он сдержал себя страшным усилием воли.

— Пошёл вон, — тихо прохрипел он, — пошёл вон, сволочь!

Но Валька продолжал сидеть в кресле, растерянно улыбаясь и недоумевая. Тогда Гайдаш вскочил на ноги и, ощутив в себе необычайный

прилив ярости и злости, не помня себя, схватил Бакинского за шиворот и потащил к двери.

— Вон! Вон! Вон, гадина! — хрипел он и ещё долго стоял у двери, слушая, как торопливо, воровски удаляются шмыгающие шаги Бакинского. И только когда они окончательно стихли, он вернулся в комнату. С шумом распахнул окна. Ему нужен был сейчас воздух, чистый воздух улицы.

«Где я буду через год в этот день?» Он закрыл глаза и ткнул пальцем в глобус. Вышло: в Тихом океане, среди голубой воды. Неужели так-таки прямо в воде? Впрочем, всё может быть. Глобус медленно вертелся вокруг своей оси...

## 3

Алексей брёл по улице. Его отпуск кончился, кончились и деньги. Голодный и усталый, он бродил по чужому городу.

Голод мучил его. Запахи съестного сочились, подымались, клубились над улицами. Город словно выстроили из еды: из борщей, колбас, шашлыков, кирпичей печёного хлеба. Склады на пристани сложили из бочек сладчайшего подсолнечного масла. Харчевни возникли из застывшей пивной пены. Даже море вкусно пахло едой — это была гигантская лохань жирной, наваристой рыбной ухи. Честное слово, будь у Алёши кусок хлеба, он отлично бы пообедал бутербродом из хлеба и морских запахов. Но у него не было хлеба.

У него оставались две папиросы. Одну он выкурит вечером, другую — завтра. Завтра он уедет. Куда? Домой. Зачем? Вот этого он не знал.

Чтобы не думать о еде, он ушёл далеко на рейд. Он глядел в рыжие каспийские воды и задумчиво ковырял сапогом в песке.

Море опротивело ему. Рябые пятна нефти расплылись по воде. Что же здесь красивого? Река на донецких заводах тоже всегда в жирных фиолетовых пятнах. И всё это хвалёное Каспийское рыжее море было удивительно похоже на выжженную солнцем донецкую степь, когда по ней ходит ветер. Стоило ли ехать сюда? Зачем? Глядеть на гроздь вяленой рыбы на изгородях вдоль Кучума? Толкаться в пёстрой толпе на пропахших сельдью Больших Исадах? Слушать гортанную ругань на махачкалинском базаре? Задумчиво плевать в воду? Упав ничком на горячий багровый песок и уткнувшись мордой в потные ладони, мечтать — о чём?

О чём мечтать, если всё впереди темно, неясно, пыльно.

Алексей равнодушно смотрел в море. Где-то далеко-далеко на горизонте дымил пароходик.

Почему Алексей не пошёл с Федькой Ковбышем к морю тогда, семь лет назад? Они расстались с Федькой и Павликом на большой дороге у Белокричной. Павлик вернулся на завод, он стал теперь отличным слесарем, Алёша пошёл в город, и вот теперь он «бывший секретарь», а Федька Ковбыш побрёл на Волноваху—Мариуполь, к морю. Он, вероятно, плавает сейчас по всем морям.

Если бы Алёша ушёл тогда с Ковбышем, он был бы теперь отличным, загорелым, вольным моряком. Может быть, даже капитаном. В чём дело? У Алёши есть кой-какие винтики в башке. Он бороздил бы сейчас море вдоль и поперёк да посвистывал. А если бы даже не повезло и его не взяли бы на корабль, что ж — стал бы рыбаком. Брёл бы по колено в воде, одетый в брезентовую робу; на утлой лодчонке пускался бы в море, и ветер трепал бы его рваный холщовый парус. Он мог бы, наконец, заняться строить порты, стеречь маяк, он нашёл бы себя, наконец... Море! На нём всегда нашлось бы дело смелому парню. Можно выпаривать соль

из моря, охотиться на дельфина, промышлять крабов. Море можно зарисовать, если иметь талант. О море можно рассказать словами. Но Алёша не умеет ни играть, ни петь, ни рисовать, ни рыбачить, ни строить порты, ни плавать на кораблях. Он ничего не умеет. Больше ничего. Он презирал себя.

Молодой парень в грязной холщовой рубаше прошёл мимо него небрежной, ленивой походкой босяка. Он подошёл к берегу, сел на камень и опустил босые ноги в воду. Потом он стал мыть ноги. Он делал это тщательно и не спеша. Каждый палец он старательно и долго тёр рукой; чёрные пятки не отмывались, но он всё продолжал тереть их морским песком и илом. Ему был приятен, видимо, самый процесс мытья.

Алёша ближе подошёл к парню. Тоска такая, что хочется болтать даже с незнакомым парнем.

— Жара-а, — говорит Алёша.

— Да, жарко, — добродушно соглашается парень и поворачивается к Алёше. Его лицо поражает Гайдаша. Где он его видел? Страшно знакомые черты. Он даже вскрикивает от неожиданности. Но Алёша знает себя. Все люди кажутся ему знакомыми. Так много их прошло мимо него...

— Вы здешний? — вежливо спрашивает он.

— Нет, дальний.

— Откуда?

— Кто его знает! — Босяк усмехается. Лицо его делается смущённым и симпатичным. — Сейчас с юга.

— Рыбак?

Он пожимает плечами.

— Пожалуй что и рыбак.

Он смотрит в воду, потом произносит:

— В Рыбинске, за Волгой, посёлок есть. Ему название Ерш.

— Как?

— Ерш. Есть Новый Ерш и Старый Ерш. — Потом добавляет: — Пьяных в Рыбинске много.

— Ну и что?

— Так. Ничего. Название какое, а? Ерш. Чудно-о!.. — Он опять усмехается.

У него жадные блестящие глаза, в них всё время блестит какая-то смешинка.

— Вы с юга? Из Одессы?

— Нет. Но в Одессе бывал. Тудюю, сюдою — чудной город. Это говорят они так, — пояснил он, — тудюю, сюдою...

Он обо всём судил категорически — это понравилось Алёше. Он подвинулся ближе к парню и спросил:

— Значит, сейчас из Закавказья?

Кавказ парень одобрил. Он сказал о нём:

— Хороший край, щедрый. В Сибири испить спросишь — квас дадут, на Украине — молоко, а в Грузии поднесут вина. Такой край! Как же! Я знаю, я там щепень бил. Дорогу клали. Как же! С севером не сравнить.

— А вы и на севере были?

— Везде я был. В Волхове я плотину строил. Кессоны. Как же. Я приехал, всё нюхаю: чем же это пахнет? А потом убедился — смолою.

— У нас в стране лесу много.

— А вот в Азии, я бывал, там кладбища скучные. Лесу там нет, кладбища без изгородей, без зелени. Камни, одни камни. Вразброд лежат. Очень я там умереть боялся.

— Почему?

— Скучно, думаю, лежать будет на таком кладбище. Я в Азии с экспедицией был.

— Что ж вы в ней делали?

— Я-то? Я всё делал. Проще сказать — рабочим был. Чернорабочим. Я много ремёсел знаю. Могу, например, сапоги сшить. Хотите, сошью?

— А себе что ж не сошьёшь?

— Зачем? Да и кожи нет. — Он подумал, добавил: — Летом и босиком отлично. У меня пятки дублёные, привычные. Они вот какие. Вся география у меня в пятках. Я человек бывалый. — Он сказал это, не хвастаясь, с каким-то равнодушием и усталостью.

Глаза его погасли. Он смотрел тоскливым, скучающим взглядом вперёд, в тусклые каспийские воды. Всё море было в толстых, серых, тяжёлых складках. Так, вероятно, медлительной толпой, покачиваясь, идут слоны. Парень сплюнул в воду и отвернулся.

Алёша с любопытством смотрел на него. «Вот парень хороших кровей, — думал он, — он всю страну обошёл пешком, зачем ему сапоги? Он всё видел, всё знает».

— Счастливо живёшь, — сказал он парню и вздохнул.

— Счастливо! — Босяк равнодушно пожал плечами. — Не знаю. — Он тоскливо свистнул. — Скучно мне. Куда податься — не знаю. В старатели итти, что ли? Много я на своём веку людей видел. Вот смотрю на тебя — очень вы мне кого-то напоминаете.

— Я? Кого?

— Не помню. А может, и не вы. Все люди на одно лицо, у всех в носу две дырочки. — Он помолчал. — Я тебя в детстве видел, — неожиданно закончил он.

— В детстве? — Алёша усмехнулся. — Было ли оно у нас, детство-то? Ну, давай вспомним. Ты где родился?

— В Донбассе, — ответил парень. — Дымный край. Моя родина, — гордо добавил он. — Донбасский я.

— Донбасский? — закричал Алёша. — Стой, стой... Мотя! Ну да, Мотя. Ты?

Парень, недоверчиво улыбаясь, смотрел на Алёшу, потом произнёс:

— Чудеса-а-а...

Они долго разглядывают друг друга и задумчиво говорят:

— Вот ты какой стал.

В голосе Алёши плохо скрытое разочарование, в голосе Матвея сдержанное недоверие и отчуждённость.

«Неужели это Мотя?» — удивлённо думает Алёша. Этот босяк, минуту назад внушавший ему восхищение и даже зависть, сейчас неприятен ему. Ведь это Мотя, Мотя, развесёлый друг детства, о встрече с которым мечтал он все десять лет. Но разве таким ожидал его встретить? Для всей детворы с Заводской улицы Мотя был героем. Единственный из всех он ушёл воевать на фронт. Вскочил на проходившую мимо тачанку, прощально махнул рукой ребятам, крикнул, чтобы голубей отдали тётке, и укатил. Пыль вилась за ним следом.

Десять лет они ждали его возвращения. Искали среди будённовцев, с песнями взявших город. В каждом молодом коннике им мерещился Мотя. Они лазили по госпиталам и санитарным поездом, вздрагивая и замирая, слушали стоны раненых: вдруг это Мотя стонет. Когда возвращались с фронта демобилизованные, они были уверены, что теперь наконец-то вернётся и он, улыбнётся своей широкой удивительной улыбкой и скажет, как всегда: «Чудеса-а-а!» Какие захватывающие рассказы привезёт он с собой, наш герой и товарищ!

Но Моти не было, не было ни среди демобилизованных, ни среди раненых. Друзья стали забывать его лицо, нос, брови; его образ стал легендарным, и всякий раз, как они сходились вместе, возмужавшие ребята с Заводской улицы, кто-нибудь неизменно произносил:

— Где-то наш Мотя теперь?

И это смешное имя — Мотя — стало знаменем, девизом, боевым кличем их дружной кучки.

— Где-то наш Мотя?

Втайне все они завидовали ему. Он воевал. Он делал революцию. Его грудь — они были уверены в этом — увешана орденами. Но ещё заманчивее, почётнее орденов были его раны, пули, засевшие в плече, в ноге и тускло просвечивающие сквозь бледную кожу.

И вот Мотя стоит перед ним. Ворот холщовой рубахи расстёгнут, видна грязная волосатая грудь, на которой вытатуирован кривой якорь.

— Да-а, — неловко бормочет Алёша, — вот мы и встретились с тобой, Матвей.

Мотя чувствует всё, что происходит в Алёше. Медленно и криво ухмыляется:

— Хорош? А?

Алёша молчит, не знает, что ответить.

— Таков уж, — пожимает плечами Мотя. -- Ну, а вы все, небось, интеллигентами стали?

В его голосе не свойственная Моте злость. Теперь Алёша пожимает плечами. Сёмчик убит, Валька Бакинский стал врагом, троцкистом. Как расшвыряла нас жизнь! Была когда-то, в розовом детстве, в маленьком городке, забрызганном белой акацией, дружная банда босоногих ребят. Бегали, дрались, дружили, мечтали. Потом выросли и — оказались чужими?

Тяжёлый ветер ползёт с Каспия, приносит горький запах моря. На рейде слабо дымит пароходик. Бледный дымок быстро и смущённо тает в пустом небе. Душно.

— Я жалел, что война кончилась, — задумчиво сказал Мотя. — Весёлое время. Был я вестовым у одного мирового командира. Тарасом Губенкой звали. Может, слышал? Его поляки убили, и коня убили, а меня командование отпустило на все четыре стороны. Вот и брожу... — Он разводит руками, потом лезет в карман, вытаскивает кисет, начинает свёртывать цыгарку.

— Возьми папиросу, — ласково говорит Алёша и протягивает вятский портсигар. Две папиросы в нём. Последние.

— Хочешь, — вдруг свирелеет Мотя и круто поворачивается к Алёше, — хочешь, я расскажу тебе о каждом городе в стране. Какие в нём улицы... Хочешь? Хочешь, я скажу тебе, в каком городе лучшее пиво? Едем со мной, я покажу тебе самый короткий путь от Батума до Абастумана. Давай поедем куда хочешь, я тебе всё покажу. Всё, что видел, несчастный я человек.

— Ну, вот, — обрадовавшись, говорит Алёша, — теперь давай вернёмся на родину, в Донбасс, возьмёмся за дело.

Мотя медленно качает головой. Алёша тускнеет. Куда он зовёт его? Разве сам он знает, что будет с ним, что он завтра будет делать, какую дорогу будет топтать?

Они задумчиво смотрят на море и курят.

Я слышал, что Алексей Гайдаш вернулся из отпуска, с Волги, но зайти к нему не рискнул. Я только встретил его раз на улице — он загорел, похудел, во всём его облике чувствовался человек, вернувшийся из путешествия.

Держал он себя гордо, вызывающе — в каждом слове ему чудилась обида. Он насторожённо разговаривал с людьми, он боялся, что они начнут сочувствовать ему, жалеть, утешать. И в то же время ему хотелось, чтобы громко осуждали несправедливость, совершённую с ним, — а он всё ещё считал снятие его с работы несправедливостью. Он и боялся разговоров об этом и хотел их. С ним было трудно сейчас.

Обида чудилась ему всюду. Я случайно узнал, что, оставшись без копейки денег и изголодавшись в дороге, он в Харькове не зашёл ни в Цекамол, ни к ребятам, а продал на толкучке свой плащ за бесценник и на эти деньги кое-как добрался домой.

Встретившись на улице, мы холодно поговорили и разошлись. Он сказал мне, что встретил Мотю, но подробно рассказывать о нём не хотел. Сказал, что торопится. Куда он мог торопиться? Безделье мучило его. Он не знал ещё, что будет делать, куда пойдёт работать. Сидел дома, ждал. Чего? Он сам не знал этого. Его не тревожили. Новый секретарь окружкома был тактичен, он не трогал его. Цекамол молчал.

Алексей целыми днями лежал дома на диване, читал. Оказывается, за то время, что он был секретарём, люди написали и издали гору хороших книг. О многих из них он даже никогда не слышал ранее.

Это был период великих открытий и откровений. Гайдаш открывал Америки, давно известные другим, но от этого они не теряли для него всей прелести новизны и счастья открытия. Он входил в новую книгу, как мореплаватель на неизвестный остров. Он тихо ликовав: вот ещё одна новая страница взята!

Никому бы не признался Гайдаш, что «Войну и мир» он читал впервые. Она оглушила его, с нетерпением ждал он томов из библиотеки. В центральной библиотеке не оказалось третьей части. Он обегал весь город, пока нашёл её. Он читал запоем, не выходя из дома, не обедая, выкуривая сотни папирос. Он плавал в синем табачном дыму и забывал обо всём на свете. Стоило ли мучиться из-за пустяков? А это были пустяки по сравнению с вечными и прекрасными идеями и чувствами, волновавшими героев прочитанных им книг. Он переживал их волнения и страсти один, в тишине своей холостяцкой, пустой квартиры. Никто не ходил к нему, никого он не звал к себе. Он был рад одиночеству, впервые посетившему его. Когда хотелось рассказать кому-нибудь о том, что прочёл, ему казалось, что то, что он узнал из книги, знает он один да автор — и больше никто. И он в тишине своей комнаты делал беззвучные и бесконечные доклады о том, что узнал, открыл, понял из книг, сам был и докладчиком и слушателем, но ему казалось, что стены комнаты раздвигаются и его слушают миллионы. Он ощущал в себе невиданный прилив учёности. Огромные горизонты раздвигались перед ним.

Я бы, вероятно, так никогда и не зашёл к Алёше.

Но однажды на пороге моей комнаты неожиданно возник Степан Рябинин. Он был в дорожном брезентовом плаще, в пыльных сапогах и с рюкзаком.

С порога он весело закричал мне:

— Эй! Свистать всех наверх. Почему не слышу рапортов? Где вахтенный? Где боцман? Всех распеку.

Мы обнялись и крепко потрясли друг друга.

От Рябинина пахло заводским дымом, бензином, дорогой.

— Я прямо с завода, — объявил он, смеясь. — Приехал бить чиновникам морды. Ты чиновник? Держись!

— Ты помолодел, Степан.

— Но не брился. Эй, кисточку, мыло, полотенце, бритву! Нет ли у тебя галстука? Какого-нибудь заваливающего, инженерского?

Он и потащил меня к Алексею.

— Что он? Переживает? — спрашивал Степан по дороге. — Не привык быть битым?

— Ох, не привык.

— Привыкнет. Нас всех били.

Алексея мы застали не в одиночестве: он лежал на диване и читал книгу, у стола возле электрического чайника и посуды суежилась девушка, в комнате было чисто, слабо пахло духами, — всё вместе походило на тихую семью.

Рябинин легонько толкнул меня в бок:

— Что, Алексей женился?

Я пожал плечами.

Эту тихую девушку с ясными, голубыми глазами я знал. Она работала машинисткой в окружке, и все звали её Любашей. Это имя удивительно подходило к ней, к её тёплой полной фигуре, к мягкой волнистой косе, к добрым, ясным глазам. Я знал, что она робко и тайно любила Алёшу, тайно, хотя каждое её движение выдавало любовь и ласку. Она смущалась всякий раз, когда мы подшучивали над её любовью. Она смешно отпиралась, клялась и краснела, но в её глазах, которые не умели лгать, было написано всё, что скрывали губы. И мы знали, что по вечерам, крадучись и трепеща, она пробирается к домику Алёши, затаив дыхание, робко стучит в окошко и ждёт; она знает, сейчас её ответит небрежный, грубый и всё-таки любимый голос Алёши, в дверях появится он сам и с недовольной улыбкой поздоровается с ней. Он недоволен тем, что она пришла! Она уйдёт тотчас же. Она делает испуганное движение к дверям, но он говорит сквозь зубы: «Ну,ходи же!» И она входит с боязливой улыбкой, смотрит на него, кладёт ему руки на плечи, робко заглядывает в глаза. Ей хочется признаться ему в любви, о которой он всё равно знает, но о которой никогда она ему не говорила, а он не спрашивал, ей хочется говорить ему глупые слова, называть его котиком, солнышком, мальчиком, но она знает, что он не любит этих слов, нетерпеливо дёргается, брезгливо морщится. И ночью в кровати, когда Алёша уже спит, она тихо гладит его упрямую лохматую голову, шепчет ему всё, что хочет, и плачет. Она хочет прикинуться к его широкой волосатой груди и так уснуть, уснуть сладко, не думая ни о чём. Но уснуть она боится. Можно проспать рассвет, и тогда все увидят, что она выходит из чужого домика, все узнают о её любви к Алексею, стыдной, запретной любви, не такой, как у всех. И когда за окном начинает сереть, она встаёт, потихоньку одевается, чтобы не разбудить Алёшу, еле слышно целует его и уходит.

Алексей встретил нас хмуро и насторожённо, Любаша смутилась. Все чувствовали себя неловко, не знали, о чём говорить, что делать. Даже Рябинин растерялся. Впрочем, он скоро освоился, весело закричал:

— Чем угощают в этом доме?

— Чаем, — ответила, покраснев, Любаша. — Налить?

— А покрепче нет ли чего?

— Я принесу, — торопливо сказал Алёша. — Минутку, ребята.

Скоро появилось вино. Рябинин поднял свой стакан, посмотрел на свет.

— Ну, за встречу, ребята! Помните, мальчики, «Коммуну номер раз»? Констатирую: вы тогда уважали старика Рябинина и даже слушались. Почему теперь дисциплина ослабла? Почему не вижу поднятых стаканов? Ну, дай бог не последнюю.

Мы шумно выпили. Я заметил, что Рябинин сильно изменился. По-молодел — так сказал я ему! Но, взглядевшись в него, я увидел лёгкий иней на висках и много мелких, чуть заметных морщинок. Правда, он был теперь веселее, шумнее, чем раньше, и мне вдруг показалось, что

шумливость эта, нервная, не свойственная положительному, хладнокровному, малоразговорчивому Степану, как раз и выдаёт его. «Эй, Степан,— думал я,— не ершись. Где-то у тебя глубоко в душе камешек лежит, гроыхает. Тебе не скрыть его в шумном, нарочитом веселье».

Невесёлая была наша встреча, и вино было скверное, и говорили мы не то, что хотелось.

Больше всех говорил Степан. Он рассказывал о заводе, о своём далёком цехе, о людях. Он рассказывал нам, как его встретили в цехе. Директор предупредил его:

— У тебя обер-мастером будет Гарась, Михайла Трофимыч. Ядовитый старичок.

Рябинин уже слышал о знаменитом Гарасе. Старик служил ещё при легендарном Курако. Однако Курако он считал стоящим инженером, и то потому, что тот не имел высшего образования, вышел из мастеров. Гарась презирал инженеров, особенно молодых и притких. Доменное дело требует таланта, человек должен родиться на домне, тогда он поймёт её, её душу, её капризы. С домной надо уметь ладить, дружить, чувствовать её надо. Доменное дело — не наука, с арифметикой тут ничего не возьмёшь. Кто, какой инженер знает, что в печи творится? Там никто не был, туда не слезишь, не посмотришь. Это не станок. Надо уметь по дыханию печи, по хрипам, по стонам её понимать её болезни и настроения. Надо острый глаз иметь, чтобы в печь сквозь стёклышко фурмы проникнуть, увидеть в кипящей массе то, что тебе надо. И старик любил, когда его звали колдуном, доменным знахарем. Он напускал на себя таинственность, ходил, смотрел, слушал и молчал. Потом изрекал:

— Мне поднесите чарку водки, домне — две подачи флюсов, и всё пойдёт как по-писаному.

С этим-то ядовитым старичком и предстояло Рябинину работать.

— Поверите, ребята, я дрейфил, когда шёл на печь знакомиться с ним.

Встреча произошла в конторке обера на домне. Старый мастер испытующе смотрел на молодого инженера.

«Коммунист... политик... горлодёр», — неодобрительно думал он, и Рябинин угадывал его мысли.

Вдруг старик хитро прищурился, открыл шкафчик и достал оттуда...

— Что бы вы думали? Бутылку русской горькой. Это на производстве-то.

— Ну, будем знакомы, инженер, — сказал, усмехнувшись, мастер и подвинул Рябинину полный стакан водки, — пейте.

Рябинин видел: старик издевается над ним. Он колебался.

— Брезгаете, инженер? — спросил мастер.

— Что было делать, ребята? Не выпить — значит навсегда поссориться с обером. Как тогда работать? А выпить на производстве — значит стать в подчинение мастеру, потерять его уважение, поломать дисциплину.

Рябинин подумал-подумал и вдруг одним духом хватил стакан.

— Молодец! — воскликнул удивлённый старик. — Жарко пьёшь, доменщиком будешь.

Рябинин поставил стакан на стол, вытер губы и спокойно произнёс:

— Если я в следующий раз увижу у вас водку на работе, отберу её и доложу директору.

— Теперь мы с ним друзья, хоть и ссоримся часто, — смеясь, закончил Рябинин, — золотой старик.

Алёша хмуро слушал его. Вот и Рябинин вышел на широкую дорогу. Ему можно позавидовать, он инженер. Пускай снимут его с работы, что ж, он плюёт на это: у него высшее образование, профессия. А ведь и Алексей мог тогда уехать учиться вместе с Рябининым и Юлькой.

Самодовольство Рябинина было противно ему, оно оскорбляло лично его, Алёшу. Ему захотелось обидеть Рябинина, унижить его.

— Степан, а где Юлька, а? — спросил он, чуть усмехаясь.

Рябинин смутился. Я заёрзал на стуле.

— Юлька замужем, — пробормотал Рябинин.

— За кем? — безжалостно настаивал Алёша.

— Не знаю. Хороший парень, говорят. Не знаю.

Мне стало жалко Рябинина. Неужели можно так нелепо любить девочку? Могучий парень, он совсем раскис сейчас при воспоминании о ней. Он стал печален, рассеян, на лице обозначились морщинки. Ты всё-таки постарел, Степан Рябинин!

А Алёша злорадствовал. Он не мог скрыть злой улыбки. Степан Рябинин и инженер и с высшим образованием парень, а простая девушка не любит его, уходит к другому. А Алёшу любят... И он почувствовал вдруг горячую нежность и благодарность к тихой и тёплой Любаше. Он притянул её легонько к себе — теперь они сидели рядком, как муж и жена.

Разговор не клеился. Молча пили чай. Звенели ложечки.

— Что думаешь делать? — спросил Рябинин Алексея. — Решено уж что-нибудь, нет?

— Не знаю, — небрежно ответил Гайдаш. Он хотел показать, что это не волнует его, но голос дрогнул, выдал. — Не знаю.

Мне стало невыразимо грустно. Неужели мы встретились, чтобы вот так говорить друг другу колкости, злиться, дуться? С тоски и отчаяния я запел, как, бывало, в «Коммуне номер раз»:

Не встречать уж нам с тобой рассвета  
После нашей ноченьки вчера.

Ребята подхватили:

Последней нашей но-очи...  
На прощанье он сказал мне вслед,  
Что расстаться нам с тобой пора.

Я снова был запевалой, как в доброе старое время. Рябинин гудел басом, Алёша вторил своим прекрасным баритоном, и нежный грудной голос Любаши придавал мягкость и нежность нашим мужским песням.

Мы пели песню за песней, подобревшие, растроганные, взволнованные. Чтобы лучше было петь, мы сбились в кружок. Алёша положил мне на плечо руку, я обнял Рябинина. Песня подымала потолок комнаты, уносила нас далеко-далеко...

Только в час ночи мы вспомнили, что пора по домам. Любаша смущённо начала собираться с нами. Ей очень хотелось остаться у Алёши, но было неловко.

— Вы меня проводите? — робко спросила она.

Алёша вдруг обнял её и ласково сказал:

— Я тебя сам провожу. Посиди ещё немного.

Её удивила эта непривычная нежность, она растаяла и чуть не заплакалась от счастья. Мы сердечно простились с нею и Алёшей.

— Хорошая девушка! — вздохнул я, когда мы очутились на улице. — Алёшка не стоит её.

— Не говори. Алексей — настоящий парень. Из него выйдет большой человек. Если не пропадёт.

— Он пропадёт, — сказал я с грустью.

— Кто знает!

Дальше мы шли молча. Каждый думал о своём.

Напоминание Алёши о Юльке сильно взбудоражило Рябинина. На работе, дома, в постели он отгонял от себя мысли о ней. Он хотел забыть её. Ну, была каштановая девочка в твоей жизни, Рябинин, и вот нет её, растаяла. Но забыть её он не мог. Она всегда была с ним, в цехе и дома, её глаза светились огоньками сквозь стёкла фурмы.

Во всём, что произошло между ними, он никогда не обвинял её. Он один... Только он был виноват во всём. Он прозевал, проворонил её. У него на глазах увели его девушку, а он, большой, толстый дурак, только хлопал глазами.

Он вспоминал всё снова и снова: их первую встречу, их дружбу, их поездку на учёбу в вуз. Как бегал он с чайником по перрону, как воевал из-за места для неё в вагоне, как сидел над ней, оберегая её сон, сгонял назойливых мух с лица, прислушиваясь к сонному дыханию девочки.

Они учились вместе: вместе бегали на лекции, в столовку, на диспуты в Политехнику. Прежде чем лечь спать, он шёл к ней прощаться, подходил к её комнате, стучал и слышал, как девчата кричали:

— Юлька! Твой Ромео за дверью.

Однажды Юлька пришла сияющая, возбуждённая, счастливая. Она положила ему руки на плечи и прикорнула головой к груди.

— Стёпа! Я так счастлива.

Он растерянно глядел в её сияющие тихой радостью глаза и хотел сказать: значит, и я счастлив, я люблю тебя.

Она прошептала:

— Стёпа! Кажется, я полюбила.

Он побледнел.

— Ну? — глухо спросил он. Его сердце прыгало от радости.

— Я, кажется, полюбила, Стёпа. Он такой чудный парень, Стёпа.

— Кто? — еле спросил он.

Она спрятала лицо на его широкой груди и сказала, перебирая руками ворот его рубашки:

— Ну... Андрей...

Рябинин еле сдержался, чтобы не закричать, не заплакать, не заскрипеть зубами. Даже сейчас ему больно от этого усилия. А тогда он только стиснул зубы, и родившийся было стон замер на его губах. Он даже насильственно усмехнулся, тихо погладил юлькину головку, пробормотал:

— Ну, поздравляю... Ну, молодец...

Потом она приходила к нему и рассказывала об их любви, показывала его письма — безграмотные, пошлые письма, которые он вынужден был читать и даже хвалить. Он хотел сказать ей, что Андрей — нестоящий парень, он ловил себя на том, что, как секретарь вузовского парткома, он стал строже к Андрею. «Не ревность ли это, Рябинин? — спрашивал он себя. — Не зависть ли?»

А потом называл себя тряпкой, мочалкой. За то, что не борется за любимую девушку, что стал поверенным их любви, вместо того чтобы быть соперником.

Бороться за неё, Юльку? Тягаться за эту каштановую девочку, которая и без того принадлежит ему, потому что он с детства знает её, любит и бережёт? Бороться? Значит, силой, ловкостью, умением заставить её полюбить его, забыть другого. Нет, это недостойно его любви, большой, очень нежной и очень честной.

И он, отодвинувшись в сторону, молчал, мучился и ждал.

Однажды Юлька пришла заплаканная и сказала, что с Андреем всё кончено. Рябинин с удивлением заметил, что он даже не обрадовался этому, так велико было его сочувствие юлькиному горю.

Он только сказал ей:

— Зато у тебя остался старый друг — твой Стёпка лохматый.

И Юлька грустно взъерошила его волосы.

Сколько раз хотел он сказать ей о своей любви и всё откладывал. Однажды, совсем неожиданно для себя, он сказал ей:

— А ведь я люблю тебя, Юля.

Она расхохоталась.

— Вот ещё новости! Ведь и я тебя люблю. — Но в её голосе он услышал равнодушие.

— Нет, я люблю тебя, как парень девушку. Поняла?

Она испуганно взглянула на него.

— Нет, нет, не надо, не надо... — пробормотала она. — Не надо, Стёпа!

Он печально усмехнулся.

— Я сам знаю, что не надо. Да что ж я могу сделать?

Она засмеялась.

— Но ты шутишь, Степан. Ты — мой муж? Мой парень? Нет, ты шутишь!

— Что ж здесь смешного?

— Да ничего... Я и сама не знаю. Вот никогда не думала! Ты ведь такой свой. Домашний. Ты друг мой! Ты как брат... или нет... Даже как сестра мне... Я сама не знаю, что говорю.

Больше он не говорил ей о любви. Скоро она вышла замуж, уехала с мужем на новостройку, родила ребёнка, девочку, кажется. А он — ждал. Он знал, что никогда она не придёт к нему. И всё же ждал. Жил один. Знал, что над ним смеются, считают чудачком. Разве не смешно? Огромный парень ждёт свою девочку, которая уж и не девочка вовсе, а замужняя женщина, мать чужого ребёнка.

Он сам удивлялся себе. Что с ним случилось? Да что в ней особенного? Многие находили, что она просто обыкновенная девушка, с курносым носом и смешными веснушками. Но ему были милы эти веснушки, этот вздёрнутый нос, — других девушек он уже не мог полюбить.

Он убедился в этом в прошлом году летом. Они поехали на практику целой группой студентов-металлургов — парней и девушек. Как это всегда бывает в таких случаях, образовались пары, некоторые из них, вероятно, останутся на всю жизнь. С ним на доменной печи отбывала практику Галя Стрелец — сероглазая украинка-полтавка; её родина чувствовалась в мягком «я», которое придавало музыкальность, певучесть её речи. Вероятно, Степан нравился ей, она любила стоять с ним в одной смене на печи, вечером итти вдвоём в общежитие, болтать, смеяться, петь. Он относился к ней тепло, дружески. Ребята говорили ему:

— Какая славная девушка, эта Галя!

Он горячо соглашался:

— Да, славная. Очень славная, — но думал о другой, о Юльке.

Только осенью, когда уже возвращались в институт, он почувствовал, что глубоко обидел Галя. Но ему не в чем было упрекнуть себя.

Перед отъездом девушки, смеясь, позвали его к себе.

— У нас для тебя подарок, — таинственно сказали они.

— Подарок? — удивился он.

— Галя, вручай.

Галя смутилась, под общий хохот вручила ему подарок. Это было синее стекло для работы на печи, вещь, необходимая для доменщика. Но оправу для стекла девушки сделали в виде сердечка. Что хотели они сказать этим? Он растерянно вертел стекло в руках.

— Это взамен твоего сердца, — сказала Варя-хохотушка. — Твоё, говорят, разбито.

— Только вы и это не разбейте, пожалуйста, — попросила Галя.

— Это сберегу, — отвечал он, кланяясь.

Он сберёг его. Юльку не сберёг. Галю не заметил, а стекло бережно сохранил. Он и сейчас пользуется им на домне. Через синее сердечко смотрит в фурму: синее пламя мечется в печи, бурлит, клокочет чугуны, расплавленный и изнемогающий, — и Рябинину кажется, что он заглядывает в своё собственное сердце. Там тоже кипит, бушует металл, рвётся, мечется пламя, а снаружи — холодный, железный корпус печи. Люди смотрят на молодого, широкоплечего, улыбающегося инженера и ничего не подозревают.

И я хоть и подозревал о том, что творится с Рябининым, но был спокоен за него. Я шёл рядом с ним, слушал, как звучали его уверенные, весомые шаги, и думал о том, что вот на моих глазах пропадает Алёша, чудесный парень, мой товарищ. Как помочь ему? Что делать?

С некоторых пор я и о себе стал думать, что пропадаю. Почему я всё сидел в этом маленьком пыльном городке? Дорога звала меня, манила, дразнила. Я уже несколько раз клянчил в окружке.

— Отпустите меня.

— Куда?

— Всё равно куда. Учиться, рабстать, шляться. Только бы в дорогу, двигаться, ездить, бродяжить.

Мне казалось, что я кисну, пропадаю, опускаюсь здесь. Но в окружке досадливо пожимали плечами.

— Отпустить? Все вы просите отпустить. Ты сегодня десятый. А кто здесь работать будет?

Кто будет работать здесь? Придут сюда с завода, из сёл. А там кто? Там вырастут новые.

Вокруг меня двигались, торопились люди. Они обрели вместо ног колёса, вместо рук — крылья самолётов. Ехать, лететь, плыть. Сблизились географические понятия, сдвинулись полюсы. В одном общегитии оказывались рядом молдаванин с юга и помор с севера. Здесь они были проездом. По всем дорогам двигались эшелоны, поезда, переселенческие караваны, бригады, экспедиции, разведывательные партии; людей перебрасывали, мобилизовывали, посылали, командировали. Ехали делегаты, завербованные рабочие, комиссии, буксиры, ударные бригады, толкачи, агенты, ходоки, туристы. Ехали посмотреть, пощупать стройку, стать на работу, найти место лучше. Почва горела под ногами. Крыша дома давила человека. Он мечтал о колеблющейся крыше вагона. Люди привыкали к движению; если они засиживались на месте, им казалось, что они пропадают, теряют, отпускают что-то.

И мне казалось, что каждый день прозябания в маленьком нашем городке — потерянный день моей жизни. Какие замечательные дела мог бы я делать! Мои товарищи перегоняли меня. Они приходили с заводов, меняли почтовых лошадей в маленьком уездном городе и отправлялись в столицу завоёвывать её университеты, рабфаки, музеи. Я завидовал им.

Мы все считали себя рождёнными для великих дел. Чувство неудовлетворённости собой и сделанным нами было нашим седьмым чувством, шестым было чувство родины. Мы всегда были недовольны собой, своим положением, успехами, удачами. Хотелось большего! Уж слишком широко распахнулись перед нами далёкие дали!

И я наблюдал, как всюду вокруг меня суетились люди с чемоданами, — начал нервничать, злиться, тосковать.

Парни, приезжающие в отпуск из столицы, сочувственным взглядом оглядывали меня, мою провинциальную косоворотку, мои туфли на босу ногу.

— Ты ещё здесь? — удивлённо спрашивали они. — А где Иванов, Петров, Сидоров?

Иванов оказывался в столице, Петров — во флоте, Сидоров — в вузе. Люди двигались, спешили, торопились, бросались в поезда, автомобили, самолёты, пароходы. Никто не хотел строить свою жизнь в родном маленьком городе, охотно предоставляя свои дома, улицы, сады, любимые и памятные места юности новым людям, рвущимся из сёл и с заводов.

На моих глазах страна совершала свой рывок вперёд — и мне хотелось рвануться вместе со всеми.

Я хотел об этом поговорить с Рябининым, но он шагал рядом мрачный, погружённый в свои думы, его не хотелось тревожить. Да и сможет ли он, увлечённый своей работой на заводе, понять меня? Ещё, пожалуй, обругает.

Впрочем, может быть, и в самом деле меня следовало ругать?

В эту ночь не спалось Алёше. Он лежал рядом с горячей сонной Любашей, ворочался, курил, но уснуть не мог.

Ночь стояла над страной. Все спали. Спал Рябинин спокойным, лёгким сном инженера. Если и снились ему сны, то, вероятно, простые и чёткие, как чертежи. Всё ясно этому благополучному человеку. А Юлька? Юлька тоже спала где-нибудь в семейной двуспальной постели с мужем, и этот муж не Рябинин, а кто-то другой, незнакомый Алёше.

Где-нибудь между мешками на пристани или в углу вокзала спал беспокойный Мотя, пробирающийся на Урал, к старателям. Ему снились весёлые сны: горы золота, серебряные реки, чудеса-а-а... Он дышал порывисто, храпел мощно, во всю носоглотку, как и подобает здоровому, бывалому парню, привыкшему спать на земле, ветром одеваться.

Спал и Павлик; часы-ходики висели над койкой, отстукивали минуты трудового сна рабочего парня. Маятник ласково качался на цепи. Спи, Павлик, спи, мы разбудим тебя к сроку, к гудку, спи, Павлик, спи!

Где спал сейчас Валька Бакинский? В тюрьме, где ему следовало бы быть? Или следственные органы, получившие сообщение Алёши, решили, что Валька — гнусная, но безвредная тля, и оставили его спокойно спать на диване где-нибудь в комнате приятеля? Остатки икры на столе, окурки в графине. Валька накрылся газетным листом, чтобы не беспокоили мухи. Но и мухи спали.

Во всём мире один только Алексей Гайдаш не спал. Беспокойно ворочался на постели.

Он курил и курил папиросу за папиросой, гасил их о железную спинку кровати и аккуратно втыкал в пепельницу.

Он один не спал во всём мире. Он один был без дела в охваченной работой стране. Он один был забыт, покинут, одинок.

«Лишний человек, — насмешливо подумал он вдруг о себе. — Рудин времени социализма, чёрт тебя подери».

Это было дико. Он, член партии, боец, большевик, вдруг оказался лишним. Этого не могло быть. Это чепуха, убеждал он себя. И тут же ехидно спрашивал:

«Хорошо, а почему же тогда тебя куда не зовут, не требуют? Почему тебе позволяют лежать на диване и киснуть? О тебе забыли, болван ты этакий! Кому ты нужен? Нужны инженеры, Ершовы, Рябинины, Павлики. А ты лишний. Лишний, как Рудин, Лаврецкий, Печорин, о которых ты недавно впервые прочёл, но которые тебе родственники. Как и они, ты обуреваем высокими порывами и, как они, ничего не умеешь делать. Как и они, ты болтун, фразёр, мастер фейерверков и вдохновитель сельтерского энтузиазма».

Но ни тогда, в кабинете секретаря Цекамола, ни долгое время спустя он не понимал ещё всей глубины катастрофы, которая случилась с ним. Дело было совсем не в том, что его сняли с работы, зачеркнули всю его деятельность, публично высмеяли и обругали его. Вообще дело было не

в том, что произошло с ним во внешнем мире. В конечном счёте для него всегда найдётся и дело и работа, он не пропадёт, выплывет.

Самое страшное заключалось в том, что происходило с ним самим сейчас, когда он оставался один на один с собой.

Почва выскользнула из-под его ног — в этом заключалось самое страшное. Себе одному, наедине, он мог признаться в том, в чём ни за что никому не признался бы: секретарь Цекамола ругал его правильно. Но это признание не облегчало, а ещё больше угнетало Алёшу. Спасительное чувство обиды на несправедливость, совершённую над ним, так сладостно утешавшее его всё это время, исчезло. Зато пришло беспощадное, горькое любопытство, захотелось вдруг взглянуть на себя со стороны: ну, каков ты, Алексей Гайдаш, что собой представляешь?

Такое никогда не случалось с Алёшей. Он всегда был уверен в себе, в своих поступках, в своей удаче. Всё, что он делал, делал правильно. Задумываться было и некогда и не к чему. «Интеллигентское самокопание» — он презирал хлюпиков.

А сейчас он вдруг посмотрел на себя со стороны, сбоку, как на постороннего и даже не близкого человека, сейчас он не жил, а читал о чьей-то другой жизни так, как читал вчера о Рудине и Лаврецком. Сейчас перед ним в колениковом переплёте лежала книга «Алексей Гайдаш». С любопытством он смотрел в неё.

Но прежде всего он заглянул на последнюю страницу. Чем кончается эта любопытная история? Черты незнакомого ему человека. Ему хотелось, чтобы был благополучный конец.

Свадьбой — герой женится на богатой невесте, она приносит ему счастье, приданое, деньги; теперь он имеет возможность учиться, заниматься филантропией, мыслить, лежать на диване и сосать трубку.

Но Гайдаш никогда не получит богатого приданого — усмехнувшись, он взглянул на Любашу. Нет, приданого он не получит. И наследства неоткуда ждать ему. Никогда Гайдаш не будет богатым, и, признаться, это не огорчает его. Странно, как изменилось понятие о счастье.

Какой же благополучный конец приготовила Гайдашу последняя страница?

Он был гол, ценность представляли только его руки и голова. У него не было и не будет ни титула, ни имений, ни покровителей. Только руки и голова. Вот эта голова. Вот эти руки.

И тогда истина, ставшая уже азбучной в алёшиной среде, вдруг осветилась новым и неожиданным смыслом, она непосредственно касалась его, Алёши. Ни заслуги родителей, ни слава отцов, ни наследство, ни богатство, ни связи — ничто не могло придать ценность пустому существованию, как ничто не могло затмить великолепный блеск полноценной творческой личности.

«Значит, — взволнованно подумал Алексей, — вся моя будущность, все мои перспективы заключены только здесь — в этих руках, в этой голове?»

Он даже испугался. Да годны ли для такого дела эти руки? Годна ли голова? Он был необразован: отрывочные, смутные сведения о мире бродили в его голове. Он не знал никакого дела. Его руки были неумелы, неопытны. Правда, он здоров, физически силен, но его нетренированные мускулы одрябли. У него есть воля, характер, но куда направить, к чему приложить их?

И тогда он всерьёз испугался.

«Что же будет с тобой, Алексей Гайдаш?»

Это был момент, единственный в жизни Алёши, когда он вдруг увидел себя в неприкрытой, беспощадной наготе. Растаяли иллюзии, ребячьи

мечты, смылись краски. Он вспомнил все свои ошибки, промахи. Всё, что говорили плохого о нём его друзья и руководители,— всё это остро приноминилось сейчас.

«Вот ты каков, Гайдаш?» — сказал он себе, и ему стало страшно.

Он вскочил с постели, стал бродить по комнате, трогал вещи, переставлял с места на место. Вещей было немного, он всегда ненавидел их, ему нравились пустые, светлые комнаты, похожие на спортивный зал. А может быть, здесь просто сказывалась его беспечность, лень? Ему всегда казалось, что он живёт на бивуаке, временной, походной жизнью, было скучно приобретать вещи, обставляться ими, оседать среди них.

Во всём, что касалось его, он видел теперь плохое. «Неужели я и не большевик?» — вдруг спросил он себя и долго колебался, прежде чем ответить. От ответа зависела его жизнь.

Он попытался увильнуть: «Какой же я судья самому себе?» — и тут же возражал: «Нет, почему же, давай, давай!»

Он с пристрастием допрашивал себя: нельзя было быть более строгим к члену партии. «Ты фразёр, — говорил он себе, — а большевики — люди дела. Ты нескромнен, заносчив, хвастлив, а большевики — скромные люди. Дисциплинирован ли ты? Только тогда, когда командуешь, а не когда подчиняешься. Ты безграмотен. Что знаешь ты о марксизме, о ленинизме? Только то, что написано на плакатах и знамёнах: «Не трудящийся да не ест», «Профсоюзы — школа коммунизма». Но даже партию, в которой состоишь, знаешь туманно». «Но ведь я никогда не был беспартийным. С детства я связал свою жизнь с революцией», — защищался он, как умел. «Да, но ты плохо использовал эти годы, ты мог бы стать настоящим парнем, а чем ты стал?.. Правда, ты парень с размахом, но кому пригодился твой размах? Ты честолюбив, друг Гайдаш». «А это большевистское качество?» — спросил он ехидно. «У тебя не большевистское, потому что ты жаждешь славы себе, а не родине. Ты хочешь пробиться к славе, растолкав других, а не скромно исполнив свой долг гражданина. И потом: как ты добьёшься славы, если у тебя неумелые руки и вздорная голова? Славу не выкричишь, даром она не придёт. С какой стати она придёт к тебе? Ради твоих прекрасных глаз? Но у тебя даже прекрасных глаз нет, друг Гайдаш, косоглазый монгол ты».

«Значит, я не большевик?» — спросил он себя и снова заколебался, прежде чем ответить. В одном он был твёрдо уверен — и это не оспаривал в самые горькие минуты беспощадных саморазоблачений,— в том, что он для партии не пожалеет жизни. Ему захотелось умереть, умереть, как Сёмчик, от пули врага. «Если я не умею жить как надо, то умереть я сумею, как коммунист». Ему стали представляться горячечные картины. Он видел себя в дыму, в пламени; он снова, как шесть лет назад, завидя Моте, мечтал о сражениях, он снова был мальчишкой. Неужели он не повзрослел? Это обрадовало его. Он был совсем ещё молод, чёрт возьми, вся жизнь была у него впереди. Неужели он и теперь не повернёт её как надо? Его слишком баловали удачи,— неужели неудача сломит его?

Он подошёл к окну. Серые сумерки дрожали на улице. Скорее бы утро! Скорее бы утро! Пойти в окружном, сказать секретарю: «Пошлите меня, куда хотите. Милиционером в Звановку, там после смерти Сёмчика — вакансия. Председателем месткома. Чернорабочим. Я пойду куда угодно, куда мне прикажет партия».

Он еле дождался утра.

Но вместе с утром пришёл почтальон, принёс повестку. Гайдаша Алексея Ивановича, родившегося в 1907 году, извещали, что послезавтра ему надлежит явиться на призывной участок.

## Глава вторая

## 1

Прощай, де-е-евки, прощай, па-а-арни,  
Угоняют на-а-ас от ва-а-ас  
На далёкий на-а-а Кавка-аз...

— Прощай, де-е-евки... Прощай, па-а-арни... — шептал Алёша в лад песне. Вдруг он почувствовал, что действительно прощается со всем: с парнями, оставшимися на мокром перроне, с городом, забрызганным дождём, с прошлым, каким бы оно ни было — хорошим, плохим, всё равно.

Он долго глядел, как исчезал в тумане город; вот скрылись крыши домов, купола церквей, трубы заводов, вот уж и городское кладбище осталось позади, печально поникнув чёрными покосившимися крестами. Алексей уцепился было взглядом за тихий ставок — бывало, шумели здесь в камышах ребячьи бои, мохнатые метёлки служили оружием, — но скоро и ставок растаял в тумане. Только голые донецкие акации ещё долго бежали рядом с теплушкой, прощально махали чёрными сучьями; скоро и они отстали. Алёша вздрогнул. «Прощай, прощай!» — думал он и храбрился, пробовал даже насвистывать, но что-то невыразимо горькое подступало к горлу. Он сам никогда не думал, что так любит родной край. Что это с ним? Вот он сейчас расплачется. Смешно-о!..

Политрук эшелона дал ему плакаты, наказал вести в пути политработу. Зачем? Алексей усмехнулся. На какие бои агитировать бойцов? На какие подвиги звать их? Чтобы не шумели на пустынных перронах да не шупали полногрудых казачек? Эх, будь война, отправляйся этот эшелон не в мирный захолустный гарнизон, а на фронт — какую бы речь сказал Алёша! Какие огненные слова брызнули бы из него! Как торопил бы паровоз!

Всё же он прибил плакаты на дверях теплушки (потом их исхлестало дождём и наконец сорвало шальным ветром и развеяло где-то за Доном).

Эх, будь война! Он стоял в дверях теплушки, равнодушный к каплям, падающим на лицо. Что дождь! Он стоял бы так и под проливным огнём пулемётов да шапку бы заломил косо, молодецки, и рук не вытащил бы из забрызганных кровью и грязью штанов.

И вот он уже видел себя в лохматой папахе с кривой шашкой на боку. Пороховой дым ел его глаза, и эшелон стал казаться бронепоездом. Падали набок срубленные снарядами тополя, охнув, простонав, валились вокруг сосны, горели мосты, пули свистели над ухом — и снова он был мальчишкой, мечтающим о подвигах, о доблести, о славе, и снова казалось ему, что жизнь только начинается, и хоть приговаривал он себя к ранней смерти на бруствере вражьего окопа, но в смерть не верилось, хотелось и жить и умирать много раз, каждый раз по-новому, красиво и рискованно.

— Товарищ старшина, вы где ляжете? — Его уже в третий раз спрашивали об этом. С досадой он обернулся. Ребята деятельно устраивались на нарах. Какое место он выберет себе? Он был старшина, они по-казывали ему своё уважение.

— Да всё равно! — махнул он досадливо рукой. Место на нарах, место под солнцем, ближе к печи или дальше — что ему до этого? Вот пустяки.

Он снова вспарусил свою мечту, и она понесла его, качая, перебрасывала с фронта на фронт. Странное дело, он явственно видел себя и даже ноздрями ощущал дым, копоть, огонь, но совсем не видел лица противника. Кто это был? Было трудно связно думать на ходу поезда, и вот он то дрался в горах, то вдруг, приговорённый к расстрелу, оказывался под дулами винтовок (какие тёмные глаза у ружей), то рубился в

узких переулках чужой столицы (где он видел эти острые, похожие на пики железные решётки балконов?), а потом лежал в лазарете, смертельно раненный (и так явственно он почувствовал вдруг боль раны, вот тут, на рассечённом шашкой лбу, что даже застонал тихонько).

И хотя сладко было умирать на руках опечаленных товарищей, но жить было лучше. Триумфы, награды, почести сыпались на него, как капли дождя с крыши вагона. Дальше мечтать было не о чем, и Алексей внезапно приземлялся. Он оказывался тогда в теплушке. По лицу текли мокрые струйки, дымила печка, шумели ребята. И он злился на себя, ругал за мальчишеские мечты: пора поумнеть. Гайдаш, говорил он себе, ничего этого не будет. Будет нудная солдатская гарнизонная жизнь, долбёжка Внутреннего устава, отстаивание караулов у пустого ящика в штабе. Потерянные годы! А молодость, и без того бесполезно прожитая, пройдёт. Потеряются в тупиках лучшие дни жизни. Выбьется ли он в конце концов на столбовую дорогу? Его забудут друзья. В Цекамоле появятся новые люди. Никого из них он не будет знать, все вырастут, заважничают, а он вернётся из армии парнем без профессии, без знаний, без перспектив. Куда он денется? Как ругал он себя сейчас за то, что «распустился», размечтался! Не довольно ли ребячиться, Гайдаш? Все мечты твои сдует ветер, как сдул твои смешные плакаты, и ключья этих мечтаний будут валяться в грязи и пыли, дразня и насмехаясь над тобой. И оттого, что слишком высоко залетел он в мечтах, падать было больнее. Когда-то он говорил себе: «Лучше свалиться с небоскрёба, чем с курятника». Какие небоскрёбы строил он, на какие высоты взбирался! Воображал себя и государственным деятелем и великим политиком, а оказался обтрёпанным новобранцем с сундучком за плечами. Нет, нет, нет, ничего уж не видел он теперь светлого впереди, ничего не ждал, ни во что не верил, ни на что не надеялся. А дождь косо падал над теплушкой, и донецкая степь, исхлестанная дождём, как кнутом, понуро проплывала мимо.

Алексей дождался, прислонившись к двери теплушки и не разговаривая ни с кем, станции Иловойской — здесь кончался Донбасс. Навсегда запомнил Алёша родной край, каким он открылся ему в эту последнюю минуту.

Что-то грустное и трогательное было в мокрых, заплаканных шахтах, в тополях, согнувшихся под тяжестью воды; горько пахло углем и дымом — то тлели глеевые горы; слабо мерцали они, как костры, притушённые перед расставанием. И хата под седым очеретом съёжилась и пригрюнилась, словно то старуха-мать провожала сына на чужбину.

— Прощайте, прощайте, — беззвучно шептал растроганный Алёша.

А в сером небе висели тучи дыма; они словно намокли дождём и, отяжелев, не таяли, а так и застыли, и не поймёшь — дым ли то или чёрная хмара. У приспущенного шлагбаума в рыжей грязи застряла бедарка на двух высоких колёсах, и старик-кучер, приподнявшись на козлах, сняв шапку, вдруг начал размахивать ею. Что он кричал? Приветствовал ли он поезд, узнав в нём воинский эшелон, или, может быть, вспомнил внука, бродившего сейчас по белу свету, или уж так заведено здесь на переезде, а может быть, просто по старческому благодушию вздумалось деду пожелать счастливого пути незнакомым людям, — только он всё махал да махал старой смушковой шапкой, и крупный дождь падал на его лысину и тонкими, как слёзы, струйками стекал по лицу. А Алёше показалось, что это ему, ему одному, счастливой жизни и удачи желает старик. Спасибо, спасибо! Удача будет! Прощай, земля!

С тех пор всегда, думая о Донбассе, вспоминал Алексей старика на высокой «беде», мокрую, нахохлившуюся шахту, тусклый пламень глеевой горы да запах угля и дыма, до горечи сладкий и острый.

Ещё долго смотрел он, как исчезали последние холмы родного края, как напозлали на них сумерки, и наконец почувствовал вдруг, что измок и озяб.

Взглянул на ребят. Они пели, покачиваясь. Болтали босыми ногами — штрипки на штанах, у щиколоток, были завязаны уже по-армейски, — курили, ели. Алёша радушно улыбнулся им. Покачивающаяся теплушка теперь его дом, босые ребята теперь его парни. С ними ехать, с ними кашу из одного котла есть, в караул ходить, одной шинелью укрываться.

— Ну, давайте знакомиться, ребята! — сказал он, улыбаясь. — Все в Горный Кавказский?

— Все.

— Горными орлами будем! — хвастливо крикнул весёлый парень в жёлтых щегольских крагах.

— А либо курицами, — насмешливо отозвались из угла.

Алексей вытащил из кармана список, пробежал его взглядом. Первая фамилия поразила его: Аполлонов. Ему вдруг захотелось угадать человека, владеющего таким роскошным именем. За ним, как за вывеской, должен был скрываться потомок российских интеллигентов. Алексею показалось даже, что он где-то видел это имя, на роскошном фолианте, что ли, с золотым обрезом. «Эраст Валерианович Аполлонов». Он, улыбаясь, оглядел своих товарищей по теплушке. Кто бы это мог быть? Ну, конечно же, этот задумчивый, бледнолицый юноша и есть Аполлонов.

— Вы Аполлонов, — уверенно сказал Алёша.

— Я? Нет, Стрепетов...

— Аполлонов я, — отозвался голос из далёкого угла. С нар спустились босые волосатые ноги, а затем и рыжий парень, ухмыляясь, свесил голову. — А что?

— Ничего, — смутился Алёша. — Профессия?

— Профессия хорошая. Гармонист.

Нет, ничего нельзя было узнать из немого списка. Какие разнообразные характеры, профессии, судьбы скрывались за этими именами, небрежно нацарапанными писарем из военкомата!

Это было забавно. Через час он узнает всех, сейчас не знает никого. Очевидно, окажутся среди них и отличные и скверные ребята. Обязательно найдётся весельчак, рубаха-парень, душа роты, утешение в походах. Но кто это будет из списка? Сташевский, Ляшенко, Дымшиц? У кого-нибудь окажется вздорный характер. Третий будет невыносимо храпеть по ночам. Четвёртый окажется обжорой. Но кто? Кто?

Он смотрел то в список, то на ребят. И чувствовал: и они следят за ним осторожными косыми взглядами. «Снюхаемся, — подумал он. — Ну ладно, снюхаемся».

— Аксёнов Василь! — крикнул он громко.

— Я!

Алексей взглянул на Аксёнова: парень как парень, лицо чистое, глаза ясные, голубые. Как угадаешь его? На чёрной украинской рубашке вышиты розовые петухи.

— Мать вышивала?

— Нет! — Аксёнов подмигнул глазом. — Тётка.

— Сам ты деревенский?

— Тракторист, — он протянул чёрные руки, в жилки вьелось машинное масло, — первого класса.

— Беляк Тихон!

— Я! Шахтёр.

— Бражников Иван!

— Здесь! Токарь.

— Волынец Фёдор!

— Я! Колхозник.

— Горленко Михаил!

— Я самый.

— А профессия?

Горленко смущённо улыбнулся и подошёл к печке.

— А профессии у меня нет, ребята,— извиняясь, сказал он.— Вот еду в армию, думаю добыть.

Вокруг сочувственно засмеялись, а Алёша внимательно посмотрел на русого парня. Хитрит? Прикидывается? И опять ничего не мог угадать он в застенчивом лице Горленко. Когда-то в окружке комсомола Алексей хвастался, что умеет читать в глазах людей, как в открытой книге, и работников себе подбирает с первого взгляда, без ошибки. Куда девалась теперь эта уверенность? Он признался с горечью, что не может ещё читать людей, как книги. «Как же я хотел руководить ими?»

Переключка продолжалась, она понравилась ребятам. Каждый нетерпеливо ждал своей очереди.

— Дымшиц Юрий!

— Я!— гаркнул кто-то сверху. Маленький толстенький лысый человек скатился с полки. Он был в подтяжках, смешных, розовых.

— Я Дымшиц,— сказал он, озирая всех сияющим взглядом.— В прошлом — директор мануфактурного магазина, ныне...

— Да это Швейк! Бравый солдат Швейк!— хлопнув себя по лбу, удивлённо закричал парень в щегольских крагах.— Ведь ты же Швейк, товарищ.

— Я Дымшиц, Дымшиц, а не Швейк,— рассердился толстяк, и его лицо стало обиженным и розовым, как его подтяжки. Но все кричали, что он Швейк и на это не стоит обижаться, раз это правда. И даже Алёша улыбнулся ему и сказал:

— Лихим солдатом будете, Дымшиц.

— Попробую,— ответил тот, вздохнув.— У меня сердце большое. Попробую, но не обещаю. Нет, не обещаю,— и он, кряхтя, полез обратно на полку.

Его проводили аплодисментами. Что за весёлая братва собралась в теплушке! С такими давай, пожалуй, не пропадёшь.

— Дальше давай! — закричали Гайдашу призывники.— А ну, раскрывайся, ребята! Чем наша рота богата!

— Ивченко Степан!

— Я! Сапожник. Но умею на гитаре играть,— прибавил он поспешно.

— Колесников Яков!

— Пекарь. Рисую немного.

— Клочак Павел!

— Мукомол.— Он подумал немного и смущённо добавил:— Больше ничего не умею.

— Левашов Константин!

— Счетовод. Областной рекорд по конькам.

— Так это ты тот самый Левашов?— закричали ребята.

— Тот самый,— смутился Левашов,— а что?

— Логинов Иван!

— Я! Столяр.

Все профессии собрались здесь на пятнадцати метрах вагона. Алёше вдруг пришла в голову смешная мысль.

— Друзья,— сказал он вслух,— если бы нашу теплушку вдруг занесло на необитаемый остров, мы, пожалуй, не пропали бы, а?

— Я бы вам такие калачи пёк, пальцы бы съели! — хвастливо воскликнул Колесников.

— Мука моя,— отозвался Клочак.

А что бы стал делать сам Гайдаш? Он даже растерялся от этой мысли. Командовать? Руководить?

— Ляшенко Антон! — сердито выкрикнул он, чтобы положить конец неприятной для него сцене.

— Это я, — негромко отозвались откуда-то из-под печки. Парень сидел на корточках у печи и заглядывал в неё. Багряное пламя полыхало на его озабоченном лице, и капельки пота казались каплями крови. Пока шла переключка, он возился у печи, растопил её, раздул пламя могучим дыханием, а теперь подкладывал уголь и дрова и следил, чтобы горели они ровно, толково.

— Это я, — сказал он, нехотя подымаясь на ноги.

— Ну, а ты кто?

— Я? — Он пожал плечами. — Я кочегар, — и снова опустился на пол.

Почему-то вдруг захотелось Алёше, чтобы его койка в казарме оказалась рядом с койкой Ляшенко; спокойствие и сила почудились ему в негромком голосе шахтёра.

— Моргун Лукьян!

— Тута...

— Крестьянин?

— А разве видать? — растерялся он. Овчинный полушубок висел на его худых плечах, хоть и жарко было в теплушке.

— Колхозник?

— Нет, — сконфузился Лукьян, — наши ещё не согласились. Беда-а-а...

— Рунич Осип!

Никто не отозвался.

— Рунич Осип! Здесь?

Тогда щеголеватый парень в жёлтых крагах, оглянувшись, произнёс:

— Никто не отзывается — значит Осип Рунич я. Вспоминаю: так меня в розовом детстве мамаша звала.

Теперь Алёша знал, кто будет душой роты на походах.

— Ну, похвастайся своей профессией, товарищ Рунич.

— Я выслушал вас всех, дорогие мои бойцы и теплушечники, — сказал, раскланиваясь, Рунич, — и должен заметить, не желая, впрочем, никого обидеть, что профессия моя — самая красивая.

— Ну-ну! — раздались угрожающие голоса.

— Судите сами, — пожал он плечами, — я деятель искусств.

— Актёр?

— Не совсем, — скромно потупился Рунич, — но близко к этому.

— Клоун? — догадался кто-то.

— Я не обращаю внимания на реплики.

— Шарманщик?

— Циркач?

— Куплетист? — посыпалось из всех углов.

Рунич спокойно выслушал все реплики.

— Всё? — спросил он. — Не угадали! Актёр? Что актёр! Голос у него сел — вот вам и нет актёра. Непрочная профессия. Я, — он обвёл торжествующим взглядом теплушку, — я киномеханик. Ну?

— Киномеханик, — разочарованно протянули ребята. Они и в самом деле ждали чего-то необыкновенного. — Только и всего!

— Четыреста рубликов в месяц, как одна копейка, — расвирипел Рунич. — Это как, а?

— Да плевать мне на твои рублики! — заорал на него огромный чёрный парень. — Сидишь ты у себя в будке, как крыса. Тоже — деятель искусства! И свету у тебя всего с окошечко. Я шофёр. Сташевским меня зовут, — обернулся он к Гайдашу. — Целый год я в дороге. Мой хо-

зяин — Дубовой Александр Матвеевич, слышали такого? Мы с ним весь Донбасс объехали. Вот это профессия!

Вспыхнул горячий спор. Каждый начал выхвалять свою профессию, её прелести, её значение. Разлучённые сейчас с работой, они говорили о ней, как о возлюбленной, которая осталась дома. Она становилась всё красивее по мере удаления поезда. Они сами никогда ещё не знали её такой красивой. Они говорили нежно и пылко о своих тракторах, мастерских, шахтах, полях, кинолентах — ни пяди не хотели они уступить друг другу. Они отвергали сейчас все профессии, кроме своей, единственной. Они готовы были всех обратить в свою веру, непримиримые, как проповедники. Мир мог остаться без поваров и прачек — эти профессии здесь некому было защищать.

Алексей сидел, не участвуя в споре. Он смотрел, как возился около «буржуйки» неутомимый Антон Ляшенко. Он всё шуровал да шуровал кочергой, словно перед ним была топка гигантского котла, и казалось, нельзя было убедительнее прославить свою профессию, чем это делал молчаливый кочегар Ляшенко, и здесь, в походной теплушке, нашедший себе дело.

Алексей пошёл к дверям и молча стал смотреть в степь. Поезд медленно шёл вдоль Дона. В темноте глухо шумела река. Дождь всё падал и падал...

Ночью Алексей долго не мог уснуть. Ворочался на нарах. Задыхаясь от жары и духоты, переворачивал подушку — она нагрелась, как печка, с ней ничего нельзя было сделать; он выбросил её и прижался щекой к прохладной коже пальто. Рядом трубно храпел Сташевский — теперь Алексей знал уже, кто будет храпеть звонче всех в казарме. Внезапно вспомнил вчерашнюю прощальную ночь. «Что ты делаешь теперь, Любаша, солдатка моя?» Вздохнул, подумал, что она хорошая девушка, добрые у неё глаза. А тело? Он зажмурился. Пожалуй, надо было на ней жениться. Ох, знал бы тогда, что дома остался родной человек, ждёт его, думает о нём. Будет ли ждать Любаша? Будет! — уверенно говорил он себе. А почему, собственно, будет? Неужели нет парней лучше тебя, Гайдаш? Откуда эта небрежность к девушке? Ты не любишь её. «Не знаю, может быть, и люблю». А потом подумал, что встретит он впереди ещё много девушек, и лучше и хуже Любаши. Ведь он ещё молод, чёрт возьми! Эта мысль была ему приятна. С наслаждением вытянулся на нарах — хрустнули кости.

— Эй, дневальный, спишь? — весело закричал он Колесникову, вздремнувшему у печи.

Тот встрепенулся.

— Никак нет, товарищ старшина. Бодрствую.

— То-то! — засмеялся Гайдаш, перевернулся на другой бок и мгновенно уснул.

Медленно потянулись эшелонные будни. Проснувшись утром, ребята бросались к дверям:

— Где мы?

Мелькали жирные донские степи, долгие станицы, однажды показался верблюд.

— Вот жизнь! — восхищался Рунич. — Сегодня — здесь, а завтра — там. Вот эту пачку папирос я начал на Дону, в Таганроге, полпачки докурил к Батайску, а к Армавиру надо новую. Все законы науки опрокинуты. Чайник кипит не двадцать минут, а десять километров. На завязывание галстука уходит два километра. На умывание — три километра. Сколько километров я проболтал с вами? На моих часах уже Армавир. Вот жизнь!

Впрочем, на станциях стояли подолгу. Выстраивались повагонно, с котелками, кружками, ложками. Длинным чёрным хвостом тянулись в

столовую. Ещё издали пахло кислым запахом кухни — капустой, преющей в огромных котлах, варёным мясом и луком. И Алексей, как и все, становился в хвост, как и все, нетерпеливо подвигался к дверям — запахи дразнили его, как и всех; попав в душную столовую — над столами клубился пар, как в бане, — торопливо и шумно захватывал место, набирал каши в котелок, глотал горячие щи, честно делил между своей командой хлеб. Хлеба было много, но и аппетит был бедовый. И хоть горькие мысли одолевали всё время Алёшу, ел он отлично, так что за ушами трещало.

— Вы знаете, Гайдаш, — сказал ему Стрепетов, смущённо протирая очки, — меня в армии ничто не страшит. Я, правда, не геркулес, но и не мокрая курица. Одного боюсь...

— Чего?

— Каши, — сознался Стрепетов. — Видите ли, — он замялся, — я происхожу из семьи, в которой... э-э... никогда не ели простой армейской каши и этого вот кондёра. Боюсь, не привыкну.

И он сидел, скучая и томясь в столовке, брезгливо ковырял ложкой, вылавливал из щей кусочки мяса, жевал хлеб.

— Добавки! — кричали вокруг ребята и, расшалившись, стучали ложками. — Добавки-и-и!

По всей столовке гремели ложки, вилки, ножи, котелки. Кто-нибудь вскакивал на лавку, дирижировал этим диким оркестром. Басы, баритоны, тенора сливались в могучий хор. И Алёша гремел ложкой, пел густым басом: «Доба-а-авки-и-и!», хотя ни ему, ни его товарищам больше не хотелось есть. Шумели из озорства, от избытка молодости и задора, и усатый повар, казак в белом помятом колпаке, смеясь, накладывал горы дымящейся каши и, размахивая огромным половником, кричал:

— Давай, давай, подсыплю! Едоки вы хорошие, какими бойцами будете?

Но уже гремел сигнал:

— По ваго-о-о-на-а-ам!

Что-то воинственное, боевое слышалось Алёше в этом кличе.

— По ваго-онам! — подхватывал он и бежал опрометью к теплушке, а за ним бежали его товарищи. Они влетали в вагон, горячие, запыхавшиеся. Сейчас тронется поезд и повезёт их навстречу войне, опасностям, пулям: вражьи бронепоезда поджидают их за лесом; взорванный, пылает мост, строчат пулемёты... Но поезд трогался, и рядом с теплушкой бежали мирные кубанские станицы, жирные поля, чёрные дороги.

Ночью сонно потрескивали дрова в печи, дремал дневальный; иногда сильный толчок вагона встряхивал его — он поспешно продирает глаза, торопливо подкладывает уголь в печь, мотал головой, чтобы отогнать сон, смачивал водой глаза. В теплушке было жарко и душно. Топили лихого. С лёгкой руки Ляшенко печь стонала от жара. Весь запас угля истопили в два дня.

— Что будем дальше делать? — рассердился Алексей. Духота мучила его. Кожаное пальто нагрелось, как железная печь. — Топите меньше, черти!

Но Рунич и Сташевский отправились на какой-то станции в «экспедицию» и притащили с собой несколько глыб блестящего антрацита.

— Уголёк с искрой! — доложили они, но о том, где его добыли, умолчали.

Алексей догадывался, но тоже молчал. Зато в вагоне было тепло и весело. Мирно текла ночь, как чёрная река. Плескался дождь. Кричали гудки паровоза. Искры гасли в темноте.

И Алексею казалось, что он плывёт в лодке по стране, как по реке, а жизнь, качаясь, проносится мимо, как берега.

В памяти остаются клочки увиденного. Какой-нибудь седой тополь с звонкими, сухими листьями. Черномазый продавец винограда в Гяндже. «Солдаты! Кушай виноград. Сильный будешь — храбрый будешь». Пыльные базары. Кукурузные поля. Мохнатые буйволы.

А теплушка пронеслась мимо, мимо. Было покойно, тепло и дремотно в ней — поскрипывали доски, стучали колёса, и Алёше хотелось, чтобы поезд никогда и никуда не пришёл.

Он стал свыкаться с переменой, случившейся в его жизни. То, что было до теплушки, казалось далёким, туманным. Правда ли, что когда-то он был вождём целой армии комсомольцев? Заседал в комитетах? Ездил в международных вагонах? Любил девушку, которую звали Любашей. Любашей ли? Как давно всё это было? И было ли? Прошлое казалось неправдоподобным, приснившимся. Реальными были теплушка, хвосты у столовки, клич «По вагонам!».

А когда он начинал думать о том, что скоро кончится дорога и начнётся гарнизонная жизнь, ему становилось не по себе. Всякий отделком станет им командовать. Сколько начальников будет над ним! Он перечислял их всех — от отделённого командира до командира полка. Всем им он должен подчиняться, ему — никто. Даже эта смешная «власть», которую он имеет сейчас над теплушкой, исчезнет. Ему прикажет старшина роты итти чистить картошку — и он должен будет пойти. Комвзвода пошлёт его в наряд — и Алёше захочется полежать с книжкой, но он обязан будет итти и пойдёт. Весь он — его руки, ноги, голова, тело, — всё будет подчинено команде. Он будет падать, вставать, бежать, останавливаться по команде. Есть, спать, читать, думать по команде. Железные руки дисциплины стиснут его. Дисциплина! О ней Гайдаш не раз горячо говорил на собраниях, но дисциплину он всегда понимал как подчинение всех ему и никогда — как подчинение его всем. Нет, лучше бы поезд никогда и никуда не приходил! Так спокойно, тепло и уютно в теплушке.

Но и в поезде он успел поругаться с начальником эшелона. Поругался из-за пустяков и был сам кругом не прав, но именно поэтому не хотел сдаваться, разжигал себя, бунтовал, фрондировал.

Начальник эшелона, старый кадровый командир с уставшим лицом, измученный эшелонном и шумными призывниками, раздражённо сказал ему наконец:

— Вы, Гайдаш, бросьте вольничать. Пора привыкнуть. Вы уже почти что в строю.

— Что ж, арестуете? На губу посадите? — задорно подхватил Гайдаш.

Но командир отмахнулся от него и побежал дальше, вдоль вагонов.

— Ну, пусть арестует, пусть! — злился Гайдаш. Всё кипело в нём. Он хотел, чтобы его арестовали, посадили, обидели. Пусть ткнут его в каталажку, пусть издеваются над ним, ругают. Пусть! Пусть!

— Посмотрим! Посмотрим! — шептал он про себя, задыхаясь.

Он стал придумывать ответ командиру. Злобные, обидные слова рождались сами собой. «Вот я его обрею!» — злорадствовал он и на новой остановке опять сцеплялся с командиром, пока сигнал «По вагона-а-ам!» не разводил их. Алексей возвращался к себе в теплушку и кончал обдумывать всё, что скажет командиру на следующей остановке.

Это целиком захватило его. Быстро пронеслись станции. Как только поезд замедлял ход, Алексей выскакивал из вагона и бежал искать командира.

Тому наконец надоело это.

— Бросьте, Гайдаш, говорю я вам. В последний раз говорю — бросьте!

— А не то? Арестуете?

— Зачем? — поморщился командир. — Я о вас на партийном собрании поговорю. Вы коммунист. — Он побежал дальше, а Гайдаш так и остался у этого вагона, растерянно разинув рот.

Да, он коммунист. Неужели он успел забыть об этом? Вдруг в нём вспыхнула неожиданная радость. Он сам не мог понять, откуда она. Чему он обрадовался? По привычке он стал размышлять, искать, что могло обрадовать его. Напоминание о том, что, кроме воинской дисциплины, над ним будет ещё партийная? Это?

Странное дело — именно это обрадовало его. Он коммунист, коммунист, член партии, передовой боец, авангард! Как он мог забыть об этом!

Весело улыбаясь, пошёл он вдоль теплушек. Что-то сдвинулось, переместилось в нём; он ещё сам смутно догадывался об этом, но почему показалось ему всё осянным иным, неожиданным светом: теплушка, эшелон, бойцы, сам он?

## 2

Ночью Алексей вдруг проснулся в какой-то непонятной тревоге. Он долго не мог сообразить, что разбудило его, но ощущение непоправимого несчастья, которое только что случилось здесь, было так явственно, что он начал пугливо озираться и прислушиваться. Вдруг до него донеслись тихие, тоскливые всхлипывания. Недалеко от него кто-то негромко, но горько плакал. Очевидно, это и разбудило Алёшу.

Сташевский, сосед Алёши, тоже не спал. Он угрюмо пробурчал:

— Швейк наш всё хнычет, — и поморщился. Обоим стало неловко, как всегда бывает неловко мужчинам видеть мужские слёзы.

— Дымшиц, что ты, чудак, — ласково сказал Алёша, но Дымшиц не ответил, а только стих; теперь он чуть-чуть всхлипывал.

Один за другим молча просыпались встревоженные ребята. Но в теплушке было тихо и грустно. На печи ёрзал чайник, монотонно дребезжала крышка. Кто-то, не выдержав, нервно крикнул:

— Да снимите чайник, черти!

Дневальный поспешно снял чайник, но теперь стал слышен фонарь — он колотился о стенку и жалобно звенел треснутым стеклом.

— Ну чего ты, Дымшиц? О жене взгрустнул, что ли? — наклонился к нему Ляшенко. — Или болит что?

Но Дымшиц лежал тихо, не шевелясь, он даже начал неумело храпеть. Алёша понял, что Швейку стыдно за свои слёзы перед товарищами и он хочет скрыть их.

— Это он со сна, — сказал Алексэй. — Сон тяжёлый приснился, — и услышал, как шумно и благодарно вздохнул Дымшиц. Каким диким усилием воли сжал этот маленький человек комок слёз, застрявший в горле! Алёше вдруг стало легко и весело.

— Ну, нечего, нечего, бойцы! Спать, спать!..

Но сам он долго не мог уснуть и всё ворочался на полке. Наконец не выдержал, слез, подсел к дневальному. Дневалил Горленко Михаил — человек без профессии.

Уже давно хотелось Алёше узнать его ближе, прощупать, что за человек. Часто, глядя на молчаливого, улыбающегося парня, Алексей пускался в догадки, сочиняя целые истории о нём, придумывал хитрые подходы или, как он обычно говаривал, «подбирал ключи к человеку». Он решил попробовать сейчас эти ключи, но оказалось, никаких ключей не надо, человек сам открылся, как простой солдатский сундук, и всё его содержимое распахнулось перед Алёшей.

— Не спится? — спросил, улыбаясь, Горленко. — И мне тоже.

И сразу начал говорить о себе. Он говорил шёпотом, останавливаясь, чтобы подбросить полено в огонь или поковырять кочергой в печи.

— Нет, я не заплачу, как Швейк, — сказал он. — Ссади меня сейчас с теплушки, вот тогда я заплачу. Я за армию, как за счастье, ухватился. Что такое, думаю? Все кругом учатся, в люди выходят. Из нашей деревни — я сам из-за Донца — многие уж в рабфаке учатся, стараются. А я сижу. Видишь ли, меня, как бы тебе объяснить, полюбили земляки, что ли. Сперва секретарём сельсовета избрали, потом — председателем. Видят, парень старательный — и не пушают никуда от себя. «Уважьте, — говорю им, — земляки, отпустите подучиться. К вам ведь обратно вернусь». — «Знаем, — говорят, — много вас поверталось, как же». Вот и сидел. А теперь думаю в армии чему-нибудь дельному подучиться, профессию себе добуду. А то в политическую школу махну. Как думаешь, а?

Позвякивал фонарь. Свечка догорела, мигнула и погасла. Они продолжали сидеть в темноте. Только пламя от печи полыхало на лицах и делало их резкими, мужественными. Алексей смотрел, как горели дрова; от них исходил сладковатый запах. Положил сухую щепку — она сразу загорелась, зарумянилась. Алексей следил за ней. Потом вдруг сморщилась, посинела и рассыпалась. Алёша вдруг тихо начал говорить о себе. Он тоже человек без профессии, как и ты, Михаил Горленко. Вот едет в армию. Ждёт ли он чего хорошего впереди? Сам не знает. Хочется ждать. Может быть, тоже в политическую школу пойти? Или стать командиром, остаться в армии, пойти в академию учиться? Так проговорили они до зари. Потом к ним присоединились ребята. Разговаривали шёпотом — сначала, чтобы не разбудить спавших, потом просто потому, что так было приятнее, душевнее. Незаметно перешли к личному, потаённому. У каждого парня дсма осталась девушка — жена, невеста, подруга. Ребята радовались случаю поговорить о них. Одни признавались скупно, сдержанно, даже сурово, но нежные интонации выдавали их; другие — тепло и любовно (Алёшу поразило, как растроганно рассказывал о своей Верочке щеголеватый «деятель искусств» Рунич, — вот не ожидал от него!); иные хвастались, ввали. Какие-то были у них всё необыкновенные любви, невероятные истории, неповторимые девушки, и Алёше захотелось тоже рассказать что-нибудь исключительное. Покопался, покопался в памяти — ничего не вспомнил. Нет, нечего рассказать. Молодой человек, а какие скучные у него любвишки были!

Днём навстречу стали попадаться эшелоны раскулаченных, проезжали Северный Кавказ. На дверях одного вагона Алёша заметил плакат: «Позор тому, кто отстанет от эшелона». Он весело засмеялся: «И кулаков агитируем! Сагитируем ли только?»

Эшелоны стали встречаться всё чаще и чаще. Алексей заметил, как мрачнели тогда лица некоторых из его товарищей, как испуганно вытягивал шею и хлопал ресницами Моргун.

— Под корень рубают класс, — весело сказал Сташевский, — к чёртовой матери!

На станции Прохладная эшелон призывников очутился рядом с эшелоном спецпереселенцев. Какой-то старичок выскочил оттуда и подошёл к теплушке.

— На войну гонют? — ехидно спросил он и вопросительно повернул козлиную бородку.

— Ладно, ладно, проваливай! — пробурчал Ляшенко. — Нечего тут. У нас не разживёшься...

Подошла баба и начала плакать неестественно громко и жалобно.

— Подайте, ребяташки. Бросьте хоть кусочичек хлебца. Вот до чего дожилась! Раньше всех убогоньких сама одаривала, а теперь по миру хожу.

Моргун всхлипнул и потянулся за хлебом.

— Брось! — резко сказал Сташевский. — Не видишь — играет. Душу нам хочет жалостью отравить. Да нам не жалко тебя, тётка, проваливай. Ну, проваливай, говорю.

С новым и острым любопытством стал всматриваться Гайдаш в эшелоны, в лица людей, в грузы, непрерывным потоком льющиеся по железным дорогам. Трактор на чёрном поле, старик в будёновке под седым тополем, свежевывкрашенные новенькие молотилки на открытой платформе товарного поезда — всё казалось ему исполненным нового, неожиданного смысла. «Вот она — переделка, — думал он. — То, о чём мы читали в книгах, чему учились в кружках, — вот оно. Неужто свершается? А я?» Вдруг стало ясно ему, что он прозевал начало этой переделки, а спохватился, только когда сам в неё попал. Не об этом ли говорил ему секретарь Цекамола?

Неужто в самом деле он всё прозевал, проворонил? По ухабистой дороге медленно полз длинный обоз, на переднем возу, белый от муки, покачивался усатый осанистый казак и держал красный флаг, надутый ветром. «А я?» На пустыре копошились люди, рыли котлованы, складывали кирпич в розовые штабеля, суетились, бегали. «А я?» На маленькой станции из пассажирского поезда на перрон вывалилась гурьба молодых ребят с пилами, молотками и инструментом за плечами, быстро выстроилась на перроне и с песней пошла куда-то в степь. «А я?»

Странное дело, о чём бы постороннем ни думал теперь Гайдаш, на что бы ни посмотрел, — всё каким-то окольным путём оказывалось касающимся его. Всё западало в его растравленную душу и тревожило и бередило её.

Когда-то, на одном заводе, Гайдаш видел, как никелируют сталь. Стальную пластинку опускают в ванну, где бурлят уже нетерпеливые пузырьки никеля. И вот пузырьки начинают приставать к пластинке, пока не покроют её всю целиком.

И Алексею казалось, что и его душу также опустили в никель — в жизнь, нетерпеливую, пенную, бурлящую. Что пристанет к его душе? Не покроется ли она ржавчиной, не потускнеет, не скиснет ли? Станет ли он наконец настоящим парнем или зарастёт плесенью и ржавью, как последняя сволочь?

Гайдаш остро почувствовал, что в эти крутые дни проверялись люди... Крепок ли у человека позвоночник, могуч ли хребет, сильна ли жила? Сломится он или выпрямится, могучий, непобедимый, настоящий?

И Алёше захотелось начать жить по-новому. «Вот приеду в армию, буду учиться военному делу, стану отличным бойцом, потом командиром или политруком, останусь в армии навсегда. Потом — в академию...» Вот и снова отдавался мечтам, снова взлетал на небоскрёбы. «Ведь отличный же я парень, в сущности, — убеждал он себя. — Нет, плохие твои дела, Гайдаш, раз надо себя убеждать в этом». И снова он ругал себя за мальчишеские мечты, издевался над своими фантазиями и, рассорившись сам с собой, сердитый, злой, смятённый, бросался на полку или вмешивался в разговор ребят.

А теплушка была счастлива. Ребят удивляла и радовала эта замечательная поездка сквозь всю страну. Большинство из них никогда не было дальше своей округи. Всё восхищало их — и города, встречавшиеся на пути, и розовый дымок над закоптелым депо, и длинные, бесконечные станции, и неожиданные верблюды, степной закат и ранняя, молодцеватая зорька.

А когда поезд вдруг остановился у самого Каспийского моря, все ахнули:

— Море, море!

Даже Рунич, которого уже все звали Вруничем, — даже ничему не удивляющийся Рунич, пренебрежительно заявлявший о пейзажах, что всё это ерунда (он в своём окошечке и не то видел: «Кордилеры, слышали вы про такое?»), тут не выдержал и побежал к морю. Вернулся гордый, важный, сияющий.

— Ноги в Каспийском море мыл! — заявил он. — Факт! Я во всякой большой воде — в реках, морях и озёрах — первым делом ноги мою, осваиваю очень просто. Теперь бы мне только на Ледовитый океан попасть, а все остальные моря я уж знаю...

Но его припёрли к стенке — а на Балтике был, а на Белом море был? Оказывается, и бывал-то он всего только на Азовском да на Чёрном.

— Да ну вас, — огрызнулся он, — сколько морей в стране! Разве все повидаешь?

Беззаботный смех гремел в теплушке. Зачинались и, неоконченные, угасали песни, чтобы смениться новыми. Ребята пели «лёгким горлом», стараясь, чтобы выходило по-армейски. Рунич колотил в дно чайника, как в барабан.

— Гей, море, Чорне море, Биле море, ге-е-ей! — пели ребята.

Алёше вспомнилось, что всего месяц назад он стоял здесь, на берегу рыжего Каспийского моря, гадал, где он будет через год. Тогда выпало: в Тихом океане, среди голубой воды. Но теперь он уже точно знает: следующую встречу его в казарме, в крепости, среди чёрных нахохлившихся гор.

«Забьюсь в далёкий уголок, дальше уж и нет ничего — граница. И забудут меня мои друзья. И пускай забудут! — озлобившись, думал он. — Пускай! Никого мне не нужно. Что в самом деле! Гадаю о будущем, словно старик какой. Плунуть на всё! Жить, просто жить, как все живут, как живётся». И ему хотелось плюнуть, да не плевалось. И всё ворочался да ворочался на полке, прислушивался к лёгкому, беззаботному смеху ребят и завидовал им.

Было и так: однажды утром его разбудил громкий крик. На нарах не было никого. Все сбились в дверях.

— Что случилось?

— Горы, горы!

Он взглянул. Верно: на горизонте, словно нарисованные, голубели горы.

Вдруг горькое разочарование охватило его. Это горы? Только-то и всего? Он стал всматриваться. Да, горы. Волнистые бесплотные линии, похожие на тени. Может быть, это и не горы ещё, а облака только? Было бы очень обидно, если бы горы были такими, как, как... Он подбирал сравнение и вдруг вспомнил — как на коробке печенья.

Он убеждал себя, что осиянные солнцем горы эти и впрямь красивы, но красота эта не трогала его, оставляла холодным и разочарованным.

Какими же он ждал увидеть их? Опять ребячество, Гайдаш? Ну да, когда на призывном пункте его спросили, куда он хочет поехать служить, он ответил, махнув рукой: «Подальше!» Военный комиссар улыбнулся. «Хотите-ка на границу, в горы? В городок Крепость?» Ему представились тогда угрюмые горы, дикие скалы, ущелья и где-то среди них — чёрные развалины крепости, покрытые ржавым мхом, лягушечьей зеленью, окутанные пороховым дымом. «Я еду служить в крепость!» — это звучало здорово. Бастионы, бойницы, подземелья, тайные ходы, змеи под скользкими камнями...

Алёша равнодушно смотрел, как разворачивались перед ним горы. Вспомнил холмы родного края, степь, иссеченную дождём, и подумал, что, вероятно, никогда он не полюбит этот чужой, пусть пышный, но холодный пейзаж. Чего-то не хватало в нём. Чего? Вдруг Алёша догадался:

надо бы сюда вышку шахты, трубу завода, белую колоннаду здания. Не хватало человека, его благородной руки. Всё было удивительно похоже на рельефный песочный ящик, по которому на призывном пункте обучались тактике. Тот же выпуклый, неживой, застывший пейзаж, та же неправдоподобная, слишком аккуратная красота, слишком облизанная чистота и подтянутость.

В Тифлисе эшелон расформировали. Алёшину теплушку прицепили к дачному поезду Тифлис — Боржом.

— На дачу едем, ребята! — острил Рунич.

Вся их поездка вдруг приобрела легкомысленный, увеселительный характер. Рунич успел подружиться с девушками из соседнего вагона, они звали его к себе. Весёлые, гостеприимные грузины на станциях пили за Красную Армию, хрипло и нестройно кричали «ура!» и приглашали ребят отведать местного молодого вина — маджарки. Призывники крепались. Держались с подчёркнутым достоинством.

Печь из теплушки пришлось выбросить — и без неё жарко. Соседние вагоны были без стенок, как трамваи в южных городах. Что-то в них напоминало карусельные лодки.

Ребята сидели на пороге теплушки, свесив босые ноги. Пышные багряные ветви цеплялись за двери. Падали в вагон листья. Шашевский всё пытался сорвать ветку на ходу, но деревья не давались, убежали, взмахнув листвой, в руке оставался только клочок рваных кроваво-красных лоскутков.

— Схватил дерево за чуб? — смеялись над Шашевским ребята. А он, стиснув зубы и напружившись, стоял в дверях, готовый к новому прыжку.

— Гей, горы, чорни горы, сини горы, гей! — пели ребята.

Алёша сам не успел заметить, как, когда он попал в плен гор. Горы подавили, уничтожили его. Всё, что он думал о них раньше, вчера, третьего дня, оказалось чепухой, вздором.

То чёрные, то прозрачно-кремовые, дымчато-синие или морщинисто-серые, мышастые, то покрытые густой хвоей, то чёрно-голые, суровые или нарядные, острые или округлые, но все древние, прекрасные, озарённые сияющим солнцем, они подступали к самой теплушке, громоздились у дороги, убежали и терялись в облаках. Вся земля была вздыблена, взъерошена. Даже засеянные поля, огороды, сады висели как-то отвесно, боком, приткнувшись к скалам. По узким, крутым тропинкам бродили пугливые и бесстрашные овцы. С гор срывались тонкие, острые ручьи, блестящие на солнце, как сабли. Все горы были иссечены ими, а там, где реки высохли, остались глубокие шрамы.

«Древние...» — с почтением подумал о горах Алёша.

На каждом шагу теперь мерещились ему старинные крепости и развалины. Может быть, и крепостей здесь никаких никогда не было, но причудливые сечения горных пород, сбросы: скалы, пещеры, обрывы — казались грозными остатками крепостных стен, валов и бастионов. Всё дышало древностью, воинственной и романтической.

А с гор набегал на теплушку молодой, тугой ветер, полный соков прелой земли, острых запахов смолы, хвои, упавшей листвы, стоячего озера, пряных восточных ароматов фруктовых садов, горького миндаля и сладкого персика. На вокзалах пахло луком, жареной бараниной, терпким вином, рекой и кипарисами. Вот мелькнул одинокий домик на тонких сваях, как избушка на курьих ножках. Кто живёт в нём? Кого любит, кого ненавидит, о чём мечтает? Вот хлестнула в окно тяжёлая ветвь дуба и осыпалась, звонкие листья попадали на рельсы, на песок, на железные стропила моста. Вот мутная река вырвалась из-под моста и заюлила среди каменных отмелей. Вот... но что это, гора горит?

— Гора горит? — закричали ребята.

Гора и впрямь горела. Багряные листья покрыли её всю — это был гигантский костёр, в котором, как тонкие струйки дыма, подымались голые чёрные сучья молодняка. И долго смотрели ребята вслед дымящейся горе и с грустью расстались с прекрасной иллюзией.

Чудесная это была земля, в которую приехал служить Алёша. По этой изумительной земле, сквозь горы, леса и реки, неслась его бесшабашная теплушка, украшенная зелёными ветвями, как флагами. Охапки цветов и листья валялись на нарах и на полу; по ним ходили, их топтали, ими размахивали, их швыряли на полотно железной дороги. Словно усыпали свой путь цветами. Ликующие ребята, опьянённые солнцем, движением, запахом гор и садов, толпились в дверях и нестройно орали.

Внизу, на камнях, билась пенная Кура — ура реке! Распахнулись серые бетонные каскады плотины Загэса — ура плотине, человеку-творцу! Возник осиянный солнцем памятник Ленину над Загэсом — ура Ленину! Ура горам! Ура соснам, молодости, весёлым призывным годкам!

— Гей, горы, чорни горы, сини горы, гей!..

— Гей! — гремело в горах. — Гей!

— Гей! — кричал Дымшиц, бравый солдат Швейк Энского Горного Кавказского. Его галстук сбился набок, воротничок расстегнулся.

— Гей! — орал молчаливый Ляшенко мощной глоткой кочегара.

— Гей! Гей! — подхватывал Алёша, и эхо отвечало ему в горах, заглушаемое колёсами поезда.

Так они приехали в Боржом, в этот удивительный курортный городок, похожий на театральные декорации. Бродили по городу. Удивлялись горам, небу — маленькому, круглому, узорчатому, отороченному со всех сторон бахромой чёрных гор, гуляли по парку, пили тепловатый боржом, ели козий сыр в буфете на вокзале.

В Боржоме призывники узнали, что до Крепости ещё шестьдесят километров и их надо пройти по каменистому шоссе, нависшему над Курой.

— Впрочем, можно поехать и автобусом, — сказал встретивший их в Боржоме командир из Горного полка. — Да на всех мест не хватит.

— Пешком, пешком! — закричали ребята.

Алёша заметил, как побледнел Дымшиц, и, наклонившись к нему, тихо сказал:

— А вы, Юрий, поезжайте автобусом. Ничего...

Дымшиц моргнул ресницами и прошептал:

— Нет. Я пойду пешком... со всеми...

Вечером к Алёше подошли Рунич, Сташевский и Ляшенко. Они смущённо мялись и глядели друг на друга.

— В чём дело? — спросил удивлённый Алёша.

— Да что! — вдруг решился Рунич. — Дело вот в чём, товарищ старшина. Сегодня последний день нашей штатской жизни. Завтра будем в строю. Мы приглашаем вас... ну, понятно?

Они нашли духан, спросили бутылку местного, молодого вина и стоя, высоко подняв стаканчики, которые здесь зовут лафитниками, чокнулись.

— Ну, друзья, за новую жизнь, за Горный Кавказский! — торжественно сказал Рунич.

### 3

Уже на третьем километре Дымшиц снял галстук, на пятом — кепку, на седьмом — пиджак, на десятом — подтяжки. Но всё это приходилось нести на себе. Розовые подтяжки болтались на плече, пиджак оттягивал руку. Верно говорят, что в походе и нитка — тяжесть.

Алексей искоса посматривал на шагавшего рядом потного, задыхающегося человечка. «Ну, зачем он не поехал автобусом?» — злился Гайдаш. — Тоже герой выискался!» Потом ему стало жаль Швейка.

— Давай-ка, я понесу немного, — пробурчал он и взял у Дымшица пиджак. Дымшиц жалко улыбнулся:

— Сердце... сердце дебоширит...

Рядом с Дымшицем Алексей чувствовал себя здоровым и сильным. Пиджак он перекинул через плечо. Дорога казалась ему теперь пустяковой и лёгкой.

Словно старый солдат, он шёл по обочинам шоссе.

— Здесь мягче, — назидательно говорил он Дымшицу, и тот покорно ступал за ним, след в след.

Внизу шумела Кура, по ней то и дело навстречу призывникам неслись лёгкие плоты. На них, широко расставив ноги и навалившись на длинные шесты, стояли плотовщики, мокрые с головы до ног. Алексей заметил, что у правила стоял обычно старик. Один надолго запомнился ему. Гибкий, стройный, сильный, он как-то особенно лихо управлял плотом, и тот легко лавировал среди огромных камней, свалившихся в реку. Старик был бос; его шаровары, узкие у щиколотки, раздувались на бёдрах, как парус на ветру, на голове непонятно как держалась очень маленькая круглая войлочная шапочка.

Старик что-то кричал всё время.

— Гауптхильды! — разобрал Алёша и скорее догадался, чем понял, что это значит «берегись!» — столько тревоги было в этом крике.

На малых привалах Алёша ложился лицом к реке. Чуть скрытые береговой листвой, пронесились мимо него плоты — на это можно было смотреть часами. И тогда казалось, что сам плывёшь, мчишься с рекой. Он слушал, как грозно шумит река, как скрипят брёвна, гортанно кричат плотовщики, и новый, незнакомый мир открывался перед ним. «Они плывут до Тифлиса... — думал он. — Ночуют, вероятно, на берегу... у костров... Дым костра... Жарят баранину... Спят под деревом... На траве... Трава мягкая, мокрая... Холодно... Но они привычные... Мокрые с головы до ног... Один на один с рекой... Скалы... Камни... И когда я бегал в школу — они гнали плоты, и когда я сидел в окружке — они гнали плоты, ночевали у костров, кричали гортанно и тревожно... Я не знал их, они не знали меня... Как много ещё предстоит мне узнать и увидеть! Хорошо бы пронестись по Куре на лёгком плоту... Скрипят брёвна...»

Дымшиц лежал пластом, обессиленный и потный.

— Пить, — шептал он, но Алёша строго приказал ему и не думать о воде. Он слышал, что пить в походе нельзя.

— Соси пуговицу, — посоветовал он. Он ощущал в себе неподозреваемые силы и опыт. И у него гудели ноги и ныло под коленкой, но в этом он не признался бы ни себе, ни товарищам. Он всё приглядывался к шагавшему впереди командиру. Тот даже воротника не растегнул. Ни одной капельки пота нельзя было заметить на его худощавом, резко очерченном лице. Полевая сумка и наган, прикреплённые к ремню каким-то особенным способом, лежали на бёдрах, как припаянные. Алексей pokrutil головой.

«Школа-а! — подумал он. — Сумею ли и я?»

Навстречу начали всё чаще попадаться скрипучие арбы на двух колёсах. Буйволы низко склоняли могучие выи под деревянным ярмом — от этого казалось, что глядят они исподлобья, зло и враждебно. Арба визжала, высокие деревянные колёса пели на разные голоса, буйволы глухо ревели. На маленьком равнодушном ишаке проехал, потрухивая на ходу, крестьянин в чалме, длинные, тонкие ноги его, обутые в чуваки, касались

земли. Согнувшись под вязанкой хвороста, протрусил мимо пугливый мул, робко поводя высокими ушами. Чаше стали встречаться машины, лихие шофёры весело окликали призывников и обдавали их пылью. На шоссе возились ремонтные рабочие в широкополых войлочных шляпах, у некоторых головы были обвязаны красным или розовым платком. Они сидели на шоссе и, охватив камень ногами, долбили его молотками. Проехал воз, доверху полный скошенной травы, на шоссе запахло сеном. Алёша радостно потянул носом, но запах сена скоро смешался с угаром бензина, с сырыми запахами реки и ароматами садов, селений, тёплого навоза на дороге. Всё это был незнакомый Алёше мир, люди в нём жили и трудились над неизвестными ещё ему делами, их заботы, печали и радости были ещё непонятны ему. И даже в запахах этого мира он разбирался плохо.

Наконец добрали до почты — здесь полагалась ночёвка. Стрепетов, сняв очки, объяснил (он всё знал, Алёша почувствовал к нему лёгкую зависть): здесь ходила раньше царская почта, на полдороге стоял духан — полпочты — полдороги значит. Здесь отдыхали, пили, ели, кормили лошадей. Стал вспоминать Лермонтова и Грибоедова — они когда-то тряслись по этой дороге. Глаза его заблестели.

— Вы знаете, — сказал он Алёше, — в казармах, где мы будем жить, стоял раньше полк, в котором когда-то служил Лермонтов. 44-й Тенгинский. Возможно, здесь, в этой крепости, служил и Печорин. История будет глядеть на нас, друзья, с этих стен и удивляться нам, племени молодому и незнакомому.

Печорин! Это напомнило Алёше Вальку Бакинского. Он зло усмехнулся. Мысль о том, что Бакинский, мнивший себя Печориным, стал просто-напросто троцкистской сволочью, рассмешила его. Он весь вечер усмехался, вспоминая.

Спать легли рано, измученные дорогой. Им отвели пустые комнаты ветеринарного пункта. В комнате стоял ещё запах карболки. Ночью Алёша проснулся от духоты, от тяжёлого сна, от храпа Сташевского. Вышел на улицу. Глухо шумела Кура. Дремали тяжёлые сады. Ни огонька в селении. На шоссе пустынно и тихо. Горы чёрной грядой громоздились во круг.

Стало холодно. Зябкая ночь! Вернулся обратно. Лёг. Лермонтов, Грибоедов, Тенгинский пехотный полк, горы, казацкие посты, чеченцы, скрипучие арбы, девушка с кувшином, враждебные глаза буйвола, полевая сумка, поблёскивающая розовой кожей, — всё заветелось в голове. И вот он уже плыл по Куре на лёгком плоту, и старик в маленькой войлочной шапочке, мокрый с ног до головы, тревожно кричал «гауптхильды!», что, вероятно, означает «берегись!».

На следующий день в сумерках подошли к Крепости. Алёша взглянул сначала на свои сапоги — они сморщились и запыхались, потом на Дымшица — тот был еле жив. У Алёши у самого болели ноги, он, очевидно, натёр их. Нельзя ходить по горам в хромовых сапожках, натянутых на тоненькие носки.

— Главное, — говорил командир, — для пехотинца — ноги. Но мы научим вас искусству завёртывать портянки.

Но теперь и шоссе и дорожные тревоги и муки остались позади. Окутанные синими сумерками, вдаль дымились сады и дома Крепости.

С любопытством всматривались будущие красноармейцы в городок, раскинувшийся внизу, за рекой. Алексей шагал рядом с командиром. Тот, видимо опасаясь, что первые впечатления окажутся очень тяжёлыми для призывников, пытался подготовить их.

— Это и не город даже, — говорил он, виновато улыбаясь, словно был повинен в этом. — Это, проще сказать, — селение, большой аул, что ли.

— А вы давно служите здесь? — спросил тогда Алёша.

— Семь лет, — просто ответил командир.

Алёша вскинул на него глаза, но ничего не сказал.

Над рекой красиво высились крепостные стены. Они казались чёрными. Может быть, из-за сумерек.

— В этой крепости мы и будем жить?

— Нет. Тут пограничники. А наши казармы вон, видите?

Вдали, на голых холмах, виднелись мрачные казармы. Так ещё одна алёшина иллюзия оказалась развеванной как дым. Оказывается, он даже и в крепости жить не будет.

Уже совсем стемнело, когда они перешли мост через мелкую, усеянную каменистыми отмелями реку (Кура давно убежала в сторону от шоссе — в Турцию, как объяснил командир). и вошли в город. На кривых тёмных улицах мигали редкие фонари. Всё же Алёша сумел увидеть, что городок маленький, жалкий и грязный. Много лавчонок — отметил он. Улицы узенькие, азиатские. Чем-то нехорошим пахнет. Чем же? Единственное двухэтажное здание обрадовало его.

— Что это? — спросил он командира.

— Всё, — кратко ответил тот, — и рик, и райком, и кафе, и типография. Всё здесь.

Алёша невесело усмехнулся. «Ну что же, — подумал он, — чем хуже — тем лучше».

Оказалось, что в полку для них не был приготовлен ночлег. В карантин их поместить нельзя — не были в бане. Командир вернулся из штаба и смущённо сказал, что придётся всем одну ночь переночевать на гауптвахте — свободное помещение.

— Только не привыкайте к ней, ребята, — пошутил он.

Алёша рассердился: неужто нельзя было о ночлеге раньше подумать? А ещё, говорят, в армии порядок. Ну и гарнизон! Он здорово устал, ноги гудели. Усталость сказывалась теперь на всех ребятах. Они молча стаскивали разбитые ботинки, валились на пол.

Принесли сена. Постелили на полу. На огромный котёл шрапнельной каши набросились жадно и молча. Алёша поел немного и повалился на сено. Но не спалось. Заметил на стене надписи карандашом. Стал читать. «20 суток за оскорбление командира сидел повар части Тюхов». «Не попадайся сюда, ребята, это некрасиво для бойца. Боец кавэскадрона Гаркуша». Внизу химическим карандашом были нацарапаны стихи:

Будь проклят тот от века,  
Кто думает губой исправить человека.

Алёша прочёл их несколько раз. Горько усмехнулся. «Вот и меня думают исправить армией, губой, дисциплиной. Исправить? Разве я преступник? — Он дискутировал с секретарём Цекамола. — Спихнули меня в солдаты, забрили лоб, возни меньше, так, товарищ секретарь?..»

Разбудили рано. Снова принесли кашу. На этот раз гречневую, с мясом. Стрепетов уныло жевал хлеб. Алексей, поев, вышел покурить на улицу.

Перед ним лежал весь полковой городок, бурые, кирпичные казармы крепко осели на холмах. Окрест дремали горы. Они окружили полк мирной, задумчивой чредой. Верхушки их золотились, склоны были ещё покрыты серой тенью.

Было что-то очень мирное и покойное в картине военного городка ранним утром. С холма медленно спускался красноармеец с ведром — очевидно, нёс кашу караулу. Возле санчасти на изъеденной временем скамье сидел и прелся на солнце больной командир в халате. Проехали, подняв

пыль, конники на неосёдланных лошадях. «На водопой»,— догадался Алёша. У каких-то складов — очевидно артиллерийских — мерно шагал часовой в сером плаще.

Алёша вдруг почувствовал себя неловко в кургузom штатском пиджачке и кепке. Должно быть, он представлял смешную фигурку на фоне этого подтянутого, строевого мира. Часовой поглядывает в его сторону. Узнаёт ли он в нём новобранца или удивляется появлению штатского человека в полку?

Скоро и Гайдаш станет простым парнем в серой шинели, одним из тысячи. Никто не будет ни удивляться ему, ни замечать его. И то, что кажется ему сегодня необычным, интересным, острым, станет завтра будничным и простым. И конники на неосёдланных лошадях. И больной командир в халате. И горы.

Бросил папирску в урну, вернулся к ребятам.

Строем их повели в баню. Под машинкой полкового парикмахера полетели на пол алёшины кудри. Зеркала не было, но он посмотрел на ребят и в их смешных стриженных головах узнал свою, тоже, вероятно, смешную, испещрённую колеями машинки. Вспомнил, что Любаша всегда смеялась над его ушами — большими и оттопыренными. Поглядела бы она теперь! А, всё равно!..

С наслаждением вымылся в бане. Получил бельё с завязками вместо пуговиц, сапоги, гимнастёрку, брюки, шинель, ремень, шлем.

Ребята деловито выбирали себе одежду: сапоги по ноге, ремень поуже, гимнастёрку пофрантоватее. Они уже решили кое-что перешить, долго примеряли. Они выбирали одежду, чтобы носить её, а Алёша брал всё небрежно, чуть брезгливо, равнодушно. «Всё равно, всё равно», — шептал он.

Когда Ляшенко подошёл к нему в полной форме, Гайдаш сразу не узнал его. Удивительно, как пришлась кочегару форма, словно сто лет был он в строю. Молодцеватый красноармеец получался из него, Алёша даже залюбовался. Сам он, вероятно, выглядел смешным.

Но Дымшиц удивил всех. В лихом шлеме, в огромных сапогах, в ремне, сползшем на живот, он и верно был Швейком, таким, как рисуют его в книжках.

— Швейк, Швейк! — хохотали вокруг ребята. Он давно перестал обижаться на эту кличку. Они хлопали его по плечу, вертели во все стороны — он только улыбался растерянно и смущённо.

Военная одежда изменила всех. Ребята не узнавали друг друга. Это был весёлый маскарад, игра с переодеваниями, и даже Алёша заразился общим весельем. Потом тихонько подошёл к каптёру и попросил сменить шлем.

*(Продолжение следует)*



---

---

## ИЗ СТИХОВ БАШКИРСКИХ ПОЭТОВ

★

МУСТАЙ КАРИМ

*Снег идёт...*

Третий день подряд идёт мокрый снег,  
Мне невмочь уже третью ночь —  
Стонет старая рана, как человек,  
Третий день подряд идёт снег...

Третьи сутки осколок в теле моём  
Бродит, тычась, то этим, то тем углом,  
Словно выхода ищет и не найдёт.  
Третий день подряд снег идёт. Снег идёт...

Я не знаю — тело ль моё болит,  
Сам осколок ли болью стал?  
Он был в Руре выкопан и отлит,  
А потом на Днепре был в меня зарыт,  
Этот, ставший миной металл.

Было два их — пишу, чтобы помнил сын, —  
Два осколка мины одной:  
Фомина в могилу унёс один,  
Я на память унёс другой.

Ноет рана моя двенадцатый год.  
Третий день подряд снег идёт. Снег идёт..  
Снег растает и станет вчерашним днём,  
Превратится зима в весну.

Третью ночь старая рана болит  
И покоя мне не даёт.  
Третьи сутки в Париже парламент не спит.  
Третий день подряд снег идёт. Снег идёт...

Декабрь, 1954 г.

*Перевод К. Симонова.*

*В одном далёком городе*

В больнице, в городе далёком,  
Лечил мне раны старый врач.  
Но свет звезды моей высокой  
Гнал смерть и был ещё горяч.

А на дворе метель распелась.  
Мороз разрисовал окно.  
И мне увидеть захотелось  
Друзей, не виденных давно.

А ветер шаловливый где-то  
Ударил дверью вдалеке.  
...Я услышал слова привета  
На материнском языке.

Минуты радости крылатой  
Переживать нам трудно вдруг.  
Ко мне в больничную палату  
Вошёл мой старый, близкий друг.

Спешу спросить. Не жду ответа.  
— Как там живёт моя Уфа?  
Что пишут там друзья поэты,  
Крепка ль в стихах у них строфа?

Как будто кто её заставил,  
Душа от радости поёт.  
А друг мой предо мной поставил  
В кувшине наш башкирский мёд.

И вдруг пахнуло тихим летом,  
Хлебов разливом золотых.  
Исходят липы терпким цветом,  
И пчёлы кружатся средь них.

И жаворонка голос звонкий,  
На мальвах капельки росы,  
И песни девушек, и тонкий  
В лугах зелёных звон косы.

И вдруг ударила с разбега  
Метель в оконный переплёт,  
Но всё равно за этим снегом  
Весна на родине цветёт.

Над ней солнце не заходит  
И гонит прочь завесу тьмы.  
Мне в этом вечном хороводе  
В моём краю, в моём народе  
Нет ни метелей, ни зимы.

\* \*  
\*

Всегда тревожно и несмело, —  
Когда в дорогу провожать, —  
Ты говоришь, что не успела  
Мне слово нужное сказать.

В нём всё — горенье и надежда,  
Любовь, согретая в груди.  
Вся ты.

Всё то, что было прежде,  
И всё, что будет впереди.

В мой час последний, что б ни случилось,  
Скажи, любовь свою храня,  
Всё, что несказанным осталось  
И самым нужным для меня.

*Перевод М. Дудина.*

### САЙФИ КУДАШ

\* \*  
\*

Зря меня ты за руку берёшь,  
Не смотри, что я один иду.  
Попусту мне сердца не тревожь —  
Места для тебя в нём не найду.  
Руку милой взял я так давно,  
В сердце к ней любовь так много лет,  
Что, пока стучит в груди оно,  
Для другой в нём просто места нет.

\* \*  
\*

Во многих юности делах и фразах  
Раскаивался часто я под старость.  
Лишь об одном не пожалел ни разу —  
Что вся любовь моя тебе досталась.

*Перевод Ирины Снеговой.*

### ХАНИФ КАРИМ

#### *На пути к большому перевалу*

По тропинкам горным, сквозь чащобы  
Мы с тобою пробирались к свету,  
Руку дать всегда готовы оба  
В час, когда другой опоры нету.

Сколько раз ты руку мне давала,  
Сколько раз тебе давал я руку.  
На пути к большому перевалу  
Лучше цену узнаёшь друг другу.

Все дороги жизни на две части  
Поделили мы с тобой без спора,  
Поделили горе, поделили счастье,  
Поделили все крутые горы.

*Перевод К. Симонова.*

## ЯКУП КУЛМАЙ

*Каменщик берёт слово**Посвящается гор. Октябрьскому*

Я каменщик.  
 Мы строим новый дом,  
 Фундамент в котловане мы кладём,  
 Возводим стены,  
   настилаем кровлю,  
 Вставляем в рамы стёкла мы потом...

Страж мира я,  
   строительства солдат.  
 В руках лопата,  
   а не автомат,  
 И сокол в руках,  
   и лишь пилотки  
 У нас на головах ещё сидят.

Я каменщик.  
 Кладу кирпич — звенит.  
 Не разобьёшь —  
   он прочен, как гранит,  
 Он закалён моим сердечным жаром  
 И на века закалку сохранит.

Я каменщик.  
 Я строю города.  
 Нас миллионы  
   на фронтах труда.  
 Мы на лесах —  
   как на дозорных вышках, —  
 Эй, вы!  
 Поосторожней, господа!

*Перевод Льва Пеньковского.*

---

НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

## СИРОТА

*Повесть\**

13

**К**ак у всех втайне трусливых людей, страх у Елизаветы Ивановны переходил в озлобление против тех, кто был причиной этого страха. Увидев далеко в море головы двух ребят, она пережила панический испуг. Каждую секунду они могли исчезнуть под водой и больше не появиться, утонуть, а отвечать за это должна будет Елизавета Ивановна. Никто не вспомнит, не подумает, что виновата, в сущности, совсем не она, а прежняя воспитательница, все порядки в детдоме, вернее, полное отсутствие порядка... Однако привела детей на берег, не уследила, не предотвратила несчастья она, и отвечать за всё придётся ей. В любую минуту из-за каких-то мальчишки и девчонки её безупречная репутация могла погибнуть.

Она ни слова не сказала детям. Возмездие должно соответствовать преступлению. А в этом случае возмездие должно превзойти преступление: нет ничего опаснее дурных примеров. Всю дорогу Елизавета Ивановна думала о том, как губят других не пресечённые во-время дурные примеры, и розовые пятна на её щеках не гасли.

Рассказав о случившемся, Елизавета Ивановна не сомневалась, что вопиющий поступок Горбачёва и Рожковой возмутит Русакову и та решится в конце концов на серьёзные меры. Даже на крайние меры.

Теперь она даже радовалась тому, что произошло: начинать всегда следует с решительных мер. С её появлением в детдоме вся эта орава распущенных мальчишек и девчонок почувствует твёрдую руку. Вообще нужно ко всему присмотреться. К коллективу воспитателей, например. Он, кажется, из рук вон...

Предположение Елизаветы Ивановны подтвердилось на следующее утро. Окружённая маленькими девочками, Анастасия Фёдоровна сидела в рабочей комнате за машиной и, пришивая пёстрый лоскут к платью, неторопливо говорила что-то своим внушительным басом. Елизавета Ивановна замедлила шаг у открытого окна и прислушалась.

— Вот, крошки, — говорила Анастасия Фёдоровна, — сейчас мы его приметаем и просточим. Сам по себе он ничего, тряпочка, а получится очень миленький кармашек. Главное, со вкусом надо подобрать. Вот и приучайтесь, вырабатывайте вкус. Сейчас вы маленькие, а потом вырастаете, станете девушками. На хорошо одетую девушку всем приятно посмотреть. Другая и некрасивая, а со вкусом оденется, и кажется, что красивее стала. Молодые люди в туалетах ничего не понимают, но им тоже нравится, если хорошо одета... Когда я была молодая и мой будущий муж за мной ухаживал...

— Можно вас на минуточку? — не выдержала Елизавета Ивановна.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

— Меня? Пожалуйста. — Анастасия Фёдоровна отложила платье и подошла к окну.

— Вы понимаете, что вы говорите? — негодуящим шёпотом спросила Елизавета Ивановна.

— А что? Я ничего особенного не сказала, — встревожилась Анастасия Фёдоровна.

— По-вашему, говорить о том, как они станут девушками, о молодых людях — ничего особенного?

— Господи, да ведь они на самом деле будут девушками! — растерянно сказала Анастасия Фёдоровна.

— Это будет когда-то, а сейчас говорить с ними об этом не-пе-да-го-гич-но, — отчеканила Елизавета Ивановна. — И я предупреждаю, что поставлю вопрос на педсовете.

На лице Анастасии Фёдоровны выступили капельки пота. Она не знала, кто эта отошедшая от окна женщина с неподвижной спиной, испуганно смотрела на удаляющуюся спину и думала, что с ней, Анастасией Фёдоровной, сделают на педсовете за то, что она говорила. Она так и не поняла, что ужасное было сказано, но в том, что с ней что-то сделают, не сомневалась.

— А дальше? А потом что было? Расскажите, Анастасия Фёдоровна! — Увидев, что незнакомая женщина отошла, девочки обступили руководительницу.

— Потом, крошки, в другой раз. Давайте работать, — сказала Анастасия Фёдоровна и, прерывисто вздохнув, взяла недошитое платье.

Елизавета Ивановна была довольна. Возмутилась она совершенно искренне, но к её возмущению примешивалось удовольствие, испытываемое человеком, когда ожидания, предположения его подтверждаются, даже если предполагает и ожидает он скверное и дурное.

Ещё накануне вечером она договорилась с директором о том, что вторую рабочую комнату, подсыхающую после ремонта, можно пока использовать для игр. После завтрака Елизавета Ивановна собрала свою группу в пустой, гулкой комнате. Следом за старшими в неё набились и галчата — посмотреть, что там будут делать. Елизавета Ивановна была довольна и этим: во-первых, они не будут слышать всего, что может наговорить та похожая на домработницу, толстая женщина, а во-вторых, очень хорошо, если воспитательнице удаётся завоевать авторитет сразу среди всех возрастов...

— Сейчас, дети, мы будем играть, — объявила Елизавета Ивановна. — Маленькие будут водить хоровод. Умеете?

— Умеем! — закричали галчата.

— Очень хорошо! Становитесь в кружок и беритесь за ручки. Какую будем петь песню? Если вы не знаете, я вас научу. Есть очень хорошая песенка. Вот слушайте, — и она скрипуче пропела:

Станьте, дети,  
Станьте в круг,  
Станьте в круг,  
Станьте в круг...

— Жил на свете старый жук! — с восторгом подхватили галчата.

Они знали эту песенку. Весной их водили на кинокартину «Золушка», где был такой смешной и глупый король и где Золушка учила придворных песенке про жука.

Старшие с недоброй ухмылкой смотрели на воспитательницу, которая вместе с малышами распевала детскую песенку.

Стоявшим у дверей удрать было просто: улучив момент, когда воспитательница поворачивалась к ним спиной, они в два шага оказывались на свободе. Митя Ершов, Лёшка и Яша Брук стояли возле окна. В знойном струящемся воздухе дрожали верхушки тополей, под деревьями клубками свернулись густые тени. В окно врвался запах нагретой листвы, а здесь, в комнате, пахло сырým мелом и сиккативом. Валерий Белоус до сих пор развлекался, как умел, — трогал пальцами стенку и смотрел, не пачкает ли, почёсывался, незаметно щёлкал галчат по затылкам. Всё это надоело ему, он согнулся и сделал страдальческое лицо.

— Елизавета Ивановна, у меня живот заболел.

Галчата засмеялись.

— Выйди и не балагань! — строго сказала Елизавета Ивановна.

Валерий, храня на лице скорбь, пошёл к выходу, но в дверях опрокинулся на руки, сделал стойку и вышел на руках. Галчата взвизгнули от восторга. Елизавета Ивановна не видела, но догадалась, что она обманута; на щеках её выступили красные пятна.

Яша Брук решительно оттолкнулся от стенки и пошёл к выходу. Следом тронулись Лёшка и Митя.

— Куда вы, дети?

— К Людмиле Сергеевне, попросим газету. Мы с Ксенией Петровной всегда в это время читали газету, — сказал Яша.

Митя, подтверждая, кивнул.

Елизавета Ивановна прищурилась, пятна на её щеках проступили ярче. Взгляд её остановился на Лёшке.

— Горбачёв, к директору тебя вызывали?

— Вызывали.

Галчата замолчали, перестали топтаться.

— Что она сказала?

— Чтобы не заплывал в другой раз.

— И больше ничего?

— Ничего.

— Ага! — Елизавета Ивановна едва не задохнулась.

Малыши, затаив дыхание, ждали, что она сделает.

— У меня в группе, — ещё отчётливее, чем всегда, сказала Елизавета Ивановна, — не появляйся до тех пор, пока директор не вызовет тебя снова.

Лёшка исподлобья посмотрел на неё и пошёл следом за товарищами. Валерий подтягивался на турнике; увидев их, прыгнул на землю.

— Вот зуда какая! А, ребят? — сказал он и, неестественно вытянувшись, запел фальцетом: — «Жил на свете старый жук...»

— Брось, Валет! — отмахнулся Митя. — И откуда она взялась на нашу голову?

— Хоть бы уж скорее Ксения Петровна выздоравливала.

— Да, — задумчиво подтвердил Яша и, помолчав, вдруг решительно сказал: — А мы свиньи! Конечно, свиньи! — кивнул он в ответ на удивлённые взгляды товарищей. — Ксения Петровна сколько болеет, а мы ни разу не проведали.

— Ну да, в больницу же нас не пустили!

— Так то в больницу, а сейчас она дома. Пошли, ходим? А то Елизавета Ивановна нас ещё в песочек посадит играть...

Ребята невесело посмеялись.

— Вы идите, а я не пойду, — сказал Лёшка.

— Почему?

— Ну, вас она знает, а меня нет.

— Так узнает! Всё равно ты с нами, в нашей группе.

Лёшка стеснялся чужих, незнакомых людей, терялся в их присутствии, знал, что так будет и на этот раз, но после недолгих колебаний согласился.

— А адрес? Ты знаешь? Я тоже нет... О, Кирка знает! Девчонки к ней бегали...

Кира адрес знала, но сказать отказалась.

— А зачем вам? Вы к ней хотите? Я тоже пойду.

— Так ты уже была!

— Ну и что? И ещё пойду.

Ребята переглянулись. Им хотелось пойти самим, чтобы поговорить обо всём серьёзно, а при Кирке какой мог быть серьёзный разговор. Кира обиделась.

— Не хотите — и не надо! Ничего я вам не скажу, а пойду сама.

— Да ладно, пойдём.

Кира улыбнулась, но тут же лицо её стало озабоченным.

— Только знаете, мальчики? Надо ей в подарок что-нибудь принести.

— А чего нам дарить? У нас ничего нет.

— По-моему, надо цветы. А? Это очень красиво — дарить цветы! Цветы всегда дарят.

— Ха! Где ты их возьмёшь? На базаре? А откуда у нас деньги?

Денег не было и взять их было негде.

— В сквере нарвать, так ещё в милицию заберут... — раздумчиво сказал Митя.

— Я знаю, — с таинственным видом сказала Кира. — Там только собака, а если не бояться, так ничего...

Кира привела их в узкий глухой переулок, над которым смыкались кроны деревьев, с независимым видом прошла по нему одна — «на разведку», как шёпотом пояснила она, — потом подвела к забору из ржавых штамповочных отходов. Там, где не хватило продырявленных железных листов, была натянута колючая проволока. За забором, среди яблонь и груш, в густой траве вздымались стрелы львиного зева, алели гвоздики. Возле самого забора раскинулись широкие вайи папоротников. Кира приподняла проволоку, образовался широкий лаз.

— Вот, — сказала она.

— Так это же чужое! — изумлённо сказал Яша.

— А что у них, убудет? Вон там сколько!

— Нет, я не полезу, — решительно сказал Яша.

— И я, — сказал Митя.

— Эх вы! Просто вы трусите, вот и всё! — презрительно сказала Кира. — А ещё мальчишки!..

Лёшка не хотел лезть в чужой сад, но он не мог допустить, чтобы его считали трусом.

— Подыми проволоку, — сказал он.

Пригнувшись, он пробежал к деревьям и торопливо начал рвать цветы вместе с травой. Трава не поддавалась, скользила в кулаках, из-под рук брызгали в разные стороны кузнечики. Возле дома забухал густой собачий лай.

— Обратно! Давай обратно! — громким шёпотом закричала Кира.

Лёшка метнулся к лазу.

— Папоротников! Папоротников сорви!

Лёшка ухватил несколько ломких резных листьев и бросился под проволоку. По саду, размахивая руками, бежала старуха.

— Да что же вы делаете, босяки!.. Вот я на вас собаку спущу!

В ответ раздался дружный топот. «Босяки» остановились только через два квартала.

— Нет, всё-таки это свинство! — переводя дух, сказал Яша. — Вдруг залезли в чужой сад, наворовали цветов...

— Никакое не свинство! — отрезала Кира. — Если бы для себя, другое дело, а то для больного. А где нам взять, если у нас нет? А ей будет приятно... Ну, и помял же ты их!

— А я считаю, всё равно, — сказал Митя. — Для чего бы ни украли, всё равно — украли. Вот Ксения Петровна узнает...

— Попробуй только сказать!

Кира на ходу перебрала растрёпанный пук травы и листьев, и он незаметно превратился в пышный букет, красиво обложенный папоротником. Она полюбовалась и сама себя похвалила:

— Вот! Как из магазина.

Маленький домик на улице Липатова прятался от зноя в глубине двора среди уже отцветшей сирени. Весь двор занимали аккуратные грядки, дорожка была тщательно вычищена и подметена. Но возле терраски, к которой ребята подошли, порядок бесследно исчезал. Уткнувшись фарой в сиреневый куст и задрвав заднюю ось без колеса, стоял мотоцикл. Возле крохотной, под навесом, летней кухни лежала длинная помятая коляска. Перед ступенями на терраску, заваленными щепой и стружками, стоял остов новой коляски. Человек в майке и лыжных брюках согнулся над этим остовом. Ребята видели только его обтянутый коричневой фланелью зад и движущиеся голые локти.

— Здравствуйте, — сказала Кира.

Из-под колена показался прищуренный глаз, удивлённо открылся, человек выпрямился и повернулся к ребятам.

— Чем могу?

Он оказался толстогубым, с большим утиным носом и совершенно лысый. Сверкающую, как стеклянный абажур, лысину покрывали росинки пота. Он вытер пот ладонью и выжидательно зажмурил левый глаз, отчего правый открылся ещё больше.

— Мы... Нам Ксению Петровну, — объяснила Кира.

— Угу. Сеничка! — крикнул человек в сторону террасы. — К тебе твои ирокезы. Шагайте! — сказал он, отодвигая в сторону остов коляски, и тут же остановил ребят. — Одну минуточку! Здесь, — он показал на террасу и вокруг себя, — что угодно. Там, — повёл он рукой в сторону грядок, — ничего! Квартирная хозяйка! — скосив глаза, заговорщицким шёпотом пояснил он.

— Да мы вовсе и не собираемся... Мы же не за тем...

— Да кто там, наконец? — послышался с террасы женский голос. — Вадим, опять ты что-нибудь выдумал?

— Отнюдь! И даже наоборот, — воскликнул лысый человек. — Вполне реальные краснокожие атакуют наш блокгауз. Вооружены они шпашником и гвоздиками, но где-нибудь у них спрятаны томагавки. Кричи, когда они начнут снимать с тебя скальп. Я не боюсь — у меня снимать нечего. — Лысый подмигнул ребятам.

Они засмеялись и поднялись на террасу.

Маленькая женщина с округлым лицом нетерпеливо приподняла голову с подушки. При виде ребят она радостно заулыбалась.

— О, ребята! Вот хорошо, что пришли... Здравствуйте. И даже цветы?.. Спасибо!.. Вадим Васильевич, дай стулья!

Вадим Васильевич поднялся на террасу, заглянул в комнату и озабоченно зажал нос в кулаке. Все стулья были завалены инструментами и мотоциклетными деталями.

— Стулья? — переспросил он. — Чтобы сесть? Но разве для этого обязательно стулья? — и широким жестом показал на перила террасы. — Прощу!

Кира, уже пристроившая свой букет в кувшин с водой, с удовольствием вспрыгнула на перила.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, мы не устали, — вежливо сказал Яша.

Лёшка позавидовал тому, как Яша спокойно держится и здорово высказывается. Сам он, ожидая неизбежных расспросов, не знал, куда девать руки, ноги, и никак не мог сглотнуть противную сухость во рту.

Однако его ни о чём не спрашивали. Ребята рассказывали о лагерных происшествиях, Ксения Петровна весело смеялась. Внизу Вадим Васильевич пытался привинтить к остову железный уголок, но прижать его было нечем, уголок вертелся вместе с шурупом. Вадим Васильевич, отдуваясь, отбросил отвёртку и провёл пятернёй от затылка ко лбу, ерша воображаемую шевелюру. Лёшка спустился вниз.

— Давайте, я подержу.

— Оч-чень хорошо! Только возьми плоскогубцами.

Норовистый уголок после нескольких рывков затих и прижался к остову.

— Брависсимо! — сказал Вадим Васильевич. — Ещё немного, и ты станешь бортмехаником. Как тебя зовут? Алексей Горбачёв? А по бабушке? Отца как звали? Отлично! А что, Алексей свет Иванович, если мы привинтим ещё уголочек? Не возражаешь? Превосходно!

— А что это будет?

— Сие корыто? Будучи обтянутым и поставленным на колесо, оно превратится в мотоциклетную коляску.

— А где же колесо?

— Хм, чего нет, того нет. И даже заднего колеса для мотоцикла нет. Купил без колеса. Оно погибло в неравной борьбе с нашими мостовыми. Но я убеждён: где-то бродит человек и изнывает от желания продать мне колесо.

— Так лучше же купить сразу новый мотоцикл!

— Лучше? — Вадим Васильевич зажал нос в кулаке и озабоченно поспел в него. — Возможно, возможно. Но, во-первых, нет денег. Как вы думаете, Алексей Иванович, причина уважительная?

— Уважительная, — засмеялся Лёшка.

— Я тоже так думаю. Во-вторых, получать готовое скучно. А этот драндулет, как называет его моя дражайшая супруга, когда он, изрыгая грохот и зловоние, будет вытряхивать душу из своего хозяина, он покажется мне дороже «роллс-ройса». А почему? Делать вещи своими руками — это самое лучшее, что придумал человек с тех пор, как появился на земле. Малопочтенному занятию — отравлять жизнь ближнему — он научился значительно позже...

За свою долгую, по его мнению, жизнь Лёшка не успел ещё сделать ни одной вещи, но, представив себе, как бы ему завидовали, если б он мог сказать, что мотоцикл построил он сам, согласился, что делать вещи, конечно, здорово.

— Вадим, дай нам, пожалуйста, яблоки.

Вадим Васильевич поднялся на террасу.

— И ради бога перестань хвататься за нос!

— Сеничка! — с отчаянием воскликнул Вадим Васильевич. — Это же самый выдающийся предмет на моей физиономии! Держась за него, я чувствую, что и во мне есть что-то великое...

На террасе засмеялись. Лёшке понравился весёлый, чудно и непонятно говорящий дядька с таким некрасивым и таким подвижным лицом. Вадим Васильевич вернулся и строго спросил:

— А мы что, рыжие? Держи, — и протянул Лёшке огромное яблоко.

— Я такое и не съем, — застеснялся Лёшка.

— А если постараться? — деловито спросил Вадим Васильевич. — Вот и старайся. Я тоже буду. — Он надкусил яблоко и, жалобно сморщившись, ухватился за щёку. — У, проклятый!..

— Зубы? — сочувственно спросил Лёшка. — У меня тоже зуб болел. Мне Митька вырвал.

— Митька? Как? — повернулся к нему Вадим Васильевич.

— Ниткой.

— Нет, брат, — огорчённо вздохнул Вадим Васильевич. — Для меня нитка не годится. Трос нужен. А лечить тоже не могу. Машины люблю всякие, но бормашины боюсь до смерти... Придётся прибегнуть к полумерам — жениному одеколону.

Держась за щёку, он взбежал на веранду.

— Опять зубы? — воскликнула Ксения Петровна. — И как не стыдно! Взрослый человек, а боится итти к зубному врачу.

— Сенчика! — взмолился Вадим Васильевич. — Я же не совершенство! Критики же допускают, чтобы положительные герои имели миниатюрные слабости... Честное слово, я вполне положительный мужчина, почему мне нельзя иметь такую невинную слабость? Ох! — и он убежал в комнату.

Лёшка поднялся на террасу. Яша рассказывал Ксении Петровне о новой воспитательнице и о том, как её невзлюбили за въедливость и несправедливость. Она вызвала такую дружную неприязнь, что каждый её поступок, каждое слово казались неправильными. Ксения Петровна, нахмурившись, слушала рассказ Яши, то и дело прерываемый бурными дополнениями Киры. Митя молча кивал, подтверждая сказанное.

— Мне кажется, — осторожно сказала Ксения Петровна, — вы поторопились с выводами. Она новый человек, а вы привыкли к другому, скажем, ко мне, и потому не совсем справедливы к ней.

— Хорошо, мы привыкли, — вскочила Кира, — но Горбачёв же не привык, он новенький. Пусть он скажет! Это справедливо, если я чуть не утонула и он меня спас, а она его хочет наказывать?

— От меня бы вам, положим, тоже попало! — засмеялась Ксения Петровна. Глаза её лукаво прищурились, на щеках прорезались весёлые ямочки. Ребята засмеялись. — По-моему, вам просто скучно! Вот вы и капризничаете...

— А конечно, скучно! — подхватила Кира. — Отчего бы стало весело?..

Вадим Васильевич появился в дверях, и душная волна одеколонного аромата хлынула на террасу.

— Ты вылил на себя весь одеколон? — всплеснула руками Ксения Петровна.

— Нет, самую малость. Но исцелился и теперь услаждаю носы общества. Учитесь жертвовать собой! — подмигнул ребятам Вадим Васильевич.

— Сядь, жертва, подальше, а то общество бросится за противогазами.

С горестным вздохом Вадим Васильевич сел на перила.

— Что же вы делаете?

— На «подсобку» ходим... Вот сейчас в «жука» играли, — усмехнулся Митя.

— И это всё, чем вы занимаетесь? — спросил Вадим Васильевич.

— С первого числа в школе будем заниматься.

— Да нет, что вы сейчас делаете?

Ребята переглянулись.

— Ничего.

— Троглодиты! — Вадим Васильевич соскочил с перил. — И вы ещё не покусали друг друга от тоски? Не полезли на стену? Сколько вам лет?

Двенадцать, четырнадцать? Неправда! Вы дряхлые, ленивые старички! Неужели ни один ваш самолёт не парил в небе, разрывая завистью сердца окрестных мальчишек? Неужели вы ни разу не сожгли пробок, пуская электропоезд? Что это у вас? Руки? Фитюльки, брелоки! Может, вы думаете, что это у вас головы? Это клумбы для причёсок!.. Молодые люди! В вашем возрасте я первый в своём городе построил детекторный приёмник, и мышиный писк в нём поверг в изумление и восторг весь город... Из-за моего ветродвигателя у мальчишек не было инфаркта только потому, что тогда ещё не знали, что это такое... Мой двигатель даже давал электроэнергию и мог — вы слышите? — мог зажечь лампочку от карманного фонаря! На руках у меня не сходили мозоли, ожоги и прочие болячки... Покажите ваши руки! Разве вы живые мальчишки? Вы восковые, картонные!..

— Вадим! Вадим! — остановила его Ксения Петровна. — Что ты на них напал? Они же не умеют.

— А кто научился, не делая?

— А что мы можем делать, если у нас ничего нет,— возразил Митя.

— Головы есть? Руки есть? Достаточно!.. Нет, я не могу на вас смотреть. Кем вы растёте? Белоручками? Дармоедами? — Вадим Васильевич махнул рукой и убежал к мотоциклетным руинам.

— Вы не обижайтесь на него, ребята,— тихонько сказала Ксения Петровна.— Он только шумит страшно, а так, в общем, ничего...

— Мы не обижаемся,— сказал Яша.— Правильно, конечно... Мы пойдём, Ксения Петровна, а то нам ещё попадёт.

— Как попадёт? Вы разве без спросу? Немедленно убирайтесь и больше без разрешения носу не показывайте!..

Ребята попрощались с Вадимом Васильевичем, который, не оборачиваясь, буркнул в ответ, и ушли.

— Правда, он хороший? — оглядываясь у калитки, спросила Кира.— Весёлый-весёлый!

— Ага,— сказал Лёшка.— Только почему он такой старый? Ксения же Петровна молодая.

— А он совсем и не старый! Только что лысый, так, может, у него от болезни волосы повылазили.

— Давайте скорее, ребята,— сказал Яша,— а то в самом деле нагорит. Наверно, Людмила Сергеевна нас уже хватилась.

#### 14

Людмиле Сергеевне было не до них. Анастасия Фёдоровна, невпопад отвечая девочкам, всё время мучительно раздумывала о том, что такое ужасно непедagogичное сказала она при незнакомой женщине. Теряясь в догадках, Анастасия Фёдоровна так настрашала себя, что у неё начали дрожать руки, закололо в сердце. Поручив ученицам обмётывать петли, она прибежала к заведующей. Нервно перекалывая бесчисленные булавки и иголки в отворотах платья, Анастасия Фёдоровна попыталась рассказать, что произошло, но вместо этого начала всхлипывать, сморкаться и расплакалась.

Людмила Сергеевна не могла не улыбнуться: почему-то большие, толстые люди всегда всегда смешно страдают,— и тут же ей стало неловко. Эта толстая, со смешными замашками женщина была одинока, как перст. Всю жизнь она отдала служению — даже не любви, а именно служению! — сначала мужу, потом сыну. Муж, техник-металлург и капитан запаса, погиб где-то под Лозовой в завьюженную ночь, командуя последним заслоном, прикрывавшим отход частей. Сын, не в мать хрупкий юноша, которому она, притворяясь сытой, подсовывала свой скудный хлебный

паёк эвакуированной, не кончив школу, тайком от неё ушёл добровольцем в армию и бесследно исчез в боях под Яссами. Анастасия Фёдоровна верила в лучшее, ждала и надеялась. Время подтачивало надежду и развеяло её без остатка.

В родной город Анастасия Фёдоровна вернулась, но вернуть своё место в жизни не могла: ей не о ком было заботиться, не на кого было расходовать неиссякающие запасы любви. К тому же и делать она могла не по возрасту, да и не пошла бы никакая наука в её затуманенную горем голову. Друзья мужа через завком и гороно устроили её в детский дом руководительницей по труду. Поначалу Анастасии Фёдоровне не раз случилось, выкраивая детскую рубашонку, всплакнуть в голос. Маленькие её ученицы не знали, о чём плачет тётя-руководительница, тем не менее охотно поддерживали её согласным хором. Людмиле Сергеевне несколько раз доводилось унимать их дружный рёв, и она даже подумывала, не следует ли заменить плаксивую руководительницу — детишки без того нервны.

Постепенно весёлая ребячья болтовня, радость, сияющая в их глазах, и собственное жизнелюбие взяли верх. Анастасия Фёдоровна успокоилась, привыкла, а потом без памяти привязалась к своим «крошкам». Могучая руководительница изливала на них столь же могучие потоки нежности. Дети никогда не ошибаются в оценке внутреннего к ним отношения взрослых. Они отвечали ей тем же.

Анастасия Фёдоровна не заблуждалась насчёт своих познаний. Она учила «крошек» шить, вышивать, а слегка и уму-разуму, как сама его понимала. Случалось, Людмила Сергеевна с некоторой тревогой прислушивалась к её поучениям, но всё заканчивалось благополучно. Да и как могло быть иначе: не очень образованная, но порядочная женщина и мать, могла ли она внушать детям дурное?

Теперь эта большая женщина с растрёпанной причёской, смешно всхлипывая и сморкаясь, перепуганно и невнятно говорила что-то о педсовете, своей невиновности и какой-то инспекторше, неизвестно за что на неё накричавшей. Людмила Сергеевна напоила её водой, заставила причёсаться и только-только начала добиваться вразумительного рассказа, как глаза Анастасии Фёдоровны остановились и она опять потеряла дар речи. В кабинет вошла Елизавета Ивановна.

— Значит, это вы так напугали Анастасию Фёдоровну? — догадалась Людмила Сергеевна.

— Напугала? Не знаю. Я сделала совершенно правильное замечание. А если это кого-нибудь пугает... — Елизавета Ивановна развела руками. Она пришла взбешённая и не намерена была церемониться.

— Хорошо, разберёмся. Вы идите, Анастасия Фёдоровна, и успокойтесь, пожалуйста. Я думаю, у вас нет оснований волноваться.

— У вас они во всяком случае есть, — сказала Елизавета Ивановна. Людмила Сергеевна проводила Анастасию Фёдоровну к дверям и повернулась к Елизавете Ивановне.

— Какие?

— Вы знаете, что эта женщина говорила маленьким девочкам?! О том, как они станут девушками и как нужно одеваться, чтобы нравиться.

— Рановато, конечно, но вкус и опрятность надо прививать с детства. В сорок лет не привьёшь.

— Но она всё это по-обывательски! Это мешанка какая-то!..

— Вот уж напрасно! Она добросовестный работник и очень хорошая женщина.

— И этого, по-вашему, достаточно? Уверена, что у неё нет специального образования.

— В магическую силу диплома верят только люди, у которых за душой нет ничего, кроме этого диплома...

— Вот как? Министерство просвещения придерживается другого взгляда!

— Ну, я ведь не министерство... — усмехнулась Людмила Сергеевна. — И где их взять, дипломированных, коли нет?

— Но как можно терпеть людей, не имеющих представления о педагогике? Задача коммунистического воспитания подрастающего поколения лежит прежде всего на нас, педагогах...

Елизавета Ивановна, подстёгиваемая негодованием, горячо принялась объяснять, какая это большая, ответственная задача и как её надлежит решать советским педагогам.

Людмила Сергеевна с тоской слушала бесконечный поток пространных периодов, которые она читала и слышала несчётное число раз, и вдруг, несмотря на ясный день и полную перед тем бодрость, почувствовала, что её укачивает, заносит, ещё несколько секунд, и она заснёт.

«Батюшки, да от неё очумеешь! — подумала Людмила Сергеевна и встряхнула головой, чтобы отогнать расслабляющую дремоту. — Говорить мастер, а с дюжиной мальчишек не сладила».

Людмила Сергеевна уже знала от дежурной, что старшие воспитанники разбежались и с новой воспитательницей остались только галчата, с энтузиазмом прославляющие старого жука... Ей вспомнился знакомый, который любил долго, со вкусом объяснять, как надо плавать, и даже, стоя на берегу, командовал, давал советы и критиковал. Сам он никогда не купался, так как плавать не умел и воды боялся... Людмила Сергеевна заулыбалась.

— Я, кажется, ничего смешного не сказала! — оскорблённо осеклась Елизавета Ивановна.

— Извините, это — своим мыслям... Всё, что вы говорили, совершенно правильно, но... поговорим о вашей группе. — Людмила Сергеевна улыбнулась как можно мягче, ей хотелось загладить неловкость от своего неуместного веселья во время речи Елизаветы Ивановны. — Разбежались, сорванцы?

— Да. И виноваты в этом вы! — Пятна на скулах Елизаветы Ивановны вспыхнули снова.

— Я? Чем?

— Вы наказали Горбачёва? Нет! А в результате и без того донельзя распущенная группа решила, что ей всё позволено. И вот — пожалуйста!.. Почему он не наказан?

— Горбачёв — новенький. Мальчик в прошлом задёрганный, замкнутый, недоверчивый. Если на него наседать, он просто убежит, только и всего. Ему оттаять нужно, и он уже начал оттаивать. Сейчас ласковый упрёк для него больше любого наказания. Однажды его уже вызывали на совет отряда, и он очень тяжело это переживал.

— Это что, по Макаренко? Он устарел...

— Ну, прежде мы с вами устареём!

— Теперь другое время и другие методы... Но не об этом речь! Вы думаете обо всех, кроме меня. Какой может быть у меня авторитет, если вы с первых шагов отвергаете то, на чём настаиваю я?

— Что же мне, для создания вам авторитета раздавать выговоры или затрещины?

— Мне нужно только, чтобы вы не подрывали, а завоевать я сумею сама!

— Заслужите любовь и уважение ребят — вот вам и авторитет. Они мечтают о нём. Им нужен образец, человек, который знает больше и умеет лучше, который скор на выдумку, но нетороплив и мудр в решениях. Сумейте их увлечь, и они с радостью подчинятся вам, пойдут за вами, как за пророком!..

— Я не претендую на роль пророка, — язвительно сказала Елизавета Ивановна. — Мне достаточно, если меня ценят и уважают в органах народного образования. Я советский педагог и отлично понимаю ответственность и важность своей работы. Она вовсе не в том, чтобы подлаживаться под вкусы детей и потакать их выдумкам. Их нужно воспитывать! И я вас спрашиваю: буду я иметь поддержку или нет, будем мы, педагоги, действовать единым фронтом?

Людмила Сергеевна вспыхнула.

— Пока я работаю в детдоме, здесь не будет никаких «фронтов», никакого противопоставления педагогов детям. И не рассчитывайте на репрессии. Их не будет. Мы здесь для того, чтобы облегчить детям жизнь, а не отравить её.

— Разумеется! Покой и самолюбие малолетнего хулигана важнее достоинства педагога!

— Здесь нет хулиганов, товарищ Дроздюк! — резко сказала Людмила Сергеевна и поднялась. — А если достоинство педагога подвергается сомнению, виноват он сам.

— К счастью, этот вопрос будет решать горono, а не вы. Имейте в виду, я поставлю в известность Ольгу Васильевну.

— Пожалуйста.

— Если вы так относитесь к педагогам, я вряд ли смогу продолжать у вас работу.

— Я тоже так думаю. И знаете... повидимому, ждать окончания испытательного срока не стоит. Мы как-нибудь обойдёмся.

Лицо Елизаветы Ивановны дрогнуло, она хотела что-то сказать, но передумала и, оскорблённо вскинув голову, вышла.

«Ну-ну, сокровище! — Людмила Сергеевна распахнула окно, словно присутствие Елизаветы Ивановны нагнало в комнату невыносимую духоту. — Вот тебе и твёрдый характер! Характер-то твёрдый, да и мозги... чугунные. Теперь побежит в горono кляузничать. Наврёт три короба, а ты оправдывайся... Ну и шут с ней, пусть ябедничает!»

Людмила Сергеевна решила больше не думать об этом, но успокоиться не могла и заново переживала всю стычку. Всегда по окончании какого-либо разговора ей казалось, что она отвечала вяло, неубедительно, а потом, после времени, в голову приходили ответы и реплики, острые и неопровержимые, как сама истина. В дверь постучали, и Людмила Сергеевна досадливо отмахнулась от своего запоздалого острословия.

— Войдите! А, Яша? Входи.

Она любила этого вежливого и сосредоточенного мальчика. Полная противоположность своей матери — Людмила Сергеевна знавала её. Та всегда жила нараспашку, так громко и весело, что все начинали улыбаться, едва слышав её звонкий голос.

— Садись. Что скажешь?

— Я лучше постою пока, Людмила Сергеевна, — сказал Яша, поправляя очки. — Мы отлучались без разрешения.

— Ага, каяться пришёл? Кто и куда?

— Рожкова, Ершов, Горбачёв и я. Но я пришёл сказать, что подготовил всех я, остальные ни в чём не виноваты. Как-то это так получилось... Просто я сказал, что свинство с нашей стороны не проведать Ксению Петровну. Мы и пошли. И совсем забыли, что без разрешения. Но мы же не куда-нибудь там!..

— Ну, покайся, теперь садись. Очень хорошо, что проведали Ксению Петровну, и очень плохо, что без спросу. Ты ведь это понимаешь?

— Понимаю, — серьёзно сказал Яша и посмотрел ей в глаза.

— Если бы Ксения Петровна знала, она бы вас отправила обратно.

— А она нас и прогнала, — улыбнулся Яша.

— Вот видишь!.. Как она себя чувствует?

— Слабая ещё очень. Лежит, улыбается, а сама бледная. Врачи говорят, ещё недели две нельзя вставать. Перитонит — это ведь очень серьёзная болезнь.

— Да-а, серьёзная, — протянула Людмила Сергеевна.

Болезнь старшей воспитательницы поставила её в трудное положение. Хорошо ещё, что случилось это в лагерный период, ребята большую часть времени были там. А сама так закружилась, что всего два раза вырвалась проведать больную. Даже перед ребятами стыдно, они вон и то догадались.

Яша выжидательно поглядывал на Людмилу Сергеевну.

— Я ещё хочу сказать. Муж Ксении Петровны, мы с ним познакомились, он... он интересный человек, — сдержанно определил Яша, — так он подал нам хорошую идею, по-моему. Организовать у нас какое-нибудь дело.

— Какое дело? Вы ведь работаете на подсобном участке? Какого же вам ещё дела хочется?

— На участке — другое! Это ведь потому, что нужно. А тут что-нибудь, что бы ребята сами делали, сами строили, изобретали... Чтобы не было скучно.

— А разве тебе скучно?

— Мне? — удивился Яша. — Нет. Я про других говорю.

— Что же нам, мастерскую устраивать? Негде. Да и незачем. Меньше чем через год окончите семилетку, большинство пойдёт в ремесленные, ФЗО. Зачем же сейчас мастерская? Только будет отвлекать от занятий. Да и денег у нас нет. Нет, Яша, ничего не получится.

Брук ушёл, Людмила Сергеевна занялась очередными делами, забыв об этом разговоре, но он вспомнился, когда она увидела ребят, несмотря на запрет, опять собравшихся в «клубе», за сараем, и окончательно овладела её мыслями, когда уже в темноте она медленно — чтобы отдохнуть — возвращалась домой и перебирала в памяти события дня.

Яша прав — ребятам скучно. Зимой они до отказа загружены уроками, иной раз жалко смотреть, как они корпят над учебниками и тетрадями, а летом даже неистощимая на выдумку Ксения Петровна и та сдавалась. А без неё и вовсе плохо. Конечно, они работают на участке, но энтузиастов этого дела не так уж много. Это они делают, потому что должны, а «для души» как изобретут что-нибудь — не обрадуешься. Вроде прошлогодней истории с голубями...

Весной прошлого года Толя Савченко и Митя Ершов попросили разрешения держать двух голубков — держат же другие котят! Разрешила. Всем детдомом их закармливали, оберегали от кошек. Потом вместо двух оказалось пять. Приманили своими и поймали. Потом стало десять. Для них построили голубятню — откуда натаскали материал, она так и не дозналась, — поставили на столбе голубиный аэродром, вроде пропеллера, как у заправских голубятников. Спихватилась Людмила Сергеевна, когда голубей оказалось сорок и все поголовно мальчишки, кроме Брука и Горовца, заболели этой страстью.

Целыми днями во дворе стоял треск крыльев, свист, гиканье. Сжигаемая азартом ребятня переживала каждый взлёт, а потеря залетевшего в чужой двор голубя воспринималась как трагедия. Всё бы ещё ничего, но во дворе стали появляться великовозрастные верзилы с оттопырен-

ными пазухами. С приклеившимися к губам сигаретами, они садились где-нибудь в тени и вприщурку смотрели на воспитателей. Голуби нежно стонали у них под рубахами, а они перебрасывались жаргонными словечками и, конечно, ругались. И свои, детдомовские, ребята начали перенимать их ухватки, ходить враскачку, щуриться, цедить слова через губу. Людмила Сергеевна пришла в ужас. Терпеть дольше голубятню значило погубить дом, уничтожить — означало вызвать незабываемую обиду. Помогло несчастье.

Однажды ночью голубятня загорелась. Ребята повскакали с постелей, тушили чуть ли не ладонями, но, щедро политая смесью бензина с керосином, деревянная постройка сгорела дотла. В ней не оказалось и следа голубей. И тогда все ребята исчезли. За Людмилой Сергеевной прибежала вконец испуганная Лина Борисовна, дежурившая по спальням. Бросились на поиски, да куда там! Разве найдёшь мальчишек глухой ночью в полуосвещённом городе, если они хотят скрыться.

Утром они вернулись сами, мрачные, грязные, раздавленные горем. Их заставили вымыться, накормили и ни о чём не расспрашивали. Только потом Людмила Сергеевна узнала подробности этой ночи.

Увидев, что в догорающей голубятне нет ни одного голубя, ребята догадались, что это не пожар, а поджог, совершённый после воровства.

— Это Сенька Бугай! Бугаева работа!

Сенька Бугай был угрюмый детина, нигде не работавший, но безбедно живший на неизвестные доходы. Он не раз после того, как у него перехватывали голубей, грозился «дать прикурить» детдомовцам.

— Пошли, ребята!

Вся толпа в одних трусах бросилась на улицу, оставив догорать погибшую сокровищницу. По дороге восторжествовали трезвые головы, и вместо более приятного, но сомнительного кулачного возмездия Сеньке Бугаю решили добиваться не столь упойтельного, но более надёжного — законного. В отделении милиции ввалилась орава перепачканных сажей, мокрых ребят и, сверкая глазами, потребовала начальника. Тот выслушал чумазую, взъерошенную горем и негодованием ребятню, поколебался, но отрядил с ними милиционера с ищейкой. Сеньки Бугая дома не оказалось. В заброшенном сарайчике на пустыре были найдены несколько голубиных тушек. Это непонятное зверство вызвало у ребят такую ярость, что, не будь с ними милиционера, они бы бог знает что натворили. Людмила Сергеевна опасалась, что ребята подстерегут Бугая и дело кончится совсем плохо, и даже говорила об этом с начальником милиции. Через несколько дней начальник милиции сообщил ей, что Бугай задержан по обвинению в делах более важных и в городе уже не появится...

Нет, бог с ними, с такими увлечениями! И хоть бы польза была, а то ведь ничего, кроме скверного азарта.

А придумать занятие для ребят необходимо. И чтобы это обязательно была работа, чтобы и голова и руки были заняты настоящим делом. Они дети своего времени, они не боятся труда и изнывают от безделья.

Что же — «трудовое» обучение, подобное тому, что проходила когда-то она в сумбурное время комплексного обучения и бригадного метода? Предполагалось, что это облегчает учащимся восприятие. Действительно, облегчало и без того не слишком обременённые головы... Ведь ни учебников, ничего. Учились, как скворцы, с голоса...

Людмила Сергеевна тихонько открыла дверь, не зажигая света, пришла в кухню. Молодец Любочка — приготовила матери ужин. И как чисто, аккуратно... Хорошая девочка растёт! Наскоро поужинав, она на цыпочках прошла в спальню и легла. Сон не приходил. Опять начало покалывать сердце... Хорошо ещё, врачи говорят, что нарушений никаких

нет, просто нервное. Натомилась за день, да ещё с этой Дроздюк по-нервничала... Придётся встать.

Муж услышал звяканье пузырьков и сердито проворчал:

— Опять аптека пошла в ход? Думаешь, капельки спасут? Конец этому будет, Люда, или нет?

— Спи, детей разбудишь.

— Скажите, какая забота о детях! Они уже забыли, какая ты есть. Скоро за стол вместо тебя фотографию будем сажать... Свалила всё на девчонку и рада.

— Как тебе не стыдно! Ты же знаешь, какое положение в детдоме...

— У тебя всегда безвыходное положение... Знаешь, как это называется? Работой на износ. Так вот станок какой-нибудь, рухлядь, которую уже нет смысла ремонтировать, пускают в работу, пока окончательно не развалится... А ты не машина, думать надо! Не хочешь о себе, так о детях подумай, обо мне, наконец...

— А что о тебе думать? Вон ты какой здоровущий... А был такой хрупкий, тоненький мальчик... Помнишь, в семилетке, когда мы табуретки строили?

— Вот ещё вспомнила ерунду какую! Спи лучше, а то завтра опять убежишь ни свет ни заря...

Да, действительно, было похоже на ерунду. Замысел был хороший, но никто не знал, как и что нужно делать. Завод-шеф прислал инструменты, несколько слесарных и столярных верстаков. Привезли телегу досок, теса, и началось обучение. Егор Иванович, старичок с прокуренными усами, страдал пристрастием к дремоте и воспоминаниям. В промежутках, когда он не предавался первой страсти возле плиты, на которой варился столярный клей, или не рассказывал, как в старое время мастер «вздрючивал» его за каждую мелочь и однажды с похмелья даже облил кипящим клеем, он учил их строгать царги и проножки для табуреток и опиливать железные пластинки неизвестного назначения. Многие законченные табуретки обрастали грязью и пылью в школьном сарае, а металлические пластинки терялись или просто выбрасывались, что никого не огорчало. Она свою пластинку так и не допилила. До железки ли было, если тогда осваивалась перехваченная у старших девочек магическая формула стрельняния глазами: «в угол, на нос, на предмет»... Техника была освоена и тут же многократно проверена на ближайшем «предмете» — Васе. Сражённый триединой формулой, Вася и допиливал за неё окаянную пластинку. Теперь он этого не помнит. А она помнит, словно всё было вчера... Господи, за стеной спит дочка уже такого возраста, а ей всё детские глупости вспоминаются!

Нет, такое обучение не нужно. У Макаренко? У него другое — там колонисты должны были по необходимости работать, как настоящие рабочие, средств не хватало. Теперь в этом нет нужды, государство их обеспечивает.

И всё-таки Яша прав, мастерская нужна. Без обязательного урока, без нормы, погони за планом, заработком. Но такая, чтобы были заняты руки и головы... Так что же это будет? Игра в мастерскую? Пусть. Жизнь детей начинается с игры. Девочка с куклой повторяет то, что мать делает с ней, мальчишка подражает отцу. Из них не выйдут токари или слесари. Неважно! Они сами будут собирать, строить, создавать свою мастерскую. И даже не научась чему-то определённого, не приобретя профессии — это они получат потом, в ремесленном, ФЗО, — они научатся любить работу, в которой один помогает другому, поддерживает, подгоняет. Пусть пока по-детски они узнают и полюбят инструменты, орудия труда, чтобы потом встретить их как добрых, испытанных помощников, сжать молоток, как твёрдую, надёжную руку друга!..

Ранним утром, когда над городом, перекрывая гудки других заводов, рокотала могучая октава «Орджоникидзестали», детский дом был разбужен грохотом. Повскакав с коек, ребята бросились к открытым окнам. Посреди двора клубилось сизое облако. Выпустив пулемётную очередь, облако стало гуще и почернело. Раздались ещё три выстрела, и стрельба прекратилась. В опадающем облаке обнаружили контуры мотоцикла, восседающий в седле Вадим Васильевич, а в коляске, которая всё ещё раскачивалась и кланялась, — Ксения Петровна. Узнав среди выбежавших ребят недавних знакомых, Вадим Васильевич прищурился и кивнул:

— Ну как, троглодиты, бьёте баклуши?

— Нет, работаем! Вот идите посмотрите!

— В другой раз, а то на завод опоздаю. Так я после работы заеду за тобой? — повернулся к жене Вадим Васильевич.

— Нет уж, пожалуйста! Когда опять захочешь меня убивать, придумай что-нибудь попроще...

Вадим Васильевич вздохнул и сказал, подмигивая ребятам:

— Судьба всех гениальных творений — недооценивают!..

Ребята оценили гениальное творение: они не спускали с мотоцикла восхищённых взглядов.

Вадим Васильевич нажал стартер, в мотоцикле заурчало, булькнуло и смолкло. Он передвигал какие-то рычажки, что-то крутил — мотоцикл был нем и недвижим. Вадим Васильевич покраснел от досады — мотоцикл не двигался. Девочки улыбались, Ксения Петровна хохотала. Ребята, негодуя, шикали на них. Что тут смешного? Обыкновенная неполадка, у кого не бывает?!

— Вы садитесь, а мы толкнём, — сказал Митя. — Возьли, ребята!

Тарас Горовец снисходительно улыбался. Конечно, техника, но Метеора, например, не надо толкать всем домом, чтобы сдвинуть с места...

Ребята облепили машину со всех сторон. Мотоцикл медленно тронулся, убыстряя ход, покатился к воротам. В нём снова заурчало, он затрясся, выпустил пулемётную очередь, окутался чёрным дымом и вымчал за ворота. Ребята выбежали следом. Подпрыгивая на булыжниках и вызывая грохотом истерику у собак, мотоцикл скрылся за поворотом. Ребята возвращались взбудораженные и счастливые. Им уже мерещилось, как в своей мастерской они собирают такой же мотоцикл и он получается несколько не хуже, а может, даже лучше. На смертную зависть мальчишкам они раскатывают в нём по городу, и все, даже милиционеры, шарахаются в стороны, уступая дорогу, а за заборами истошно лают очумелые от ужаса собаки...

Предложение Людмилы Сергеевны устроить мастерскую ребята поначалу встретили сдержанно. Ещё какая-то работа... Зачем? А уроки? А подсобное? Интерес начал пробуждаться, когда выяснилось, что работать в ней будут только те, кто захочет, никого принуждать не станут. А что делать? Столы, скамейки? А радиоприёмник собрать можно? А модели делать? И даже с двигателями? А фото будет? А если мотор собрать? Или даже... даже машину! А что? Взять где-нибудь старый «газик» и отремонтировать?! А? Тогда и Метеора не надо!.. А права получить — плёвое дело!..

Подхлёстываемое коллективными домыслами, воображение ребят начало рисовать будущую мастерскую такими размашистыми мазками и в таком темпе, что, не придерживая его Людмила Сергеевна, детдомовская мастерская превзошла бы все новостройки послевоенной пятилетки. Не отвергая окончательно взлелеянной тут же ребятами мечты о собственной автомашине, Людмила Сергеевна осторожно опустила их с заоблач-

ных высот на землю, где пока ещё даже не предвиделось помещения для мастерской. Свободных комнат не было. Спальни, комнаты для занятий — и тех мало! — столовая да крохотный кабинетик самой Людмилы Сергеевны, он же и канцелярия, и приёмная, а в случае нужды — изолятор. Вот и всё. Не разгуляешься. И строить нельзя: ни денег, ни материалов. Вот только если сарай достроить?..

Опрошенный о возможностях и посильности такой достройки, Устин Захарович помолчал, пожевал губами и кивнул:

— Можно.

Он же указал на обширные запасы главного стройматериала — зарастающие травой бугры кирпичного хлама, унылые памятники не столь давних бомбёжек. Доставку глины и песка, нужных для раствора, вопреки сопротивлению Тараса, возложили на Метеора, единственная лошадиная сила которого должна была способствовать появлению множества новых, окованных сталью. Творило, забытое штукатурками и сохранённое «на всякий случай» Устином Захаровичем, лежало в том же сарае.

Ребята с утра принимались за работу, к концу дня все были перепачканы. Благо стояли тёплые дни и можно было мыться прямо под краном во дворе или сбегать к морю. На пустыре появились кучи глины, песка, выросли внушительные кладки кирпича. Кирпич был со щербинами, прикипевшими шлепками раствора, но всё же годный в дело.

С кладкой недоведённой стены и настилом крыши легко было управиться до сентября, однако Людмила Сергеевна становилась всё более хмурой. Затея с мастерской, как и многие хорошие замыслы, оказалась непродуманной, значит несерьёзной, и она всё злее корила себя за легкомыслие, с которым откликнулась на мысль о мастерской. Стены и крыша — ещё не мастерская. А много ли наработают да и что могут сделать ребята перочинными ножами и единственным молотком Устина Захаровича? В горно её сообщение о мастерской встретили удивлёнными взглядами и внушительным напоминанием о том, что смета есть смета, а выдумки есть выдумки; за соблюдением первой горно следить обязательно, а за вторые пусть отвечает тот, кто выдумывает.

Людмила Сергеевна возлагала надежды на предприятия, которые не могли не откликнуться на просьбу детского дома. Что значит для них при многомиллионных оборотах выделить какое-то жалкое количество инструментов и материалов?

Оказалось, значило многое. Она побывала на трубном, на судоремонтном, и там и там ей, словно сговорясь, повторяли одни и те же слова о хозрасчёте, снижении себестоимости, внутренних ресурсах и недопустимости их разбазаривания. Из окна управления судоремонтного, где шёл разговор, Людмила Сергеевна видела на заводском дворе бунты ржавой проволоки, кучи железного хлама, изъеденные солнцем и непогодой обрезки досок, теса и со злостью показала собеседнику на эти «внутренние ресурсы». Тот развёл руками:

— Да, лежит. А дать не имеем права.

Людмила Сергеевна снова пошла в горно поговорить с заведующей: просить не денег, которых заведомо нет, а поддержки, чтобы не быть одиночкой в борьбе с чиновниками и трусливыми бюрократами, как честила она чересчур усердных стражей законности.

Ожидая, пока освободится заведующая, Людмила Сергеевна прошла в методотдел и под села к своей давней сослуживице. В другой комнате зазвонил телефон, через открытую дверь послышалась знакомая разременная, немного в нос, речь, в которой, казалось, звучали не только слова, но даже знаки препинания. Людмила Сергеевна заглянула туда — по телефону разговаривала Елизавета Ивановна. Заметив Людмилу Сергеевну, она сделала вид, что не узнаёт её, и отвернулась.

— Разве она у вас теперь? — спросила Людмила Сергеевна приятельницу.

— Кто, Дроздук? Да, дня три уже работает.

Людмила Сергеевна почувствовала под сердцем холодок. Она выгна-ла, а здесь пригрели. Наверняка теперь будут неприятности.

Они начались тотчас.

Завгороно приняла её сухо, поздоровалась против обыкновения кивком.

— Слушаю вас.

Людмила Сергеевна рассказала, как возникла в детдоме мысль о мастерской, с каким энтузиазмом приняли её ребята, как усердно они работают и как теперь может рухнуть всё дело оттого, что чинуши не хотят ничем помочь. Заведующая слушала, глядя в стол и поглаживая пальцами карандаш.

— Что же вы хотите? — подняла она глаза на Людмилу Сергеевну, когда та замолчала.

— Помогите нам, Ольга Васильевна. Вы ведь понимаете, как это важно...

— Да, понимаю. Это важно... — прищурилась она, — потому что не нужно!

— Как? Почему?

— Детдом — не ФЗО и не ремесленное. У вас дети живут до четырнадцати лет. Работать им рано. Они должны закончить семилетку, а потом уже, в другом месте, приобретут квалификацию. У вас они должны учиться, и ничего больше.

— Но ведь это не в ущерб занятиям! И лучше же будет, если они заранее хоть немного ознакомятся, подготовятся.

— Конечно! Будут работать в мастерской, а из школы носить двойки? Как вы, педагог, можете предлагать такие вещи? Вы знаете, как у нас обстоит дело с успеваемостью?

— У меня нет двоечников.

— Так есть у других. И я не хочу, чтобы они появились у вас тоже. Мы по области чуть ли не на последнем месте...

— Но нельзя же так... — Людмила Сергеевна на секунду замялась, — как в шорах. Сиди носом в учебник, и всё. Это же дети, им развиваться нужно...

— Они и так перегружены в школе, а вы хотите ещё нагрузить?

— Наоборот! Это им облегчит. Это и разрядка и практические знания. Ведь программы у нас академичны, дети выходят неприспособленными, ничего не умеют...

— Программы составляем не мы, наше дело — их выполнять! И да-вайте сначала научимся их выполнять как следует...

— Почему «сначала»? Пока мы научимся одному, потом возьмёмся за другое, дети вырастут, им не нужны будут ни наше умение, ни наша инициатива.

— Я тоже за инициативу, только инициатива бывает разная!.. — раздражённо сказала завгороно и снова сердито прищурилась. — Не надо быть умнее министерства. Оно утвердило программы, оно утвердило положение о детских домах... И наше дело — выполнять их, а не нарушать.

— Так вы запрещаете мастерскую? — подбравшись, как перед броском, спросила Людмила Сергеевна.

— Ничего я не запрещаю! — окончательно рассердилась завгороно. — Но и на поддержку мою не рассчитывайте. И имейте в виду: если только у ваших воспитанников снизится успеваемость — а мы проверим! — пей-няйте на себя...

— Я не понимаю, Ольга Васильевна, почему вы сегодня со мной так разговариваете?

— У меня есть основания. Не мешало бы и посоветоваться насчёт Дроздюк.

«Ну вот, добрались до корня!» — с горечью подумала Людмила Сергеевна.

— Если гороно рекомендовало вам человека, значит у него были основания.

— Да разве это человек? — возмутилась Людмила Сергеевна. — Это же надсмотрщица! Дай ей волю, она всех ребят в карцер упрячет...

— Товарищ Дроздюк — опытный педагог, думающий работник. Недоценили — пеняйте на себя.

Людмила Сергеевна ушла. Неприятно как! Ольга Васильевна — разумный ведь человек, а вот — на тебе... Просто амбиция заговорила: она Дроздюк рекомендует, а я выставляю. Человек молодой, к должности не привыкла, вот ей и мерещатся покушения на авторитет. И Дроздюк, конечно, напела... Батюшки! А с мастерской что же? Вот затеяла на свою голову!

## 16

Яша Брук не собирался работать в мастерской, так как давно решил стать, подобно своей матери, педагогом. Он был равнодушен к мастерской, но не к переживаниям товарищей. Несколько дней ребята пытались что-нибудь придумать, найти выход, но ничего не придумали, и тогда Яша неуверенно, думая вслух, предложил:

— А если пойти к Шершнёву?

Они сидели втроём — Лёшка, Яша и Митя. Лёшка не понял и вопросительно поднял на Яшу глаза, а Митя отрицательно покачал головой.

— К директору «Орджоникидзестали»? Не даст!

— Он же ведь и депутат! — сказал Яша.

Во время недавних выборов на всех стенах висели плакаты, с которых смотрел на прохожих худощавый человек с глубокими морщинами от крыльев носа к углам губ. Взгляд у него был суровый. Митя покачал головой.

— Станет депутат слушать каких-то ребят! Прогонит, и всё!

Яша опасался только одного: что секретарь в приёмной не пустит их к депутату.

Секретаря не оказалось. В коридоре на первом этаже здания горсовета напротив одной из дверей стояли два деревянных диванчика. На одном сидела старуха с кошёлкой и, вздыхая, рассказывала молодой женщине с накрашенными губами, как обижают её родной сын и невестка, гонят из собственной хаты. Молодая женщина кивала головой, но прислушивалась не к ней, а к тому, что происходит за плохо притворенной дверью. Возле двери, переминаясь с ноги на ногу, стоял парень в кургузом пиджаке и лыжных штанах. Парень нервничал: поминутно одёргивал пиджак, приглаживал волосы и зажигал всё время гаснущую папиросу. Ребята тихонько сели на вторую скамейку. Из комнаты вышел старик-рабочий, надел обеими руками фуражку и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ладно. Поглядим!

Парень был уже в приёмной. Оттуда доносился невнятный торопливый говор, потом сердитый голос громко произнёс:

— Я прогульщиков не покрываю. Прогулял — отвечай за это. И больше ко мне не приходи.

Парень вышел потный и красный, зло швырнул окурок на пол и зашагал к выходу. Женщина с накрашенными губами, заранее искательно улыбаясь, скрылась за дверью. Она сидела долго, а старуха потом ещё дольше. Ребята несчётное число раз прочитали на двери объявление о том, что депутат Верховного Совета УССР тов. М. Х. Шершнёв принимает по вторникам от 6 до 8 вечера, пожелтый плакат, на котором была изображена муха величиной с курицу и сообщалось, что муха — разносчик заразы и потому пить сырую воду нельзя. Между собой они говорили мало, и то шёпотом. Наконец старуха, сморкаясь и вытирая глаза, вышла. Ребята переглянулись и поднялись.

В глубине комнаты за столом сидел крупный человек в синем костюме и что-то писал в блокноте. На скрип двери он поднял голову.

— Вы что, ребята?

— Мы к вам. На приём, — сказал Яша.

— Ко мне? — удивился Шершнёв. — Ну, заходите, садитесь. Только дверь прикройте — сквозит, — озабоченно оглянулся он на открытое окно позади стола.

Шершнёв оказался совсем не таким, как на предвыборных плакатах. Там он был какой-то весь приглаженный и моложавый. А здесь сидел пожилой сутулый человек с нездоровым, землистым цветом лица. Седеющие волосы его были острижены под машинку. Только и было похожего, что глубокие морщины, падающие ко рту от толстоватого носа, да взгляд — суровый и внимательный.

— Что скажете? — Он отодвинул блокнот, опёрся подбородком о кулаки, поставленные один на другой, и уставился на Митю.

Митя покраснел. Они условились, что говорить будет Яша, как самый культурный, но Шершнёв смотрел на Митю, и приходилось говорить ему. Он наклонил свой крутой лоб, словно собираясь бодаться, и сказал:

— Мы пришли потому, что нам все отказывают. А мы считаем — неправильно!

— В чём отказывают? Давай не с конца, а с начала.

Митя, изредка направляемый репликами Яши, рассказал о мастерской в детском доме, о сарае, как ребята работают и хотят, чтобы была мастерская, а никто ничего не даёт. Лёшка разглядывал депутата, его блокнот, стол, застеленный зелёной бумагой. Бумага была в чернильных пятнах, на красном переплёте блокнота блестела тиснённая бронзой надпись: «Депутат Верховного Совета УССР». Лицо депутата не обещало ничего хорошего.

— Так не дают директора? — переспросил Шершнёв и выпрямился. — Я вот тоже директор и... тоже не дам. Не имею права. А если бы узнал, что кто-то с завода дал, я бы его — под суд.

Митя встревоженно оглянулся на Яшу.

— А как же, если шефы? — спросил Яша.

— Шефство — одно, а иждивение — другое. Это раньше с шефов, как с дойных коров, тянули. Пора эту штуку прикрывать: надо беречь государственное имущество...

— Но мы же тоже государственные! — сказал Яша.

— Вы? — Брови депутата поднялись и опустились. — М-да... Вроде так. — Он помолчал, потёр подбородок. — Вот что, ребята... С завода я дать ничего не могу, не имею права. Но — подумаем!.. Как вашего директора фамилия? — Он записал в блокнот.

Ребята встали.

— Нам ещё прийти? — спросил Яша.

— Нет, приходите не надо. Я дам знать.

Забыв попрощаться, они торопливо протиснулись все разом в дверь и плотно прикрыли её за собой.

— Я говорил, не даст! — сказал Митя. — Только хуже сделали... Ещё, может, Людмиле Сергеевне за нас попадёт... Эх ты, академик! Придумал тоже: депутат... А что ему, если у нас мастерская пропадает?!

Яша молчал.

Людмиле Сергеевне решили пока ничего не говорить: может, обойдётся, депутат забудет, и всё...

Проводив взглядом нахохлившихся ребят, Шершнёв посидел с минуту неподвижно, потом потёр ладонями лицо, будто умываясь или стирая усталость, и снял телефонную трубку.

— Третье ремесленное. Да... Я прошу Ерёменко... Товарищ Ерёменко? Здравствуй. Шершнёв, да. Ты помнишь, как на выставку к себе зазывал? Помнишь? Цела она у тебя? Ага. Хорошо. Завтра или послезавтра заеду посмотреть. Часов в двенадцать... Всего!

Получив переданную шофёром записку Шершнёва, в которой тот просил приехать к нему, Людмила Сергеевна расстроилась. Записка была на бланке с грифом «Депутат Верховного Совета УССР». Должно быть, к депутату поступила жалоба, вот он и вызывает. Всю дорогу к заводу Людмила Сергеевна перебирала в памяти происшествия, которые могли бы вызвать жалобу, но так и не нашла ничего подходящего.

Секретарша скользнула в высокую, обитую чёрной клеёнкой дверь и, тотчас вернувшись, сказала, что товарищ Шершнёв просит несколько минут подождать, он сейчас выйдет. Людмила Сергеевна рассматривала замысловатые узоры из обойных гвоздей на чёрной клеёнке и тщетно пыталась угадать, что послужило поводом для жалобы. Обитая клеёнкой дверь директорского кабинета распахнулась, в приёмную вышел Шершнёв и, как показалось Людмиле Сергеевне, неприязненно посмотрел на неё.

— Товарищ Русакова? Здравствуйте. Шершнёв. — Он протянул руку. — Может, мы проедем на место, там и поговорим?

— Куда, Михал Харитонович? — нажимая кнопку стартера, спросил шофёр.

— В третье ремесленное.

Ни шины, ни рессоры не спасали на булыжной мостовой от тряски. Придерживаясь рукой за спинку переднего сиденья, Людмила Сергеевна пыталась и не могла угадать причины вызова.

— Что, товарищ Шершнёв, комиссия какая-нибудь, что ли?

— Вроде, — покивал, не оборачиваясь, Шершнёв.

Двухэтажное здание ремесленного училища было старой, времён первой пятилетки, постройки, когда не в меру бойкие архитекторы пытались в своих проектах объединить оранжерею с пакгаузом. В этом здании, несмотря на обилие окон, пакгауз явно восторжествовал. Шершнёв покосился на мрачные бетонные стены и помянул чёрта.

— Углем, что ли, они его красили, идолы?

Вопрос не был обращён к ней, Людмила Сергеевна промолчала.

Со второго этажа, топоча по каменным ступеням, сбегали два подростка в чёрных рубашках. Один догнал другого и щёлкнул по затылку. Тот хотел дать сдачи, но оба одновременно заметили посторонних, присмирев, чинно прошли мимо и потом ещё быстрее ринулись к выходу. Людмила Сергеевна внимательно приглядывалась к ремесленникам — через год и её ребята сюда пойдут... Ничего. Бледноваты немножко. Кормят их плохо, что ли? Или на воздухе мало бывают? А так ничего, весёлые.

К перилам на всём протяжении лестницы были привинчены угловатые деревянные бруски.

— Видали? — показал на бруски Шершнёв. — Это чтобы ребяташки не скатывались. Сам в детстве, небось, не одни штаны порвал, а для других избобрёл... гений!

— Так что же, пусть катаются? — сдерживая улыбку, спросила Людмила Сергеевна.

— Ну, не знаю... Во всяком случае не лестницу портить!

В гулком пустом коридоре во всю стену шло окно, другую прорезали одинаковые двери. В простенках, едва не под самым потолком, висели щиты. На них были аккуратно прикреплены машинные детали, тщательно отшлифованные инструменты.

По коридору навстречу пришедшим спешил низенький рыхлый мужчина в вышитой рубашке с закатанными рукавами.

— Вот — знакомьтесь, — сказал Шершнёв. — Это наш главный кузнец кадров, Ерёменко.

Людмила Сергеевна назвала свою фамилию. Вытирая пот со лба, «кузнец кадров» недоуменно шевельнул бровью, озабоченно улыбнулся и протянул руку.

— Пройдёте в кабинет? — задыхающимся астматическим тенорком спросил он.

— Кабинет нам не нужен, свои надоели, — сказал Шершнёв. — Давай хвастай достижениями.

— А вот, — широким жестом показал Ерёменко на щиты с экспонатами. — Пойдёте оттуда смотреть.

Они вернулись к началу коридора.

— Ты бы их ещё к потолку подвесил, — сказал Шершнёв. — Боишься, сопрут?

— Да нет, пока такого не было, а... — Он осторожно улыбнулся. — Бережёного, говорят, бог бережёт.

— Тебе бог не нужен — ты лучше бога упрячешь.

— Вот первой группы слесарей, — поспешил перевести разговор Ерёменко. — Тут простая работа. Планки всякие, гайки, молотки хлопцы пилят... Потом замки, ключи, инструмент попроще... А вот тут кронциркули, штангеля, плашки...

— Нравится? — повернулся Шершнёв к Людмиле Сергеевне.

— Ничего, — сдержанно похвалила Людмила Сергеевна, стараясь не выдать нарастающую в ней досаду. Что он, дразнить её привёл?

— Ничего? — еле заметно улыбнулся Шершнёв. — По-моему, просто хорошо.

Ерёменко рассказывал об экспонатах и поглядывал на неё. Он никак не мог понять, кто такая эта дамочка и зачем Шершнёв её привёз. Из области или из Киева? Видать, цаца, если сам с ней приехал. Хуже нет, когда не знаешь, кто перед тобой: не то — товар лицом, не то — прибиться...

Они прошли в кабинет холодной обработки металлов. Там было собрано лучшее: полные комплекты слесарного инструмента, всевозможные резцы, фрезы, свёрла. Шершнёв переходил от стенда к стенду, похваливал и приглашал Людмилу Сергеевну полюбоваться, потом уселся на ученическую скамью, размял папиросу и с удовольствием затянулся дымом.

— Так второе место, говоришь, на областной выставке заняли? Хорошо! А потом что?

— Поедем на республиканскую.

— А дальше?

— Может, и дальше, як така наша доля будет... Всемирной пока по трудовым резервам не намечается, — посмеялся Ерёменко.

— Нет, а потом что?

— Чего же ещё потом? — Ерёменко перестал смеяться и насторожился. — Потом опять у себя развесим — нехай новенькие завидуют и обучаются.

— Так. Выходит, перья?

— Какие перья?

— Страусовые. Раньше барыни страусовыми перьями украшались. А вы — вот этим. — Шершнёв снял со стенда никелированный микрометр и подбросил на ладони. — Кто — перьями, кто — кольца в нос вставляет, а вы — бирюльками...

— Это микрометр — бирюлька?! — возмущённо привскочил Ерёменко. — Голубчики! Да он же тысячные доли миллиметра берёт!

— Ну, у вас он только пыль берёт... — Шершнёв провёл пальцем по скобе, и в пальцевом следу блеснул никель. — Видал? И это не потому, что у тебя уборщицы плохие. Если он в деле, в работе — не запылится, а у тебя бесполезная вещь, бирюлька... Новых ребят наберёшь — они опять понаделают, а ты опять развесишь?..

— Так что же вы хотите, Михал Харитонович? — Ерёменко ожесточённо вытер платком бритую голову. — Торговать мне, чи шо?

— Зачем торговать? Найди применение. Не умеешь — другие помогут. Вот ей взять негде, — кивнул он в сторону Людмилы Сергеевны, — а у тебя зря лежит. Я бы на её месте с полными карманами отсюда ушёл, даром что ты своё добро под потолок повесил...

Людмила Сергеевна подалась вперёд и почувствовала, как кровь прилила к её лицу. У Ерёменко брови поднялись, лицо растерянно вытянулось.

— Да кому ж это?

— Детдому.

— Так шо, выходит, отдать детдому?

— Не отдавать, а подарить! Подачки твои никому не нужны, а за подарок спасибо скажут.

— Да на шо мне то «спасибо»?! Я ж его сюда не повешу!

— Видали скопидома? — повернулся Шершнёв к Людмиле Сергеевне. — Сам не гам и другому не дам...

— Да Михал Харитонович, я ж права не имею!

— Право мы тебе дадим. Обяжем, вот и будет у тебя право. Тебе же лучше: место освободишь для новых экспонатов, — улыбнулся Шершнёв.

— Вам смешно, а шо мне хлопцы скажут, як узнают, шо их работа кудысь в детдом... Они ж такую бучу подымут!

— Не поднимут! Парнишки — народ подельчивый. Это мы, старые грибы, всегда боимся, что нам не хватит... Ну, всё ясно? — повернулся Шершнёв к Людмиле Сергеевне и по горящим радостью глазам её увидел, что теперь всё стало ясным. — Тогда поехали. Можешь не провожать, хозяин.

Ерёменко всё-таки шёл следом.

— Так вы только ради этого и приезжали?

— А как же! Да если бы она одна пришла, ты бы разве дал? Ты вон и передо мной руками махал: «Не имею права, незаконно!..» Ох, как мы любим махать руками от имени закона!.. И получается у нас закон вроде пазухи: залезем туда и всем кукиш кажем — нельзя, мол... Спокойная жизнь!.. Что нос повесил? — повернулся Шершнёв к Ерёменко. — Привык, расставаться жалко? Думать надо! Её ребяташки — завтра твои ученики и мои рабочие. Понятно?

— Это правильно, — уныло вздохнул Ерёменко.

— Ну вот. Будь здоров! И не вздумай зажилить, я памятливи!

Уже в вестибюле Шершнёв повернулся к директору, оставшемуся на лестничной площадке:

— Слушай, Ерёменко. Ты бы покрасил дом-то посветлее. Прямо не то сундук, не то гроб... Да посбивай к чертям эти колодки на перилах. Всю лестницу изуродовали... А то приду, самого съехать заставлю! — без улыбки пригрозил Шершнёв.

— Я... я прямо не знаю, как благодарить!.. — сказала Людмила Сергеевна, выходя на улицу. — Я ведь уже не знала, что делать, куда податься...

— Положим, знали, — усмехнулся Шершнёв, — ход-то кто придумал?

— Какой ход?

— А ребят своих ко мне подослать.

— Ребят? Да не посылала я, товарищ Шершнёв! Честное слово, не посылала!

— Ну? — Шершнёв, усмешливо прищурившись, посмотрел на неё и кивнул: — Ладно, не посылали так не посылали... — Он повернулся к шофёру. — Подбрось меня в горком, а потом отвезёшь товарища...

Машина остановилась возле горкома. Шершнёв пожелал Русаковой успеха, пожал руку и ушёл. По улыбке и прищуренным глазам его Людмила Сергеевна поняла, что он ей так и не поверил.

*(Продолжение следует)*



## ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

★

# ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С немецкого*

*Великий немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер, 150-летие со дня смерти которого отмечает в нынешнем году всё прогрессивное человечество, издавна широко известен в нашей стране. Слова горячей любви и признания, как поэту гуманизма, сердце которого «вечно исходит самую живую, пламенную и благородную кровию любви к человеку и человечеству», посвятил Шиллеру Белинский. Чернышевский считал Шиллера «своим поэтом, участником в умственном развитии нашем», а Герцен в «Былом и думах» писал: «Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя».*

*Передовым людям России был близок гуманистический дух шиллеровской поэзии, его стремление к свободе, ненависть к религиозному и национальному фанатизму, к кострам и бичам. Драматургия Шиллера обогащала русский театр, а лучшие русские актёры прославили эту драматургию своим исполнением (Мочалов в роли Фердинанда («Коварство и любовь»), Ленский и Южин в «Дон Карлосе», бессмертный образ Марии Стюарт, созданный Ермоловой).*

*По-новому зазвучали тираноборческие призывы Шиллера с подмостков красноармейских театров в героические годы гражданской войны. «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос» полюбили новому зрителю, сделали достоянием широчайших народных масс, впервые приобщавшихся к наследию мировой культуры.*

*В дни, когда во всём мире развернулась всенародная борьба за мир, Шиллер попрежнему с прогрессивной частью человечества. Всемирный Совет Мира призвал сторонников мира во всех странах торжественно отметить шиллеровскую годовщину. В Германской Демократической Республике 1955 год объявлен «годом Шиллера». Специальное постановление Центрального Комитета Социалистической единой партии Германии призывает немецких трудящихся ещё сильнее приобщиться к великим прогрессивным идеям демократического патриотизма, которые живут в творениях Шиллера.*

*В этом номере мы публикуем два впервые переведённых на русский язык стихотворения Шиллера.*

### МУЖИЦКАЯ СЕРЕНАДА

(1781)

Слышишь? Выгляни в окно!  
Средь дождя и мрака  
Я торчу давным-давно,  
Мёрзну, как собака.  
Ну и дождь! Потоп кругом!  
Барабанит в небе гром.  
Спрятаться куда бы?  
До чего же ливень зол!  
Мокнут шляпа и камзол  
Из-за вздорной бабы.  
Дождь и гром. В глазах черно.  
Слышишь? Выгляни в окно!

К чёрту! Выгляни в окно!  
Холод сводит скулы.

Месяц спрятался. Темно.  
 И фонарь задуло.  
 Слышишь? Если на беду  
 Я в канаву упаду,  
 Захлебнуться можно.  
 Темнота черней чернил.  
 Дьявол, знать, тебя учил  
 Поступать безбожно.  
 Дождь и гром. В глазах черно.  
 Баба, выгляни в окно!  
 Дура, выгляни в окно!  
 Ах, тебе не жалко?  
 Я молил, я плакал, но...  
 Здесь вернее — палка.  
 Иль я попросту дурак,  
 Чтоб всю ночь срамиться так  
 Перед целым светом?  
 Ноют руки, стынет кровь.  
 Распроклятая любовь  
 Виновата в этом!  
 Дождь и гром. В глазах черно.  
 Дура, выгляни в окно!

Тьфу ты, чёрт! Дождусь ли дня?..  
 Только что со мною?  
 Эта ведьма на меня  
 Вылила помои!  
 Сколько я истратил сил,  
 Холод, голод, дождь сносил  
 Ради той чертовки!  
 Дьявол в юбке!.. Хватит петь!  
 Не намерен я терпеть  
 Подлые издёвки.  
 Дождь и ветер! Шут с тобой!  
 Баста! Я пошёл домой!

### ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ БАХУСА (1781)

Валит валом из ворот  
 Весь народ.  
 Взяли парня в оборот!  
 Отчего ж ты, брат, не весел?  
 Ведь немало куролесил.  
 Сколько с толку сбил ты, брат!  
 Делал умника болваном,  
 Застилал глаза туманом,  
 Одурачивал рассудки,  
 Выворачивал желудки,  
 В тигров обращал ягнят.  
 Набекрень сдвигали шляпы,  
 Мы, в твои попавшись лапы,  
 И мелькали в дикой пляске  
 Зданья, улицы, коляски.  
 Неспроста тебя винят!  
 Что ж! Отведай в этой клетке

Горький плод своей же ветки,  
 Выворачивай желудок,  
 Потеряй и ты рассудок.  
 Не уйдёшь отсюда, брат,  
 Будешь сам себе не рад!

Валит валом из ворот  
 Весь народ.  
 Взяли парня в оборот!  
 Мы тебя, браток, потешим,  
 Языки теперь почешем.  
 Вспомни, старый зубоскал,  
 Как, твоё вкусивши зелье,  
 Мы кружились каруселью,  
 Как в глазах у нас темнело,  
 Как в ушах у нас звенело.  
 Получай, чего искал!  
 Из пивной, бывало, выйдем —  
 Солнца на небе не видим,  
 Выпив чёртову отраву,  
 С ходу валимся в канаву.  
 Вспомни, старый зубоскал,  
 Как луна хмельною ночью  
 Нам казалась винной бочкой,  
 Как мы башни и курганы  
 Принимали за стаканы.  
 Вспомни, старый зубоскал!  
 Получай, чего искал!

Валит валом из ворот  
 Весь народ.  
 Взяли парня в оборот!  
 Козни плеть ты мог неплохо.  
 Отчего ж примолк, пройдоха?  
 Иль не знаешь, как тут быть?  
 Видно, в этой переделке  
 Ты забыл свои проделки  
 И, умаявшись от качки,  
 Стал подобен глупой прачке,  
 Растеряв былую прыть!  
 Но послушай: ведь не худо  
 Улизнуть тебе отсюда.  
 Так беги ж, спасая шкуру,  
 К своему дружку Амуру.  
 Прочь, негодный лоботряс!  
 Улепётывай-ка! Живо!  
 Мы ведь, парень, незлобивы.  
 Но коль снова попадётся —  
 От расправы не спасёшься.  
 Что, бездельник? Понял нас?  
 Ну так вот тебе наказ!

*Перевод Льва Гинзбурга.*



---

---

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

## БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

*Повесть\**

Один только день...

**В** билетной кассе в Екатеринославе у меня потребовали разрешение на въезд в Севастополь. Разрешения не было, и мне пришлось взять билет до Бахчисарая. Я был уверен, что от Бахчисарая до Севастополя как-нибудь доберусь.

Старик-кассир даже посочувствовал мне.

— Строгости! — вздохнул он. — А всё из-за случая с «Императрицей Марией».

Трагическая гибель самого мощного линейного корабля Черноморского флота — «Императрицы Марии» — была загадочной. Об этом тогда говорили во всём мире. Корабль, стоявший на якорях в Северной бухте, без всякой видимой причины взорвался и перевернулся вверх килем.

Незадолго до взрыва корабль осматривали «августейшие посетители». В их числе были приближённые императрицы Александры Фёдоровны. Говорили, что кто-то из них подложил в самые уязвимые места корабля маленькие бомбы (величиной с пробку от шампанского) с часовым механизмом.

Случай с «Императрицей Марией» был не единственным. В Атлантическом океане часто взрывались, или загорались от таких почти невидимых бомб военные транспорты, шедшие в Европу с грузом вооружения. Бомбы подбрасывали в угольные ямы транспортов во время погрузки вместе с углем.

В поезде я долго простоял в тамбуре у окна. Спустилась тёплая и непроглядная южная ночь. На остановках я открывал наружную дверь и прислушивался. Невнятный шорох доходил из мрака. Должно быть, просыхала земля, ещё сырая после стаявшего снега.

Я досадовал на остановки в пути и радовался каждому верстовому столбу, что плавно уносился назад в смутном свете, падавшем из вагонных окон.

Тогда в поездах ещё не было электричества. Горели свечи. В полумраке вагонов хорошо было представлять себе своё будущее — всегда заманчивое и разнообразное. Тот второй, вымышленный мир, о котором я недавно писал, расцветал с необыкновенной силой. Можно было целиком уйти в него, не испытывая угрызений совести. Всё равно в дороге нельзя ни работать, ни читать и остаётся много свободного времени для воображения. Конечно, если нет назойливых попутчиков.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4, 5 с. г.

Их, к счастью, не было. В тамбуре, кроме меня, стоял молодой матрос в чёрной шинели. Он всё начинал напевать песенку, но тотчас обрывал её и начинал снова. У меня в памяти остались только слова:

Был случай раз такой  
На станции Джанкой...

Так я и не узнал, что же случилось на станции Джанкой, куда наш поезд пришёл на переломе ночи.

После Джанкой я всматривался в темноту, чтобы увидеть отроги Крымских гор, но увидел только огни Симферополя.

Перрон в Симферополе был пуст. Чуть светало. С гор задувал ветер. Тополя в станционном сквере шевелили листьями.

Окна вокзального буфета были ярко освещены. На длинном столе с серебряными ведрами для шампанского стояла в вазах белая сирень. Молодой смуглый моряк сидел за столом и, облокотившись, небрежно курил. Когда поезд тронулся, он не спеша вышел из ресторана и ловко вскочил на ходу в последний вагон.

Проводник погасил свечи. В тихой синеве рассвета открылась передо мной древняя земля: вершины гор, освещённые зарёй, шумящие по гальке прозрачные речки, чинары и магическое свечение неба там, вдали, куда мчался поезд, оставляя за собой длинное, как веретено, облако нежнейшего розового пара.

В Бахчисарае я сошёл. Проводник сказал мне, что ночью будет местный поезд из Симферополя и на нём легче всего попасть в Севастополь. Нужно только дать жандарму три рубля.

Весь день мне пришлось провести в Бахчисарае.

Городок был тесен, вымощен стёртыми плитами. Журчала в фонтанах вода.

Женщины набирали её в медные кувшины. Вода, наполняя их, быстро меняла звуки — от высокого до самого низкого.

Эта музыка медных кувшинов и воды поразила меня. Она как будто появилась здесь из тех вымышленных стран, какие я представлял себе. В Бахчисарае я впервые подумал, что, может быть, никаких моих выдумок нет, а просто есть в мире такие страны, где на самом деле существует всё, что якобы выдуманно мной.

Всё было ново здесь — и прежде всего фонтаны. Это были совсем не те фонтаны, какие я видел раньше, где струя воды была из клюва бронзовой цапли или пасти дельфина. Это были каменные плиты, вмурованные в глухие стены. Из отверстий в этих плитах ленивой струйкой лилась вода.

Знаменитый «фонтан слёз» в Бахчисарайском дворце тоже не походил на фонтан. Его медленные капли падали, как слёзы, из одной раковины в другую, чуть звеня.

Я зашёл в тесную кофейню. Она была устроена на ветхой застеклённой терраске и звенела и тряслась, когда мимо проезжала арба. Голуби ходили, переваливаясь, под расшатанными столиками и глухо ворковали.

За окнами было видно ущелье, жёлтая карстовая котловина, заросшая колючим кустарником. По ней шла дорога в пещерный город Чуфут-Кале.

«Что за жизнь!» — подумал я, сидя на терраске. Фуксии в вазонах свешивали над скатертью свои чёрно-красные цветы.

«Что за жизнь!» — повторил я. Недаром Романин говорил, что с некоторых пор у нас не жизнь, а «история с географией».

Я жаждал разнообразия. И вот оно сбывалось.

Правда, в этих частых переменах было больше печального, чем радостного. Но над всеми бедами всё же стояла, как море стоит вдалеке

своей синей стеной, непобедимая молодость. Это смягчало ощущение неудач и потерь.

Я расплатился за кофе и пошёл в Чуфут-Кале.

Я не понимал, что это такое — пещерный город, пока не увидел отвесный жёлтый утёс, изъеденный, как соты, множеством окон.

По крутой тропе я поднялся на этот плоский утёс и сразу попал в такую древность, что она казалась неправдоподобной.

В жёлтых от лишайных известняках были вырублены глубокие дороги. Тяжёлые колёса выбили в них колеи. Низкие входы вели в пещерные дома. По алтарю маленькой подземной базилики бегали ящерицы.

Кто вытесал этот город? Никто мне не мог объяснить этого. Вокруг не было ни души.

Ковры крошечных лиловых цветов покрывали все свободные клочки каменной земли между скалами. Цветы были очень правильной формы, с пятью лепестками, но как следует рассмотреть их можно было, пожалуй, только в увеличительное стекло.

Тощая гнедая лошадь паслась среди скал. Она часто останавливалась и дремала, подрагивая кожей, когда на неё садились осы.

Я влез на скалу и сел, упёршись в неё руками. Камень под ладонями был нагрет.

Передо мной открылся величественный полукруг таких же плоских гор, как Чуфут-Кале.

Я был один в этой воздушной пустыне. Далеко внизу виднелись овцы, похожие на клубки грязной шерсти. Ясно доносилось бреньканье их бубенцов.

Двигаться не хотелось. Я лёг на спину и задремал. Небо мерцало синим огнём. В ресницах преломлялись острые лучи разноцветного пламени. Орёл парил в вышине, разглядывал меня и примеривался, не сесть ли рядом.

Потом я услышал тоненький стук капель, повернулся и заметил, что из трещины в соседней скале сочится ручеёк — не толще нитки — и торопливо роняет маленькие, как бисер, капли. Я уснул.

Когда я проснулся, небо пламенело, но уже не синим огнём, а цветом охры — рудым и диким. По небесному своду перьями, веерами, столбами, мощными горными пиками и островами были разбросаны багровые облака.

Солнце садилось. Его медный диск заливал горы зловещим заревом.

Невиданный этот пожар вечера становился с каждым мгновением резче, грубее. Он разгорался до последнего накала, чтобы потом мгновенно погаснуть.

Так и случилось. Солнце зашло, и тотчас зашумел в терновнике холодноватый ветер.

Я спустился с горы. Бахчисарай позванивал фонтанами сильнее, чем днём.

Я выпил в той же кофейне чашку кофе — денег у меня было в обрез — и голодный, но лёгкий и возбуждённый пошёл на вокзал.

Поезд пришёл в пять часов утра. Билета я не покупал.

Я остановился в тамбуре вагона. Тотчас за мной в тамбур вошёл рослый жандарм. Он, конечно, видел меня. — я был единственным пассажиром, севшим в Бахчисарае.

— Ваше разрешение? — сказал, улыбнувшись, жандарм.

Я протянул ему три рубля. Он взял бумажку, приложил палец к козырьку синей фуражки и ушёл. Я остался в тамбуре.

Я не отрывался от окна. Когда же я наконец увижу море? Уже светало. Гремели отвесные каменные выемки. Из них поезд сразу выносило на лёгкие звенящие мосты над ущельями. Потом вагон швыряло вбок

по крутому закруглению. Мелькал откос, покрытый жёлтыми цветами. Летела мимо кудрявая листва виноградников, и снова врвался глухой гром выемки. Рваные скалы пронеслись так близко от стенок вагона, что опасно было высунуть руку.

После туннелей сразу, со всего маху, ударила в лицо зеленоватая вода и помчалась, изгибаясь и уходя в сухую мглу, обширная Северная бухта.

За окнами всё было неподвижно. Но поезд шёл, и потому казалось, что звенит, качается и сверкает всё, что было снаружи, — чёрные шхуны, валявшиеся килем вверх на берегу, серые крейсера, длинные миноносцы, бакены, флаги, брандвахты, мачты, черепичные крыши, сети, сваи, акации и вспышки колючего огня на береговой гальке — отражения солнца в консервных жестянках.

А потом в струящемся дыму открылся амфитеатр города, покрытого как бы бронзовым налётом славы.

Поезд, шипя тормозами, смело врзался в путаницу улочек, спусков, дворов, лестниц и подпорных стен и остановился наконец около нарядного вокзала.

Мне пришлось видеть много городов, но лучшего города, чем Севастополь, я не знаю.

Чёрное море подходило почти к самым подъездам домов. Оно заполняло комнаты своим шумом, ветром и запахами. Маленькие открытые трамваи осторожно сползали по спускам, боясь сорваться в воду. Гудение пловучих бакенов-резунов доносилось с рейда.

На базаре рядом с рундуками, обитыми цинком, рядом с навалом камбалы и розовой султанки плескались мелкие волны и поскрипывали бортами шаланды.

Прибой, катившийся из открытого моря, бил в круглые крепостные форты. Броневые корабли дымили на рейде.

Были сирены, звенели склянки, перекликаясь со звонками трамваев и трезвонном церковей. Недовольно гудели пассажирские пароходы, протяжно грохотали якорные цепи. На закате с кораблей, спускавших на ночь кормовые флаги, доходили звуки медных горнов. Они далеко и печально разносились по затихшей воде. Их вскоре сменяли плавные вальсы с Приморского бульвара. Впечатление было такое, что играл не оркестр, а пели сами сумерки, успокаивая последние всплески волн около памятника Погибшим кораблям.

Я ходил по городу до изнеможения и всё время открывал живописные уголки.

Особенно мне нравились лестницы-трапы между верхним и нижним городом. Они были сложены из жёлтого ноздреватого песчаника.

По сторонам этих трапов стояли на уступах дома. С площадок трапов в подъезды домов вели висячие мостики, увитые плющом. Окна и балконные двери были открыты, и с трапов хорошо было слышно всё, что происходило в домах: детский смех, голоса женщин, стук посуды, ученические гаммы, пение, лай собак и металлические крики попугаев. Почему-то в Севастополе в ту пору было много попугаев.

По вечерам город был затемнён. Боялись внезапного нападения германского флота.

Затемнение было неполное. В шторах, опущенных на окнах магазинов, были прорезаны надписи, освещённые изнутри. Огненные слова «Кондитерская», «Минеральные воды», «Пиво», «Фрукты» бросали на улицы приглушённый загадочный свет.

Говорливые женщины торговали до позднего вечера на тротуарах фиалками в больших корзинах. Рядом с женщинами стояли на табуретах фонари и свечи. Язычки свечей почти не мигали — к ночи ветер стихал.

Толпы моряков — офицеров и матросов — заполняли вечерние улицы.

Если бы не затемнение и не лучи прожекторов, шарившие вдаль, то ничто бы не говорило о войне.

Должно быть, так выглядели морские города во время блокад в начале XIX века, когда военная опасность была не так уж велика. Дымили у берегов неуклюжие вражеские мониторы и стреляли из бронзовых пушек по заросшим терновником старинным фортам. Войны по существу тогда не было. Но ощущение лёгкой опасности создавало у людей нервный подъём и рождало беспечное веселье, считавшееся непрменным качеством храбрецов.

Все сумерки до вечера я просидел на Историческом бульваре около бастионов 1854 года.

Внизу лежала Южная бухта, а за ней — Корабельная сторона. Вокруг цвёл миндаль.

Ни у одного дерева нет более трогательного и чистого цветения, чем у миндаля. Каждая ветка была вся в розовых цветах, как невеста в прозрачном своём уборе.

Огней в городе не зажигали, и сумерки постепенно закутывали его в изменчивую дымку.

Сначала эта дымка отсвечивала золотом угасавшего солнца, потом она начала приобретать чистый серебристый оттенок, пока серебро окончательно не вытеснило золото. Но вскоре и серебро тоже начало понемногу тускнеть, теряя прозрачность и покрываться налётом густой, непроницаемой синевы. Когда же и эта синева погасла, наступила ночь.

С Исторического бульвара я пошёл на вокзал, чтобы попытаться достать билет и сесть в поезд без пропуска. Поезд уходил ночью.

Первый же носильщик согласился взять мне билет без всякого пропуска.

— До поезда ещё три часа, — сказал он, — а вы человек молодой. Чего вам скучать на вокзале? Подите ещё погуляйте, полюбуйте на наш город.

Я пошёл к трамваю, раздумывая о доброте и простодушии южан. Но около трамвайной остановки ко мне решительно подошёл морской патруль — два матроса с винтовками и повязками на рукавах. Они потребовали мои документы. Я показал.

— Где живёте? — спросил один из матросов. — На какой улице?

Я признался, что я не севастополец.

— Ясно! — сказал матрос. — Незачем вам быть севастопольцем. Придётся отвести вас к мичману. Вы не сомневайтесь — он такой, что видит каждого насквозь с первого взгляда.

Мы пошли. По дороге матрос спросил:

— Сколько дали носильщику?

— Десять рублей.

— Вот ваши деньги. — Матрос протянул мне десять рублей.

Я оглянулся, но было темно, и я не увидел носильщика, хотя был уверен, что он со злорадством смотрит мне в спину.

Матросы привели меня в маленький дом где-то около Нахимовского проспекта. В сводчатой комнате сидел на подоконнике поджарый горбоносый мичман, рядом с ним сидела девушка в короткой клетчатой юбке. Две русые косы были переброшены у неё на грудь, и она перебирала их и болтала ногой. С ноги свешивалась, зацепившись за большой палец, старенькая, потёртая туфля.

За столом сидел другой мичман, в походной форме — в шинели и фуражке, с чёрным револьвером на лакированном поясе.

Матросы доложили обо мне и вышли в коридор.

Мичман в походной форме взял мои документы, закурил, сощурился от дыма и начал читать их.

— Н-да-а-а! — промолвил он наконец. — «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий».

Девушка засмеялась и, болтая ногой, весело посмотрела на меня.

— Вот что! — сказал мичман. — Вы мне задушевно объясните, кто вы, что вы, зачем вы в Севастополе и почему вы хотели смыться от нас незаметно. Документы у вас в порядке. Но, в общем, пёс их разберёт, эти документы.

Я смутился, но рассказал мичману всё как было.

— Ага! — удовлетворённо сказал он. — Понимаю. Этакая поэтическая божественная натура?

— Саша, — сказал с подоконника горбоносый, — не дури!

Мичман с револьвером не обратил на слова горбоносого никакого внимания.

— Если вам удастся доказать, — сказал он мне, — что по натуре вы поэт и что вас околдовала муза дальних странствий, тогда, может быть, мы до чего-нибудь договоримся.

Я не мог понять, издевается ли он надо мной или говорит серьёзно. Но я решил сделать вид, что принял его слова всерьёз.

— Если бы адмирал Эбергардт, — опять сказал с подоконника горбоносый, — знал твои следовательские таланты, Саша, то не миновать тебе баржи.

«Баржей» в Севастополе в то время называли пловучую тюрьму.

— Поэт, — наставительно сказал мичман с револьвером, снова не обратив никакого внимания на слова горбоносого, — должен знать на зубок поэзию. Что вы можете предъявить нам в этом смысле?

Я не понял его.

— Прочтите ему какие-нибудь стихи, — объяснила мне девушка. — Он сам поэт.

— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру», — насмешливо подсказал горбоносый.

— Нет, — сказал я, — уж если на то пошло, то я прочту вам стихи Леконта-де-Лиля.

— Ишь ты! — удивился мичман с револьвером. — Куда загибает! Ловкая штучка! Нет, вы лучше прочтите нам Блока: «Никогда не забуду». Но только без пропусков. Если хотите получить пропуск.

— Пошло шутите, молодой человек, — сказал горбоносый, но мичман с револьвером снова не обратил на него никакого внимания.

Я прочёл стихи Блока. Они мне самому нравились.

Наступило молчание. Матросы гремели винтовками в коридоре. Надо думать, они сильно удивлялись.

— Вот петрушка! — сказал с деланным огорчением мичман с револьвером. — У вас нет в Севастополе кого-нибудь, кто бы мог за вас поручиться?

— Нет, — ответил я.

— Я за него ручаюсь, Саша, — сказал горбоносый. — Довольно вальять дурака. Сразу же видно, что за человек. Выписывай пропуск. А поручительство я тебе напишу завтра.

Мичман с револьвером усмехнулся и начал тщательно выписывать пропуск. Пока он писал, мы затеяли разговор о поэзии. Горбоносый любил Фофанова, а девушка — Мирру Лохвицкую.

Девушка покраснела и умоляюще сказала, что если бы было время, то она прочла бы свою поэму, но она слишком длинная.

— Вот! — Мичман протянул мне мои документы и пропуск и вздохнул. — Жаль, что уезжаете. А то бы встретились на свободе. Есть о чём поговорить.

Я поблагодарил его и сказал, что Севастополь, очевидно, город чудес. Нигде мой арест не мог бы кончиться так необыкновенно, как в Севастополе.

— Дорогой мой и несколько наивный юноша, — ответил мне мичман с револьвером. — Никаких чудес нет. Запомните, что шпионы и прочие подозрительные типы никогда не открывают с носильщиками. Не правда ли, получился хороший афоризм?

Я вышел. Девушка и горбоносый вызвались проводить меня до спуска к вокзалу. Мичман с револьвером огорчился. Было видно, что он сам не прочь бы пройтись по ночным севастопольским улицам рядом с русоволосой девушкой.

По дороге девушка сказала мне:

— Приезжайте к нам. Я живу на Зелёной горке, в доме пять. Меня зовут Ритой. Там все меня знают. Ой, как жаль, что вы уезжаете! Нас здесь в Севастополе так мало!

— Кого вас?

— Да поэтов. Вот их двое да я. Да ещё один студент из Харькова.

На вокзале ко мне подошёл знакомый носильщик. Он широко и радужно улыбался.

— Ну вот, — сказал он. — Отделались? И вам спокойнее и мне лучше. Давайте пятёрку. Я вам сейчас представлю билет.

В окна вагона дуло запахом водорослей. Белые реки прожекторов льялись в морские тёмные дали и исчезали там без следа. И мне было очень жаль покинуть этот город — короткую и весёлую остановку среди последних утомительных месяцев.

### Гостиница «Великобритания»

В Юзовке я поселился в дешёвом номере гостиницы «Великобритания». Это зловонное логово было названо так в честь страны Юза и Бальфура — двух британцев, владевших в Донецком бассейне огромными заводами и шахтами.

Теперь от прошлой Юзовки не осталось следа. На её месте вырос благоустроенный город. Тогда же это был беспорядочный и грязный посёлок, окружённый лачугами и землянками.

Скопления этих землянок назывались по-разному: Нахаловка, Собачеевка, Кабыздоховка. Мрачный юмор этих названий лучше всего определял безрадостный вид посёлков.

В котловине рядом с посёлком дымил тот самый Новороссийский металлургический завод, куда меня прислали налаживать приёмку снарядов.

Дым шёл не только из заводских труб. Дымили самые здания цехов. Дым был жёлтый, как лисья шерсть, и зловонный, как пригорелое молоко.

Неправдоподобно багровое пламя качалось над жерлами доменных печей.

С неба сыпалась жирная сажа. Из-за дыма и сажи в Юзовке исчез белый цвет. Всё, чему полагалось быть белым, приобретало грязный, серый цвет с жёлтыми разводами. Серые занавески, наволочки и простыни в гостинице, серые рубахи, наконец, серые лошади, кошки и собаки.

В Юзовке почти не бывало дождей, и жаркий ветер днём и ночью завивал мусор, штыб и куриный пух.

Все улицы и дворы были засыпаны шелухой от подсолнухов. Особенно много её накапливалось после праздников.

Грызть подсолнухи называлось по-местному «лузгать». Лузгало всё население. Редко можно было встретить местного жителя без прилипшей к подбородку подсолнечной шелухи.

Лузгали виртуозно, особенно женщины, судачившие около калиток. Они лузгали с невероятной быстротой, не поднося семечек ко рту, а подбрасывая их издали ногтем.

При этом женщины ещё успевали злословить так, как умеют злословить только мещанки на юге, — с наивной наглостью, грязно и зло. Каждая из этих женщин была, конечно, «в своём дворе самая первая».

Несмотря на сплетни и лузганье семечек, женщины ещё успевали драться. Как только две женщины с визгом вцеплялись друг другу в волосы, тотчас собиралась гогочущая толпа и драка превращалась в азартную игру — на победительницу ставили по две-три копейки. Банк держали старожилы-пропойцы. Деньги собирали в рваный картуз.

Женщин нарочно славливали и дразнили.

Бывало, что в драку постепенно вязывалась вся улица. Выходили распояскакой мужчины. Шли в ход свинчатки и кастеты, трещали хрящи, лилась кровь. Тогда из «Нового света», где жила «администрация» шахт и заводов, на рысях приходил взвод казаков и разгонял дерущихся нагайками.

Трудно было сразу понять, кто населял Юзовку. Невозмутимый швейцар из гостиницы объяснил мне, что это «подлипалы» — скупщики поношенных вещей, мелкие ростовщики, базарные торговки, кулачье, шинкари и шинкарки, кормившиеся около окрестных рабочих и шахтёрских посёлков.

Заводы дымили со всех сторон. Шахты стояли по горизонту серыми и пыльными пирамидами своих терриконов.

Гостиница «Великобритания» заслуживает того, чтобы её описать, как давно вымершее ископаемое.

Стены её были выкрашены в цвет грязного мяса. Но это владельцу гостиницы показалось скучным. Он приказал покрыть стены модной тогда декадентской росписью — белыми и лиловыми ирисами и кокетливыми головками женщин, выглядывавшими из водяных лилий.

Неистребимый запах дешёвой пудры, кухонного чада и лекарств стоял повсюду. Электричество горело тускло — читать при его желтушном свете было нельзя. Все кровати были продавлены, как корыта.

«Коридорные девушки» в любое время дня и ночи «принимали гостей».

Внизу на штопанном и перештопанном сукне биллиарда отщёлкивали «пирамидки» испитые юноши с кепками набекрень и в галстуках бабочкой. Каждый вечер кому-нибудь проламывали кием голову.

Играли по-крупному. Деньги клали в лузы, но зорко следили, чтобы их не крали так называемые «поддыхачи» — мелкий биллиардный люд.

Стены между номерами в гостинице были очень тонкие. По ночам я слышал вздохи, стоны, грубый торг, а временами душераздирающий женский вопль. Тогда вызывали швейцара, дверь номера выламывали, оттуда выскакивала с рыданиями растерзанная женщина, чаще всего знакомая коридорная девушка из этой же гостиницы, а за ней выволакивали какого-нибудь мутного парня с мокрой чёлкой. Он мычал и бил всех наотмашь направо и налево.

Его связывали, уводили, пиная в спину, и приговаривали:

— Опять недоплатил девушке, холера! Который раз! Удавить тебя мало!

К рыдающей девушке сбегались подруги. Она, захлёбываясь, показывала им зажатые в кулаке деньги — доказательство, что её обсчитали.

Девушки сообща пересчитывали деньги, ахали и говорили, что всех мужчин надо облить серной кислотой.

Непременным участником скандалов был низенький седой коммивояжёр — представитель фирмы готового платья «Мандель и компания». Он носил просторный вишнево-красный костюм и жёлтые ботинки с выпуклыми носами.

Он всегда утешал обиженных девушек.

— Ты, Муся, — говорил он, — должна относиться ко всему с философским спокойствием. Бери пример с меня.

— А идите вы знаете куда! — отвечала сквозь слёзы Муся. — И подавитесь своими советами! Знаю я ваше философское спокойствие!

Но старик не смущался.

— Древние эллины, — говорил он, — полагали, что спокойствие есть основное условие счастья. Основное условие! Ультима рацио! Понимаешь? И подумаешь, сколько он тебе недодал?

— Целый рубль, гад! — отвечала девушка, переставая плакать.

— Вот тебе рубль. Утри слёзы, умойся, оденься, стань прелестной, как прежде, и принеси мне в номер бутылку вина, боржом и печенье.

— Идите вы знаете куда! — говорила возмущённо девушка. — Это чтоб я за рубль к вам пошла? Старый пацук!

Но старик не обижался. Он уходил по коридору, засунув руки в карманы и напевая:

Под знойным небом Аргентины,  
Где женщины, как на картине,  
Где небо южное так сине,—  
Там Джо влюбился в Кло!

Был в гостинице и всеобщий любимец, так называемый «Дядя Гриша — воды тише».

Это был картавый затёртый человек с русой бородкой и синими детскими глазами. Чесучовый пиджак он носил на голом теле, стыдливо запахивал его и всегда дрожал будто от холода, на самом же деле от перепоя.

Рассказывали, что дядя Гриша — сын сенатора из Петербурга, окончил лицей, промотал огромное состояние в Париже, потом был тапёром в кино (по-тогдашнему — «иллюзион»), а теперь живёт за счёт человеческой жалости и перехватывает рубль или два на вечеринках в качестве непревзойдённого игрока на гитаре и певца жестоких романсов.

Дядя Гриша был так несчастен, что даже владелец гостиницы, тучный господин в котелке, во вздёрнутых клетчатых брючках, пожалел его и дал ему работу — кипятить в кубе воду для чая. За это дядя Гриша жил бесплатно в комнатке, где стоял этот куб.

Тесная эта комнатка была своего рода гостиничным клубом. Там собирались девушки и «вечные постояльцы», играли в подкидного дурака, в домино, гадали, обсуждали все происшествия, а девушки штопали чулки, шили и гладили.

Однажды в комнате у дяди Гриши отпраздновали день рождения коридорной девушки с нашего третьего этажа — Любы. На этот праздник пригласили «из уважения» четырёх жильцов, в том числе и меня. Была на празднике пожилая женщина — зубной врач Фаина Абрамовна, сотрудник харьковской газеты — высокий человек, ходивший на костыле, и аптекарский ученик Альберт — веснушчатый юноша с нежной кожей. Он всё время понимающе и презрительно улыбался.

Старый коммивояжёр пытался прорваться на именины, но девушки его не пустили.

Девушки все были нарядные, а Люба — бледная, молчаливая, в чёрном платье — была похожа, по словам Альберта, на «королеву Марго».

Взволнованная Люба изредка подымала длинные ресницы, внимательно взглядывала на нас, и каждый раз меня поражал чистый блеск её глаз.

Не верилось, что это та самая Люба, что недавно ночью рыдала, прикрыв рукой на груди разорванную батистовую рубашку, и, стиснув голые круглые колени, проклинала во весь голос плотного чёрного постольца из 34-го номера, охальника, по её словам, и подлеца.

Дядя Гриша побрился и надел розовую рубаху с чужого плеча, заколотую медной булавкой с изображением гусеницы.

Сели за стол, уставленный несвежими закусками из гостиничного ресторана и бутылками рябиновки. Посреди стола стоял большой букет фиолетовых бумажных роз.

Люба подошла к дяде Грише и пригладила его редкие волосы. Дядя Гриша поймал на лету любину руку и пожал её. Тогда Люба на минуту прижала к своей груди его дрожащую голову. Она смотрела при этом за окно поверх головы дяди Гриши, и глаза у неё были спокойные, как всегда.

Раскрасневшиеся довольные девушки настойчиво нас угощали. Они ласково заглядывали в глаза и говорили:

— Да покушайте же, пожалуйста, шобы Люба была всегда счастливая и здоровая. Да не стесняйтесь, пожалуйста! Это всё свежее, только что из кухни, вы не думайте!

Люба сидела между дядей Гришей и мной.

— Хочу вас спросить, — сказала мне Люба, — чего это вы всё сочиняете? Каждый раз, когда я в номере у вас прибираю, всюду листочки валяются. Про что вы пишете? Про сердечную жизнь?

— Да, — ответил я. — Про счастливую жизнь, Люба.

— Была бы я интересная, — вздохнула Люба, — вы, может, и про меня удачно написали. Целый роман. А люди бы читали и плакали слезами.

— Пей, Любка! — крикнула Муся. — Пока горе тебя не поломало. Глаза у Любы потемнели.

— Уймись, — тихо сказала она. — Я с горем заодно жить всё равно не буду.

— Да я просто так, — ответила Муся. — Я же тебе симпатизирую, Любка.

— А песни вы тоже пишете? — снова спросила меня Люба. — На эту дуру Муську вы, между прочим, не обращайтесь внимания.

— Нет, не пишу. Стихи когда-то писал. И знаю много стихов.

— Чувствительных?

— Да, пожалуй.

— А вы прочитайте.

— Ну что ж, — ответил я. У меня от выпитой рябиновки уже началось лёгкое «кружение сердца». — Я прочту вам одной. Сегодня — ваш праздник.

— Неужели одной? — спросила Люба и немного подержалась за серебряное колечко у меня на мизинце. — Чьё это кольцо?

— Моё.

— Неправда, не ваше.

Все уже сильно шумели. Я на минуту задумался: что бы прочесть, понятное и простое?

«Всё равно, — подумал я, — поймёт она или нет!» И я начал немногo нараспев говорить:

Нет, не тебя так пылко я люблю,  
 Не для меня красы твоей блистанье:  
 Люблю в тебе я прошлое страданье  
 И молодость погибшую мою.

Шум за столом стих.

Когда порой я на тебя смотрю,  
 В твои глаза вникая долгим взором:  
 Таинственным я занят разговором,  
 Но не с тобой я сердцем говорю...

Я остановился.

— Ну! — резко сказала Люба. — Раз уж начали читать такое, так рвите сердце.

Я говорю с подругой юных дней,  
 В твоих чертах ищу черты другие,  
 В устах живых уста давно немые,  
 В глазах огонь угаснувших очей.

Одна из девушек с шумом втянула воздух и всхлинула.

— Стихи поэта Лермонтова, — сказал дядя Гриша, настроивая гитару, — лучше петь, чем читать.

Он взял мягкий аккорд и запел приятным, сильным тенором:

Выхожу один я на дорогу;  
 Сквозь туман кремнистый путь блестит...

— Подхватывайте! — приказал он, и гитара снова печально заговорила у него под пальцами. — Все подхватывайте! «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездой говорит».

Все тихо спели окончание строфы. Люба сидела, облокотившись на стол, опираясь подбородком на сложенные руки, и пела, глядя за окно. Глаза её сияли. Дядя Гриша играл, подняв голову, и на щеке у него блестела слеза.

Дверь внезапно отворилась, и в комнату вошёл плотный чёрный человек со сладкими восточными глазами — постоялец из 34-го номера.

— Любочка-цыпочка, — вкрадчиво сказал он. — Я до вас. Выйдемте на некоторое время. Мне страх как надо с вами поговорить.

— Поговорить? — спросила Люба и обернулась. — Тебе надо со мной поговорить? В твоём номере?

— А хотя бы и так. Номерок подходящий.

Люба встала.

— Сам знаешь, какой у меня день! Так и то лезешь, потерпеть не можешь, подлюга! Вон отсюда!

— Любка! — взвизгнула Муся, но было уже поздно. Люба схватила бутылку с рябиновкой и изо всей силы швырнула её в чёрного человека.

Бутылка ударила его по голове и разбилась. Он схватился за лицо руками, размазал по толстым щекам кровь, смешанную с рябиновкой, попятился в коридор, споткнулся о порог и молча рухнул навзничь.

— Убью! — дико закричала Люба. — Всех поубиваю, как бешеных котов. Всех! Не трогайте меня! Не лезьте! В Сибирь пойду, на каторгу, а с вами, с гадами, рассчитаюсь!

Она упала на стул и положила голову на стол.

— Девушки! — сказала она с тихой тоской. — Подружки мои дорогие! Неужто даже отмыться нам не дадут! Девушки! — закричала она и затряслась. — Я будто светлый сон видела... Спасибо тебе, дядя Гриша. Спасибо, роднеёвский мой. Спасибо вам всем...

Она захлебнулась слезами и закашлялась. Дядя Гриша стоял рядом с ней, дрожал и глотал слюну.

Я взял Любу за плечи. Даже сквозь платье я чувствовал, какие они были горячие.

Я понимал, что ей надо сказать то главное, что говорят человеку раз в жизни, чтобы его спасти. Но я не мог сказать этих главных слов о любви, помощи. Я не мог их сказать, как бы ни хотел этого. Может быть, надо было солгать, если бы была уверенность, что от этого Любе станет легче. Мои слова уже были сказаны давно, там, в Белоруссии, когда Лёля, умирая, слегка оттолкнула меня и в глазах её стояли, не проливаясь, глубокие слёзы.

Да и не мои слова были нужны Любе. Слова эти должен был сказать дядя Гриша. Но что он мог, этот спившийся, дрожащий, хлипкий старик, живущий на свете из жалости?

И я ничего не сказал. Я взял руку Любы и пожал её, а она быстро взглянула на меня сквозь слипшиеся от слёз ресницы и погладила меня рукой по щеке.

Как бы ни ухмылялись серьёзные люди, что бы они ни говорили о сентиментальности, я пронёс этот взгляд через жизнь и никогда его не забуду.

В коридоре послышались быстрые шаги, звон шпор, громкие голоса. Я оглянулся. Весь коридор был заполнен толпой испуганных постояльцев гостиницы.

В комнату вошёл тощий пристав с городовыми. Городовые вежливо придерживали шашки.

— Прошу вас, барышня, — сказал пристав сурово и как будто с сожалением.

Люба быстро встала и вышла, ни на кого не глядя. Она даже ни разу не обернулась.

Чёрного человека унесли. Девушки плакали, обнявшись, а дядя Гриша судорожно пил рябиновку — стакан за стаканом, как воду.

Тогда человек на костыле, молчавший весь вечер, подошёл к двери, закрыл её и сказал:

— Мы свидетели. На суде следует показать, что этот человек накинулся на Любу с бранью и побоями и она ударила его бутылкой, защищаясь. И этот старик, — человек с костылём показал на дядю Гришу, — на суде должен быть трезвым, как стёклышко. И показать то же, что все.

Тогда встал дядя Гриша. Он пристально посмотрел на человека с костылём и сказал очень веско:

— Милостивый государь! Не вам учить меня законам благородства по отношению к женщине. Я всосал эти качества с молоком матери. Если судьба довела меня до падения, то это никому не даёт права оскорблять моё достоинство. Я вам прощаю только потому, что вы поступили по-рыцарски.

И дядя Гриша крепко пожал руку человеку с костылём.

С этого вечера у меня что-то резко надломилось в сознании. Всё, чего я раньше чурался, теперь меня не пугало. Я перестал относиться к людям так мимоулетно, как относился раньше.

С тех пор я понял, что надо искать каждый проблеск человечности в окружающих, как бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными.

Есть в каждом сердце струна. Она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного.

Вскоре после этого случая с Любой я перебрался из гостиницы «Великобритания» на завод, в чертёжную комнату при снаряжном цехе.

Помог мне в этом чертёжник Гринько — вялый чахоточный человек, бывший эсер. Он зашёл однажды ко мне в номер, ужаснулся гостиничной

вони и уговорил меня переехать в чертёжную, хотя мне оставалось жить в Юзовке уже недолго.

В чертёжной работал только один Гринько. Я приходил из цеха поздно и ночевал на деревянном диване.

Жизнь завода была так далека от удушливой жизни в гостинице, что, казалось, между заводом и «Великобританией» протянулись сотни вёрст.

Каждый вечер после работы я ходил в бессемеровский цех. Часами я мог смотреть, как из исполинских вращающихся печей, похожих на стальные груши высотой в три этажа, льётся расплавленная сталь.

По ночам я ходил смотреть на каждый выпуск чугуна из доменных печей. Зрелище было зловещее. Чугун лился по канавам в земле, дымясь багровым паром. Всё вокруг было густо окрашено только в два цвета — чёрный и красный. Рабочие в зареве жидкого чугуна походили на выходцев из ада.

Иногда я ходил в рельсoproкатный цех. Огромные вальцы, вздрагивая и скрежеща, заглатывали раскалённые добела стальные болванки и мяли их в своей металлической холодной пасти, чтобы выбросить вместо толстой болванки длинный брус. Он быстро шёл из одних вальцов в другие, всё время вытягиваясь, пока не превращался в темнобагровый рельс.

Готовые рельсы катились около самых ног по железным каткам, мерцая сотнями искр.

Всё вокруг гремело, скрежетало, лязгало, свистело паром, дымило, сыпало искрами, ухало и звенело. Сквозь грохот доносились протяжные крики «берегись!». Рабочие быстро катили на стальных тачках раскалённые болванки. Если встречный не успевал во-время отскочить, на нём начинала тлеть одежда. Кран пронес над головой такую же раскалённую болванку, придерживая её в воздухе, как краб, двумя стальными клешнями.

Гринько уходил из чертёжной поздно. Он был холостяк, и домой его не тянуло.

Когда Гринько уходил, я ложился на деревянный диван и читал. Мне нравилось, что в чертёжной был слышен близкий гул завода. Было спокойно на душе от сознания, что рядом бодрствуют всю ночь сотни людей.

Я лежал, читал, смотрел на висевший на стене портрет старика. Это был Бессемер, изобретатель нового литья стали. Потом я засыпал, и мне казалось, что я сплю в поезде: сквозь сон я слышал подрагиванье, гул и звон.

Гринько, сидя за своим наклонным чертёжным столом, — длинноносый, с падающими на шею волосами, — напоминал карикатуру на Гоголя. Сходство усиливалось ещё тем, что Гринько носил чёрную шляпу и старый чёрный плащ с застёжками в виде львиных голов. Такие плащи носили одно время морские офицеры.

Я однажды рассказал ему о санитарном поезде. Он в ответ рассказал мне о том, как Соколовский освободил его из тюрьмы.

Я старался не говорить с Гринько на политические темы. Меня смущало то обстоятельство, что бывшего эсера приняли на работу в военный цех завода, да ещё чертёжником.

Гринько обо всём говорил с презрительной усмешкой, явно скучая, и только изредка в глазах его загорался короткий злой блеск.

Я заметил, что рабочие относятся к Гринько с насмешкой. Они звали его за глаза «отставной козы барабанщиком», явно намекая на его уход от революционной работы.

Однажды, когда я просвечивал снаряжные стаканы электрической лампочкой, я нашёл засунутую в снаряд записку:

«Не доверяйте соседу по чертёжной. Записку спалите».

Я сжёг записку и начал с тех пор присматриваться к рабочим, подававшим снаряды. Но лица у них были непроницаемые.

За день до моего отъезда из Юзовки я нашёл в стакане прокламацию, отпечатанную на гектографе. В правом её углу были оттиснуты слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Это была большевистская прокламация, призывавшая к превращению империалистической войны в войну гражданскую.

Я прочёл прокламацию и засунул её в тот же снарядный стакан. Когда после обеденного перерыва я пришёл в цех, прокламации в стакане уже не было. Рабочие поглядывали на меня, улыбаясь, но никто не сказал ни слова.

Поезд на Таганрог уходил вечером. Я попрощался с Гринько.

— А вы меня зря боялись, — сказал он, сидя нахохлившись за своей конторкой и не подымая глаз. — Я, правда, бывший эсер. Но теперь я анархист.

Он помолчал и уныло добавил, как бы совершенно не веря собственным словам:

— Анархия — это единственное разумное устройство человеческого общества.

— Ну что ж, — сказал я. — Помогай вам бог!

— Или вы оппортунист, — сказал Гринько так же тихо, но уже злым голосом, — или циник. А я думал, что имею дело с передовым юношей.

— У меня в документах написано: «Мещанин города Василькова Киевской губернии». Чего же вы от меня хотите! Во всяком случае я вам благодарен за гостеприимство и потому ни в какие споры лезть не хочу.

— А вы, кажется, далеко пойдёте, — уже грубо, не скрываясь, сказал Гринько.

— Ну, так далеко, как вы, я не пойду! За это я ручаюсь. Прощайте.

Я взял свой чемодан. Гринько сидел, всё так же нахохлившись, смотрел на меня маленькими глазами, сопел и молчал.

Я вышел.

Ночью я дожидался в сумрачном буфете на станции Ясиноватой поезда в Таганрог и думал, что вот пройден ещё один небольшой этап жизни и вместе с ним прибавилось горечи. Но, как это ни странно, горечь не только не замутила, а, наоборот, усилила веру в приход прекрасных дней, в приход всенародного освобождения.

Оно придёт, говорил я себе. Оно не может не прийти хотя бы потому, что в самом ожидании его уже заключена огромная плодотворная сила.

### О записных книжках и памяти

Писателей часто спрашивают, ведут ли они записные книжки или полагаются только на память.

Большинство писателей ведёт записные книжки, но редко пользуется ими для своей работы. Записные книжки существуют в литературе главным образом как самостоятельный жанр. Поэтому их и печатают наряду с романами и рассказами того или иного писателя.

Ещё в гимназии учитель «русской словесности», старик Шульгин, любил повторять нам, что «культура — это память». Сначала мы не очень соображали, о чём говорит Шульгин, но с возрастом поняли, что это действительно так.

— Мы, — говорил Шульгин, — держим в своей памяти века. Вся история мира, воображение, человеческая мысль — всё это хранится в памяти и заставляет работать наш разум. Если бы не было памяти, мы бы жили, как слепые кроты.

Для писателя память — это почти всё. Она не только хранит накопленный материал. Она задерживает, как волшебное сито, всё самое ценное. Пыль и труха просыпаются и уносятся ветром, а на поверхности остаётся золотой песок. Из него и надлежит, по всей видимости, создавать произведения искусства.

Заговорил я о записных книжках не случайно.

Несколько лет назад мне дали прочесть записную книжку одного умершего писателя. Я начал читать её и убедился, что это были не отдельные короткие записи, как это всегда бывает в записных книжках и дневниках, а довольно связное описание неизвестного приморского города. Ниже я постараюсь воспроизвести это описание с возможной точностью.

Чем дальше я читал эту записную книжку, тем яснее проступали в памяти позабытые краски и запахи, какие-то знакомые места. Но я не мог сразу вспомнить, где я видел эти места и когда это было. Они выступали, как из тумана или из давнего сна, который стараешься восстановить по кускам, как склеивают разбитую статую.

Что же было в этих записях?

Прежде всего было точное описание деревьев и цветов акации. «Цветы эти тронуты желтоватым и розовым налётом и кажутся чуть подсохшими. Тень перистых акациевых листьев падает на белые стены и колеблется даже от незаметного ветра. Достаточно взглянуть на эту живую тень, чтобы понять, что ты на юге и недалеко от моря.

Когда акация осыпается, ветер несёт вороха цветов по улицам. Они с шумом, подобно сухому прибою, катятся по мостовым и набегают на садовые ограды и стены домов».

В этой книжке была ещё запись о портовых спусках. Спуск в гавань, выход к кораблям, к морским просторам — это не такая малость для литературного описания, как может сгоряча показаться.

«Мостовые на портовых спусках отполированы до свинцового блеска подковами битюгов. Между камней прорастают из рассыпанных зёрен всходы овса и пшеницы. Крутые подпорные стены заросли дроком. Он свешивается сверху, как остановившийся водопад из непролазного переплетения веток, листьев, колючек и жёлтых цветов.

Кое-где в этой пыльной зелени вырублены ниши. В них скрыты маленькие кофейни и лавчонки. Там торгуют сельтерской водой и баклавой — слоёным греческим печеньем на меду.

В кофейнях передняя стена всегда застеклена. Сквозь неё видны люди в линиях тельниках, азартно играющие в карты.

Но это не всё. Тут же сидят на низких скамеечках старые женщины и продают жареные каштаны. Угли в мангалах наливаются жаром. Слышен непрерывный лёгкий треск — это лопаются скорлупа каштанов.

Крутой поворот — и внизу, как на детской картинке, появляется совершенно игрушечный порт.

Узкие молы заросли травой. Она закрыла рельсовый путь. И это жаль. Иначе вы могли бы увидеть красные от ржавчины рельсы и цветы ромашки, прижавшиеся к рельсам белыми головками.

В жерле каждой чугунной причальной пушки стоит, как в стакане, солоноватая вода. Нужно нагнуться к ней, и вы услышите запах, от которого у вас забьётся сердце, — запах океана и дух полыни, тот запах, что освежает голову и напоминает о плаваниях, целительных для сердца и плодотворных для ума.

Зеленоватые маленькие волны плещутся о сваи.

Мартыны пронзительно вскрикивают и адчно хохочут, увидев с высоты стаю доверчивых мальков.

Звенит от ударов волн о цоколь железная сквозная башня мигалки — маленького сигнального маяка на оконечности мола.

На портовых мачтах висят таинственные знаки — шары и конусы.

Что предсказывают эти чёрные шары? Может быть, мутный шторм. А может быть, полный штиль. Тогда прозрачность воздуха как бы растворяется в морской воде. И море, впитав эту чистоту, тоже станет прозрачным до дна.

Нет, должно быть, будет шторм. Тревожно шевелятся чёрные паруса рыбачьих шаланд. Быстро мигают в сумерках бортовые огни.

Мысль о далёком морском путешествии уже запала вам в душу. Но всё-таки немного жаль покинуть этот уютный город, где ветер похлопывает синими и зелёными ставнями по стенам, а в освещённых комнатах видны на полках толстые книги, вероятно, комплекты «Нивы», «Вокруг света» и «Родины».

Но всё равно вы не можете уехать, потому что в порту нет пароходов. Они останавливаются далеко на рейде.

Неужели в этом порту нет пароходов? Есть, конечно, портовый буксир. Он добродушно посапывает у причала. Есть старая шхуна «Труженик моря». Есть два разоружённых корвета.

Давным-давно их привели на слом, но пока что они стоят среди порта, опустив в воду, как вытянутые руки, тяжёлые якорные цепи. Корветы вспоминают сквозь сон своё прошлое, когда они проходили Магелланов пролив и резали форштевнями маслянистую воду Архипелага. В темноте можно, хотя с трудом, разглядеть их изогнутые носы-тараны, их бугшприты и трубы.

Днём можно подплыть к одному из этих корветов на лодке, дать пачку папирос «Цыганка Ада» сторожу и потом сидеть на палубе в тени от трубы и читать всё, что вам будет угодно и сколько будет угодно. Конечно, лучше всего в таком месте читать или стихи или описания путешествий, такие, как «Фрегат Паллада» или дневник капитана Кука.

Но, в общем, выбирайте сами, к какой книге вас больше влечёт эта белая от старости палуба и запах железных бортов, заросших по ватерлинии бахромой водорослей.

С палубы этих корветов — свидетелей кругосветной славы — хорошо видно море.

Оно не сверкает лазурью, бирюзой, сапфиром, аквамарином и прочими красотами южных морей.

Оно зеленоватое и тихое. Единственным его украшением являются облака. Море охотно отражает их, понимая, что они оживляют его простор.

Облака медленно поднимаются с юга. Они похожи на средневековые города с крепостными башнями, соборами, базиликами, триумфальными арками, блестящими рыцарскими знамёнами-орифламмами и дальним планом снежных гор — Монбланов и Монте-Роз.

Какой-то сумасбродный художник причудливо осветил эти города. И облака сияют, разгораясь к закату, всеми полуцветами вечерней зари — от синего до золотого и от пурпурного до серебряного».

Я читал эту запись и что-то знакомое мучило меня. Я искал хотя бы какого-нибудь названия, имени, чтобы узнать этот город. Я уже догадывался в глубине души, о каком городе идёт речь, но не был ещё окончательно уверен в этом.

Ага! Вот! Наконец! «Удивительно, что в книгах одного замечательного нашего писателя — уроженца этого города — не отразилось ничего, о чём сказано выше, — ни моря, ни порта, ни акаций, ни чёрных парусов».

В этих словах заключалась разгадка. Ну, конечно, всё это было написано о Таганроге — родине Чехова.

Как только я догадался об этом, всё прочитанное ожило, потеряло налёт отстранённости, какой был во время чтения, и приобрело резкую выпуклость и реальность.

Да, это был Таганрог. Таким я его увидел в 1916 году, когда приехал из Юзовки и прожил в нём до поздней осени.

Таким я увидел его потому, что был молод и романтически настроен, зачитывался стихами и морскими книгами и видел то, что мне хотелось видеть.

Поэтому я долгое время боялся попасть в Таганрог в зрелые годы, чтобы не разочароваться и не застать его совершенно непохожим на тот город, каким он впервые явился передо мной.

Что делать! С возрастом мы теряем спасительную способность преувеличивать.

Но в 1952 году, осенью, я случайно попал в Таганрог и убедился, что в молодости я был всё же прав. Таганрог был так же хорош. Он не потерял свою прелесть, хотя она и приобрела иной характер. Сейчас это был город учащейся молодёжи, юношей и девушек, звонких переключек на улицах, смеха, пачек книг в руках, пения и споров.

А там, где в 1916 году были невзрачные окраины, появились новые маленькие нарядные города — рабочие посёлки около новых заводов. Они окружали старый Таганрог шумным кольцом.

Но в самом Таганроге было попрежнему пустынно, уютно и тихо. Рыбачьи байды на чёрных парусах отрывались от берега и уходили в море так плавно, что с горы, где стоит бронзовый Пётр, казалось, будто ветер разносит по морю чёрные осенние листья.

В 1916 году я поселился в Таганроге в гостинице Кумбарули — большой, пустой и прохладной. Она была построена ещё в те баснословные времена, когда Таганрог был богатейшим городом на Азовском море — столицей греческих и итальянских негоциантов.

Тогда в Таганроге блистала итальянская опера, в нём жили Гарибальди и поэт Щербина, влюблённый в Элладу, в нём жил и умер плшивый щёголь Александр Первый, окружённый изысканной свитой.

Но вскоре Одесса и Мариуполь отняли у Таганрога его богатства, и город затих и опустел.

В гостинице Кумбарули были такие высокие комнаты, что вечером потолки тонули в темноте — свет ламп не доходил до них. Потемневшие фрески на стенах изображали классическую страну с древними руинами, каскадами и томными пастушками в красных юбках. Пастушки вязали, конечно, венки.

Первые два месяца я работал на котельном заводе Нев-Вильдэ. Он принадлежал бельгийской акционерной компании.

Завод стоял за городом в знойной степи. В мастерской был слышен треск кузнечиков.

Когда я приехал, на заводе шла сборка единственного гидравлического пресса для выделки снарядных стаканов. По светлым и пустым мастерским ходили инженеры-бельгийцы в панاماх и разноцветных подтяжках. Они относились к нам, русским рабочим, высокомерно и недоверчиво. Во всяком случае, у них не сходилась с лица кислая гримаса.

На заводе по существу шла непрерывная итальянская забастовка. Работали уныло, вяло и так медленно, что за два месяца мы едва собрали только станину для пресса.

В городе было уже голодно, не всегда хватало хлеба. Цены росли, и питались мы преимущественно сельтерской водой с галетами. Эти солёные морские галеты целыми ящиками добывали из-под полы в интендантских складах и делили поровну между рабочими нашего цеха.

В гостинице жить было дорого, и я вскоре снял комнату у некоего Абраши Флакса — развязного и шумного комиссионера.

Абраша Флакс был уверен, что, помимо работы на заводе, я пишу ещё рассказы о Джеке-Потрошителе и знаменитых американских сыщиках Нике Картере и Нате Пинкертоне.

Другой литературы Абраша не признавал. Его беспорядочная квартира была завалена растрёпанными книжонками, отпечатанными на дрянной серой бумаге, но с цветными обложками, изображавшими чудовищные преступления бандитов и не менее чудовищные подвиги сыщиков.

Особенно запомнилась мне одна обложка, где был изображён Нат Пинкертон, попавшийся в лапы убийце-негру. Негр, схватив Пинкертона за талию, держал его на вытянутых руках над бездонной пропастью, а Пинкертон хладнокровно наводил на убийцу два револьвера. Мораль этой картинки была ясна: если негр разожмёт руки и выпустит Пинкертона, то сыщик успеет вцепиться в негра две пули. Очевидно, убивать друг друга ни сыщику, ни негру не было никакого резона. Абраша Флакс восторгался этой обложкой.

У Абраши была жена — маленькая, плаксивая, вся в чёрных кудряшках, с жалобным голосом и вьедливыми глазами.

— Вы не смотрите, что она маленькая, — говорил мне доверительно Абраша, — а вы смотрите, что она злая, как бешеная кошка. Чем с такой жить, так лучше утонуть в море.

Абраша не топился, но искал весёлых отвлечений на стороне. Однажды я встретил его на лодочной пристани с жеманной волоокой девицей. На её шляпке качались бархатные красные маки. Девица игриво вертела на плече японский зонтик с изображением купающихся негрятенок.

Абраша взял лодку и поехал с девицей кататься по морю. Когда лодка отошла подальше от берега, девица начала подозрительно хохотать и повизгивать.

Лодочник Лагунов — человек суровый и недовольный — сказал, что Абраша Флакс — маклак и бабник и когда-нибудь ему умоют за это его сальную личность. Давать такому человеку лодку для катания — только поганить море.

Каждый раз, когда «мадам» Флакс узнавала о новой измене Абраши, в доме подымался неистовый содом.

Прежде всего мадам Флакс выбегала в капоте во двор и кричала трагическим голосом, воздев к небу худые руки:

— Слушайте, честные женщины! Слушайте все! Опять он спутался с этой дрянью, с этой паршивой Люськой! Чтобы мне домой не дойти, если я не убую эту гадюку и сама не отравлюсь кислотой. Дайте мне её! Дайте!

После этого мадам Флакс бросалась на улицу, очевидно, в аптеку за кислотой, а может быть, на поиски Люськи. Сердобольные хозяйки со двора догоняли её, приводили, рыдающую, домой и наперебой успокаивали.

— Не волнуйтесь так, мадам Флакс, это же разрывает сердце. Пожалейте свои женские нервы! У каждого мужчины есть свои недостатки.

— Приведите мне маму! — рыдала мадам Флакс. — Мою добренькую старенькую маму. С Телеграфного переулка, дом пять. И сестрицу БERTУ. И тётю Софочку. И моего умненького Боречку. Пусть они судят его страшным судом! И приведите мне его самого, этого негодяя, иначе я не знаю, что я с собой сделаю.

Она начинала кататься по полу, бить ногами и визжать. Женщины охали, метались, поили её валерьянкой, пока наконец не появлялась суровая тучная старуха с седыми усами — добренькая мама. Она кричала ещё из передней громовым хриплым басом:

— Тихо мне! Что это за гармидор и цыганский базар! Вылейте на неё ведро холодной воды!

Мадам Флакс мгновенно затихала и только стонала тоненько, как раненая птица.

— Мне уже обрыдло, — гремела добренькая старенькая мама, — возиться с этой ненормальной дурой! Заткнись, припадочная! На кого ты похожа? На последнюю расхлыстанную Хиврю. Встань, умойся—и чтобы я больше не слышала от тебя ни одного слова, идиотка!

А через час или два во дворе, как раз под окном моей комнаты, соби-рался семейный суд. Приходили все, в том числе и сестрица Берта с маленьким умненьким Боречкой.

Было необъяснимо и мерзко, что визгливая семейная склока обяза-тельно выносилась на люди, во двор, и обсуждалась при жадном любопы-тельстве соседей.

Во двор вытаскивали круглый стол, покрытый вязаной скатертью, и расшатанные венские стулья. Все рассаживались на стульях вокруг стола. Один только Абраша сидел с убитым видом несколько в стороне, как подсудимый.

Суд начинался не сразу. Ждали раввина. Пока же все молчали, с укором поглядывая на Абрашу.

На суд Абраша всегда выходил в растерзанном виде — в рубашке без воротничка, подтяжках и расшнурованных ботинках. Может быть, он хотел вызвать этим жалость, а может быть, этот вид выражал, по мне-нию Абраши, раскаяние и заменял древний обычай посыпать голову пеплом.

Потом приходил добродушный старый раввин, сморкался на весь двор, садился в мягкое кресло, долго вытирал клетчатым платком бороду, го-ворил: «Опять начинаются фигли-мигли», и происходило разбирательство. Велось оно по-еврейски, но это обстоятельство несколько не мешало мно-гочисленным русским зрителям переживать все перипетии семейной драмы.

Всё кончалось примирением. Раввина уводили угощать в квартиру, и на некоторое время устанавливалась тишина.

Работы на заводе Нев-Вильдэ было немного. Я рано возвращался домой, много писал и читал.

Я записался в городскую библиотеку. Там в отдельных шкафах стояли книги, подаренные Чеховым. Их на руки не выдавали, но иногда показывали читателям.

Это были книги полузабытых писателей: Потапенки, Щеглова, Эр-теля, Измайлова, Баранцевича, Муйжеля, с авторскими автографами или с дарственными надписями Чехова — тонкими, без нажима, похожими на докторские рецепты.

Жизнь шла так спокойно, что я установил в ней даже некоторый твёрдый порядок. Писал я дома, читать же уходил в порт, на один из разоружённых корветов, чаще всего на «Запорожец».

Я сдружился со сторожем, и он пускал меня на корвет в любое время. Иногда в тёплые ночи я даже оставался ночевать на «Запорожце».

Я брал шлюпку у лодочника Лагунова, подплывал к корвету, привя-зывал шлюпку к отвесному железному трапу и подымался по этому трапу на высокую палубу. Я привозил с собой немного еды, а чай мы кипятили вместе со сторожем.

Мне казалось — а может быть, это было и действительно так, — что я здоровее от солнца и лёгкого голода — я его испытывал тогда всё время.

Я читал подряд и выучивал наизусть всех поэтов, книги которых брал в библиотеке.

Меня покоряла музыка стихов. Только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка.

В стихах слова звучали как бы наново, как бы только что найденные и сказанные впервые. Я бывал потрясён их точностью, выразительной силой и блеском.

Я мог без конца повторять отдельные любимые строфы. Каждый день они менялись. Одна строфа уступала место другой.

То я вспоминал Лермонтова: «Немая степь синее, и венцом серебряным Кавказ её объемяет», то пушкинские слова о том, что «каждый день уносит частицу бытия», то тютчевский весенний гром, похожий на то, как «ветренная Геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила», то фетовскую весну: «из царства льдов, из царства вьюг и снега как свеж и чист твой вылетает май».

Я был окружён толпой поэтов. Я беседовал с ними. У меня кружилась голова от множества их мыслей и образов, литых и драгоценных. Откуда всё это бралось, из каких глубин ясной и горячей души!

Я чувствовал себя владельцем богатств. Со мной говорили Леконт-де-Лиль и Гейне, Верхарн и Бёрнс. И при этом они говорили мне всё лучшее, что они могли сказать. Разве это не было счастьем? Меня удивляли тогда ещё, в молодости, и удивляют сейчас люди, которые не понимают или не замечают этого.

Я был твёрдо уверен, что иностранные поэты лучше звучат в русских переводах, чем на своём родном языке.

Особенно мне запомнились тогда стихи Эредиа. Они подходили к Азовскому побережью с его обрывистыми мысами, степями и ощущением древности. Стихи Эредиа я знал наизусть. Мне трудно удержаться, чтобы не повторить их сейчас:

Разрушен древний храм на мысе над обрывом.  
Перемешала смерть в рудой земле пустынь  
Героев бронзовых и мраморных богинь,  
Покая славу их в кустарнике дремливом...

И рядом звучал забытый Мей:

Феб златокудрый закинул свой щит златокованный за море,  
и растекалась на мраморе вешним румянцем заря.

И тут же пели широкие и светлые, как дыхание утра, строки Александра Блока:

О, весна без конца и без краю —  
Без конца и без краю мечта!  
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
И приветствую звоном щита!

Стихи были для меня такой же реальностью, как хлеб, работа на заводе, как солнце и воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряжении, в неожиданном и разнообразном мире. Они несли меня, как пенный поток несёт оторванную от дерева ветку. Я не мог сопротивляться им.

Всё окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов. Сначала мне казалось, что это окружающее приобретало иной раз от прикосновения поэзии то содержание, какого в нём и не было, приобретало преувеличенный блеск.

Но это было не так. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не жалею о своей юношеской одержимости поэзией. Потому что знаю, что поэзия — это жизнь, доведённая до полного выражения, раскрытия мира во всей его глубине, трудно охватываемой ленивым взглядом.

В Таганроге я впервые жил около моря не как гость. Впечатления не проскальзывали, а откладывались и крепили. И потому я особенно любил стихи, наполненные своеобразием приморской жизни. Я проверял их на всех явлениях, происходивших вокруг.

Я часто выезжал на шлюпке далеко в море, обычно к вечеру, после работы. Садилось солнце. Я останавливал шлюпку. С вёсел падали капли.

Зрелище заката вызывало в памяти слова: «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей...»

Меня удивляла точность этих слов. Действительно, золотой диск солнца уходил из пустыни неба и медленно попружался в лёгкую морскую зыбь. В этих словах не было ничего выпяченного, нарочитого, но в них вместе с тем заключалась широкая торжественность. Я никак не мог найти то мгновение, когда она возникла в этих стихах и дальше уже лилась свободно и сильно.

Примерно в миле от Таганрога в открытом море стояла на низких скалах проблесковая мигалка. Её звали Черепахой.

Я часто ездил к Черепахе. В тихую погоду я привязывал шлюпку к её железной решётке и удил с борта рыбу. Попадались почти одни чёрные бычки с сосредоточенным выражением на мордах. Они как будто даже не огорчались неприятным происшествием с собой, а только старались сообразить, как это случилось.

Прозрачная вода переливалась между камнями. Вдали, на мысу, был виден Таганрог, купола собора, маяк и рыжие откосы берегов.

Однажды я увлёкся рыбной ловлей около Черепахи и не заметил, как подошли сумерки. Я сидел спиной к открытому морю и вдруг услышал тихий набегающий гул. Я оглянулся. С моря шёл ветер. Серая мгла висела по горизонту. В ней мутно блеснула молния.

Вода вокруг сразу почернела и пошла железной рябью.

Я отчалил от Черепахи и начал грести к Таганрогу. Ветер свежел с такой быстротой, что уже через несколько минут волны начали захлёстывать в шлюпку.

Как часто бывает на море, особенно на Азовском, ветер стал поворачивать, задуть от Таганрога, и меня начало сносить в открытое море. С шумом и плеском прошёл рядом маленький смерч.

Быстро темнело. Зажёгся таганрогский маяк.

У этого маяка фонари были устроены так, что на разных расстояниях от порта они давали огонь разного цвета. Сейчас я не помню уже последовательности этих огней, но, кажется, у самого порта маяк давал красный огонь, дальше — зелёный и на самом большом отдалении — белый.

Я оглянулся. Маяк горел белым огнём. До порта было ещё далеко.

Ветер дул с бессмысленной яростью. Он наскакивал порывами, круто бросался в стороны, кружился и злорадно свистел в вёслах.

Волны с размаху били в нос, шлюпка взлетала в темноте, и я слышал, как море тяжёлыми бросками швыряет в неё вёдра воды.

Ноги у меня были уже по косточку в воде. Надо было её отлить. Я бросил вёсла и нащупал черпак. Но волны тотчас повернули лодку бортом, меня закружило, и я понял, что первый же большой вал накроет шлюпку и перевернёт её.

Я схватил вёсла и снова начал грести из последних сил. Мокрая рубаха прилипла к телу и очень мешала. Руки жгло — должно быть, я сорвал на них кожу.

Когда я оглянулся, маяк горел зелёным огнём. Порт был уже ближе. «Ещё немного, — говорил я себе. — Ещё! Сейчас появится красный огонь. Тогда ты спасён».

Я потерял ощущение времени. Было, наверное, около полуночи. Тяжёлая тьма гудела и бесновалась вокруг. Даже не было видно пены от набегавших валов.

Я грёб и стонал от напряжения. Мокрые волосы падали на глаза, но я их не откидывал — всё равно вокруг ничего не было видно, а мне нельзя было бросать вёсла хотя бы на секунду: тотчас ветер отжимал шлюпку далеко назад.

Я оглянулся и выругался — маяк снова горел белым огнём! Меня быстро сносило, и не было, казалось, никакой силы, чтобы продвинуть шлюпку против этого неистового ветра.

Тогда я бросил вёсла и снова начал отливать воду. Странное безразличие охватило меня. Я отливал воду и почему-то вспомнил вдруг маму и Галю, узкую улочку в Люблине, где я рвал для Лёли холодную сирень, сырые тучи над дорогой в Барановичи, тёплую женскую ладонь, ласково погладившую меня по щеке, костёр в кобринской синагоге.

Воспоминания возникали без всякой связи, путались, вытесняли друг друга. Я на время как будто оглох и ослеп.

Когда я поднял голову, огонь маяка висел на самом горизонте. Он был похож на тонущую звезду.

Я взялся за вёсла и начал грести медленно, равномерно, в оцепенении. Меня удивляло, что я ещё не утонул. Волна замотала меня, и вряд ли в это время я соображал хоть что-нибудь.

Я оглянулся и увидел зелёный огонь. Тогда меня охватила не радость, а непонятная ярость. Я начал грести с такой силой, что трещали вёсла. Я грёб стоя, грёб всей тяжестью своего тела. Я ругался сквозь стиснутые зубы, потом начал бессмысленно повторять одни и те же слова: «Чёрта с два! Я тебе не поддамся!»

Время шло, и я был уверен, что ночь никогда не окончится.

Неожиданно я услышал за спиной новый осатанелый рёв, оглянулся и увидел красный огонь маяка. Порт был рядом. Это ревели волны, накатываясь на молы, отливая от них и сшибаясь со встречными волнами. К небу взлетали столбы чёрной воды и пены. У входа в порт происходило самое опасное — то, что моряки называют «чёртовым котлом». Надо было прорваться в ворота порта через заградительную стену кипящей бесноватой воды.

На оконечностях молов горели огни. Я повернул шлюпку к ним. Сразу же вернулось сознание опасности.

Я определил по огням, куда меня отшибают волны, и начал бешено грести. Чтобы было легче, я кричал. Что я кричал, я не помню.

Шлюпку швыряло, как пробку в водопаде. Она взлетала, бросалась носом во все стороны, дно её трещало от ударов.

Белый яркий свет вспыхнул над головой. Я, конечно, не мог догадаться, что это осветительная ракета и что меня заметили с мола.

Я увидел чёрные стены молов совсем рядом с собой и вдруг почувствовал, что кипение воды упало. Огни на концах молов медленно поползли назад, и неожиданно меня перестало швырять и бить. Я различил впереди высокие бугшприты знакомых корветов, змеящиеся отражения огней и услышал протяжный крик:

— Эй, на шлюпке! На шлюпке!

На молу махали фонарём. Я подвёл шлюпку на свет фонаря, к каменной лестнице и бросил вёсла.

Из шлюпки меня вытащили портовые сторожа, отвели в караулку, и там при слепящем свете электрической лампы я увидел себя — изорванного, мокрого насквозь, с окровавленными синими руками.

— Счастлив ваш бог, — сказал мне седой смотритель порта со свирепыми бровями. — Почему вы вышли в море, когда с двух часов дня были подняты штормовые сигналы?

— Я не умею разбираться в сигналах, — сознался я.

— Так вот, — сказал смотритель порта и протянул мне серебряный портсигар, — запомните, что каждому человеку надо понимать штормовые сигналы. И на море и в собственной жизни. Во избежание непоправимых несчастий.

### Искусство белить хаты

С завода Нев-Вильдэ я перешёл на маслобойный завод Ваксова. Кончалось лето 1916 года.

Владелец завода, молодой и глуповатый толстяк, считался в Таганроге миллионером. Он всегда ходил в грязном и мятом чесучовом костюме, всё время чесал пятернёй растрёпанную рыжеватую бородку и говорил невразумительно, спотыкаясь, через пень колоду.

Желая доказать свой патриотический пыл, Ваксов поставил у себя на маслобойном заводе гидравлический пресс и начал жать снаряды. Но ничего из этой затеи не вышло. Пресс изготовлял только ужасающий брак.

Ваксов заслуживает, конечно, описания, но я не могу, к сожалению, сделать этого, так как уже описал его в прологе к повести «Рождение моря».

Делать на заводе у Ваксова было совершенно нечего. Я послал своему непосредственному начальнику капитану Вельяминову в Екатеринослав заявление с просьбой освободить меня от работы. Через неделю я получил ответ, что просьба моя уважена.

Я так смело отказался от работы на заводе потому, что познакомился на таганрогском базаре со старым рыбаком с Петрушиной косы, Мыколой, и договорился, что он возьмёт меня к себе подручным.

До Петрушиной косы меня довёз на волах ленивый «дядько», ехавший дальше на какие-то «бисовы хутора».

Колёса тонули по ступицу в пыли, и «дядько» говорил мне по этому поводу:

— Вот бисова пылюга, чтоб ей пропасть! А есть, между прочим, средство, чтобы её не было. Старинное средство.

— Какое?

— Солёной водой поливать дороги. Соль схватит пыль, як цемент. У нас жинки глиняные полы в хатах поливают солью, и те полы стоят, як каменные. И тока солью поливают, когда молотят хлеб. Для прочности почвы. Так-то, паныч! Соображайте, что к чему на свете. А то ненароком и сделаете глупость.

Он высадил меня сколо спуска на Петрушину косу и поехал дальше, лениво покрикивая на задумчивых волов:

— Цоб-цобе, бисовы хлопцы! Хай бы холера вас забрала!

С обрыва я увидел внизу маленькую песчаную косу, а на ней — несколько ослепительно белых хаток. На берегу сушились на подпорках розоватые тонкие сети. На прозрачной воде покачивались чёрные шаланды-байды.

Больше вокруг не было ничего, если не считать индигового неба, моря, солнца и жёлтой травы. Она качалась по ветру.

Когда я спускался с крутого обрыва, я заметил двух белоголовых, босых, совсем ещё маленьких мальчиков и такую же белоголовую девочку лет восьми. Они изо всех сил бежали мне навстречу. Девочка бежала впереди, оглядывалась и кричала мальчишкам:

— Швидче! Бо спизнымся схватяться! Швидче!

Потом все трое исчезли, будто провалились сквозь землю. Но когда я проходил мимо высоких зарослей чертополоха, из них слышалось лёгкое хныканье и торопливый шёпот:

— Та не плачь! Дядя услышит. Я тебе зараз выйму занозу.

Дети прятались в чертополохе. Когда я прошёл, они вышли и пошли следом за мной, но на почтительном расстоянии. Один мальчик хромал: должно быть, накололся на колючку.

Я остановился и окликнул детей. Они подходили ко мне медленно, стесняясь, потупив глаза и шмыгая носами. Впереди шла девочка, а мальчики прятались за ней.

— Здравствуй, — сказал я девочке. — Где тут живёт дед Мыкола?

Девочка вся затрепетала, подняла на меня сияющие, глубокие серые глаза и улыбнулась.

В этой улыбке соединилось всё, чем сейчас светилось её маленькое загорелое существо, — приветливость, гордость и смущение. Гордость из-за того, что к ней первой, а не к мальчишкам обратился с вопросом таинственный городской человек.

— Пойдёмте, дядя! — смело сказала она, взяла меня за руку и, счастливая и раскрасневшаяся, повела к последней крошечной хате, стоявшей у самой воды.

Тотчас на порогах хат, как по команде, появились женщины — и молодые и старые. Они торопливо поправляли на головах платки, радушно здоровались со мной и нарочито говорили:

— Где ж это ты, Наталка, подхватила такого гарного гостя? Вот цикавая дивчина! А мы думаем, кого ж це она ведёт к нам на косу! Не иначе, как капитана с «Керчи».

«Керчь» — маленький колёсный пароход; он делал рейсы из Ростова в Мариуполь. Если случались грузы, то «Керчь» изредка заходила и на попутные рыбацьи косы.

Очевидно, у детей «Керчь» считалась сказочным кораблём.

Наталка шла гордо, не отвечая на неуместные шутки женщин. Только пунцовые щёки выдавали её радость. А мальчишки, сознавая своё ничтожество, плелись позади в глубоком и благоговейном молчании.

Так мы дошли до хаты деда Мыколы. Там Наталка сдала меня с рук на руки сухой старушке с пытливыми глазами — жене деда Мыколы, бабке Явдохе.

При таких хороших предзнаменованиях началась моя жизнь на Петрушиной косе.

Дед Мыкола взял меня в подручные охотно. Всех молодых рыбаков угнали в армию, на войну, и на косе, по словам деда Мыколы, «баснословно некому было работать». Слово «баснословно» дед Мыкола употреблял в разнообразном смысле. Оно означало и «совершенно», и «безусловно», и «много», и даже просто «да». В ответ на вопросы дед Мыкола часто отвечал: «Баснословно!»

Взял он меня в подручные «на харчах без доли», иными словами, дед Мыкола обязался меня кормить, а я отказался от денежной части при продаже улова. Я так мало ел, что подручным для деда Мыколы оказался вполне подходящим.

То обстоятельство, что я отказался от доли и мало ел хотя и было на руку деду Мыколе, но сильно его смущало. Он часто вместе с бабкой Явдохой обсуждал эти два загадочных факта и, конечно, считал меня немного тронутым — «божевильным».

Я занялся «рыбацкой наукой». Это действительно была своего рода наука, сложное мастерство. Оно «баснословно» требовало большого опыта и особых, нигде не записанных знаний. Они передавались рыбакам из рода в род.

Дед Мыкола посвящал меня в свою науку неторопливо, поясняя рыбацкое дело примерами и случаями из своей жизни.

Постепенно я узнал все породы рыб, водившихся в Азовском море, их повадки, главные подводные дороги рыбьих косяков. Я узнал множество примет, все ветры (а на Азовском море их было много)— трамонтан, бору, горишняк, гирловой, сгонный, низовку, верховку, керчак, левант и другие, более редкие.

У каждого рыбака было своё «место» в море, где он ставил («высыпал») сети. На это место надо было выходить очень точно.

Прежде всего дед Мыкола научил меня ориентироваться в море по неподвижным предметам на берегу или, как говорили рыбаки, научил меня «выходить на предмет». По морской терминологии это искусство называлось «пеленгованием».

— Вот, — говорил дед Мыкола, — смотреть, когда вот то сухое дерево на обрыве закроет крест на таганрогском соборе. Вот это и будет наша линия. Мы по ней должны держать, итти баснословно, как по струне, покамест вон там, слева, тот ближний курган в степу не закроет дальний курган. Вот это пересечение и будет наше «место», где сыпать сеть.

В тихую погоду «выходить на предмет» было легко, но в ветер я долго мучился на вёслах, пока мне удавалось вывести неповоротливую байду на нужное место.

Мы высыпали сети вечером, а выбирали на рассвете в любую погоду. Только в сильные штормы рыбаки не выходили в море. Но они никогда не сознавались, что это опасно, а ссылались на то, что волна «переболтала» всю рыбу и всё равно ничего не поймаеть.

Я видел много рассветов над морем.

Были рассветы тёплые и ласковые. Заря медленно зарождалась в тишине ночи. Небо на востоке нежно синело, меркли звёзды (они не погасали сразу, а всё дальше и дальше уходили, уменьшаясь и бледнея, вглубь неба), слабый туман курился над прозрачной водой.

Когда мы подплывали к сетям, уже подымалось солнце. Тень от байды ложилась на воду. В этой тени вода приобретала тёмный малахитовый цвет. Было так тихо, что стук весла о борт разносился по морю далеко и гулко, как в комнате.

Такие рассветы рыбаки называли «ангельскими».

Но были рассветы зябкие, серые, сырые. Тогда ветер гнал красноватые мутные волны и белёсая мгла клубилась на горизонте.

Были рассветы чёрные, штормовые, с изорванным в клочья небом, и были рассветы мутнозелёные, швыряющие пеной в лицо.

Рассветы с алым, воспалённым небом и режущим ветром всегда приносили ненастье.

Но плохие рассветы бывали редко — стоял август, самый тихий и тёплый месяц на Азовском море.

Рыбу дед Мыкола продавал скупщикам — разбитным и языкатым бабам, иногда же по воскресеньям сам возил на базар в Таганрог.

Дед Мыкола был старик молчаливый и на вид даже угрюмый, не в пример другим старым рыбакам на косе. Бабка Явдоха — хворая и безответная — при муже тоже помалкивала да вздыхала, а без него любила пожаловаться на деда Мыколу за скупость.

На косе был обычай белиль хаты сообща. Белили их часто — и под праздники и после дождей.

Рыбачки собирались с раннего утра и белили подряд все хаты, начиная с крайней хаты деда Мыколы.

Это были весёлые дни. Женщины в подоткнутых юбках, с крепкими загорелыми ногами, румяные, белозубые, шумно перекрикивались, брэн-

чали монистом, шутили, хохотали и лукаво поглядывали из-под опущенных ресниц, — как говорила бабка Явдоха, «привораживали да чаровали».

Лучше всех белила мать Наталки, Христина, худая, приветливая женщина с коралловым ожерельем на смуглой шее. Её муж был в армии, и она сама рыбалила вместе с Наталкой на маленькой байде.

Простым, грубым квачом из лыка Христина точно и чисто обводила окна голубой или зелёной каймой.

Я вспомнил свой разговор с возчиком относительно соли и посоветовал женщинам подсыпать соль в раствор мела, чтобы стены не мазали и мел крепче держался. Женщинам этот способ понравился. В благодарность за совет Христина разрисовала печку в хате деда Мыколы огромными синими розанами и петушками.

По воскресеньям я брал с собой двух мальчиков и Наталку и выезжал с ними на байде в море. Мы становились на якорь невдалеке от берега и удили бычков. Разговаривали мы всегда шёпотом.

Наталка шептала без умолку обо всём, что ей приходило в голову, — обо всех новостях на косе, о том, например, что, говорят, в степи ходит по шляхам стаяуха с железными глазами и на кого ни глянет — у того непременно gebeurt кого-нибудь на войне.

А на жўргане-могиле каждую ночь чертополох загорается красным огнём («Я сама не бачила, но так кажутъ людь»), и какой-то матрос с Мариуполя пошёл на спор на три рубля, что он от того чертополоха прикурит цыгарку.

— И прикурит! — спрашивали с испугом мальчики.

— А то как же! — небрежно отвечала Наталка. — Даже не умер. Матрос всё может. А вчера всю ночь полыхали зарницы. Так то не зарницы, а души убитых на фронте переговариваются с нами, хотя на нас посмотреть. Мамо кажет, что, может, и отцовская душа трепещет по-над морем в тёмной ночи и дуже плачет. А я её утешаю и говорю, что никакая пуля нашего батьку не возьмёт, потому что я заховала под каменной бабой в степи свой железный крестик, три раза повернулась на одной ноге и три раза сказала: «Святой Мыкола Мирликийский, моряцкий покровитель, отжени от моего батьки смерть».

— Вы, может, думаете, — с тревогой спрашивала меня Наталка, — или, может, вам кажется, что я брешу? Вот нисколечко! Накажи меня бог, если я хоть полслова сбрехала.

В доказательство она мелко крестилась и складывала пальцы рогами. Мальчики с испугом косились на неё и тоже незаметно складывали пальцы рогами.

Однажды в октябре дед Мыкола принёс мне с почты в Таганроге сразу три письма — от мамы, Романина и третье письмо, написанное неумелым и незнакомым почерком.

Я долго не решался вскрыть эти письма. Как в Одессе, когда я хотел поступить на госпитальный пароход «Оксус», я почувствовал себя изменником. Я выбрал себе лёгкую долю, тогда как длилась ещё война и чувствовалось приближение ещё неясной, но недалёкой бури.

«Конечно, — говорил я себе, — легче всего жить на косе, рыбалить, загорать, крепнуть, читать хорошие книги, как будто ничего не происходит и на земле царят мир и благоденствие. Нечего оправдывать себя тем, что мне не разрешили вернуться на фронт, и тем, что мне нужно разнообразие жизни для того большого дела, к которому я готовлюсь, — для писательства».

Почему-то пришли на память слова Полонского: «Писатель, если только он — волна, а океан — Россия, не может быть не возмущён, когда возмущена стихия».

Полонский был, конечно, прав. Если я хочу быть писателем, то мне надлежит находиться в гуще жизни и её событий, а не тянуться к этой степной тишине и не успокаивать себя музыкой хотя бы и самых великолепных стихов.

Ещё не прочтя писем, я решил возвратиться в Москву.

Я пошёл на берег к байде. Она была наполовину вытащена из воды. Я сел на корму, распечатал письма и начал читать их.

Романин писал, что отряд перевели в Молодечно, под Минском, работы мало, но уходить из отряда он не собирается, так как предвидит наступление значительных времён (эти слова были в письме подчёркнуты) и по некоторым соображениям ему следует быть в армии.

«Что касается вас, — писал Романин, — то, пожалуй, сейчас вас могут опять назначить в отряд. Нажмите в Москве и приезжайте. Гронский выздоровел и опять с нами. Очень притих. Кедрин в Минске, в управлении. Разводит там, по обыкновению, бобы. Как вы там и что вы там? Чёрт знает куда вы залезли!»

Мама писала, что они с Галей очень довольны жизнью в Копани, много возятся с землёй и хозяйством и было бы хорошо, если бы я к ним приехал.

Третье письмо было от Любы из Харькова.

«Пишу до вас на счастье в Таганрог до востребования, — может, и достанет вас это моё письмо. Узнала, что вы в Таганроге от Файны Абрамовны. Ваши показания читали на суде. Спасибо вам, роденький. Меня оправдали, приговорили только к церковному покаянию на месяц, а какая же я монашка, — вы сами знаете. Дядя Гриша умер от белой горячки. Бедный, так его жаль, просто невыносимо. И заховали его без меня. Я теперь в Харькове, работаю билетёршей в синематографе. Если бы знала наверное, где вы теперь, приехала бы хоть на день, чтобы поговорить, — одной мне сумно как-то и некому ничего рассказать. Я всё помню и не забуду. Если будете ехать мимо Харькова, напишите. Я прибегу на вокзал хоть днём, хоть ночью. Целую вас и остаюсь ваша Люба».

Я решил дожидаться «Керчи», уехать в Мариуполь, а оттуда по железной дороге ехать в Москву.

Я оттягивал день отъезда потому, что был уверен, что больше никогда не попаду в эти благословенные места. Кроме того, стояли такие ясные и тёплые последние дни октября, что жалко было отрываться от них, жалко терять каждую минуту этой благодатной осени.

Звонкие дни во всей их прозрачности и блеске появлялись не сразу. Они медленно разгорались из утренней дымки, побеждали её и пылали после этого пышным и чуть холодноватым светом до самого заката.

Все звуки были особенно отчётливо слышны потому, что над морем простирался штиль. Осень была, в отличие от лета, наполнена медленным звучанием. Треск пересохшей ботвы под ногами, отдалённый гудок парохода, женские голоса во дворах — всё это затихало не сразу, а давало неясный отзвук, какой даёт медленный удар колокола.

Осенний воздух был ёмкой и отзывчивой средой, старавшейся сохранить звуки каждого часа и минуты. Будто самой осени было жаль расставаться с этими местами и людьми и она прислушивалась к их жизни.

Два совершенно разных события, случившихся осенью, укрепили меня в решении уехать.

Первое событие произошло в Таганроге. Однажды вернулись из Таганрога рыбачки, возившие рыбу на базар. Они рассказали, что в Таганроге были беспорядки, толпа голодных женщин с детьми разгромила пекарни и продовольственные магазины и казаки отказались стрелять по толпе.

Второе событие по сравнению с первым было совсем незначительное.

Как-то я чинил сети деда Мыколы. Ко мне подсел долговязый рыбак Иван Егорович. Мы покурили, потом он сказал:

— Давно я хотел обратиться до вас с одним разговором от нашего общества. Да всё не решался. Человек вы образованный, может, у вас другие понятия, чем у нашего брата, рыбака. Тогда извиняюсь.

— А что такое? — спросил я.

— Да как-то несправно получается. Все наши молодые рыбаки в армии. У них тут, понятно, жинки пооставались с детьми. Бьются те жинки, как рыба об землю, чтобы якось прожить, прокормиться. Сами рыбалют. Им это не всегда под их женскую силу. А вы, человек молодой, сильный, пошли до деда Мыколы в подручные. Было б вам лучше хоть к Христине, скажем, пойти, на её байду. Справедливее было бы. Народ, конечно, несколько удивляется. А деду Мыколе ваша подмога нужна, чтобы лишние карбованцы прятать в кубышку.

Я почувствовал, что краснею. Старик был прав. Как я сам не догадался об этом? Я сказал Ивану Егоровичу, что не сообразил про все эти дела, а сейчас уезжаю и ничего теперь не поделаешь.

— Оно так! — согласился Иван Егорович. — Народ к вам с полным расположением. Оставайтесь у нас на косе.

— Нет, никак не могу.

— Ну, извините, что докучаю. — Иван Егорович встал. — Дело, конечно, хозяйское. Бывайте здоровы.

После этого разговора дед Мыкола и бабка Явдоха потеряли для меня всякий интерес, и я решил завтра же уехать в Таганрог, но, на моё счастье, к вечеру пришёл пароход «Керчь». Он шёл в Мариуполь.

К приходу «Керчи» на берегу собралось всё население косы.

Меня провожали ласково, желали и доброго здоровья, и счастья, и удачи. Все целовались со мной, предварительно вытерев губы тыльной стороной ладони.

Отвезли меня на «Керчь» на своей шаланде Христина с Наталкой. Взяли с собой и двух мальчиков. Я ничего не сказал Христине про разговор с Иваном Егоровичем. Неловко было сознаваться в своей оплошности.

Я поднялся на палубу «Керчи», заваленную прессованным сеном, и подошёл к борту. Пароход заревел свирепым басом, совершенно не вязавшимся с его потрёпанным видом и ничтожной величиной.

Колёса взбили зелёную пенистую воду. Наталка стояла в байде. Лицо у неё жалко сморщилось, и она закрыла его рукавом. Она плакала, а Христина, наклонившись к ней, тормошила её и смеялась.

Байда начала отодвигаться вместе с берегом. Оттуда женщины махали белыми платками, и казалось, что над берегом, всё над одним и тем же местом, низко вьётся стая чаек и не решается сесть на песок. Заплаканная Наталка тоже махала своим выцветшим зелёным платочком.

Пароход уносил меня от знакомого обрывистого берега. Опять, как при всех переменах в жизни, болезненно билось сердце. И было тем труднее, что жизнь складывалась как-то нелепо. Между отдельными её частями не было никакой связи. Люди, внезапно появившись в моей жизни, так же внезапно из неё исчезали — может быть, навсегда.

Из Мариуполя я послал телеграмму Любе в Харьков. А послав, начал жалеть об этом. Но было уже поздно.

В Харьков поезд пришёл ранним зябким утром. На перроне меня ждала Люба. Она была в коротком жакете и лёгком платочке на голове. Ей было холодно, и даже губы у неё посинели.

Она бросилась ко мне. Мы поцеловались. Потом она внимательно посмотрела мне в глаза, взяла за руку, и мы молча отошли за какой-то заколоченный киоск на платформе.

— Не говорите мне ничего, — сказала Люба. — Сама всё вижу.

Она обняла меня за плечи и прижалась головой к моей груди, как будто искала защиты. Я молчал. Она прижималась ко мне всё крепче и крепче, и голова её вздрагивала. Так прошло несколько минут. Ударил третий звонок. Люба подняла голову, быстро перекрестила меня, отвернулась и пошла прочь по перрону, прижав к лицу край своего платка. Я вошёл в вагон. Поезд тронулся.

### Сырой февраль

В Москве прямо с вокзала я пошёл в Союз Городов. Первый человек, которого я там увидел, был Кедрин. Мы обрадовались друг другу и даже расцеловались. Кедрин, оказывается, приехал из Минска в командировку.

Я сказал ему, что хочу вернуться в отряд.

— Это дело тонкое, — ответил он. — Его надо выяснить.

Он ушёл выяснять и долго не возвращался. А возвратившись, таинственно сказал, что ничего у меня с отрядом не получится. Настроение в армии неустойчивое, время тревожное, и лучше сейчас не соваться на фронт. Таково мнение руководителей Союза Городов.

Я был обескуражен.

Кедрин снял очки, протёр их, снова надел и внимательно меня осмотрел. Прюделав всё это, он сказал:

— Не унывайте. Работа найдётся. Вы недурно пишете. Романин показывал мне ваш очерк «Синие шинели». У вас есть перо.

Он написал мне рекомендательное письмо к своему знакомому в редакцию одной из московских газет.

В редакции меня принял лысый человек с лицом старого актёра. Он писал в пыльной комнате за столом, заваленным ворохами гранок.

Против него в мягком кресле сидел около стола низенький плотный человек с хитрым весёлым глазом, сивыми запорожскими усами, в серой поддёвке и мерлушковой папахе. Он был очень похож на Тараса Бульбу.

Лысый прочёл письмо Кедрина, сказал: «Жив ещё курилка! Погодите минутку». Засунул письмо под кучу гранок и снова начал писать.

Тарас Бульба вынул из кармана поддёвки серебряную табакерку, подмигнул на лысого, щёлкнул по табакерке пальцем, открыл её и протянул мне.

— Угощайтесь! Табакерочку эту подарил мне собственноручно генерал Скобелев после Плевны.

Я поблагодарил и отказался. Тарас Бульба ловко насыпал нюхательный табак на ноготь большого пальца, втянул табак ноздрей и оглушительно чихнул. Запахло сушёными вишнями. Лысый не обратил на Тараса Бульбу никакого внимания.

Тарас Бульба снова заговорщицки подмигнул на лысого, взял со стола подкову — ею пользовались как тяжестью, чтобы прижимать гранки, — и легко разогнул её в прямую полосу.

Тогда лысый поднял глаза.

— Старые штучки! — сказал он. — Меня вы этим не купите. Война — никаких авансов!

— Вас ждут. — Тарас Бульба показал лысому на меня. — Я только хотел напомнить вам таким образом об этом обстоятельстве. И ничего больше.

— Ну что ж, — сказал лениво лысый и взглянул на меня. — Попробуем. Расскажите нам, что вы из себя представляете. Кстати, меня зовут Михаил Александрович. А это, — он показал на Тараса Бульбу, — король московских репортёров, поэт, бывший борец и актёр, знаток московских

трущоб, друг Чехова и Куприна, знаменитый «дядя Гиляй» — Владимир Александрович Гиляровский.

Я смутился.

— Ничего, не пугайтесь! — успокоил меня Гиляровский и с такой силой пожал мне руку, что у меня захрустели кости.

Он пошёл к дверям. На пороге он обернулся, сказал, кивнув на меня: «Я в него верю», и вышел, напевая.

Лысый принял меня в газету, сам меня с этим поздравил и сказал:

— Время сейчас острое, чреватое неожиданностями. Повидимому, мы будем свидетелями вторых смутных лет на Руси. Снаружи пока гладко, но внутри всё бурлит. Чем туже будет правительство заворачивать крышку котла, тем сильнее рванёт взрыв. Нам нужно следить за этим кипением. Нужно знать, о чём думает и говорит Москва. О чём говорят в театрах и семьях, на базарах и фабриках, в банях и трамваях. Что говорят рабочие, извозчики, сапожники, молочницы, артисты, купцы, инженеры, студенты, профессора, военные и писатели. Вот вы и займитесь этим. Для начала. А там будет видно.

В тот же день я снял маленькую комнату в Гранатном переулке — в том самом переулке, где я родился двадцать три года назад.

Я заметил, что охотнее всего русский человек разговаривает в поездах и трактирах. Поэтому я начал с пригородных поездов, махорочных и шумных. Они не ходили дальше шестидесяти вёрст от Москвы. Я брал билет до конечной станции и ездил туда и обратно. Так за короткое время я побывал во многих городках под Москвой.

Я убедился, что столичная Москва окружена такой замшелой Русью, что даже многие старые москвичи не имеют о ней понятия.

В пятидесяти верстах от Москвы начиналась глушь — разбойничьи леса, непроезжие дороги, гнилые посадки, облупившиеся древние соборы, косматые лошадёнки с присохшим к шерсти навозом, пьяные побоища, кладбища с поваленными крестами, овцы в избах, сопливые дети, суровые монастыри, юродивые на паперти, засыпанные трухой базары с поросячьим визгом и матерной бранью, гиль, нищета, воровство.

И по всему этому подмосковному простору, где ветер свистел в голых сучьях берёз, был слышен подспудный скрипучий женский плач. Плакали солдатки — матери и жены, сёстры и невесты. Плакали безропотно, беспросветно. Как будто ниоткуда нельзя было ждать радости.

Так и стыла эта земля, темневшая по алым полоскам предзимних закатов частоколами ельника, хрустевшая первым сахаристым ледком, застилавшая поля горьким дымом промёрзших деревень. И вещими казались слова Блока:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма...

Я слушал разговоры — пьяные и трезвые, робкие и отчаянные, полные и покорности и злобы, — всякие разговоры. Было в них только одно общее — надежда на «замирение», на то, что вернутся с войны солдаты и произведут то «облегчение жизни», без которого ничего не оставалось делать, как только помирать голодной смертью.

Казалось, весь народный гнев был собран там, на западе, в армии. Деревня ждала, когда же он хлынет оттуда, расколется на черепушки постылую жизнь, сметёт убогое существование и мужик и фабричный рабочий войдут наконец в силу.

Вот тогда-то и начнётся жизни! Тогда-то и зачешутся к работе руки и пойдёт по всей стране такой трезвон пил, топоров и молотков, что, бей хоть во все колокола, ничем его не заглушишь.

Странное существо человек. Я видел во всех этих подмосковных местах отражение всероссийской беды, но одно обстоятельство вызывало у меня затаённую радость — приобщение к удивительному по своей обрзанности и простоте народному языку. Я впервые так близко столкнулся с ним.

Слова Тургенева, что такой язык может быть дан только великому народу, звучали не как преувеличение, а как прописная истина.

В Москве было иное. Одни бесплодно спорили в поисках выхода, другие знали этот выход и молча готовились к нему, а третьи обогащались. Появились дельцы железной хватки и размаха. Среди них, пожалуй, первое место занимал сибирский промышленник Второв — нечто вроде тысячерённого чеховского Лопатина из «Вишнёвого сада».

Над всей этой растревожённой жизнью стояла тень Распутина. Неграмотный пройдоха, конокрад и кулак приехал под лавкой в заплёванном вагоне третьего класса в Петербург в поисках наживы и через короткое время стал почти самодержцем страны, вершителем её судеб, правой рукой государя и владельцем гарема придворных красавиц.

Императорский, родовитый и министерский Петербург склонил свою высокомерную голову перед ним и, как побитый пёс, ждал, когда он бросит ему со своей тарелки обглоданную кость.

Такого падения и позора ещё не знала страна. Роковая година подошла к самому порогу. Все, томясь, ждали развязки.

И она началась. Началось с того, что Распутин убили. Труп его сбросили под лёд в Малую Невку. Распутин был отравлен, застрелен и утоплен. И всё-таки, по словам врачей, даже под водой в течение нескольких минут у него ещё билось сердце. Он был живуч, как классический конокрад.

Всё смешалось к тому времени в Москве.

По улицам проходили под конвоем тысячные толпы узбеков в зелёных халатах. Восстание в Средней Азии было подавлено, и узбеков гнали на Мурман достраивать полярную железную дорогу и умирать. Первый сухой снег сыпался на расшитые серебром чёрные тюбетейки. Это шествие обречённых длилось несколько дней.

В коренную Москву влились беженцы из Польши, Прибалтики и Белоруссии. В певучий московский говор всё чаще вторгались быстрые и шипящие акценты.

Поэты-символисты, начисто потерявшие представление о реальности, пели о бледных призраках страсти и огне нездешних вожделений. В общей сумятице мыслей и чувств их уже не замечали. Было не до них.

В редакции жизнь не замирала ни на час — ни днём, ни ночью. Всё свободное время сотрудники проводили в редакции. Спорили, шумели и ждали событий.

Из Петрограда приходили тревожные слухи. Приезжие рассказывали о грозных очередях за хлебом, о коротких гневных митингах на улицах и площадях, о волнениях на заводах.

Вскоре после убийства Распутина лысый позвал меня к себе.

— Вот что, — сказал он, — ваши очерки нравятся. Вам удаётся уловить нечто такое... народное. Поэтому возникла идея — послать вас в глухой уезд, чтобы написать, о чём думают сейчас в тургеневской России.

Я согласился. Начали соображать, куда бы поехать, где найти поближе к Москве самый глухой уезд.

При разговоре присутствовал известный театральный критик и знаток Чехова кротчайший Юрий Соболев. Все и в глаза и за глаза звали его Юрочкой.

— Чехов писал, — сказал Юрочка, — что воплощением российской дичи был для него городок Ефремов, Тульской губернии. Это где-то под

Ельном. Кстати, тургеневские места. Ефремов стоит на реке Красивая Меча. Помните — «Касьян с Красивой Мечи»? Вот и поезжайте туда.

В Ефремов я приехал ночью. До рассвета я просидел в холодном станционном буфете, выкрашенном в грязный лиловый цвет. Кроме остывшего чая, в буфете ничего не было.

Коптили керосиновые лампы. Станционный бородатый жандарм несколько раз проходил мимо, строго поглядывая на меня и брэнча шпорами.

Как только начало светать, я нанял извозчика и поехал в единственную в Ефремове гостиницу.

В седом свете занимавшегося зимнего утра городок оказался до удивления маленьким и облезлым.

Кирпичная тюрьма, винокуренный завод с тонкой и длинной железной трубой, насупленный собор и одинаковые, как близнецы, домишки с каменным низом и деревянным верхом — всё это при свете ещё не погашенных заспанных фонарей вызывало уныние. Пожалуй, единственным интересным зданием были торговые ряды на базаре. Какое-то подобие колонн и арок украшало их и говорило о старине.

В промозглом воздухе кружились галки. На улицах пахло едким конским навозом.

— Ну и город! — сказал я извозчику. — Взглянуть не на что.

— А на кой ляд на него глядеть-то! — равнодушно ответил извозчик. — Чтобы глядеть, сюда никто и не приезжает. Небось, не Москва.

— А за чем же приезжают?

— За хлебом да за яблоками. У нас тут были богатейшие хлебные ссыпки. Купцы сотнями тысяч ворочали. А яблоки, правда, и сейчас у нас отменные. Антоновка. Ежели интересуетесь, съездите в подгородное село Богово. Я вас туда могу доставить. Там и зимою яблок купишь сколько угодно.

В гостинице было темно и тихо. Номер у меня, хотя и выходил окнами на улицу, был тоже тёмный, но тёплый. Снизу, из ресторана, пахло кислыми щами и самоварным дымом.

Коридорный — конопатый человек со ртом как бы всегда приоткрытым от удивления — никак не хотел уходить из номера, всё стоял и смотрел на меня. Должно быть, он соображал, кто я и за каким таким чёртом приехал в Ефремов.

Я выпроводил его. Он не обиделся и, уходя, сказал:

— Вы не думайте, у нас в гостинице полковник намедни стоял. А сейчас стоит гадалка из Москвы. Мадам Трюма! Тощая, как кошка. За день скуривает три пачки папирос «Ира». А пальцы — все в перстнях. Одни бриллианты. У нас тут весело. Сегодня вечером внизу будут танцы. Это всё наш хозяин устраивает. Для заработка. Он у нас сокол!

Коридорный ушёл. Я не спал в поезде всю ночь и потому с наслаждением разделся и лёг в постель.

Впервые за долгое время я почувствовал усталость. Было холодно, тряс озноб, и не хотелось ни двигаться, ни разговаривать.

«Не хватало, — подумал я, — ещё заболеть в этой дыре».

Мысль о болезни напомнила мне о том, о чём я всегда старался не вспоминать, — об одиночестве. Мама и Галя далеко, Романин на фронте, Лёля умерла. Не было никого, кто мог бы помочь мне в беде или в болезни. Никого! Сотни людей прошли за короткое время через жизнь, но никто в ней не задержался. Это обидно и несправедливо.

Так я думал, стараясь утешить себя.

Я уснул. Мне всё время снился один и тот же сон: снежная равнина с редким частоколом телеграфных столбов. Я просыпался, но как только

закрывал глаза, снова появлялась эта однообразная равнина и снова телеграфные столбы тянулись неведь куда и зачем. Я-то хорошо знал во сне, что им некуда тянуться,— впереди не было ни городов, ни сёл, а один только снег и наскучившая зимняя стужа.

Проснулся я окончательно от ощущения, что меня кто-то легонько подкидывает на кровати. Я открыл глаза и, ещё ничего не соображая, услышал залиvistый медный рёв пожарного оркестра.

Стёкла в окнах тряслись. Турецкий барабан бухал бодро и настойчиво.

Внизу начались танцы.

Я оделся и сошёл вниз. Был удобный случай посмотреть ефремовских обывателей.

В низком полутёмном зале стекали со стен струйки сырости. Бушевал оркестр. Девушки с напряжёнными лицами сидели на скрипучих стульях и обмахивались платочками.

Посреди совершенно пустого зала плясал испитой человек в поношенном сюртуке. Седоватые волосы торчали щетиной на его длинной, как дыня, голове. Он был явно пьян, но плясал ловко и лихо, пускался вприсядку и выкрикивал: «Эх, Нюрка, не журись, туды-сюды повернись!»

В дверях зала теснились мужчины. Молодых почти не было, если не считать нескольких человек — хилых, с длинными шеями и водянистыми глазами. Повидимому, это были белобилетники.

На видном месте в зале, рядом с худой женщиной, как бы обклеенной чёрным стеклярусом (я догадался, что это была гадалка), небрежно сидел, закинув нога на ногу, курносый человек с рыжей эспаньолкой, в широкополой чёрной шляпе и с длинными волосами, падавшими на воротник клетчатого пальто-«реглан».

Человек этот даже не разделся. На коленях он держал трость с серебряным набалдашником в виде обнажённой Наяды, лежащей на гребне морской волны. Он поигрывал этой тростью и со скучающей улыбкой поглядывал по сторонам сквозь маленькое пенсне.

Увидев меня, он заёрзал на стуле, встал и, снисходительно сторонясь пляшущего человека, подошёл ко мне.

— Тысячу извинений! — сказал он и театральным жестом снял шляпу. — Судя по записи в гостиничной книге, вы литератор, редкий гость в этих краях. Поэтому я, как собрат по перу, позволяю себе смелость представить вам: «Принцесса Грёза».

Я оторопел. Человек в шляпе удовлетворённо улыбнулся.

— Не ожидали,— спросил он, — встретить меня в таком захолустье? Здесь проживает моя матушка. Я частенько приезжаю сюда из Москвы, чтобы отдохнуть душой и телом.

«Принцесса Грёза!» Я часто встречал эту подпись в дешёвых журнальчиках для женщин в отделе «Ответы нашим читательницам».

«Принцесса Грёза» с полным знанием дела и в весьма парфюмерно-сентиментальном стиле отвечала читательницам на самые щекотливые и интимные вопросы: как влюбить в себя блондина, что делать, если изменяет муж, что такое платоническая любовь и как избавиться от угрей и бледной немочи.

— Моя настоящая фамилия, — сказал человек в шляпе, — Мигуэль Рачинский. Позвольте вас познакомить с гостьей нашего города, известной гадалкой, госпожой Аделаидой Тарасовой Трома.

Он познакомил меня с худой женщиной. Она протянула мне костлявую руку, блестящую фальшивыми бриллиантами, равнодушно посмотрела в лицо и сказала хрипловатым голосом:

— О, какой необыкновенно счастливый молодой человек! О! Вас ждёт прекрасная будущность. Вы родились под хорошей звездой.

Она хотела сказать ещё что-то, но удушливо закашляла, прижимая ко рту чёрный кружевной платочек. Всё тело её содрогалось, и сквозь вырез платья я видел, как тряслись её острые ключицы и тощие груди.

Мадам Трома никак не могла откашляться и вышла из зала.

Мигуэль Рачинский пригласил меня в буфет выпить бутылку вина.

За этой бутылкой он рассказал мне всю обывательскую подноготную города.

Прежде всего он рассказал, что пьяный человек, пляшущий в зале, — местный гробовщик, большой артист по танцевальной части. Хозяин гостиницы нанимает его плясать «за угощение», чтобы раззадорить посетителей. Иначе девицы так и просидят, как тумбы, весь вечер, обмахиваясь платочками и туго краснея. А мужчины помнутся, потопчутся в дверях и смущённо разойдутся. Лишь немногие перекочают в буфет, где начнётся жестокий «выпивон» до утра.

По словам Рачинского, «духовной интеллигенции» в городе не было, если не считать его самого, Рачинского, молодого учителя русской литературы в женской прогимназии Осипенко и акцизного чиновника Бунина — брата известного писателя. Но Бунин — человек необщительный и занят только тем, что изучает знахарство — разные заговоры, наговоры и заклинания.

После этого первого знакомства я каждый день встречал Рачинского и понял, что главной его бедой была болезненная склонность к пошлости, фанфаронству и дешёвой позе.

Он был, конечно, неумный, вернее, наивный человек, но по натуре — добрый и доверчивый. Он очень жалел гадалку — брошенную мужем и больную туберкулёзом женщину. Гадалка столовалась у матери Рачинского, и он требовал от матери, чтобы она готовила для гадалки отдельно очень жирную пищу, так как где-то вычитал, что при туберкулёзе надо «заливать лёгкие жиром».

Пошлость его была неистребима. Даже в разговорах о политике, о положении России Рачинский любил блеснуть сомнительными выражениями. Однажды по поводу деятельности Распутина он сказал, что это «цинизм, доходящий до грации». Дурные стихи и плоские афоризмы просто лезли из него, как шерсть из линяющей кошки.

У себя в доме он был внимательным хозяином. Чем больше я приглядывался к нему, тем чаще мне становилось жаль его, этого свихнувшегося человека.

Мне Рачинский тоже предложил столоваться у его матери и этим меня выручил, так как единственный в городе ресторан при гостинице был зловонной обжоркой.

Я согласился и когда первый раз пришёл к Рачинскому, то был удивлён, увидев очень приятную и умную старушку — его мать, бывшую учительницу. Она относилась к сыну, к своему Мише (дома имя «Мигуэль» не существовало), как к человеку явно ненормальному, страдала от одного его внешнего вида, но была с ним очень нежна. То была жалостливая нежность матери к уроду-сыну.

Каждый день за обеденным столом у Рачинского собирались, как он говорил, его «сотрапезники» — гадалка, Осипенко и я.

Учитель оказался человеком очень горячим, остроумным и деятельным. Он любил спорить, безумно любил литературу и не спускал Рачинскому ни одной его «эстетской выходки». Разоблачённый Рачинский только смущённо улыбался и протирал пенсне. Возражать учителю он не решался.

Гадалка зябко куталась в платок и молчала. Охотно разговаривала она только с матерью Рачинского, Варварой Петровной, но и то, когда мужчины не могли её услышать.

Она, видимо, стеснялась своего занятия и часто приходила с заплаканными глазами. Я знал только, что она родом из Петербурга и что бросивший её муж был адвокатом.

В свободное от гаданий время она работала в госпитале для раненых, помогала сёстрам и врачам. Госпиталь был размещён в церковно-приходском училище.

Я решил сходить в пригородное село Богово, чтобы узнать, чем живут и чего ждут здешние крестьяне.

Богово стояло на берегу прославленной Тургеневым Красивой Мечи. Река была под снегом, но около водяной мельницы шумела по лотку чёрная вода. В неё падали со звонким бульканьем оттаявшие сосульки.

Пришла первая февральская оттепель с туманами и капелью, порывистым ветром и запахом дыма.

В Богове произошла у меня встреча с одним человеком. Сначала я отнёсся к ней, как к курьёзу, и только несколько дней спустя мне открылся почти символический смысл этой встречи.

Боговские крестьяне так же, как и подмосковные, ждали только одного — конца войны. Что будет потом — никто не знал. Но все были уверены, что война даром не пройдёт и после неё восстановится наконец справедливость.

— Правды, главное, нету! — сказал мне сельский сапожник, щуплый мужичок с впалой грудью. — Обойди всю Россию, поспрошай всех жителей и увидишь, что у каждого есть своё соображение о правде. Местное соображение. А ежели все эти местные соображения собрать, то и получится одна-единственная, можно сказать, всероссийская правда.

— Ну, а какая же у вас своя местная правда? — спросил я.

— А вон она стоит, наша правда! — ответил сапожник и показал на бугор над рекой. Там в корявом яблоневом саду виднелся полуразрушенный барский дом. Он был небольшой, но сохранял в себе черты того усадебного ампира, который расцвёл в России при Александре Первом, — фронтон с облезлыми колоннами, узкие и высокие окна с полукружием наверху, два полуциркульных низких флигеля и поломанная чугунная решётка редкой красоты.

— Вы мне объясните, — попросил я, — какое этот старьёй дом имеет отношение к вашей местной правде?

— А вы сходите в этот дом, к хозяину, тогда поймёте. Сами сделайте вывод, кому этот дом, и сад, и земля при доме — там две десятины земли — должны принадлежать, ежели уж говорить о правде. Только хозяин там чудной. Помещик Шуйский. Рвань невысказанная. Вряд ли он вас к себе и допустит. Дело к нему какое-нибудь надо придумать.

— Какое же дело?

— Ну, вроде вы желаете на лето у него поселиться, снять дачу. И пришли этот вопрос определить.

По едва заметной в снегу тропинке я прошёл к дому. Окна были заколочены старыми, трухлявыми досками. Парадное крыльцо замело снегом.

Я обошёл дом, увидел узкую дверь, обитую рваным войлоком, и сильно постучал. Никто не отозвался и не открыл. Я прислушался. В доме было мертвенно тихо. «Да полно, — подумал я. — Там, должно быть, никто не живёт».

В это время дверь внезапно распахнулась. На пороге её стоял маленький старичок в чёрном, вытертом до дыр. ватном халате, подпоясанном полотенцем. На голове у старика была шёлковая шапочка. Всё его лицо было завязано грязным бинтом. Из-под бинта торчала клочьями вата, коричневая от йода.

Старичок гневно посмотрел на меня совершенно синими, как у ребёнка, глазами и спросил высоким голосом:

— Что вам угодно, милостивый государь?

Я ответил так, как научил меня сапожник.

— А вы не из рода Буниных? — подозрительно спросил старичок.

— Нет, что вы!

— Тогда пойдёте.

Он ввёл меня в единственную, должно быть, жилую комнату в доме. Она была завалена немислимым хламом. Среди комнаты жарко топилась железная печурка. При каждом порыве ветра из неё струями вылетал дым.

В углу я увидел великолепную круглую кафельную печь с узорными изразцами. Почти половина всех изразцов была из неё вынута, и в маленьких нишах от вынутых изразцов стояли заросшие пылью пузырьки с лекарствами, валялись пожелтевшие бумажные мешочки и лежали усохшие червивые яблоки.

Над топчаном, покрытым облезлой овчиной, висел в тяжёлой золотой раме портрет женщины в голубом воздушном платье, с высоко поднятыми напудренными волосами и такими же синими глазами, как у старичка.

Мне казалось, что я попал в начало прошлого века, к гоголевскому Плюшкину. До этого я не представлял себе, что на Руси сохранились такие дома и такие люди.

— Вы дворянин? — спросил меня старичок.

На всякий случай я ответил, что — да, дворянин.

— Чем вы сейчас занимаетесь, — сказал старичок, — меня не интересует. Теперь народились такие занятия, что сам жандарм ногу сломит. Извольте ли видеть, появились даже какие-то таксаторы! Чушь! Романовская чушь! Дом я вам на лето сдам, но при непременною условии, что вы коз заводите не будете. А то три года назад жил здесь у меня Бунин. Сомнительный господин! Христопродавец! Коз завёл, а они и рады — все яблоки погрызли.

— Писатель Бунин? — спросил я.

— Нет. Брат его, акцизный чиновник. Приезжал и писатель. Приличнее сколько своего чиновного брата, но тоже, скажу вам, не пойму, чем кичится! Мелкопоместные людишки!

Я решил вступить за Бунина, применяясь к понятиям старичка.

— Ну что вы, — сказал я, — ведь Бунины — старый дворянский род.

— Старый? — насмешливо спросил старичок, посмотрел на меня, как на безнадёжного тупицу и покачал головой. — Старый! Так я постарше! Я в бархатных книгах записан. Ежели вы как следует учили историю государства Российского, то должны знать древность моего рода.

Тогда только я вспомнил, что сапожник назвал мне фамилию этого старичка — Шуйский. Неужели передо мной стоял последний отпрыск царского рода Шуйских? Что за чертовщина!

— Я с вас возьму, — говорил между тем старичок, — пятьдесят рублей за всё лето. Деньги, конечно, немалые. Но у меня и траты немалые. Я с супругой своей в прошлом году разошёлся. Она, старая ведьма, живёт сейчас в Ефремове и нет-нет, а приходится ей отвалить то пять, а то десять рублей. Только бесполезно. Она деньги на любовников тратит. Нету хорошей осины, чтобы её повесить.

— Сколько же ей лет? — спросил я.

— Восьмой десяток пошёл негоднице, — ответил, сердясь, Шуйский. — А насчёт вашего проживания у меня мы напишем соглашение по пунктам. Иначе никак нельзя.

Я согласился. Я чувствовал себя так, будто передо мной разыгрывался редчайший спектакль.

Шуйский вытащил из рваной папки жёлтый лист гербовой бумаги с оттиском двуглавого орла, достал перо, поскоблил его сломанным ножичком и обмакнул в банку с йодом.

— Фу ты! — сказал он. — А всё почему? Потому что эта дура стоеросовая, Василиса, никогда ничего на место не ставит.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что два раза в неделю к Шуйскому приходит из Богова бывшая просвирия, престарелая Василиса, кое-как прибирает, колет дрова и готовит старику кашу.

Шуйский нашёл баночку с чернилами из-под крема «Метаморфоза» и начал писать. При этом он ворчал на новые времена:

— И говорят нынче и пишут как-то по-татарски. Кругом завели какую-то романовскую чушь! Таксаторы, мелиораторы! Говорят, Николашка распутного мужика за стол с собой сажает. А тоже считается — царь! Пашенок он, а не царь!

— Зачем вы лицо закутываете ватой? — спросил я.

— Я его йодом мажу, а потом, понятно, обкладываю ватой.

— Зачем?

— От нервов, — коротко ответил Шуйский. — Ну вот, прочитайте и поставьте свой подпис.

Он подал мне бумагу, исписанную чётким старинным почерком. Там по пунктам были перечислены все условия жизни в разрушенном доме. Особенно запомнился мне один пункт:

«Я, упомянутый Паустовский, обязуюсь плодами из сада фруктового не пользоваться в рассуждении того, что оный сад сдан на корню ефремовскому однодворцу Гаврюшке Ситникову».

Я подписал эту странную и совершенно ненужную мне бумагу и спросил насчёт задатка. Я понимал, что глупо отдавать деньги за дом, где я всё равно жить не буду. Но нужно было доиграть роль до конца.

— Какой там задаток! — сердито ответил Шуйский. — Ежели вы действительно дворянин, то как вы о таких вещах упоминаете! Приедете — тогда и сочтёмся. Честь имею кланяться. Не провожаю — простужен. Прикройте поплотнее дверь.

В Ефремов я шёл пешком, и чем дальше я отходил от Богова, тем фантастичнее представлялась мне эта встреча.

В Ефремове Варвара Петровна подтвердила мне, что этот старичок действительно последний князь Шуйский. Правда, у него был сын, но лет шестьдесят назад Шуйский продал его за десять тысяч рублей какому-то бездетному польскому магнату. Тому нужен был наследник, чтобы после смерти владельца огромные его имения — майораты — не расплылись среди родни, а остались в одних руках. Ловкие секретари дворянских присутствий нашли магнату мальчика хороших кровей — Шуйского, и магнат купил и усыновил его.

Был тихий снежный вечер. В всячей лампе что-то тихонько жужжало.

Я задержался после обеда у Рачинских, зачитался книгой Сергеева-Ценского «Печаль полей».

Рачинский писал за обеденным столом свои советы женщинам. Написав несколько слов, он откидывался на стуле, читал их и ухмылялся — очевидно, всё написанное очень ему нравилось.

Варвара Петровна вязала, а гадалка, забившись в кресло, думала о чём-то, глядя на свои сложенные на коленях руки с бриллиантовыми кольцами.

Вдруг кто-то сильно застучал в окно. Все вздрогнули. По тому, как стучали — быстро и тревожно, я понял — что-то случилось.

Рачинский пошёл открывать дверь. Варвара Петровна перекрестилась. Одна только гадалка не шевельнулась.

В столовую ворвался Осипенко — в пальто и шапке, даже не сняв калош.

— В Петербурге революция! — крикнул он. — Правительство свергнуто!

Голос у него осекся, он упал на стул и заплакал навзрыд.

На мгновение наступила полная тишина. Было только слышно, как, судорожно глотая воздух, совсем по-детски плачет Осипенко.

У меня заколотилось сердце. Я почувствовал, что и у меня слёзы текут по щекам. Рачинский схватил Осипенку за плечо и крикнул:

— Когда? Как? Говорите!

— Вот... вот, — бормотал Осипенко и вытащил из кармана пальто длинную и узкую телеграфную ленту. — Я только что с телеграфа... Вот здесь всё... всё...

Я взял у него ленту и начал читать вслух воззвание Временного правительства.

Наконец-то! Руки у меня дрожали. Хотя за последние месяцы вся страна и ждала событий, — это было слишком внезапно.

Здесь, в сонном и занавоженном Ефремове, было особенно глухо. Московские газеты приходили на третий день, да их и вообще было немного. По вечерам на Слободке выли собаки да неохотно стучали в колотушки сторожа. Казалось, что со времени XVI века ничего в этом городке не изменилось, что нет ни железных дорог, ни телеграфа, ни войны, ни Москвы, что нет никаких событий.

И вот — революция! Мысли беспорядочно метались в голове, и одно только было ясно — свершилось великое, свершилось то, чего никто и ничто не в силах остановить. Свершилось вот сейчас, в этот как будто самый обыкновенный день, именно то, чего люди ждали столетиями.

— Что делать? — судорожно спрашивал Осипенко. — Надо что-то делать немедленно.

Неожиданно заговорил Рачинский:

— Надо отпечатать это воззвание. И расклеить по городу. И связаться с Москвой. Идёмте!

Мы вышли втроём — Осипенко, Рачинский и я. Дома осталась Варвара Петровна. Она стояла около киота, быстро и часто крестилась и шептала: «Господи, дождались! Господи, дождались». Гадалка всё так же неподвижно сидела в кресле.

По пустынной улице бежал навстречу нам человек. При слабом свете уличного фонаря я заметил, что он был без шапки, в одной косоворотке и босиком. В руке он держал сапожную колодку.

Человек бросился к нам.

— Милые! — закричал он и схватил меня за руку. — Слыхали? Нет царя! Осталась одна Россия.

Он крепко расцеловался со всеми и бросился бежать дальше, всхлипывая и что-то бормоча.

— А что же мы, — сказал Осипенко, — не поздравили друг друга?

Мы остановились и тоже крепко расцеловались.

Рачинский пошёл на телеграф следить за всеми сообщениями из Петрограда и Москвы, а мы с Осипенко разыскали маленькую захолустную типографию, где печатались афиши, объявления и приказы воинского начальника.

Типография была закрыта. Пока мы пытались сбить замок, появился какой-то суетливый человек с ключом, отпер типографию и зажёл свет. Это оказался единственный в Ефремове наборщик и печатник. Почему он очутился возле типографии, мы не спрашивали.

— Становитесь к кассе, набирайте! — сказал я.

Я начал диктовать наборщику текст воззвания. Он набирал, то и дело отрываясь, чтобы вытереть рукавом слёзы, набегавшие на глаза.

Вскоре нам принесли новое известие — приказ министра путей сообщения Временного правительства Некрасова — всем, всем, всем! — о задержке императорского поезда, где бы он ни был обнаружен.

События лавиной обрушивались на Россию.

Я читал первый оттиск воззвания, и буквы прыгали и расплывались у меня в глазах.

Типография уже была полна людьми, неизвестно как узнавшими, что здесь печатается сообщение о революции. Они брали пачки воззваний, выбегали на улицы и расклеивали воззвания на стенах, заборах и фонарных столбах.

Был уже час ночи, когда Ефремов обыкновенно спал непробудным сном.

Вдруг в этот неурочный час раздался гулкий и короткий удар соборного колокола. Потом второй удар, третий. Удары учащались, тугой звон уже плыл над городком, и вскоре к нему присоединились колокола всех окрестных церквей.

Во всех домах зажигались огни. Улицы заполнились людьми. Двери во многих домах стояли брошенные настежь. Незнакомые люди, плача, обнимали друг друга.

Со стороны вокзала летел торжественный и ликующий крик паровозов.

Где-то в глубине улицы раздалось сначала тихое, а потом всё нарастающее пение «Марсельезы»:

Отречёмся от старого мира,  
Отряхнём его прах с наших ног...

В хор людских голосов ворвались звенящие медные звуки оркестра:

Мы пойдём к нашим страждущим братьям,  
Мы к голодному люду пойдём!

Осипенко писал на измазанном типографской краской столе первый приказ Временного революционного комитета по городу Ефремову. Никто этого комитета не образовывал. Никто не знал и не мог знать его состава потому, что состава этого не было. Приказ этот был импровизацией Осипенко.

«Впредь до назначения правительством освобождённой России новых властей по городу Ефремову и Ефремовскому уезду, — писал Осипенко, — Временный Ефремовский революционный комитет призывает всех граждан к полному спокойствию и приказывает:

Управление городом и уездом возложить на уездную земскую управу и её председателя гражданина Кушелёва.

Гражданин Кушелёв, впредь до особых распоряжений, назначается комиссаром правительства.

Полиции и жандармерии немедленно сдать оружие в уездную земскую управу.

Установить на улицах народную милицию.

Работа всех учреждений и торговых предприятий не прекращается. Расположенный в Ефремове гарнизон (запасную роту) привести к присяге новому правительству, по примеру гарнизонов Петрограда, Москвы и других городов России».

На рассвете в типографии появился усталый и бледный, но решительный Рачинский. К пальто его был приколот огромный красный бант.

Он вошёл и с грохотом бросил театральным жестом на стол жандармскую шашку и наган в кобуре. Оказалось, что железнодорожники разоружили стационарного бородатого жандарма, и Рачинский, бывший при этом, принёс оружие как первый трофей в революционный комитет.

Потом в типографию пришёл высокий седой человек с растерянным добрым лицом — новый комиссар Временного правительства Кушелёв. Он даже не спросил, каким образом произошло его назначение на этот высокий пост.

Тотчас же за его подписью был выпущен новый приказ, поздравляющий население городка с освобождением России от векового гнёта. В час дня назначалось собрание представителей всех слоёв городского населения для обсуждения насущных дел, связанных с последними событиями.

Начались шумные, бестолковые, счастливые дни.

В зале земской управы круглые сутки напролёт шло всенародное заседание. Земскую управу прозвали «конвентом». В «конвенте» было дымно от дыхания сотен людей.

Февральский ветер развевал красные флаги.

Деревня хлынула в город за новостями и распоряжениями. «Как бы поскорей насчёт землицы...» — говорили крестьяне. Все улицы около управы были заставлены розвальнями и усыпаны сеном. Всюду спорили и кричали о земле, «выкупе, мире».

На перекрёстках стояли пожилые люди с красными повязками на рукавах и револьверами на поясе — народная милиция.

Ошеломляющие известия не прекращались. Николай отрёкся от престола на станции Псков. Пассажирское сообщение в стране было прервано. В церквях служили молебны в честь нового правительства. Из тюрьмы выпустили почти всех арестантов. Занятия в школах остановились, и гимназистки с упоением бегали по городу и разносили приказы и объявления новой власти.

На пятый или шестой день я встретил в «конвенте» сапожника из Богова. Он рассказал мне, что Шуйский, узнав о революции, собрался уходить в город. Перед этим он приставил к кафельной печке лестницу, полез по ней, вынул из-под самого верхнего кафеля мешочек с золотыми деньгами, оступился, упал и к вечеру умер. Сапожник приехал в город, чтобы сдать деньги Шуйского.

Город и людей как будто подменили. Россия заговорила. В косноязычном Ефремове неисповедимо откуда появились вдохновенные ораторы. Это были главным образом рабочие железнодорожного депо. Женщины исходили слезами, слушая их.

Пришибленный и хмурый вид, свойственный ещё недавно жителям Ефремова, исчез. Помолодели лица, засияли мыслью и добротой глаза.

Обывателей больше не было. Были граждане, а это слово обязывало. И, как нарочно, стояли солнечные дни с хрустальной капелью, с тёплым ветром, шумевшим флагами и проносившим над городком радостные облака. Дыхание ранней весны чувствовалось во всём — в синих, густых тенях, в сырых ночах, заполненных людским гулом.

Я был в чаду, в угаре. Я плохо соображал, что же будет дальше. Я рвался в Москву, но поезда ещё не ходили.

— Погодите, — говорил мне Осипенко, — это только пролог великих событий, надвигающихся на Россию. Поэтому старайтесь держать голову в холоде, а сердце в тепле. Берегите силы.

Незадолго до отъезда из Ефремова я встретил Рачинского на базаре. Он покупал курицу у сморщенной старухи с плаксивым лицом. Всё тот же огромный красный бант, но уже помятый и обвисший, был приколот у него на груди.

Рачинский умело щупал курицу и торговался со старухой.

— Один жир, барин хороший, — говорила старуха. — Одно масло.

— Запрашиваешь! — ответил Рачинский, возмущённо поблёскивая стекляшками пенсне. — Ты что же думаешь, раз революция, так теперь можно драть семь шкур с господ? Какой цинизм!

Но курицу он всё-таки купил. Я окликнул его. Он подошёл ко мне, держа её за связанные лапы вниз головой, посмотрел на меня встревоженными серыми глазками и сказал таинственно:

— Вы слышали? Какой ужас! Начинается! Вчера в «конvente» выступал первый большевик. Приезжал из Тулы.

— Ну и что же?

— Как что! — раздражённо воскликнул он, должно быть, ещё не остыв от торга со старухой. — У них нет ничего святого! Они хотят ниспровергнуть нашу власть, власть Временного правительства. Вы что же? Жаждете анархии?

— Нет, зачем, — ответил я. — Я хочу справедливости.

— Вы колеблетесь! — воскликнул он с пафосом. — Я вижу! Вы шатаетесь в своих убеждениях!

— Может быть. Я пока что хочу разобраться в том, что происходит. И потому еду в Москву.

— Колебание есть измена общему делу, — напыщенно сказал Рачинский. — Не для того мы совершали революцию, чтобы власть захватили большевики и рабочие. При помощи таких неустойчивых юношей, как вы. Власть должна быть в руках просвещённого класса. Только он может руководить Россией на благо народа.

— Знаете что? — ответил я, сдерживаясь. — Я не считаю работой на благо народа переписку в печати с бабёнками, жаждущими заполучить богатого любовника.

— Это слишком! — прошипел Рачинский. Глаза его побелели от негодования. Он плевался слюной. — Это цинично! — крикнул он. — Я отогрел змею на своей груди. Вы не смеете меня оскорблять! Прощайте!

Он театрально поднял шляпу и отступил. Курица затрепыхалась у него в руке, испустила предсмертный хрип и закатила глаза.

Я ушёл. Мне впервые стал неприятен этот человек с висевшей в его руке вниз головой издыхающей курицей, его яростные глазки и то, как он плевался слюной. До тех пор я относился к нему с добродушной насмешкой. Но жизнь постепенно ставила всех на их настоящее место.

Тогда я ещё многого не понимал в событиях, накатившихся на Россию, но чувствовал, что к тому огромному, что началось, не имеет права прикасаться такой вот Рачинский своими руками в перстнях с фальшивыми бриллиантами.

Свежий ветер бушевал над Россией. Он как бы нёс страну вдаль, к её новому будущему.

Сейчас, вспоминая о том уже далёком времени, я вижу, какие незрелые мысли бродили у меня в голове и как «по молодости лет» я думал, что действительно страна слилась в общем идиллическом порыве и что интересы всех классов могут быть слиты воедино во имя свободы и справедливости. Первый удар этой моей простодушной вере нанёс Рачинский.

Но я о нём очень скоро забыл и вытащил его на свет из своей памяти только сейчас, когда пишу эту книгу.

Я очень скоро забыл не только о Рачинском — что Рачинский! — но и о том, как преломилась Февральская революция в глухом Ефремове, забыл потому, что в Москве понял, что февраль — только начало будущих громадных событий.

Я уехал в Москву первым же поездом с пропуском, подписанным комиссаром Временного правительства Кушелёвым.

Меня никто не провожал. Было не до проводов.

Поезд шёл медленно. Я не спал.

Я вспоминал месяц за месяцем свою жизнь, пытаюсь найти то единое стремление, какое руководило мной за последние годы. Но я никак не мог определить его.

Одно только я знал твёрдо, что ни разу за эти годы я не подумал о благополучии, об устройстве жизни. Мной владела одна страсть — к писательству. Сейчас, в поезде, я почувствовал, что своё понимание прекрасного и справедливого, своё ощущение мира и представление о человеческом счастье, достоинстве и свободе я уже могу выразить и передать окружающим, что в этом и заключалось то стремление моей жизни, которое я до тех пор ещё неясно понимал.

Что случится дальше, я не знал. Я знал лишь одно — что буду стремиться к писательству всеми силами души. Буду стремиться к нему ради служения своему народу, ради любви к волшебному русскому языку и к удивительной нашей земле. Буду работать, пока у меня пальцы смогут держать перо и пока не остановится сердце, переполненное свыше меры ощущением жизни.

На рассвете туманного мартовского дня я приехал наконец в радостную, взволнованную и грозную Москву.

В начале этой книги я писал: «Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли оно — покажет будущее».

Сейчас время показывало, что это счастье сбывалось.



---

И. А. БУНИН

★

## РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

*В прошлом году в Париже, в возрасте восьмидесяти трёх лет, скончался известный русский писатель Иван Алексеевич Бунин. Большой художник слова, Бунин почти за шестьдесят без малого лет своей жизни в литературе оставил богатое и разнообразное литературное наследство. Жизненный путь Бунина был сложен. Создав в начале века ряд произведений, завоевавших ему славу перво-классного мастера русской прозы, он в 1917 году не понял и не принял революции, встал на враждебные ей позиции и кончил эмиграцией. Некоторые политические статьи и книги Бунина этого периода, написанные с враждебных народу эмигрантских позиций, мелкотравчаты, недальновидны и недостойны его пера.*

*В 1941 году, когда гитлеровская армия вторглась в Советский Союз, в Бунина, как и некоторых других людей со схожей судьбой, заговорило чувство патриотизма, любви к родине. Бунин наотрез отказался от какого бы то ни было сотрудничества с добивавшимися этого немцами и, уехав из Парижа, в глухом углу, впроголодь, не печатая ни строчки, прожил весь период фашистской оккупации.*

*Победу советского оружия в Великой Отечественной войне Бунин принял с радостью и гордостью.*

*Последнее издание сочинений Бунина в нашей стране в шести томах, вышло в 1915 году. Всё лучшее в литературном наследстве Бунина, написанное на протяжении всей его жизни, безусловно, заслуживает быть изданным сейчас, ибо лучшие его творения имеют непреходящую ценность и занимают неотъемлемое место в истории русской литературы.*

*В этом номере журнала редакция публикует несколько очерков, рассказов и миниатюр Бунина, написанных им в период между 1927—1940 годами.*

### ТОЛСТОЙ

Я

чуть не с детства жил в восхищении им. Мальчиком я уже имел некоторое представление о нём, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «войну», а другой только «мир», то есть один, читая, пропускает всё, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением: живого Толстого видел!

Откуда были у меня такие чувства к человеку, которого я ещё ни строчки не прочёл? Но с меня было довольно уже того, что он писатель. С самого детства писатели были для меня существами какого-то совсем особого рода, в которых я испытывал какое-то непередаваемое чувство, которого я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит быть только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писа-

тели. Но опять не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня, — напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по-настоящему влюблён в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить её? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста вёрст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, решил обдумать дело серьёзное, переночевать в Ефремове — и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мёртвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал ещё немного — и по-скакал назад, домой, где работники сказали мне:

— Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одни сутки! За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым ещё несколько лет.

В молодости, пленённый мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетёнными людьми, но и со всем растительным и животным миром, главное же опять-таки от влюблённости в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне, наконец, уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближённых к нему. И вот, началось моё толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ; но я терпел. Первый, кого я узнал, был некто Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым лицом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чём походивший на Стиву Облонского. И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьёзную фигуру, и где Клопский говорит, например, такие вещи:

— Да, да, вижу, как вы тут живёте: лжёте, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова: приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой, собственно, билет? Отвечает: но билет, по которому вы едете? А я ему опять своё:

позвольте, я не по билету, а по рельсам еду.— Значит, говорит, у вас билета нету? — Конечно, говорю, нету.— В таком случае мы вас на следующей станции высадим.— Прекрасно, говорю, это ваше дело, а моё дело ехать. На следующей станции, действительно, являются: пожалуйста выходить. Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо.— Значит, вы выходить не желаете? — Разумеется, нет. — Тогда мы вас выведем. — Выведете? Но я не пойду.— Тогда вытащим, вынесем.— Что же, выносите, это ваше дело. — И вот меня, действительно, ташут: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать.

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопский. Прочие были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший и себе, и другим; что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матёрого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем Тенеромо, человек, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братия смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, всё норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть чёрт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьёзно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но всё же борюсь с собой и всё же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того, пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночёвки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопения, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — новый год, понимаю ли я, какую старую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и

думал: прекрасно, прекрасно, всё это суший вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: — «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу» — и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своём визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причём я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил ещё и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он всё-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал, наконец, в Хамовники.

Как рассказать всё последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулочек. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Ещё левее, за домом, сад и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звёзды. Да и всё вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственные и полны значения эти освещённые окна: ведь за ними — Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь, наконец, во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, тёплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и весёлые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает вверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь ещё больше: едва вхожу, как в глубине его, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за неё быстро, с неуклюжей ловкостью выдёргивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, лёгкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идёт прямо на меня, — меж тем, как я всё-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в неё всю мою, мягко жмёт и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие.

Лёгкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, лёгкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне о себе...

Он и заговорил так же поспешно, как вошёл, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из неё, отвлечь от неё меня. Что он ещё говорил? Всё расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять её никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из неё, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в лёгкой тени, я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шёлк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: — из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая чёрным шёлковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь тёмными глазами дама.

— Léon, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых всё была какая-то тёмная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушёл, убежал, совершенно вне себя, и провёл вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я всё не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешения продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорён сидеть в тюрьме, — от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царский манифест, — затем завёл книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счёты, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там всё ещё пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчёт «доброй» жизни. Там-то я и видел его ещё несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окружённый братней, серьёзно делавшей ему порою такие вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущённо улыбался и говорил:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Вспоминаю ещё, как однажды сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Всё вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него ещё только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтерный голос.

И я вошёл и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моём входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущённо бросил её в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) своё собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, тёмное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни — незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нём:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живём им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была чёрная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

В последний раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шёл по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдёрнул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

## СЛОН

Худенькая, живоглазая девочка, похожая на лисёнка, необыкновенно милая от голубой ленточки, бантом которой схвачены на темени её бело-брысье волосики, во все глаза смотрит в зверинце на покатую шершавую громаду слона, тупо и величаво обращённую к ней большой широко-лобой головой, лопухами облезлых ушей, голо торчащими клыками и толстой, горбатой трубой низко висящего хобота с острым хоботком и чёрно-резиновой воронкой на конце. Тонким голоском:

— Мама, отчего у него ноги распухли?

Мама смеётся. Но смеётся и сам слон. Склоняя голову, уставясь лбом, смотрит и он на девочку, и в его свинных, раскосых глазках явно блещет что-то хитрое и весёлое. Он от удовольствия весь раскачивается, начинает волновать хобот — и вдруг, в трогательной беспомощности, в полной невозможности иначе выразить свои чувства и мысли, крутым изгибом взвивает его кверху, показывая его исподнюю влажно-телесную мякоть, рога обнажённых клыков и нелепо-маленький рот между ними, с мучительным наслаждением катит из своих страшных недр глухой гром, рокот, потом мощно и радостно-глупо трубит на весь зверинец.

А за обедом был праздник: прибавили цветную капусту и были гости — полнеющая, но ещё моложавая и красивая дама с черноглазым мальчиком, очень молчаливым и внимательным.

И мама рассказала о слоне и о том, как спросила девочка о его ногах. И девочка поняла, что она сказала смешно и что ею восхищаются, и стала изгибаться, вертеть головкой, неожиданно и не в меру звонко захохотала.

— Прелестный ребёнок! — задумчиво сказала дама, без стеснения глядя на неё.

И она заболтала ногами и капризно повторила:

— Нет, мама, правда: отчего у него ноги распухли?

Но мама улыбнулась уже нарочно и заговорила с дамой о чём-то другом, совсем неинтересном. И тогда, искоса поглядывая на мальчика, девочка ёрзнула со стула, подбежала к буфету и, чтобы опять обратить на себя внимание, стала пить воду прямо из горлышка графина, задыхаясь, булькая и обливая себе подбородок. А когда совсем облилась и захлебнулась, бросила и заплакала.

1930

---

## БЛАГОСКЛОННОЕ УЧАСТИЕ

В Москве, — ну, скажем, на Молчановке, — живёт «бывшая артистка Императорских театров». Одинока, очень не молода, широкоскула, жилиста. Даёт уроки пения. И вот что происходит с ней каждый год в декабре.

Однажды в воскресенье, — положим, в очень морозное, солнечное утро, — раздаётся в её передней звонок.

— Аннушка! Звонят! — испуганно кричит она из спальни кухарке.

Кухарка бежит отворять — и даже отступает: так блестящи, нарядны гости — две барышни в мехах и белых перчатках и фронт студент, их сопровождающий, насквозь промёрзший в своей лёгкой шинельке и тонких ботинках.

Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озарённой сквозь морозные узоры окон, затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнована, — знает, в чём дело, — густо напудрила лицо, надушила крупные, костлявые руки...

— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать,— с очаровательной улыбкой и самой светской непринуждённостью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение.

— Это вы нас простите за беспокойство, — с отменной почтительностью перебивает её студент, кланяясь и целуя её руку. — Являемся к вам с усердной и покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников пятой московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников.

— Господа, если можно, увольте! — очаровательно начинает она. — Дело в том...

Но барышни нападают на неё так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытке отказать, склониться...

После того проходит целых три недели.

И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но, среди всех своих самых разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живёт только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех её улицах и перекрёстках: «На дне», «Синяя птица», «Три сестры», Шаляпин в «Русалке», Собинов в «Снегурочке», Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина... Но теперь всякому бьёт в глаза только та маленькая зелёная афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает, не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы, — без конца выбирает, что петь, с утра до вечера пробует голос, разучивает то то, то другое... Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит её в ужас: и оглянуться не успеешь, как настанет это страшное двадцать седьмое декабря!

Она прекратила давать уроки, никого не принимает и сама не выходит из дому, боясь схватить бронхит, насморк. С чем именно выступить? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста! Какое нужно проявить тут чутьё, сколько вкуса, такта, опыта! После долгих и мучительных сомнений, колебаний дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своём старом, неизменном репертуаре, — снова проходит три вещи: одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей женской души, безумно жаждущей счастья и жертвенно от этого счастья отрекающейся; другую — полную блеска колоратуры и русской удали; и затем — свою коронную: «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц», которой, как всегда, можно блеснуть особенно, дать её «с огоньком», игриво, молодо и оборвать на таком отчаянно-высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит двенадцать вещей на бис... Дни мелькают, мелькают, и в душе у неё уже растёт такое чувство, точно близится час её казни. Однако, она работает, работает. И вот настает, наконец, этот последний, роковой день!

Утром двадцать седьмого декабря все силы её доведены до предельного напряжения. Утром ещё одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поёт уже как бы на эстраде: полным голосом, со всей выразительностью художественности, проходит с аккомпаниатором всю свою программу — и чувствует: работа не пропала даром! Но кто всё-таки знает, что ждёт её вечером? Триумф или гибель? Лицо её пылает, руки как лёд... После репетиции она идёт в свою спальню, раздевается

и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное — зернистой икры, холодного цыплёнка и портвейну: так, в день выступления, завтракают все большие артистки. Покушав, она велит задрнуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину, а сама закрывает глаза и, в темноте, без единого движения, лежит, стараясь ни о чём не думать, ничем не волноваться, час, другой, третий — вплоть до шести часов вечера. В шесть вскакивает: резкий звонок в передней — парикмахер!

С бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами, накапывает она себе ледяной рукой целых сорок капель эфирно-валерьяновой микстуры и, в халатике, с распущенными волосами, как дева, которую пришли убирать, готовить на заклятие, садится перед зеркалом. Парикмахер входит, предварительно согрехи руки над плитой в кухне, и говорит одобряюще:

— Чудная погода! Изрядный морозец, но чудно!

Он работает изысканно и медленно, чувствуя и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя её артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно-лёгкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах, равно как и твёрдой верой в её предстоящий успех, мало-помалу успокаивает её, возвращает ей силы, мужество, надежды... Но когда он кончает своё дело и, осмотрев её со всех сторон, убеждается, что лучше уже ничего нельзя сделать из этой великолепной завивки и причёски, уходит, а часы в столовой медленно бьют семь, у неё опять начинает замирать сердце: в восемь с половиной за ней явятся!

Затем бьёт восемь, а она всё ещё не готова. Она опять пила капли, — на этот раз гофманские, — она надевает своё лучшее бельё, румянится, пудрится... В восемь же с половиной раздаётся новый звонок, который поражает её, как громом: приехали! Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, — она тоже сама не своя, — не может сразу отворить дверь...

Они — на этот раз два студента — приехали в огромной старозаветной наёмной карете, запряжённой двумя исполинскими клячами. Они тоже франты и тоже без калош, и ноги у них тоже окаменели с морозу. В гостиной, как всегда, холод и скучно горят пахнущие керосином лампы. Они терпеливо сидят в одних мундирах, блестя зеркальными головами, благоухая фиксатуаром и бриллиантином, с большими бантами из белого атласа на груди, точно шафера. Они сидят молча, ждут вежливо и стойко, смотрят на запертые со всех сторон двери, на мёрзлые стёкла, мерцающие синими и красными огоньками, на роля, на портреты великих певцов и певиц по стенам, слушают глухой звон и гул трамваев за окнами, тревожные шаги Аннушки и самой артистки за дверями... И так проходит четверть часа, полчаса, сорок минут... как вдруг одна из дверей неожиданно распахивается. Они, как по команде, вскакивают с мест, а артистка быстро, с очаровательно-беспечной улыбкой, идёт к ним навстречу:

— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать... Что, разве уже пора? Ну, что же, едем, если угодно, я готова...

На скулах её даже сквозь румяна и пудру горят багровые пятна, изо рта пахнет ландышевыми каплями, от рук кремом, от воздушного платья из дымчатого газа духами. Она похожа на Смерть, собравшуюся на бал. На её сложную и высокую причёску, на завитые и взбитые со всех сторон серые волосы накинута что-то чёрно-кружевное, испанское, на голые плечи с огромными клячицами — шубка из белой кудрявой козы... И студенты со всех ног кидаются за ней в прихожую. Тот, что худее и выше, хватает её ботики и, быстро став на одно колено, ловко надевает их на её чёрные атласные туфельки с алмазными пряжками и слышит, как

пахнет мышами из-под её подмышек, когда она наклоняется, чтобы помычь ему, а вместе с тем и скромно одёрнуть подол на белые кружевные зубчики панталон...

Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, — «в убежище сюда направил нас господь», — и с особенным блеском: «Я б тебя поцеловала...» Критикан старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой — весьма недвусмысленно: покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй... И всё-таки остался в дураках: успех артистка имела колоссальный, её без конца вызывали и заставляли бисировать — особенно чуткая молодёжь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно и бившая в сложенные ковшиком ладони с страшной гулкостью.

1930

## ГРИБОК

Сквозь утренний морозный туман и утренние дымы города — розово-янтарное солнце, мягко, весело, уютно озаряющее номер «Северной Гостиницы». Внизу, за окнами, огромная людная площадь, весь серый от инея плечистый, коренастый царь-мужик на своём упрямом и могучем свиноподобном коньке, возбуждающие звонки, гул и скрежет трамваев, всё время кругами обходящих его... Хорош Петербург! Приезжий только что из Москвы, отлично выспался за ночь в тёплом купе, за которым всю ночь густо шли чёрно-зелёные, в белом сахаре, еловые леса, и впереди у него целый день суеты и наслаждений: солнце, мороз, резвый лихач, сизые ущелья великолепных проспектов и улиц, одно интересное свиданье, другое, ещё более интересное, потом завтрак с одним приятелем и обед с другим... Приезжий раскрыл чемодан, разбросал что куда попало — на постель, на кресла, на бархатную скатерть круглого стола перед диваном, поспешно бреется, моется, переодевается... Сейчас коридорный принесёт до теплоты расчищенные ботинки, а лакей во фраке — горячий кофе и горячий калач, он же сам уже будет к тому времени весь сиять чистотой, нарядностью, моложавостью — белоснежной рубахой, мраморными воротничками, шёлковым красивым галстуком, шёлковыми чёрными подтяжками, яркими глазами, нежностью и свежестью припудренных щёк, мокрым блестящим пробором... Вдруг осторожный стук в дверь.

— Кто там?

Стук громче.

— Кто это? Войдите!

И дверь тихонько створяется и в комнату несмело заглядывают лисьи глазки небольшого лысого человечка:

— Виноват, вы господин такой-то?

— Да. Что вам угодно?

— Позвольте рекомендоваться: делопроизводитель такого-то учреждения, из Твери. Находясь по личным надобностям в Петербурге, проживаю рядом с этой гостиницей, в номерах таких-то. Вышел купить кое-чего к утреннему чаю и проходил у вашего подъезда как раз в ту минуту, когда вы входили в него прямо с вокзала. Лицо показалось знакомым, — у вас большое сходство с вашим братцем, живущим в Твери, да вы и сами бываете у нас от времени до времени, — спросил у вашего швейцара ваше имя, отчество и фамилию и убедился, что не ошибся. Счёл, как земляк, долгом представиться и, пользуясь счастливым случаем, поглядеться, побеседовать — между прочим, и кое о чём, вас лично касаю-

шемся и вам ещё, может быть, неизвестном, а меж тем весьма значительном... Разрешите войти на минутку?

— Простите, я очень спешу. Очень рад, но... И в чём, собственно, дело?

— Прекрасно, прекрасно, навещу вас, если позволите, вечером или завтра утречком...

— К сожалению, я вернусь нынче очень поздно..

— Ну, тогда завтра. Во всяком случае, надеюсь, ещё увидимся, — я пробуду здесь ещё с недельку. А что до дела, то позвольте пока, до более подробного разговора, изложить его вкратце. Я счёл долгом немедленно предупредить вас о нём, собственно, по той причине, что заключается оно вот в каких печальных обстоятельствах: дом, купленный, как вам известно, не так давно вашим братцем в Твери на такой-то улице, неминуемо обречён на гибель: в нём грибок. Вашего брата злостно обманули. Дом новый, прекрасный, продан за бесценок, но именно постому-то и продан так: в нём грибок, от которого, как вам опять-таки должно быть известно, нет совершенно никакой защиты. Конечно, братец ваш мог бы поторопиться перепродать его. Но несчастье усугубляется тем, что теперь уже весь город знает, что в нём грибок. Так что теперь его даже и за грош никто не возьмёт.

— Очень благодарю вас за внимание. Но простите — стоило ли вам спешить с такой печальной вестью! Да и зачем, раз дело, как вы говорите, совершенно безнадежно?

— Увы, не скрою: вполне безнадежно.

— Ну и бог с ним совсем! Какой грибок, что за грибок?

— А вот я вам сейчас расскажу.

— Но повторяю — я очень спешу.

— Не беспокойтесь, я в двух словах. Изволите ли видеть: всякое жилище, построенное из сырого леса, который заражён так называемым «домовым грибком», то есть известного рода червяком-вредителем, неминуемо превращается в течение некоторого (и часто даже очень короткого) времени в труху, в прах. Вредитель этот, размножаясь и распространяясь с поразительной быстротой в том древесном материале, который стал его, так сказать, случайным пристанищем, буквально пожирает строенье. Для примера приведу вам случай, недавно опубликованный в газетах и имевший место в Челябинске: там в один год погибло ни более ни менее, как целых тридцать домов, — цифра поистине ужасная! В один год они были заражены и разрушены с верху до низу! Если же принять во внимание, что дом вашего брата...

Кончается всё это тем, что приезжий убивает делопроизводителя из Твери кувшином с умывальника и отдаётся в руки правосудия.

1930

## КАПИТАЛ

Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю армарку:

— Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!

Высокий русский мужик в тёплой шапке на затылок идёт в толпе с огромным белым хлебом подмышкой и на ходу набивает им рот, жуёт, сткидывая голову назад, раздувая ноздри:

— А почём этот квасок?

— Орёл вся бутылка, семитка стакан!

— А на грош не отольешь?

— На грош, милый, и воробей не мочится!  
 Мужик жуёт, думает. Потом со вздохом, но твёрдо:  
 — Нет, на семитку не взойду. Капитал не позволяет!

1930

---

## ПЕРВЫЙ КЛАСС

Подмосковный дачный поезд, весь из вагонов только первого и второго класса. Идёт шибко, ровно, но вдруг замедляет ход — и в одном первоклассном вагоне происходит нечто небывалое: кондуктор вталкивает в него какого-то рваного, измазанного глиной мужичишку.

— Ради бога, простите, господа, — рабочий с пути, посылается с срочным поручением в Быково, не успел, дурак, на паровоз вскочить... Только до Быкова...

Все на мгновение даже теряются от такой нелепости, но быстро овладевают собой, сдерживаются. Поезд опять идёт полным ходом и в вагоне опять всё как будто попрежнему: курят, беседуют, смотрят в окна... Однако, всем неловко, всем не по себе — беседуют уже притворно, курят с преувеличенной беззаботностью... А про него и говорить нечего: он стоит возле двери, готовый провалиться сквозь землю от всех этих панам, чесучёвых костюмов, больших, полных тел, сытых лиц. Он не знает, куда глаза девать, рукавом вытирает потный лоб, держа в левой руке тяжело висящую до пола сумку с какими-то чугунными брусками, гайками, клещами...

И длится эта чепуха, эта мука целых тридцать пять минут.

1930

---

## КАНУН

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защиты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то вроде начинки. А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, висят с грядок, страшные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомолы, — все великаны и все рыжие, без шапок, в красных рубахах распояской...

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми ноздрями, всё встаёт и, не глядя на меня, — от пренебрежения ко мне, — всё поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за своё благополучие и строгое достоинство...

Шла, однако, уже осень шестнадцатого года.

1930

---

## ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

— Наш поп — какой он поп? Он дурак, невежа. Мою девку хоронил — спешит, суёт как попало... гроб не даёт поставить в могилу как надо. Можно разве так хоронить? Это не скотина. «Вот съезжу, говорю, в Орёл, ваше священство, схожу в консисторию, тогда узнаете, как надо хоронить: намнут вам холку очень прекрасно!» — «Не смей, кричит, говорить со мной так вольно!» — «Ну нет, мол, батя, потише! Теперь, говорю, это время прошло! Вот дай с войной управимся, мы вам вашу «Газету Копейку» припомним! Узнаете тогда «до победного конца!»

1930

## ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими чёрными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казённая почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьёзный и темнолицый, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошёл в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и уютно: новый, золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался ещё стройнее в одном мундире и в длинных сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провёл бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начёсами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлинённое лицо с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить.

И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина всё время пылливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой, — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на неё. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но всё, всё... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.

Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал.

— Всё проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог даёт, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, всё одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всём прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И всё стихи мне изволили читать про всякие «тёмные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Всё проходит. Всё забывается.

— Всё проходит, да не всё забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мёртвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё самолюбие, но скажу откровенно — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня ещё оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, всё это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у неё.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, всё меняя чёрные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьёзной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, всё глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать её?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И всё, говорят, богатеет. Деньги в рост даёт.

— Это ничего не значит.

— Как не значит. Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал во-время — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце жёлто светило на пустые поля, лошади ровно шлёпали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув чёрные брови, и думал:

— Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоянной горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?

И, закрывая глаза, качал головой.

1938

---

## ВОЛКИ

Тьма тёплой августовской ночи, еле видны тусклые звёзды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками — мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и каргуз и плечи малого в замашной рубаше на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне

был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унёс её — во-время выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили её, уже околевавшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

— Волков боюсь!

Спички освещают удлинённое, грубоватое лицо юноши и её возбуждённое широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает её круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжёт и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает её и целует то в шею, то в щёку, ищет её губы. Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

— Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма ещё гуще слепит тёплой чернотой, в которой всё кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натыкается на что-то — малый круто осаживает лошадей.

— Волки! — вскрикивает он.

В глаза бьёт зарево пожара в дали направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь чёрным и весь зыбко дрожит, как дрожит и всё поле перед ним в сумрачно-красном трепете: от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нём тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется всё жарче и грознее, охватывает горизонт всё выше и шире — кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплёт какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зелёный блеск, то красный, — прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьётся по взмётам...

Где-то над оврагом лошади ещё раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она сразмаху полетела в козлы и рассекла щёку обо что-то железное. Так и остался на всю жизнь лёгкий шрам в уголке её губ, и когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась:

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и тёмные ночи, молотьбу на гумне, омёты новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звёзд. — Волки испугали, лошади понесли, — говорила она. — А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она ещё не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Инженер А. МАРКИН

★

## СИБИРЬ ЗОВЕТ

### КРАЙ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**Я**стою у карты нашей Родины, мысленно повторяю знакомые маршруты и, полный ещё не остывших впечатлений, всё думаю об этом чудесном крае... Вот здесь, от Урала до Тихого океана, лежит огромная страна. Сотни Бельгий могли бы разместиться на её площади. Это Сибирь, «океан» суши, в три раза больший, чем вся европейская часть СССР. Несметные богатства таятся здесь в недрах и на поверхности.

Более трёх веков русские люди осваивали эти необъятные просторы. Землепроходцы врвались в глухую тайгу, плыли на утлых стругах и плотах по бурным неведомым рекам, переваливали через горные хребты.

На рубеже XIX и XX веков работы в Сибири приняли такой размах, какого не знал Запад. Великая Транссибирская железнодорожная магистраль пересекла весь сибирский континент и вышла к Тихому океану. И долгое ещё время иностранные специалисты учились у русских инженеров строительному искусству, беря за образец грандиозные мосты через Иртыш и Обь, Енисей и Амур. Благодаря усилиям переселенцев из центральных районов страны на востоке росло производство знаменитой сибирской пшеницы, сливочного масла, мяса. Прославленная сибирская пушнина и золото поднимали престиж России на мировой арене.

Зарубежные капиталисты жадно рвались к сокровищам Сибири. Моргановское «Северо-восточное сибирское акционерное общество» грабило Чукотку. Так называемая «Международная компания» с Мак-Кормиком во главе наживалась на продаже в Западной Сибири жатвенных машин. Герберт Гувер, впоследствии президент США, организовал «Стальной трест» для эксплуатации сибирского леса, золота, цветных металлов. Сибирская «золотая лихорадка» трясла не только Уолл-стрит, но и его конкурента — лондонское Сити. В дореволюционное время в Сибири орудовало свыше двадцати английских монополий. Кровавые ленские события 1912 года произошли на приисках английской компании Лена-Голдфилдс.

Американские империалисты вынашивали далеко идущие планы. Они мечтали захватить Северную и Восточную Азию и превратить Тихий океан в закрытое «пан-американское озеро», лелеяли надежду овладеть Сибирью путём сооружения под Беринговым проливом тоннеля и создания железной дороги «Транс—Аляска—Сибирь». Железнодорожный король Эдвард Гарриман пытался заключить с царским правительством сделку на постройку дороги протяжением шесть тысяч вёрст — от мыса Дежнёва до Иркутска. Рокфеллер настойчиво предлагал царю продать ему Камчатку.

В те времена слово «Сибирь» ассоциировалось в представлении нашего народа с понятием «каторга». С запада на восток весь край пересекал старый Сибирский тракт, который брал своё начало в Москве, на бывшей Владимирке — ныне шоссе Энтузиастов. По этой дороге скорби и слёз тысячи русских людей, закованных в цепи и кандалы, шли пешком до Нарыма, Нерчинска, Акатуя.

Сразу после Великого Октября президент США Вильсон вместе со своими подручными Барухом, Гувером, Джоном Фостером Даллесом, Буллитом срочно организовал вооружённую интервенцию в Сибири. Её начало ознаменовалось созданием «Русского

отделения Военно-торгового совета США» под руководством Даллеса. Во Владивостоке открылись три американских банка. Банда бизнесменов снабжала Колчака сружьем, терроризовала население, захватывала земли, леса, месторождения полезных ископаемых. Грабёж Сибири принял зловещий размах. Разгром интервентов героической Красной Армией спас Сибирь и её богатства для нашего народа.

...Край великого безмолвия — так называли в прошлом этот обширный район России, занимающий северную часть Азии между Уральским хребтом и краевыми хребтами Тихого океана.

...Советская Сибирь. Край неограниченных возможностей, источник неисчерпаемых ресурсов. Трудно даже представить себе те перспективы, которые открывают пока ещё не развёрнутые во всю свою мощь производительные силы этого континента. Здесь сосредоточен основной массив важнейших природных богатств СССР. На долю Сибири приходится 80—90 процентов запасов гидроэнергии, угля, цветных и редких металлов, более половины — железных руд, три четверти — всех лесов страны. Сибирские просторы составляют 80 процентов общего сельскохозяйственного фонда земель.

К овладению сибирским колоссом Советское государство приступило с обдуманым стратегическим планом. Сначала надо было создать на востоке индустриальную базу. Для хозяйственного освоения новых районов требовалось прежде всего много металла. Без него нельзя построить заводы и фабрики, оснастить машинами предприятия и сельское хозяйство, проложить железнодорожные пути. И вот в самом преддверии Сибири в 1932 году сооружается огромный промышленный комбинат. Решающими пунктами индустриализации были намечены Урал и Кузбасс, разделённые расстоянием в две тысячи километров. Это мировые центры запасов железа и угля. «Заводской двор» Урало-Кузнецкого комбината занимает огромную территорию. Этот промышленный гигант сыграл исключительную роль в социалистическом строительстве в годы первых пятилеток. Во время Великой Отечественной войны каждый второй снаряд, выпущенный по фашистам, был изготовлен из стали комбината.

Опираясь на мощь Урало-Кузнецкого комбината, советские люди повели наступление дальше на восток, строили крупнейшие промышленные предприятия, поднимали сельское хозяйство, стальными нитями связывали друг с другом населённые пункты.

Восточные районы СССР занимают большое место в генеральной программе, намеченной Коммунистической партией и Советским правительством по дальнейшему развитию тяжёлой индустрии и созданию материально-технической базы коммунизма.

На востоке нашей страны создаются центры производства металла, машин, топлива, призванные сыграть видную роль в новом подъёме социалистической экономики и укреплении обороноспособности нашей Родины. Успешное освоение сибирских целинных земель поможет быстрейшему претворению в жизнь исторической задачи, поставленной январским Пленумом ЦК КПСС, — довести в ближайшие пять-шесть лет валовой сбор зерна не менее чем до 10 миллиардов пудов в год и увеличить производство основных продуктов животноводства в два — два с лишним раза.

Подъём всех производительных сил Сибири имеет огромное значение для народного хозяйства Советского Союза в целом. Рост тяжёлой промышленности позволит ввести в действие далеко ещё не использованные резервы восточных районов.

### СИБИРСКИЕ МАСШТАБЫ

Чувство каких-то новых, совершенно изумительных масштабов испытывает каждый впервые приехавший в Сибирь.

Сразу за Уральским хребтом начинается Западная Сибирь. Транссибирский экспресс много часов несётся по ровной, как стол, низменности. Надо покрыть более 1700 километров, чтобы осталась позади эта страна. На широчайшей площади распластались Барабинская и Кулундинская степи, плодородные земли «Сибирской Италии» — Минусинской котловины. В будущем они в состоянии дать пшеницы и продуктов животноводства больше, чем ныне производят Соединённые Штаты Америки. Уже сейчас мно-

где расположенные здесь передовые колхозы и совхозы представляют собой гигантские фабрики сельскохозяйственной продукции.

...Помню, зимой 1952 года большая группа учёных и специалистов, направленных Академией наук СССР для научно-технической помощи Восточной Сибири, ехала в Иркутск. Часы долгого пути мы коротали в беседах о будущем края. Эта тема была неистощимой и волнующей. На карте набрасывались новые тысячекилометровые транспортные магистрали, намечались места будущих гидроэлектростанций, экономических спорных пунктов.

Большой знаток Сибири, профессор Н. Н. Колосовский представлял нашему воображению самые оригинальные проблемы. Академики В. М. Родионов и Б. А. Казанский горячо рассуждали о новых индустриальных очагах химической промышленности. Часто в дверях нашего купе появлялась внушительная фигура академика А. В. Винтера. Он внимательно прислушивался к оживлённому разговору, иногда делал замечания, то и дело показывая в окно вагона, словно призывая в подтверждение своих доводов пространства, которым нет ни границ, ни конца...

Западная Сибирь располагает огромными энергетическими фондами. При полном использовании её реки могут вырабатывать ежегодно свыше 100 миллиардов киловатт-часов электрической энергии.

Директивами XIX съезда КПСС предусмотрено ввести в действие в пятой пятилетке крупные гидроэлектростанции общей мощностью свыше четырёх миллионов киловатт. В увеличении производства электроэнергии видную роль сыграют и сибирские новостройки.

На Верхнем Иртыше уже вступила в строй Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и началось сооружение Бухтарминской ГЭС. На реке Оби — одной из крупнейших рек мира — развернулось строительство Новосибирской станции. Вслед за ней будет создан каскад других гигантских гидроэлектростанций.

Пуск Новосибирского гидроузла имеет большое значение для всей Западной Сибири и Алтайского края. Новая ГЭС будет снабжать дешёвой электроэнергией промышленность и сельское хозяйство прилегающих районов. Особенно широкие перспективы открываются здесь для электрификации сельского хозяйства с крупным зерновым производством и животноводством.

В недалёком будущем скажет своё веское слово великан Енисей. Сбудутся поистине пророческие слова А. П. Чехова о том, что на Енисее жизнь «началась стоном, а кончится удачью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан... Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!»

Можно сказать, что между Енисеем и берегами Тихого океана находится самый мощный в мире плацдарм «белого угля».

На Иртыше, Оби, Енисее, Ангаре, Лене, Амуре предстоят работы грандиозного размаха — строительство целых каскадов гидроэлектростанций, сибирских морей, судоходных магистралей, оросительных систем. Масштабы этих новых сооружений оставляют далеко позади всё, что дала до сих пор мировая гидроэнергетика. Достаточно сказать, например, что мощность отдельных гидроузлов, проектируемых на Енисее и Ангаре, будет более чем в два раза превышать мощность Куйбышевской или Сталинградской ГЭС на Волге.

В громадной расселине прибайкальских гор сияют воды Байкала. Раскинувшись глосой, равной по длине расстоянию от Москвы до Ленинграда, Байкал представляет собой самое большое пресноводное озеро Азии и Европы, самое глубокое из озёр земного шара. В этом огромномместилище больше воды, чем в Балтийском море. В Байкал впадает свыше трёхсот рек, а вытекает только одна Ангара.

Эту величественную водную артерию можно сравнить с чудесным алмазом, который нельзя делить, а нужно использовать только целиком. Каждый кубометр воды реки должен отработать для советского народа. Поэтому проектируется сразу весь ангарский каскад мощных гидроэлектростанций. Вместе с ГЭС на притоках он может

дать столько электроэнергии, сколько производится во Франции, Швеции, Бельгии, Голландии, Испании, Дании, Финляндии и Австрии, вместе взятых. Этого достаточно для питания электрическим током промышленных предприятий, общая мощность которых равна примерно двадцати Днепрокомбинатам. Ангарские гидроузлы будут ежегодно экономить не менее 50 миллионов тонн натурального топлива. Чтобы добыть, перевезти и сжечь на тепловых электростанциях такое количество угля, потребовалось бы 500 тысяч рабочих.

У Ангары более «уравновешенный характер», чем, например, у её соседки Лены, которая зарождается в горах недалеко от Байкала и весной бушует, заливая пойму на десятки километров, а летом резко мелеет. Дело в том, что Байкал регулирует сток Ангары, который остаётся почти неизменным в течение всего года. Эта особенность реки имеет существенное значение.

Круглогодичная обеспеченность запасами воды даёт возможность ангарским гидроэлектростанциям использовать полную мощность гидротурбин в течение семи с лишним тысяч часов в году. Такие рекорды в практике мировой гидроэнергетики встречаются чрезвычайно редко. Вместе с тем малый весенний паводок на Ангаре позволяет сократить материальные затраты и время на сооружение устройств, ограждающих котлованы. В частности, можно обойтись без бетонной водосливной плотины и ограничиться только земляной глухой плотиной. Наличие природного озера Байкал делает ненужным строительство на Ангаре громадных искусственных водохранилищ. Всё это говорит за то, что электроэнергия гидроэлектростанций на Ангаре будет самой дешёвой в стране.

Сейчас полным ходом идёт строительство Ангарской ГЭС. В скором времени первая плотина на Ангаре не только полностью перекроет падение реки от её истока, но и подымет уровень Байкала на один-полтора метра. Водоохранилище ГЭС станет залём Байкала, который подойдёт вплотную к Иркутску.

Население Иркутской области готовится к важному в своей жизни событию. В эти предпосылочные месяцы в прилегающих районах всё идёт под знаком подготовки к приёму дешёвой и обильной электроэнергии Ангарской ГЭС.

Побывав в здешних местах, я узнал, между прочим, об одном из первых исследователей Байкала. К сожалению, о нём сохранилось очень мало сведений, поэтому читателю, быть может, будет интересно это моё сообщение.

Между Баргузинским и Икатским хребтами, в широкой долине на берегу реки, расположился посёлок Баргузин, издавна считавшийся своеобразными воротами в тайгу. Здесь находились в ссылке, после отбытия Нерчинской каторги, несколько декабристов, и среди них — братья Вильгельм и Михаил Кюхельбекеры. Вильгельм прожил в Баргузине недолго. Ему было разрешено перебраться в Тобольск, где он и умер. Михаил пользовался большой любовью местного населения. Он лечил бурятов, сам обрабатывал своё поле, у него баргузинцы впервые учились сельскому хозяйству и тонкорунному овцеводству. Оказывается, Михаил Карлович занимался и научной работой. Пытаясь разгадать тайну Байкала, он вёл кропотливые наблюдения, производил промеры глубин озера. Ещё до своей ссылки М. Кюхельбекер живо увлекался проблемами экономического подъёма Сибири.

С грустью мы осмотрели ветхий рубленый дом, где жили ссыльные, но никто в Баргузине уже не мог показать могилу Кюхельбекера.

Прошу прощения у читателя, что говорю сейчас совсем не на ту тему, которую хотел предложить его вниманию. Но, повидимому, не только одного автора этой статьи волнует вопрос о сохранении для целых поколений множества интереснейших документов, фактов и памятников былого.

Спустя некоторое время я был в Улан-Удэ и между делом заглянул в местный музей. Увы, подробных материалов о баргузинских декабристах и здесь не нашлось. Работник музея беспомощно разводил руками, однако, вспомнив, показал мутную маленькую фотографию. На ней я увидел братскую могилу Михаила Кюхельбекера и других революционеров. Оставшиеся в живых их товарищи заботливо окружили огра-

дой семь холмиков с белыми крестами и прикрепили надгробную доску. С помощью лупы удалось прочесть текст, составленный из калашных медных букв:

Здесь узники вместе наслаждаются покоем,  
Не слыша окриков приставника.

(Библия, Книга Иова, гл. 3, стих 18).

Царские чиновники злобствовали, но ничего не могли сделать, ведь надпись-то была цитатой из «священной» библии.

Как жаль, что мы так мало знаем о большом трудолюбце Михаиле Кюхельбекере...

Энергоресурсы предопределяют характер и будущее размещение предприятий тяжёлой промышленности на территории Сибири.

Электроэнергия необходима в любом деле. Однако не везде она может быть применена экономно. Есть производства, развитие которых наиболее целесообразно лишь при наличии дешёвой электроэнергии, иначе они будут выпускать слишком дорогую продукцию. Достаточно сказать, например, что для получения тонны алюминия нужно затратить до 20 тысяч киловатт-часов электроэнергии, тонны магния — 30 тысяч; тонны искусственного каучука — до 17 тысяч.

Вот почему Коммунистическая партия и Советское правительство решили строить в Сибири в первую очередь электроёмкую промышленность — алюминиевые предприятия, заводы ферросплавов, необходимых для производства самой лучшей стали, а также машиностроительные заводы с высокими электронагрузками. Обилие дешёвой электроэнергии приведёт к коренному пересмотру технологических процессов в промышленности. Откроются широчайшие возможности для электрификации железнодорожного транспорта, сельскохозяйственного производства, дальнейшего улучшения бытовых условий.

Энергетика и электрификация Сибири развиваются как бы единым мощным фронтом. Растёт парк самых разнообразных мобильных и стационарных двигателей.

Существенное значение приобретает использование энергии ветра. Помимо небольших ветроустановок, здесь представляется возможным развернуть строительство крупных ветроэлектростанций и целых кустов из них. Это позволит значительно увеличить энергооборужённость сельского хозяйства.

Вместе с тем сейчас, и особенно в дальнейшем, возрастающую роль в экономике Сибири будет играть также и тепловая энергетика. Промышленность, сельскохозяйственное производство, коммунальное хозяйство требуют колоссальных количеств пара и горячей воды. Несмотря на техническую возможность превращения гидроэлектроэнергии в тепловую, удовлетворение огромного спроса на тепло за счёт гидроэлектростанций является невыгодным. Поэтому в Сибири наряду с ГЭС и конденсационными электростанциями работают и будут строиться новые теплоэлектроцентрали.

Масштабы развития теплоэнергетики имеют прямую зависимость от запасов топлива. Какими же ресурсами горючего обладает Сибирь?

### ХЛЕБ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие тяжёлой индустрии и, следовательно, всего народного хозяйства в значительной степени зависит от уровня угледобычи в стране. «...Без угольной промышленности,— говорил В. И. Ленин,— никакая современная промышленность, никакие фабрики и заводы немислимы. Уголь — это настоящий хлеб промышленности»<sup>1</sup>.

Вряд ли кто-либо из специалистов возьмёт на себя смелость определить с достоверной точностью запасы угля в сибирских недрах — так они велики. Мы уже говорили, что среди крупнейших на земном шаре каменноугольных месторождений одно из первых мест занимает Кузбасс. Его фонды достигают 500 миллиардов тонн отличного угля. Этого количества хватило бы на тысячу лет всем действующим ныне тепловым электростанциям мира.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 461.

Но если проделать путь примерно в 700 километров на восток от Кузбасса, то за Красноярском и Тайшетом снова попадаешь в царство угля. Это не просто какой-либо определенный район. Перед вами расстилается обычный для Сибири привольный ландшафт. Угля нигде не видно. Однако всё, что находится на территории вплоть до Байкала, лежит на скрытых мощных пластах Иркутского угольного бассейна. Здесь всюду — под Сибирской железнодорожной магистралью, городами и сёлами, тайгой и реками — залегают в громадном количестве каменный уголь.

Между реками Енисеем и Леной на необозримой площади расположен Тунгусский бассейн. Он ещё мало изучен, и никто из геологов не решается пока определить его запасы и границы. Общие экспертные оценки формулировались уже давно как «многие миллиарды тонн». Повидимому, залежи угля здесь больше, чем в Кузбассе, в десятки, а может быть, и сотни раз. Тут же обнаружены крупные месторождения железной руды, полиметаллов. Сама природа как бы подсказывает использовать такое благоприятное сочетание для сооружения металлургических заводов, энергохимических комбинатов и других предприятий тяжёлой индустрии.

Значение этих естественных богатств (мы уж не говорим о торфе, лесе, сланцах, природном газе) трудно переоценить. Совершенно очевидно, что топливная база Сибири ни в какой мере не может ограничить развитие теплоэнергетики.

Важно отметить, что многие пласты угля выходят здесь на поверхность земли или залегают неглубоко. Открытые разработки, как известно, дают исключительный эффект. В этом случае не требуется сложных шахтных сооружений, потребность в рабочей силе сводится к минимуму. Машинист экскаватора буквально за несколько минут нагружает углем целый состав вагонов непосредственно из пласта.

Широкое поле деятельности открывается перед энергохимиками и инженерами, работающими в области подземной газификации угля. Новая техника, дальнейшее повышение коэффициента полезного действия электростанций за счёт применения высокого давления и повышенных температур пара, внедрения более совершенных циклов позволят резко снизить себестоимость электроэнергии.

Энергетика и химия — два могучих рычага развития производительных сил Сибири. Комбинирование является основной технико-экономической предпосылкой создания комплексной системы взаимно связанных специализированных крупных предприятий, находящихся друг от друга на большом пространстве. Эта высокая степень организации производства будет характерной для Сибири.

Благоприятные условия создаются здесь для развития промышленности синтетических органических веществ из угля и древесины — искусственного каучука, пластических масс, строительных материалов, искусственного волокна, спиртов, эфиров, красителей, лекарственных веществ. Мощные комбинаты смогут выпускать в больших количествах химические удобрения для сельского хозяйства.

### «СТРАНА, ОРОШАЕМАЯ РЕКОЙ ЛЕНОЙ»

К северо-востоку от Иркутска лежит огромная область, энергетические возможности которой исключительно велики.

На карте эту территорию причудливой голубой лентой пересекает река Лена. Преодолевая расстояние в 4 500 километров, она ежегодно выносит в Северный Ледовитый океан более 500 миллиардов кубических метров воды. Наблюдая могучий бег Лены и сравнивая её с реками европейской части СССР, невольно приходишь к той мысли, что обычные наши инженерные представления о масштабах возможных здесь преобразований всё же очень ограничены.

До Усть-Кута Лену можно перейти вброд. Но дальше она один за другим принимает более 70 крупных притоков. У Якутска её ширина достигает 8, а ещё ниже — 30 километров. В Якутии города, сёла, леспромхозы, дороги жмутся к великой реке; можно без преувеличения сказать, что вся жизнь местного населения неразрывно связана с Леной. И странно, что о великой реке на востоке нашей страны мы ведем слишком мало. Прав якутский поэт Эллий, когда он говорит:

И в стихах и в сказаньях воспеты  
Реки славной Советской земли,  
Много песен сложили поэты,  
Только Лену-реку обошли.

В Якутской АССР до 100 тысяч рек и озёр. Комплексное использование их — задача особенной важности. Очевидно, что основными ключевыми средствами полного раскрытия колоссальных производительных сил республики могут быть главным образом энергетика и транспорт.

Якутские реки отличаются очень неравномерным, капризным режимом. Здесь всё не так, как на западе. Весной — бурное половодье и потом сильный спад. В июле, при жаркой и ясной погоде, опять подъём воды: началось таяние вечной мерзлоты. Затем снова резкий спад.

Для того чтобы водные ресурсы полностью поставить на службу человеку, нужно разработать единую схему эксплуатации целых бассейнов. Почти на всех реках Якутии, включая и Лену, необходимо создать на верхних участках крутые регулирующие водохранилища. Это позволит сделать более равномерным сток, что очень важно для эффективной работы гидроэлектростанций, водного транспорта, орошения. При таких условиях реки этой части Сибири могут в будущем вырабатывать электроэнергию больше, чем дают теперь все электростанции нашей страны.

По своей увлекательности, широте творческих дерзаний, наконец, по самой своей новизне «якутские проблемы», возникающие перед советскими энергетиками и другими специалистами, не находят себе примеров в истории науки и техники. Ведь речь идёт о хозяйственном освоении огромного и ещё слабо изведанного пространства...

В 1638 году из Москвы был послан в Якутию первый столичный и воевода Головин. Сборы в дорогу были долгие и сложные: предстояло преодолеть много тысяч километров — при тогдашних средствах передвижения дело трудное. Головин пробыл в Якутск более двух лет. Теперь на самолёте это расстояние можно покрыть в течение 35 часов.

Когда-то известный путешественник Щукин так охарактеризовал Якутию: Страна, орошаемая Леной, пуста и необитаема». Не столь уж много времени прошло с тех пор, но совсем другой стала эта обширная страна. За годы советской власти выросли крупные города и селения, всё больше развивается новая промышленность, улучшается транспорт, повышается культура. За короткие сроки сделано очень много, а впереди предстоит ещё небывалые по размаху и значению преобразования. Всё без остатка, чем богаты якутские земли, должно быть учтено, изучено и взято в рабочие руки советского народа для практического использования. Потенциальные резервы этих мест поистине неисчерпаемы.

Интересен такой штрих. Неподальку от г. Олёкминска, на живописных берегах Лены, в тайге были обнаружены целые монолиты каменной соли высшего сорта, так называемого «экстра». На участке, размером примерно в квадратный километр, залежи соли составляли почти миллиард тонн. Выяснилось, что её пласты прослеживаются на сотни километров. Сказочные богатства! Но пока что они — почти нетронутый запас.

Если построят тут химические комбинаты, то они дадут ценнейшую продукцию. Это прежде всего редкие металлы, едкий натр для текстильной, химической, нефтяной, писчебумажной и фармацевтической промышленности. Из каменной соли получается также хлор, необходимый во многих производствах, в частности спичечном, фармацевтическом, резиновом, красочном.

После осмотра скважин, немного уставшие от долгого пути, мы уселись на берегу, любуясь величавой красавицей Леной. Мои спутники — якутский геолог А. Бобров и секретарь Олёкминского райкома партии Л. Серкина — заговорили о своём сокровенном. Увлёкшись, мы очутились в недалёком будущем «страны, орошаемой Леной». В солнечных долинах мчались электропоезда. По просекам дремучей тайги «шагали» мачты высоковольтных линий электропередач. Вдали высились корпуса заводов, белели коттеджи новых городов и посёлков. Спокойные воды Лены бороздили лёгкие парусные яхты, громадные тепловозы и баржи. А в недрах земли, в огромных, сверкающих

всеми цветами радуги белоснежных залах люди с помощью электрических машин добывали драгоценную соль...

Сибирь кончается далеко на востоке нашей страны. На восточной и северо-восточной окраине Азии широко раскинулся могучий Советский Дальний Восток — одна восьмая часть территории СССР. Это форпост социализма на двух океанах — Тихом и Северном Ледовитом.

Перспективы энергетики ДВК определяются развитием здесь основы технического прогресса — тяжелой индустрии: черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, нефтяной, каменноугольной промышленности. Широчайшие возможности открываются для дальнейшего расширения производства строительных материалов, целлюлозы, предметов народного потребления, продовольственных товаров.

Природные ресурсы этого колоссального края Сибири ещё мало изучены. Однако уже известные фонды гидроресурсов, угля, нефти, торфа и леса позволяют обеспечить любые масштабы индустриального и сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке. Местные реки в состоянии давать ежегодно столько же электричества, сколько вырабатывалось, например, в прошлом году во всем Советском Союзе. Месторождения углей здесь таковы, что могут полностью удовлетворить все потребности в топливе, в том числе и многих будущих тепловых электростанций.

Электрификация ДВК и всей Сибири является самой насущной задачей. Советский человек должен производить все трудоёмкие работы только машинами и механизмами, наиболее эффективно используя даровые силы природы.

### НА СИБИРСКИХ ЗЕМЛЯХ

Выступая на московском собрании комсомольцев и молодёжи, изъявивших желание поехать на целину, Н. С. Хрущёв говорил, что нам надо на востоке быстрее осваивать новые земли, крепко осесть на них. Многие, сказал Никита Сергеевич, всё ещё находятся под впечатлением литературы, где описывается Сибирь как место царской каторги и ссылки.

В дореволюционное время Сибирью пугали. Перед взором людей, никогда не бывавших там, вставал печальный мир ледяных пространств под мглистым небом, необжитый мрачный край. Как нелепы были эти представления о сибирской природе!

На самом деле Сибирь — огромная солнечная страна. Воздух всегда очень чистый и сухой. В восточной части, например, в течение года бывает 318 солнечных дней — в два раза больше, чем в Москве, и столько же, сколько в Ялте. Слов нет, сибирский климат суров, если иметь в виду зимнее время. В Якутии температура иногда снижается до 40—50°. И всё же холод переносится здесь сравнительно легко, примерно так же, как двадцатиградусный мороз в европейской части СССР. Объясняется это безветрием и малым количеством осадков.

Зато хорошо лето, знойное, энергичное, когда буйно развивается растительность. В течение длительных солнечных дней земля получает огромное количество тепла. В Якутии летом климат такой же, как и во многих районах Средней Азии, с той только разницей, что почва здесь более влажная. В местных колхозах выращивают так называемую душистую пшеницу, сочные кочаны капусты, помидоры, огурцы. Под ярким солнцем наливаются сладким соком арбузы, дыни. Однако всё это возделывается пока на малой площади.

Олёкминский район — эта своеобразная житница Якутии — занимает территорию около 15 миллионов гектаров. Мы поинтересовались: а как с посевными площадями? И, признаться, были поражены, узнав, что пшеницей засевают не больше семи тысяч гектаров, под картофель отведено примерно 400 гектаров, для помидоров и огурцов выделили всего лишь четыре гектара.

В одном из селений, там, где река Бирюк впадает в Лену, наше внимание привлек небольшой участок колхозного поля. Здесь, пока в виде опыта, смекалистые люди посеяли кукурузу. И что же — всходы оказались хорошими. Значит, и в Якутии может

выращиваться эта замечательная фуражная и продовольственная культура. Но это означает также, что неверны утверждения некоторых учёных, будто районы произрастания кукурузы очень ограничены, что это исключительно южное растение.

В поймах рек Олёкмы и Чары, с их кристально прозрачной тёплой водой, мы долго бродили в зарослях тополя, высоких душистых трав. Какие это великолепные пастбища для будущих животноводческих ферм!.. На такой благодатной наносной почве можно снимать миллионы пудов овощей. Но пройдёшь сотни километров вверх по течению этих рек и редко встретишь человека. И то по большей части это охотник с обильной добычей, перегрузившей его лодку, либо рыболов со своими снастями. Безлюдно и в тайге, богатой строевым лесом, малинниками, ягодами и прочими лесными благами.

Я долго смотрел на чистые бирюзовые реки, на уходившую за горизонт лесную дремтливую чащу, на цветущие привольные луга и думал о том, какая интересная и здоровая жизнь ждёт здесь наших молодых патриотов, покорителей целины и тайги, создателей огромных материальных ценностей...

Досадно медленно развивается в Якутии сельское хозяйство. Может быть, и потому, что слишком прочно вошло в традицию надеяться на помощь извне. И действительно, каждое лето по Лене сюда завозят большое количество продовольствия и различных товаров. На пристани в Усть-Куте мы видели горы ящиков и мешков, занявших берег реки на большом расстоянии. Эти грузы проделали тысячи километров пути и теперь ждали отправки вниз по Лене. Сколько непроизводительных расходов, средств, труда, времени! Везут хлеб, консервированные овощи, мясо, масло, молочные продукты, рыбу — всё то, что с успехом могло бы дать местное сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Ещё сто лет назад И. А. Гончаров писал в своих письмах: «Подъезжая к р. Амге (это уже ближе к Якутску), я вдруг как будто перенёсся на берега Волги: передо мной раскинулись поля, пестреющие хлебом. «Ужели это пшеница?» — с изумлением спросил я, завидя пушистые, знакомые мне золотистые колосья. «Пшеница и есть, — сказал мне человек, — а вон и яровое!» Писатель отмечал, что хотя хлебопашество и разведение овощей здесь в новинку, но всё же он наблюдал и снопы хлеба, и коноплю, и огороды. Местами поселенцы не могли нахвалиться урожаем.

Так ли уж сильно расширились с тех пор сельскохозяйственные поля в Якутии? Вряд ли. Представляется, что и для наших дней в ряде случаев справедливо замечание того же Гончарова: «Думали же прежде, что здесь не родится хлеб, а принялись с умением и любовью к делу — и вышло, что родится...»

Чем дальше на восток Сибири, тем всё шире становится горизонт пустующих, неиспользуемых сельским хозяйством просторов. Однако собственная продовольственная база создаётся здесь всё ещё неповоротливо, словно нехотя. И это тем более обидно, что в сибирском сказочном солнечном краю, по выражению Н. С. Хрущёва, может хорошо расти всё, что посеешь. На этих землях родится и картошка, и рис, и соя, и кукуруза.

Но вот характерные эпизоды. В посёлке Саянской геологической экспедиции главный инженер как-то однажды пригласил к себе на вечер всех товарищей по работе. Гостей ожидал замечательный сюрприз: хозяйину представилась возможность угостить их натуральной варёной картошкой. Проезжая на пароходе по реке Лене, я случайно подслушал разговор механиков, которые недоброе слово вспоминали о консервированном борще и сухом картофеле, завозимых из Украины, и лунным вечером грезили о свежих овощах.

Как же это так получается? Где искать коренные причины многих ненормальных явлений в области сельского хозяйства, в снабжении продовольственными товарами сибирского населения?..

### **О МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ТРАДИЦИЯХ И БЛАГОДУШИИ**

Совершенно очевидно, что уровень развития производительных сил Сибири будет непрерывно расти. Это значит, что сибирякам давно пора самим проявлять больше заботы о насущных нуждах своего хозяйства.

Иждивенческие настроения часто сковывают инициативу местных руководителей. Иные даже и не задумываются о том, как увеличить ресурсы продовольствия и промышленного сырья в своих районах, и направляют энергию не на обеспечение роста производства и заготовок продуктов, а на то, чтобы побольше получить их из централизованного фонда. Может показаться невероятным, но это факт, что население многих городов Сибири питается продуктами, доставляемыми за много тысяч километров из западных областей.

Природные данные края позволяют быстро двинуть вперёд развитие животноводства. Богатства естественных сенокосных угодий, пастбищ, неограниченные возможности создания прочной кормовой базы — всё говорит в пользу организации здесь крупных животноводческих ферм. Между тем во многих районах Сибири эта отрасль сельского хозяйства находится в запущенном состоянии. Отсталым участком является свиноводство. Всё ещё плохо развивается и овцеводство, в особенности тонкорунное, хотя все условия для роста его — налицо.

Несмотря на исключительное приволье, обилие водоёмов, в Сибири почему-то не разводят птицу. Нам довелось проезжать по землям колхозов Олёкминского района. Прямо у дороги, возле сёл, то и дело попадаются озёра и протоки, покрытые камышом. На воде стоит гомон диких уток. И нигде мы не видели домашней водоплавающей птицы. Да что гусь или утка — и курица здесь не в почёте. Яйцо в Сибири большая редкость, чем, скажем, апельсин. Странно даже представить себе, что в Сибири, с её исключительно благоприятными условиями, птицеводство оказалось в таком загоне.

Не повезло в этих краях и свиноводству. Вот разительный пример. Олёкминский район занимает площадь, равную общей территории Бельгии, Дании, Швейцарии, Голландии. И во всём этом районе в прошлом году насчитывалось... 160 свиней!

Возьмём теперь проблему овощеводства. На рынках Иркутска, Якутска, Улан-Удэ, Читы, Владивостока и других городов уже в мае можно увидеть груды чудесных свежих овощей. Их продают, причём по очень высоким ценам, местные огородники — большие мастера своего дела. Но ни у кого из здешних хозяйственников, видимо, и не возникала мысль расширить пригородное огородничество на основе этого драгоценного опыта.

На берегу Байкала, в Култукé, мы ночевали у рабочего Иркутского геологического управления В. Ф. Сороковикова. Семья имеет большой огород, на котором выращивает и запасает себе на всю зиму овощи. Картофеля собирается столько, что его хватает на откорм нескольких свиней. Во дворе много кур, всегда в избытке свежее яйца.

С такими же рачительными хозяевами я познакомился и в Якутии. В палисаднике у них растут помидоры на кустах с человеческий рост. Хозяйка рассказала, что смотреть её «чудо» приезжал из Якутска какой-то учёный. Он шупал томаты, рассматривал почву на грядках, что-то записывал. А затем, похвалив за успехи в огородных делах, улетел на самолёте. Тем и закончились эти «научные» исследования.

Многие переселенцы с запада вырашивают в Сибири подсолнух и бьют из него масло; сеют фасоль, мак, табак.

Мы поведали об этих случаях для того, чтобы показать, как пробивается ценная инициатива, предоставленная самотёку, как остро нужна во всём этом хорошая организаторская рука. Было бы желание и охота, всё здесь быстро появится — и овощи, и мясо, и копчёности, и птица, и многое другое, что отнюдь не обязательно привозить за тридевять земель.

Хочется сказать и о состоянии пищевой промышленности в тех районах Сибири, где нам довелось побывать.

В Бурят-Монголии есть Баргузинский пищевой комбинат. Здесь в деревянном здании мы наблюдали, как проходит ответственная часть технологического процесса — выпуск изделий. Работницы сажали два противня с медовыми пряниками в русскую печь. Тут же на полу небольшой горкой была ссыпана готовая продукция. В стороне, на доске, лежали только что изготовленные конфеты фантастического цвета — подушечки с повидловой начинкой. Одна из девушек иронически пояснила, что они уже «сляпаны». Сказано метко: подушечки уже стали расплываться и слипаться друг

с другом. В основном труд здесь ручной. Электронагрузка комбината не выходила за пределы двух пятидесятиваттных лампочек. В сарае стояли два новых неиспользованных электромотора. Между тем на Баргузинской ГЭС мне жаловались, что им днём некуда девать электроэнергию.

О возможностях развития производства директор комбината высказал много хороших и правильных предложений, но как их осуществить — он не знает, и никто ему в этом не помогает. Оказывается, у Совета Министров Бурят-Монгольской Республики ещё не сложилось мнение о профиле комбината. А пока что железнодорожный и автомобильный транспорт, Байкальское пароходство изнемогают от излишних перевозок, магазины торгуют продовольственными товарами, полученными главным образом из централизованных фондов, столовые продолжают закладывать в котлы украинские, краснодарские консервы и концентраты.

В Баргузинском, Курумканском, Окинском и других районах Бурят-Монгольской АССР, в Иркутской области, в городах Якутской АССР местные руководители объяснили нам недостаток некоторых продуктов переборами в централизованном снабжении: мало, видите ли, присылают масла, круп, консервов. И это говорят в Сибири!. На январском Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущёв сказал по этому поводу ясно и точно. Конечно, легче всего свалить вину за все неполадки на центральные учреждения: «Мы, дескать, ни при чём, нам не выделены достаточные фонды»... Невдомёк этим товарищам, что вся суть в их собственной нерадивости, недопустимом благодушии, вкоренившихся иждивенческих традициях.

Всё, что мы сказали о необходимости изыскания местных ресурсов, принципиально в ещё большей степени относится ко всей тяжёлой индустрии, а также лёгкой промышленности, которая создаётся в Сибири. Если говорить о ввозе продукции в Сибирь, то, пожалуй, труднее определить, что именно не завозится. Во всяком случае поезд в восточном направлении движется друг за другом почти в пределах видимости.

Со школьной скамьи каждый знает, что Восточная Сибирь, Дальний Восток, Якутия, Бурят-Монголия — обладатели мощных лесных фондов. Спрашивается: почему же сюда «импортируют» из европейской части СССР бумагу, мебель, продукты лесохимии, искусственное волокно и многое другое, что делается из древесины? Более того, мы были свидетелями доставки в Иркутскую область стандартных домов из Финляндии. Недостатки в работе деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности привели ко всё возрастающим встречным перевозкам и, следовательно, к излишним затратам труда и больших государственных средств. Непрерывным потоком на запад идёт из Сибири лес-кругляк. Транспорт загружается необработанным древесиной, а это значит, что перевозится груза в полтора раза больше по кубатуре и весу.

Несмотря на гигантские массивы леса, во многих городах Сибири ощущается острый недостаток жилья, что неизбежно сказывается на крайнем напряжении баланса рабочей силы. Для заготовок лесоматериалов на нужды жилищного строительства здесь введены строгие ограничения. В то же время охрана леса, борьба с лесными пожарами поставлена из рук вон плохо.

Сооружая гидроэлектростанции, соответствующие организации не заботятся о том, чтобы заблаговременно срезать и вывезти лес с громадных площадей — лож будущих водохранилищ, — и не находят ничего лучшего, как безжалостно сжигать обширные лесные участки. Так случилось, например, при подготовке ложа Ангарского водохранилища. А сколько ценного леса загублено в непосредственной близости к Иркутску, где потребность в жилье весьма велика! Вокруг Якутска лес уже уничтожен на многие десятки километров, такую же картину можно наблюдать и в других пригородных зонах.

Для нового строительства можно было бы с успехом использовать местное сырьё и материалы. Между тем цемент доставляется в Сибирь за многие тысячи километров с запада. Никому нет дела до огромных запасов базальтов, годных для производства безобжиговых цементов высоких марок. Всё ещё слабо разворачивается здесь применение новых методов сборного железобетонного строительства.

В больших количествах завозится в Сибирь жидкое топливо. В этой связи следует отметить, что у нас очень слабо развивается газогенераторостроение, а также переработка углей и отходов лесоразработок в жидкое топливо. Для этой работы очень подошли бы подвижные или малые стационарные установки. Дело, испытанное в инженерной практике, но почему-то никто в Сибири не пробовал его осуществить.

В наших научных и плановых органах чересчур неторопливо занимаются вопросами обеспечения Сибири собственным металлом — важнейшей базой индустриализации. Учёные, проектировщики как бы загипнотизированы той чертой, которая проведена много лет назад русскими путейцами. Мы имеем в виду Сибирскую магистраль. Может быть, уже пора перестать так «жаться» к этой железнодорожной линии и стоит подумать об освоении новых направлений, соответственно тем требованиям, которые сегодня выдвигает жизнь? Пока что продолжают оставаться необходимыми в промышленном отношении районы, исключительно приспособленные для новостроек тяжёлой индустрии и развития крупного сельского хозяйства. Это относится, например, к северу Иркутской области, к огромным речным долинам Бурят-Монгольской АССР, Южной Якутии и так далее.

Нам представляется, что есть полная возможность значительно быстрее, чем это наблюдается сейчас, привести в действие многие резервы, которыми располагает Сибирь. Слишком уж каким-то «рассыпным» фронтом идут разного рода разработки схем использования новых, дополнительных ресурсов. Несколько поверхностными и недостаточно обоснованными, на мой взгляд, являются предложения Академии наук СССР, хотя в них речь идёт о многомиллиардных капитальных затратах. Газета «Правда» уже отмечала, что насущные вопросы правильного размещения важнейших отраслей тяжёлой промышленности порой решаются крайне медленно, что наносит прямой ущерб народному хозяйству. В самом деле, ведь на протяжении почти четверти века всё ещё приходится забрасывать с Урала часть руды для Кузнецкого металлургического комбината, тогда как рудные месторождения Сибири, в частности Горной Шории и Хакассии, расположенные вблизи от этого комбината, используются явно в неполной мере.

Решение проблемы сибирского металла в значительной степени разрешило бы напряжённое положение с транспортом и, следовательно, обеспечило бы лучшее освоение многих богатств Советского Востока.

### ВЕЛИКИЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

В Сибири из года в год расширяется сеть железных, шоссейных, водных и воздушных путей. Успешно ведутся крупные работы по электрификации транспорта, в том числе главной железнодорожной магистрали от Урала до Владивостока. Однако это только начало. Сибири нужны многие десятки тысяч километров новых путей, чтобы одержать победу над её необозримыми пространствами.

Пройдёт не один год, прежде чем вырисуется во всей своей полноте строго инженерная картина развития тяжёлой индустрии, энергетики, транспорта, лёгкой и пищевой промышленности, всех производительных сил Сибири. И сегодня, стоя с карандашом у карты этого края, мы имеем все основания говорить о его завтрашнем дне, опираясь на материалы научных экспедиций и исследований, на многие смелые предложения советских учёных и инженеров.

Великие дороги жизни — железные дороги и водные пути — свяжут 14 морей, омывающих нашу Родину. Они соединят три океана — Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий. Мы представляем себе будущую могучую сверхмагистраль. В своей северной части она могла бы пройти от Белого моря через Котлас, Урал, пересекая Обь, весь Тунгусский бассейн, Лену и Алдан, к Тихому океану. Южный путь ляжет от Сталинграда через Магнитогорск, Акмолинск, Павлодар, Минусинск к Байкалу и дальше по двум направлениям: на соединение с главной сибирской железнодорожной линией и на Улан-Батор и Пекин. Электромагистраль, протяжённостью более пяти тысяч километров, пересечёт богатейшие районы от Иркутска до мыса Дежнёва, лежащего на стыке двух материков.

Дополняя железнодорожные магистрали, от Тюмени возможен Транссибирский водный путь, который соединит Западную Сибирь с Дальним Востоком с выходом к Тихому океану. Трудно даже предугадать масштабы потока массовых грузов по этому пути.

От Оби и Енисея по Тоболу через Тургайские ворота может пройти на юг новая полноводная искусственная река. Она даст не только колоссальное количество электроэнергии и воду для пустынь и полупустынь Юго-Востока, но будет широким водным путём, связывающим Сибирь со Средней Азией и Каспийским морем.

Строительство ангарского каскада, возможно, повлечёт за собой создание в будущем глубоководного шлюзованного пути по реке Селенге от границ Монголии через озеро Байкал, затем по Ангаре и Енисею. Обе эти реки явятся как бы цепью огромных озёр. Морские суда будут перевозить массовые грузы по Оби, Енисею, Ангаре, Байкалу, Лене, Амуру.

Грандиозное поле труда на Советском Востоке охватит единая высоковольтная сеть электропередач. Её дополнят трубопроводы тепла, газа, кислорода, водорода. Все отрасли народного хозяйства здесь будут полностью электрифицированы.

Новые системы сообщения расширят нынешнюю полосу сельского хозяйства на сотни миллионов гектаров, позволят приступить к эксплуатации новых, нетронутых пока массивов сибирских лесов.

На наших глазах создаётся невиданная ещё в истории человечества экономическая система. Её звенья составят металлургический Урал, угольно-металлургический Кузбасс, продовольственная и промышленная база Западной Сибири, энергетический центр, угле- и лесохимия Восточной Сибири и, наконец, индустриально-колхозный Дальний Восток.

Конечно, преобразование сибирского континента с тем, чтобы возможно полнее использовать все производительные силы Сибири, овладеть её природными ресурсами,— проблема невероятной сложности. Дело это требует огромной затраты трудовой энергии и материальных средств. Но советский народ, руководимый Коммунистической партией, накопивший богатейший опыт социалистического строительства, вооружённый передовой наукой и первоклассной техникой,— наш народ теперь в состоянии претворить в жизнь эти смелые планы.

Могучим рычагом для осуществления грандиозных созидательных работ в Сибири может явиться использование внутриядерных сил. Атомная энергия поможет сооружать небывалые по величине плотины, снимать с пути горные хребты, расчищая людям места для строительных площадок, вскрывать массивы полезных ископаемых. На территории Сибири могут быть построены крупные атомные электроцентралы, которые создадут подлинное изобилие электроэнергии, необходимое для подъёма производительных сил. Там, на востоке Советской страны, атомная техника может проявиться во всей своей мощи.

\* \* \*

Овладев титаническими силами и богатствами сибирской природы, советский народ тем самым сделает крупный шаг вперёд на пути создания материально-технической базы коммунизма.

Фронт борьбы с «великим безмолвием» сибирских пространств ширится из года в год. Всё более оживает и расцветивается яркими огнями новыхстроек огромный континент. Но впереди ещё предстоит много-много труда. Сибирь требует свежих подкреплений. Она зовёт к себе учёных, инженеров, транспортников, агрономов, наших юношей и девушек, молодых строителей коммунистического общества. И можно не сомневаться: на этот зов Родины откликнутся тысячи советских патриотов.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ОБРАЗЦОВ

★

## ДВЕ ПОЕЗДКИ В ЛОНДОН

*С утра до вечера.*

**Ж**ёлтый апельсин, висящий в авоське, вдруг засветился, будто внутри у него зажглась электрическая лампочка. Розовое пятно расплылось по белой стене и вспыхнуло на круглом стёклышке указателя высоты. Стрелки его показывают две тысячи метров. Кабина самолёта разукрасилась солнечными зайчиками и похожа на весёлую дачу или каюту волжского парохода. За стеклом иллюминатора голубая пустыня стала волнистой и алой. Если прижать лицо к стеклу и скосить глаза влево, видно расплавленное сверкающее солнце — единственный конкретный предмет в этом эфемерном пространстве. Где-то, конечно, есть земля, леса, деревни и города. Здесь — только мы и солнце.

Мы — это советские актёры. Двое читают. Остальные мирно спят между небом и землёй, закрыв лица воротничками и шляпами. Досыпают недоспанную ночь в Москве.

Москва в той стороне, где солнце, а впереди, там, где алое, расплываясь, становится розово-голубым, там цель нашего полёта: Лондон.

Интересно, какой он?

Как будто и нет большого смысла задавать себе этот вопрос, — скоро увижу. А всё-таки стараешься представить себе и дома, и улицы, и людей, вспоминая всё то, что читал в книгах, видел на картинах и фотографиях, слышал от людей.

Думается мне, что у всякого человека две памяти. Одна похожа на записную книжку. Это память мозга, память знаний. В ней всё разграфлено и аккуратно записано: даты, цифры, имена, целые строчки, а то и страницы чужих мыслей в стихах и прозе, географические карты, алгебраические формулы, столбики логарифмов, высота Монблана и телефон районной поликлиники. Это очень хорошая и нужная книжка. Жаль только, что чернила в ней с годами выцветают.

А другая память похожа на альбом с картинками. Порядка в этом альбоме куда меньше, чем в записной книжке, но зато все картинki раскрашены, многие страницы пахнут разными запахами, а некоторые даже звучат. Это память чувств.

Естественно, что, как только возникло желание представить себе город, в который мы летим, память знаний раскрыла свою записную книжку на слове «Лондон».

К моему стыду, сведения, записанные этой памятью, оказались довольно скудными, а цифры и даты, относящиеся к истории Лондона, так выцвели от времени, что я разобрал их с невероятным трудом.

А вот альбом памяти чувств выглядел хоть и растрёпанным, но гораздо более заполненным.

Первая же его страничка заставила меня улыбнуться. На ней был изображён длинноволосый, кудрявый мальчик в чёрном бархатном костюме с большим белым крахмальным воротником. Это мой первый английский друг — маленький лорд Фаунтлерой. Когда мы встретились, мне, как и ему, шёл восьмой год.

Его сменили «Принц и нищий». Лондон средневековья. В альбоме памяти я увидел и огромный шумный мост через Темзу и мрачную крепость-тюрьму Тауэр.

Диккенс. Лондон девятнадцатого века. Страшный город Оливера Твиста. Город ростовщиков, подневольного труда и долговых тюрем. Чуть сентиментальный город «Сверчка на печи» с традиционным благополучием у семейного камина. Иронический город Пикквика, населённый весёлыми, добрыми, остроумными людьми.

Лондон Форсайтов. Здесь, сидя в самолёте, я вновь вместе с Сомсом захожу в старый дом тёток Форсайт или пробираюсь сквозь слепящий туман, догоняя несчастного возлюбленного Ирэн.

Это почти сегодняшний Лондон. Вероятно, если посидеть подольше на лавочке Гайд-парка, то можно увидеть, как вслед за сыном молодого Форсайта по верховой дорожке, похлопывая стеком рыжую кобылу, проедет лорд Эссекс. Герон Олдриджа, конечно, встречаются с наследниками героев Голсуорси. Значит, и я должен буду со всеми ними встретиться в Лондоне. Ведь это неважно, какие в действительности у них окажутся фамилии!

Мысли мои не идут в логической последовательности, потому что память направляет их по каким-то ей одной известным ассоциативным путям. Сомс Форсайт собирал картины, и я начинаю думать, что увижу замечательных английских художников Хогарта, Констебля, Гейнсборо, Тёрнера. Тёрнеровское море напомнило мне настоящие, а не изображённые берега Англии, которые я видел больше четверти века назад, когда осенью двадцать пятого года вместе с труппой Музыкальной студии Художественного театра пыл из Бремерхафена в Нью-Йорк и наш пароход зашёл в английский порт Саутгемптон.

Вспомнив Ламанш, я увидел Лондон таким, каким представлял его в дни войны, в дни «битвы за Лондон», когда через пролив, через города, расположенные между берегом и столицей, летели фашистские реактивные снаряды, обгоняя звук своего собственного полёта, и лондонские дома падали, будто взрывались сами собой. Гибли люди. Матери, жёны, дети тех людей, с которыми я встречаюсь в Лондоне и с которыми в годы войны мы жили одним горем и одной волей победы над общим врагом. Разве это можно забыть?

Какие же глаза встретят нас в Лондоне? Открытые и добрые или недоверчиво прищуренные? Наверно, будут и те и другие. А каких будет больше? И я начинаю думать об англичанах, с которыми встречался в жизни и которых, может быть, увижу опять.

Передо мной возникают плечи и тяжёлая голова Черчилля за бархатными перилами ложи Большого театра. Бевин, сидящий в низком, глубоком кресле на приёме во французском посольстве на Якиманке. Композитор Аллан Буш, весело учивший нас танцевать шотландский танец на встрече в ВОКС. Два английских инженера, с которыми в сорок третьем году я познакомился в Иране. Они с гордостью показывали мне фотографии своих детей, живших в Лондоне: мальчика и девочку. Наверное, мальчик сейчас уже женился, а девочка вышла замуж. Интересно, встречаюсь ли я с членами английской делегации Всемирного конгресса в защиту детей в Вене? Мы сдружились за время работы конгресса. Вероятно, большинство из них живёт не в Лондоне, а в каких-нибудь других городах. Ну что ж, мы ведь тоже не всё время будем в Лондоне. Может быть, увижусь с кем-нибудь из них в Глазго, Бирмингеме, Манчестере или Дауди.

Хорошо бы повидать Моника Фелтон и Хьюлетта Джонсона, таких жизнерадостных, неутомимых и гневных борцов за мир. Интересно было бы познакомиться с Олдриджем, а то на страницах его романа встречались, а поздороваться не пришлось. И уж, конечно, надо встретиться с моими коллегами по профессии, которых я никогда не видел и знаю только по письмам, книжкам, фотографиям. В мыслях моих и англичане и Лондон то кажутся совсем рядом, осязаемыми, конкретными, то заволакиваются туманом и куда-то уплывают, и тогда я начинаю думать, что, может быть, и Лондон, и Англия, и англичане совсем не такие, какими я стараюсь их себе представить.

Это очень похоже на то, что происходит в окошечке самолёта. Облака поредели, и сквозь их прорывы земля то возникает, ясная и чёткая, как географическая карта, то заволакивается и исчезает, будто её и нет совсем...

Пассажиры давно не спят. Посадка в Минске прервала сон. Кто-то ест жареную курицу — традиционную еду русских путешественников, кто-то сосредоточенно раздевает банан. Посланы родственникам последние телеграммы с советской территории: «Летим хорошо здоровы целуем». Выпит последний стакан советского чая в ресторане минского аэропорта. Уже полтора часа прошло с тех пор, как пузатые шины колёс оторвались от советской земли. То, что видно в прорыве облаков, — это Польша. Самолёт делает маленькое «ух», от которого у некоторых в глазах возникает вопросительное смущение. Это мы вошли в облака. За окном редкий и быстрый туман, как пар от самовара. И вдруг сразу светлые поля, и на них, как гречневая крупа, рассыпан город. В центре — неожиданно большая, совсем несравнимая с крупинками домов, белая, торжественно-гордая башня. Это Варшава и строящийся Дворец культуры.

Варшава. Очень большое слово. Никогда не забуду ту трагическую ночь тридцать девятого года, когда, сидя в Москве перед радиоприёмником и вода белую ниточку по коротковолновой шкале, я вдруг услышал два торопливых, почти кричащих голоса, перемежающихся то мазуркой, то траурным маршем Шопена: «Враг в городе! Фашисты разрушают Варшаву!» В приёмнике сухой треск. Это не обычная радиопомеха. Это звук пулемёта. Взрыв, ещё взрыв. Стук зениток. Опять пулемёт. Взрыв, звон стёкол. «Слушайте все! Слушайте все! — кричат дикторы на разных языках. — Варшава гибнет! Гибнет Варшава!»

Осенью сорок восьмого года я увидел Варшаву. В развалинах национальная гордость поляков — Старе място. Пустыня из щебня на том месте, где было гетто. Фашисты взорвали его вместе со всеми загнанными туда людьми. На знаменитой Маршалковской у большинства домов сохранились только первые этажи, а справа и слева — целые кварталы руин. Весь израненный, готовый каждую минуту рухнуть, стоит собор, в котором хранится сердце Шопена.

Но на каждом шагу либо просто краской на кирпичной стене, либо на фанерном щите, либо на длинной полосе материи, протянутой через улицу, написано: «Одбудуэмы! Одбудуэмы!» — «Отстроим! Отстроим!»

Всюду строительные леса, звенят лопаты о кирпич и щебень, гулко стучат молотки по новым листам кровельного железа, каменщики наращивают стены, плотники вставляют рамы.

В глазах у варшавянина счастье и азарт работы, а на языке самое важное слово: «Будет!» Это — слово жизни. «Вот здесь, в Старе място, будет так же красиво, как и раньше. По чертежам, по рисункам, по фотографиям мы восстановим каждый старинный дом, каждый карниз окна, каждую деталь стенных барельефов. А вот здесь будет всё по-новому, пройдёт магистраль Восток—Запад. А здесь будет завод, здесь больница, институт, театр».

Жаль, что на аэродроме мы всего только час. Хочется проехать в город. Увидеть сегодняшнюю Варшаву. Ведь почти всё из того, о чём в сорок восьмом мне говорили: «Будет!», сейчас уже есть. И новая Маршалковская, и Старе място, и магистраль Восток—Запад, и заводы, больницы, театры, институты.

«Пассажиров просят занять места в самолёте!» Ну что ж! Коли нельзя проехать в город, пожать руки друзьям, посмотреть спектакли в театрах, тогда уж надо поскорее лететь, а то сидеть на варшавском аэродроме и не видеть Варшаву просто обидно. Опять мы в воздухе. Опять облака, и через два часа столица Чехословакии — Прага. Злата Прага, один из красивейших городов мира. Тот, кто был в Праге хотя бы день, уже никогда не забудет крутые улицы и лестницы, ведущие в пражский кремль — Градчаны, многослойную готику кафедрального собора, дворы королевского замка, игрушечную улицу алхимиков, средневековые башни, стерегущие Карлов мост; каменное кружево на стенах и окнах церквей и железные кружева ворот и садовых решёток; астрономические часы на башне старой ратуши и окошечко, перед которым каждый час проходят двенадцать кукольных апостолов, чтобы встретиться с живыми глазами прохожих.

Дома — как музейные драгоценности, и каждая улица молча рассказывает историю города, народа, страны. Историю многовековой борьбы за свободу и жизнь, за право говорить на родном языке, за право быть людьми, а не рабами.

. На старой площади стоит памятник великому патриоту Яну Гусу, ректору Пражского университета, священнику, вождю народа в борьбе за освобождение. А в Градчанах поднимаются в небо кресты собора Св. Витта. Там епископ провозгласил Гусу анафему, там возносились благодарственные молитвы господскому богу за то, что пророк бога крестьянского был сожжён на костре.

В первый раз я был в Праге в декабре двадцать пятого года. Музыкальная студия МХАТ играла там свои спектакли. В те годы между Чехословакией и Советским Союзом не было дипломатических отношений, а Прага просто кишела белогвардейцами и была одним из центров русской контрреволюции. Но всё это не помешало жителям Праги встречать и спектакли наши и нас, советских актёров, с самой искренней радостью.

С тех пор прошло много лет, трудных и страшных лет горя, страданий, борьбы и победы чехословацкого народа. Когда в тридцать восьмом году Чемберлен вернулся из Мюнхена в Лондон, тот самый Лондон, в который сейчас я лечу, его приветствовали как человека, спасшего Англию от войны. Англичане думали, что их премьер задобрил волка и повесил на его клетку замок, а на самом деле он этому волку открыл дверь.

В Лондоне и Париже звенели заздравные бокалы, а по крутым улицам Праги, разбрызгивая талый снег, двигались фашистские танки. Жители города заперли двери, закрыли окна, опустили шторы, и каждый следующий день стал страшнее вчерашнего. Лучшие из лучших ушли в партизанские отряды, назвав их именем Яна Жижки, народного героя гуситских войн.

И пришла такая весна, когда настужь открылись окна и двери пражских домов, а Вацлавская площадь наполнилась цветами и песнями, чешскими, словацкими, русскими, украинскими. Советские солдаты радостно улыбались, будто и не было тысяч километров от Волги до Влтавы и сотен боёв, принесших свободу чехословацкому народу...

На пражском аэродроме нам предстоит пересадка на другой самолёт. В зале ожидания за низенькими столиками мы пьём знаменитое пильзенское пиво «Праздрой», и я вспоминаю вторую свою поездку в Чехословакию, в сорок восьмом году, вместе с Центральным театром кукол: спектакли в Праге, Брно, Оломоуце, концерт в золотом подземном зале «Люцерна», огромные цехи пильзенских машиностроительных заводов, изготовляющих такие гигантские коленчатые валы для океанских пароходов, что они кажутся созданными не людьми, а циклопами, и такие сложные станки-автоматы, что в работе они превращаются в живые, сознательные существа и если не говорят, так только потому, что им некогда; многокилометровые катакомбы пивоваренных заводов, в которых, как спящие слоны, лежат огромные бочки, и в каждой столько пива, что хватит угостить жителей целого города; неповторимую красоту столицы Словакии — Братиславы и напевную речь её жителей; торжественный праздник в городе Злыне по случаю переименования его в город Готвальдов и удивительную встречу нового года с шахтёрами Остравы сперва по московскому, а через два часа по пражскому времени.

Объявления о нашей посадке на самолёт всё нет и нет. Наверное, заночуем в Праге. Ну что ж! Это не плохо; может быть, удастся повидать моего друга, замечательного кукольника и чудесного человека, народного артиста Чехословацкой Республики Йозефа Скупу, а может, сумею посмотреть и спектакль нового Государственного кукольного театра, которым руководит Ян Малик. Мы и с ним подружились в тот наш приезд. Одним словом, ночёвка в Праге меня устраивает.

«Самолёт на Амстердам! Пассажиры просят на посадку!» Значит, не увижу ни Скупу, ни Малика, ни Прагу! Наскоро пишу записочки, достаю из чемодана московские конфеты и шоколад и прошу наших советских товарищей передать их моим пражским друзьям.

Садимся в огромный четырёхмоторный самолёт на пятьдесят мест. Яркий электрический свет. Только тут понимаю, что на дворе уже густые сумерки. Через полчаса полёта в окошечке такая непроглядная тьма, будто стекло снаружи закрашено чёрным лаком.

Под нами скрытые ночью и облаками города и села Германии.

Я вытаскиваю карманный атлас и провожу карандашом прямую, соединяющую Прагу и Амстердам. Она пересекает сперва Германскую Демократическую Республику, а затем зоны американской и английской оккупации...

Самолёт летит спокойно и уверенно. В небе нет шлагбаумов. Но как беспокойно, трагично и сложно сейчас там, внизу, в этой разодранной на части большой стране единого народа!

Скоро Амстердам. Я никогда не был в этом городе, но мне кажется, что я должен узнать его сверху по расположению уличных фонарей. Ведь он весь изрезан каналами и фактически состоит из ста островов, соединённых тремя сотнями мостов. Недаром его называют Северной Венецией. Это самый большой город Голландии, и хоть столицей считается Гаага, фактически столица, конечно, Амстердам. Мозг, желудок и кошелек страны.

Триста лет назад это был центр торговли и биржевых операций всей Европы. Амстердамская биржа первая изобрела биржевые акции. Да и сейчас она играет последнюю роль в мировых спекуляциях, а Амстердамский банк фактически владеет всеми голландскими колониями. Амстердам — всеевропейский морской вокзал и оптовый универсальный магазин Европы. В его порту может одновременно уместиться тысяча океанских пароходов, а внутри города чуть ли не каждая улица — маленький порт и чуть ли не каждый дом — склад.

Город торгует нефтью и кофе, табаком и оловом, кораблями, тюльпанами, корицей, перцем, бриллиантами, знаменитым голландским какао, голландским сыром и голландской сельдью, племенными коровами, полотном, посудой.

Но слова «голландский», «голландская» являются общеизвестными прилагательными не только к таким вещам, как селёдка, печь, какао или сыр. Помимо этого, существует голландская живопись. Без неё живопись европейскую представить себе просто невозможно, и, конечно, для меня — человека, профессией которого является искусство, — Амстердам знаменит прежде всего тем, что в нём самая большая в мире коллекция голландской живописи.

За окном с левой стороны, почти прямо под самолётом, засверкали крупные и частые звёзды, будто внизу тоже небо или будто это море, в дробных волнах которого отразилась звёздная ночь. Нет, это не небо и не море: это город. Обычный европейский торговый город. Это Амстердам. Я прижимаюсь к стеклу так, что расплывается нос, но отличить улицы от каналов и каналы от островов нет никакой возможности.

А жаль! Хочется понять: где центр, где знаменитый, стоящий на тринадцати тысячах свай королевский дворец — небоскрёб семнадцатого века? Где ещё более знаменитое гетто, в котором родился Спиноза и умер Рембрандт? Где верфи, на которых работал корабельным плотником урядник Преображенского полка Пётр Михайлов, а по-настоящему русский царь Пётр Алексеевич Романов?

Звёзды вдруг поднялись и стали медленно вращаться. Самолёт делал поворот. Потом выровнялся и отправился прямо вниз, в сверкающее морское дно. Как он найдёт в этой звёздной путанице место, куда сесть, совершенно непонятно, но думать об этом лежит на обязанности лётчиков, пассажирам же лучше не занимать свою голову подобными вопросами. Наконец навстречу помчалась красная цепочка огней посадочной площадки. Два удара о землю, и самолёт уже не самолёт, а автобус, у которого зачем-то по бскам мешающие ему крылья.

Аэропорт. Международная пересадочная станция. Разделённые чёрной пустотой, блестят жирные крылатые рыбы. Их самонадеянный вид внушает недоверчивое уважение. Между рыбами, как водяные жуки, шмыгают и вертятся маленькие автомобильчики, развозящие багаж. Торопливые стайки пассажиров выпархивают из вокзала в освещённую электричеством ночь, влезают в железные рыбы животы и улетают в Рим, Нью-Йорк или Гамбург.

Из ниоткуда с шумом и треском возникают другие такие же гибриды, полученные от сложного скрещивания птицы, рыбы и жестяной банки из-под консервов. Неожиданно прекратив трещать и взрываться, они замирают, распластав крылья. Безразличный и невыносимо громкий голос с неба сообщает, что самолёт из Парижа, Генуи или Берлина прибыл. Обыкновенные бескрылые люди неуклюже спускаются по подставлен-

пой к самолёту лесенке и, обгоняя друг друга, спешат в здание вокзала, похожее сразу и на аквариум и на теневой театр. В большом стеклянном ящике, наполненном розовым светом, сидят, стоят, ходят и бегают силуэты людей.

Вместе с другими пассажирами в этот розовый свет входим и мы. Представитель советского консульства смотрит на нас ласково-жадными глазами. «Эх, кабы вы на обратном пути задержались в Амстердаме и дали несколько концертов! Голландцы так интересуются советским искусством!»

Что и говорить, конечно, это было бы интересно! Только, пожалуй, лучше уж приехать сюда весной или летом, когда опрокинутый в воду каналов город, вероятно, особенно красив, а за городом цветут поля гиацинтов и тюльпанов.

То одна, то другая группа транзитных пассажиров, вспугнутая радиоголосом, схватывает саквояжи, сумочки или портфели и быстро исчезает.

Наконец голос произносит слово «Лондон!», и мы вместе с другими летящими туда же пассажирами выскакиваем из стеклянного ящика и влетаем в самолёт. Пока рассаживаемся, слышна немецкая, французская, английская речь. Двое мужчин говорят с американским акцентом, другая пара — судя по взаимной внимательности, жених и невеста — по-итальянски. А язык седого человека в очках, с такой же седой и очкастой женой, я так и не смог понять. Потом все сразу замолкают, потому что две девушки с причёсками кинозвёзд поставили на колени каждого подносик с ветчиной, шоколадом, душистым кофе в толстых белых чашках и американской жевательной резинкой; пассажиры поели, попили, вернули подносики и начали ритмично двигать челюстями. Всё это проделал и я и, положив в рот белую подушечку, пахнущую зубным порошком, стал смотреть в окно. Интересно, над землёй ли мы ещё или под нами уже Ламанш?

За стеклом всё та же чернота и красная, светящаяся точка на крыле самолёта. Чуть левее — щепотка мелких огоньков. Это океанский пароход — правнук стивенсоновских фрегатов. Какой он маленький и безнадёжно медленный, этот совсем ещё недавно единственный властелин межматериковых пространств!

Впереди, сперва еле заметные, появились новые огоньки, похожие на дырочки в чёрной бумаге. Их всё больше и больше, будто кто-то торопливо прокалывает ночь иглой. В некоторых местах дырочек так много, что получается сплошное светящееся сито. Это берега Англии. Южные приморские города. Вон они, и направо, и налево, и впереди — золотые россыпи городов.

Англичанин, сидящий передо мной, вероятно, угадывает их названия. Недаром он, проводив глазами мерцающий город, проплывший справа, сейчас же повернул голову влево, где показались новые огни нового города.

Я, как и он, верчу головой в разные стороны и вдруг замечаю, что под нами уже нет такого клочка земли, который бы не сверкал. Значит, мы пересекаем какой-то город. Но проходит и пять минут, и десять, и пятнадцать, и двадцать, а конца городу всё нет и нет.

Я притрагиваюсь к спине англичанина: что это?

— Лондон.

Так вот он значит какой, неведомый мне Лондон, если смотреть на него ночью с неба!

Обычно в таких случаях принято говорить: «море огня», но на море это совсем не похоже. Скорее похоже на мозаику из драгоценных камней, сделанную на чёрном агате. Если присмотреться, начинаешь понимать, что мерцающий рисунок этой мозаики состоит из многочисленных пересечений парных цепочек: золотых, алмазных, жемчужных. В разных местах ритмично вспыхивают и пропадают жёлтые огни, а поверх всего, без всякой видимой системы, лежат красные, зелёные, синие полосы и пятна. Каждое пятно живёт самостоятельной жизнью — тухнет, зажигается, меняет форму или цвет.

Между нами и трепещущим городом — рваные рыже-зелёные тряпки облаков. Всё ближе и ближе, всё прозрачнее и рыжее. Вот уже розовой кисей они шлёпают по плоскости крыла и пропадают.

Разноцветные цепи уличных фонарей стали ярче и ближе, но, помимо них, обнаружили мглисто-оранжевые ленты, по которым бегают тараканы. Чем освещены эти

бесфонарные улицы и почему только на них видно движение, понять трудно. Да и не всегда понимать.

Те самые девушки, что поили нас кофе, подходят к каждому и говорят, что надо застегнуть пряжку широкого пояса, привязав себя к креслу. Это мера предосторожности на случай неудачной посадки. Пассажиры делают вид, что застёгивают пояса. Девушки делают вид, что они этому поверили, и самолёт бежит по асфальту аэродрома.

Нас пришли встречать представители двух пригласивших нас английских обществ: Англо-советской дружбы и Англо-советской культурной связи. Но пока встречающих не видно. Они где-то в другом зале. Ведь юридически мы ещё не прибыли в Лондон!

Надо заполнить анкеты и вместе с паспортами предъявить их четырём чиновникам, стоящим за деревянными кафедрами. Чиновники, установив некоторое сходство между нами и наклеенными на паспорта фотокарточками, переспрашивают наши фамилии, произнося навыворот все гласные и большинство согласных. Когда между различными трактовками звуков и начертаний устанавливается некоторое относительное равновесие, чиновники сверяют анкеты, паспорта и лежащие на кафедрах списки и, стукнув печатями, говорят: «Сэнк ю!»

Вот теперь мы уже окончательно в Лондоне и можем идти в общий зал.

Женщины из обоих обществ дают нам букетики цветов и улыбаются. Просто одетый высокий, худой, голубоглазый и на кого-то очень похожий мистер трясёт мне руку и говорит: «Мы с вами встречались в Москве, в ВОКС». И другого я тоже, оказывается, знаю, и вот эту миссис, и ту, что стоит с ней рядом.

Незнакомых, конечно, больше, но они такие же весёлые, простые и чуть смущённые. Да и на наших лицах изображено то же самое. Стоят друг против друга две группы людей Гости с букетами. Хозяева без букетов. Стоят, улыбаются, и каждый думает про себя: «Так вот, значит, они какие!..» А спроси у каждого, что он под этим подразумевает, так и выяснится, что каждый ответит приблизительно одно и то же: «Люди как люди, ничем особенным не отличаются».

Потом была приветственная речь по-английски с переводом на русский язык и ответная речь по-русски с переводом на английский язык. Потом опять все жали друг другу руки и улыбались, садясь в машины.

Ночные улицы пусты. Ведь уже третий час ночи. Вот они — голубые, жёлтые, молочные фонари, которые сверху превращались в золотые и жемчужные цепочки. Это, оказывается, лондонцы экспериментируют, выясняя, какой свет лучше всего виден сквозь туман и какой меньше слепит.

А вот и объяснение мглисто-оранжевых лент, на которых я видел движение машин: фонари на этих улицах сверху покрыты глубокими непроницаемыми абажурами.

Мы остановились у светофора. По тротуару идут два мертвеца с серо-зелёными лицами. Ну что ж! Если этот пронзительный оранжевый свет удобен водителям, можно простить ему свойство превращать людей в живые трупы.

Вдоль по центральной линии некоторых улиц через каждые несколько метров в асфальт вделаны стекляшки «кошачьих глаз», стремительно летящих навстречу фарам. Это тоже средство борьбы со слепым туманом.

Гостиница «Палас-отель». Трудно найти европейский город, в котором не было бы гостиницы с таким названием. В безлюдном ресторане наскоро что-то глотаем и — скорее по номерам.

Очень хочется спать. Хочется, а заснуть нельзя. Не получается. Бегут перед глазами облака, земля, огни. И бегут, обгоняя друг друга, мысли, возвращаясь в Амстердам, Прагу, Варшаву, Москву. Неужели сегодня утром мы пили кофе в Москве? И неужели потолок над моей головой и незнакомые шторы на окнах — это Лондон? Значит, Москва и Лондон близко? Совсем рядом? Почему же так далеко друг от друга живут люди? Почему англичанин, с которым я разговаривал в самолёте, услышав от меня, что я русский, из Москвы, во-первых, нескрывая удивления, а во-вторых, стал задавать мне вопрос за вопросом, каждый из которых свидетельствовал о том, что знает он о нашей жизни немногим больше, чем я о жизни игуанодонов? Почему два американца, услышав слова «Совет Рашн», повернулись с такой быстротой, будто их кто-то потянул за верёвочку, и, как по команде, перестали жевать? Почему пожилой человек

неизвестной мне национальности, глядя в нашу сторону, стал быстро говорить что-то своей жене и у неё очки полезли на лоб? Почему портье гостиницы рассматривал нас так, будто бы мы прибыли прямо с Марса?

Австрийский посол Сигизмунд Герберштейн писал когда-то, что за Волгой, в районе Астрахани, существуют семена, размером и видом напоминающие семена дыни. Если такое семя посадить в землю, то вырастает растение, похожее на ягнёнка, соединённого длинной пуповиной с корнем. Растение это называется баранец и покрыто тонкой меховой шкуркой, из которой делают шапки. Такой рассказ, в котором нелепо соединились сведения об арбузах и каракуле, возможен и оправдан тем, что был написан австрийцем, приехавшим в Москву четыреста лет назад, когда Москва и уж тем более Астрахань были для него на таком же расстоянии, на каком сейчас, вероятно, находится луна... Ведь от Кракова, тогдашней столицы Польши, до Москвы он ехал на лошадах больше двух месяцев. Сегодня это расстояние измеряется двумя днями езды в поезде или несколькими часами — в самолёте. Даже пятьдесят лет назад Абердин или Дингуолл находились от Лондона куда дальше, чем сейчас находится Москва. Как же так могло получиться, что расстояния сократились в десятки, а то и сотни раз, а люди живут так далеко? Кому нужно искусственное увеличение дальности?!

За стеной еле слышно мирное похрапывание какого-то человека. Наверное, англичанин. Нас разделяет только толщина стены. Наши двери выходят в один коридор, а окна одинаково смотрят прямо в парк. Мы совсем рядом. Но как, вероятно, удивится он завтра, узнав, что в соседней комнате поселились русские из Москвы.

Спят миллионы лондонцев.

Спят жители Амстердама, Праги, Варшавы, Москвы.

Спят старые люди, знавшие бессонные ночи страха и горя. Спят тридцати-, сорока-, пятидесятилетние, вынесшие бессонные годы войны. Спят пятнадцати- и двадцатилетние, те, что в детстве спали в подвалах и бомбоубежищах, уткнувшись в колени матерей. Спят совсем маленькие дети, для которых война — это только мамина страшная сказка.

Подойдите к любому ребёнку — чеху, поляку, голландцу, англичанину, русскому. Приподымите осторожно одеяльце, чтобы он не проснулся, — и все дети окажутся одинаковыми. Маленькие, поджатые ноги с пальцами, похожими на ягодки черешни, новенькие розовые уши, кулачки или ладошки под щекой, плотно прижатые ресницы.

Разве кто-нибудь вправе сказать, что они разные, эти дети, спящие на расстоянии всего нескольких часов друг от друга?

Разве вправе кто-нибудь сказать, что они имеют разные права на жизнь, счастье, дом, семью?

Что же разлучило их родителей? Железный занавес? Но я не встретил его в пути. В небе его нет. Да и поезда на него не натываются.

Разлучил туман. Туман лжи, порождающей сперва недоверие, потом неприязнь, затем вражду и, наконец, войну. Она нужна, чтобы опять падали дома и гибли люди, чтобы на аэродромах в самолёты садилась войска и грузились бомбы, а на биржах подымались акции на столько-то пунктов в день. В биржевом градуснике торговцев оружием налита кровь. Чем больше крови, тем выше покаатели.

Надо, чтобы не было этого. И так же, как лондонцы ищут свет, который был бы виден сквозь обычный туман, так же всем людям надо искать свет, который бы пробивал туман лжи. Этот свет — доверие, а возникнуть оно может, только если люди будут больше друг друга знать. Как можно лучше, как можно ближе.

Это, конечно, очень важно, если встречаются послы, министры, главы правительств, но когда обыкновенные граждане разных стран — рабочие, студенты, учёные, музыканты, актёры, спортсмены из Англии, Франции, Германии или Италии — приезжают в Москву, Ленинград или Киев, а москвичи, ленинградцы, киевляне, бакинцы едут в Лондон, Рим, Париж, Берлин или Токио, это тоже очень важно. Невероятно важно. Потому что знание друг друга, личные встречи, конкретная личная дружба могут оказать огромную помощь в трудном и сложном деле строительства дружбы между народами.

А разве есть сейчас дело более важное?

### Из Несы в Темзу.

Не прошло и полугода после возвращения из Англии, как вновь пришлось укладывать чемоданы.

«Неужели декорации ваших кукольных спектаклей не влезут в грузовой самолёт?» — «Конечно, не влезут». — «Сколько же они весят?» — «Приблизительно восемь тонн, да дело-то ведь не только в весе, но и в размере».

Такой разговор происходил в Москве за несколько недель до того, как Государственный центральный театр кукол должен был начать свои гастроли в Лондоне.

И вот в Ленинградском порту краны поднимают в небо длинные ящики, на которых написано: «2:0 в нашу пользу», «Чёртова мельница», «Лампа Аладина», «Маугли», «Необыкновенный концерт», и осторожно опускают их в тёмный широкий квадрат пароходного трюма, где они становятся таким же экспортным грузом, как и пузатые бочонки с чёрной икрой.

Солнечным вечером двадцать первого июня пятьдесят четвёртого года по трапу поднялись на пароход актёры, музыканты, рабочие сцены, электрики.

Пароход «Белоостров» загудел таким великолепным, торжественным, предупредительным басом, о каком не может даже мечтать соборный протоиерей, возглавляющий «вснем!»». Берег сдвинулся и поплыл влево. Над кормой деловито повисли чайки с явным намерением на протяжении всего пути охранять нас с воздуха. Постепенно исчез из глаз силуэт одного из красивейших городов мира. Медленно проплыл Кронштадт. С двух сторон — сизые ленточки берегов. Слева — Советский Союз, справа — Финляндия. Между ними вода и розовые от заката чайки.

Пароход стал пловучим домом, каюта — комнатой. Чуть подсоленный воздух идёт сквозь сверкающий иллюминатор. Концертный смокинг вынут из чемодана и висит в шкафу, чтобы не мялся. На столике книжки, которые я собираюсь прочитать за неделю пути. Можно пойти в бар пить пиво и играть в шахматы. Можно выйти на улицу. Это палуба. Там бегает коротконогий пёсик капитана. Скоро полночь, но в светлом небе всё те же чайки, а под ними молочная рябь воды. Белая ночь. Хочешь — читай Голсуорси, хочешь — решай кроссворд в «Огоньке».

На следующий день — Хельсинки. Мы играли в этом городе четыре года назад. Гуляли по набережной и по гористому, сейчас зелёному, а тогда зимнему парку, в котором живут весёлые белки, ездили вон в тех трамвайчиках, что бегут через площадь.

На палубе появились новые пассажиры — финны и шведы, едущие в Стокгольм или Лондон. Дождик. Провожающие стоят за длинной верёвкой, мокнут, машут руками и, как все провожающие в мире, кричат что-то чересчур бодрое и поэтому немного грустное.

Пароход загудел, задрожал, круто вскипятил воду за кормой и, не обращая никакого внимания на возгласы и крики провожающих, увёз их родственников и друзей в Балтийское море.

Постепенно у нас завязываются знакомства. Три смешливые финские девушки знают четыре русских слова, два шведа — десять слов по-английски. Вполне достаточно, чтобы вместе кормить чаек или обсуждать, какую выдержку надо делать, если чувствительность плёнки двадцать одна дина, а диафрагма — одиннадцать.

Пока идём открытым морем, кроме чаек, встречных парохолов да друг друга, фотографировать нечего, но на вторые сутки мимо нас поплыли бесчисленные острова и островки: гранитные, лесистые, украшенные игрушечными домиками с красными крышами... С капитанского мостика раздался свисток, и на мачту вполз квадратный флаг. На морском языке это значит: «Просим лоцмана». На моторном катере прибыл лоцман и влез к нам по верёвочной лестнице.

«Белоостров» прошёл по извилистым проливам между островками и вошёл в гавань Стокгольма.

На ваших паспортах ставятся штампы односуточных виз, и мы идём в город. Чудесный город, весь отражённый в воде. Пароход стоит день и ночь и ещё полдня. Разве за это время можно увидеть всё, что хочется?

В первый день мы бодро обежали всю старинную часть города, менее бодро прошли анфилады комнат королевского дворца, уставшие, двигались по залам Национального музея и к вечеру, переехав на моторном катере залив, вконец измученные, оказались в нагорном парке, являющемся как бы живым музеем национальной архитектуры, так как в него свезены со всей страны старинные крестьянские дома, риги, сараи, мельницы, кузницы, колодцы, деревянные церкви.

На следующий день в нашем распоряжении было только утро. Наученные горьким опытом, мы решили более спокойно пройтись по городу, в котором цветы цветут и в клумбах, и в ящиках, укрепленных на фонарных столбах, и в корзинах, висящих на цепях, протянутых от дома к дому через всю улицу. Конечно, мы опять зашли в музей, чтобы более внимательно разглядеть полотна Эль-Греко, Перуджино, Ван-Дейка, Рубенса, «Войну» Рупрехта, «Старый рынок» Брейгеля и знаменитую «Парижанку» Моне.

К середине дня бочки с икрой были выгружены на берег. Новенькая «Победа», всё время ехавшая с нами, описала в воздухе дугу и встала на асфальт. Часть пассажиров сошла, но вместо них появились новые.

Дома и островерхние церкви на берегу стали потихоньку меняться местами, а потом, окончательно установив правильное, с их точки зрения, расположение, выстроились в перламутровую цепочку и неожиданно скрылись за моделью необитаемого острова: десять развесистых сосен на голом розово-сером граните, будто взятом напрокат с картины Рериха.

Исчезла, будто её и не было, столица государства, больше ста лет не знавшего войн. Ни шведские солдаты не переходили за границу своей маленькой страны, ни чужие солдаты не перешагивали эту границу. Нет в Швеции ни военных вдов, ни военных сирот, ни искалеченных войной людей на костылях и протезах. Не видели шведские дети, какое страшное лицо у смерти, когда она падает с неба.

Два мировых пожара горели у самой её околицы. Казалось, вот-вот залетит искра, да не залетела. В зареве пожаров торговали купцы с обсеими воюющими сторонами. Вот и текло в Швецию золото, богатели города, украшалась столица.

Мимо островков-курортов и островков-крепостей, мимо увеселительных яхт и военных кораблей «Белоостров» вышел в море. Ветер срывает с волн хлопья пены. Это предвестие шторма.

Утром следующего дня нас мотает во все стороны. Ветер такой, что, кажется, вот-вот оторвёт руку или голову. Шторм и солнце. В высоких брызгах загораются крохотные радуги. Только чайкам нипочём эта буря. Они то круто срываются вниз, то на долгие секунды застывают, распластав крылья, будто их кто-то привязал к мачте длинной верёвкой. По морю проложена невидимая дорога. По ней на большом расстоянии друг от друга двумя встречными цепочками медленно движутся корабли: французские, немецкие, американские, английские, испанские, турецкие. Некоторых мы обгоняем, некоторые обгоняют нас. Большие покачиваются тяжело и солидно. Маленькие с головой зарываются в пену.

И вдруг шторм исчез. Совсем. Будто его и не было. Мы вошли в шлюз Кильского канала. Стоим в каменном ящике, ждём, пока он наполнится немецкой водой. Набережная шлюза вымощена мозаикой из мелкого камня. Два огромных германских орла, а между ними метровыми мозаичными буквами написано, что шлюз этот построен в тысяча девятьсот четырнадцатом году императором Вильгельмом Вторым. Через четыре года Вильгельм уже не был императором.

Старик-немец в форме служащего гражданского флота, прижимая к груди спичечный коробок, одной рукой достаёт из него спичку, ловко чиркает и раскуривает погасший окурок сигары. Другой руки у него нет. Судя по возрасту, он потерял её вскоре после того, как был выложен тот самый орёл, на чёрном крыле которого он сейчас стоит. Размахистой походкой хромого проходит молодой немец. Когда и где он ранен? Под Дюнкерком или у Великих Лук? За ним, успевая время от времени перепрыгивать через верёвочку, бежит беловолосая девочка с розовым бантом.

Передняя стенка ящика дала трещину посередине и стала расходиться.

С двух сторон светлой водяной дороги медленно поплыли зелёные берега. Тихо. Пахнет сеном. Поют зяблики. Будто мы на Оке под Поленовом.

Незаметно пришёл вечер. Тень от коротколапого капитанского шенка стала похожа на длинноногого жеребёнка. К плещущим у берега жёлтым струйкам воды боком спустилась ворона и стала пить. Выскочила и перевернулась в воздухе золотая уклейка. По воде побежали стеклянные круги. Туман дырявой кисеей прикрыл заливной луг. Зажглись мирные уютные бакены. Сладкий запах рыбацкого костра смешался с густым запахом скошенной травы и сырой прибрежной осоки. Где-то щёлкнул соловей. Ему ответил другой. Совсем как в детстве. А на пароходе убирают с палубы шезлонги, ту же затягивают винты иллюминаторов, проверяют каждую дверь, что-то заворачивают в брезент, затягивают верёвками. Ведь к ночи мы выйдем в Северное море, а там нет соловьёв. Там шторм.

Вот так и в стране, что проплывает сейчас мимо нас двумя мирными душистыми берегами. Об этом невольно думается, как думалось и тогда, когда я летел над ней в непроницаемо чёрном небе. Живут в этой стране немцы. Инвалиды обеих войн встречаются друг с другом на каждой улице, на каждом перекрёстке, как встретились они на набережной Кильского шлюза. И по тем же перекрёсткам и улицам бегают их дети, внуки, маленькие послевоенные немцы, — розовощёкие, голубоглазые и ещё счастливые, как девочка с розовым бантом. Это ведь ей принадлежит и небо, и солнце, и душистое сено, и пение птиц. Но её отец, как и миллионы отцов и матерей Германии, смотрит на небо с тревогой. Как бы не было шторма! Как бы не было бури! Ложь, доллары и безумие готовят её с такой торопливостью, словно боятся опоздать.

Волны встретили нас уже в широком устье Эльбы. По двум берегам знаменитой реки огни убегают влево. Туда, где Гамбург. Направо огней нет. Там море. Тридцать шесть часов мы плывём в шторме. Всё меньше и меньше пассажиров выходит к завтраку и обеду. Кто, кутаясь в плед, сидит на палубе, кто совсем не вылезает из каюты. Жалко маленьких ребят. Ещё вчера они весело играли друг с другом. Двое советских четырёхлеток — мальчик и девочка, — едущие вместе с родителями куда-то в Южную Америку, шестилетняя шведка и трёхлетняя англичанка Салли, дочь сотрудника английского посольства в Москве. Сегодня никого из них не видно ни на палубе, ни в столовой. По качающемуся коридору мама несёт на руках Салли. Каждое утро у нас с этой голубоглазой девочкой была одна и та же игра. Я спрашивал её по-английски: «Хау ар ю?» — «Как вы поживаете?», а она, улыбаясь, отвечала по-русски: «Спасибо, хавашо!» Сейчас Салли тихо ответила по-английски: «Сэнк ю», но улыбнуться у неё уже не хватило сил.

Хорошо ещё, что шторм всего девять баллов. Бывает ведь и двенадцать.

Утром двадцать восьмого июня снова тихо. Мы идём широкой горловиной Темзы. Всё ближе и ближе к Лондону. На рейдах — сотни всевозможных кораблей. Трубы океанских пароходов по размерам похожи на домны. Слева от нас старый мачтовый корабль с круглыми бойницами. Это исторический фрегат Нельсона. Справа торжественно движутся вполне современные эсминцы. На флагмане — сотни разноцветных флажков. Это шведский король едет в гости к королеве английской.

И вдруг впереди, на плоской пристани около большого пакгауза, я замечаю группу людей, которые что-то кричат и машут нам руками. Вот уже можно различить лица. Причалили.

### *Кварталы и улицы.*

Итак, я опять в Лондоне. В той же гостинице «Палас-отель», в которой полгода назад прожил с небольшими перерывами три недели. Со служащими гостиницы встретились радостно, как со старыми приятелями. «Хау ар ю, мистер Смит?» — «Сэнк ю, мистер Обратсов! Йор намбер — уан оу три эй» («Ваш номер — сто три а»). Мистер Смит весело и хитро улыбается. Ему приятно, что он передаёт мне ключ от того самого номера, в котором мы с женой останавливались в прошлый раз. Его окна смотрят в чудесный, сейчас зелёный, парк, весь заполненный запахом цветущих лип.

Старушки, живущие в этом отеле постоянно, как в пансионе, и очень похожие на тётушек Форсайт, сидят в гостиной, читают всё ту же «Христианскую газету» и вяжут. Увидев нас, они удивлённо улыбаются и приветливо кивают головами. Я помню, как

в декабре одна из них расспрашивала меня, каким образом нам удалось проникнуть сквозь «железный занавес». Боюсь, что её уверенность в этом занавесе теперь окончательно поколеблена. Утверждения газеты разошлись с действительностью.

На этот раз мы живём в Лондоне уже не три недели, а целых полтора месяца почти безвыездно. В общей сложности получается довольно большой срок. Конечно, и за этот срок нельзя полностью узнать, а тем более понять всю многосложную и много-слойную жизнь этого второго по величине города в мире и первого в Европе. Но всё-таки я много видел и многое узнал. И поэтому без всяких претензий на полноту описания хочу рассказать читателям о Лондоне, каким я знаю его сейчас, совсем не похожем на тот воображаемый Лондон, какой жил в моём представлении до того, как я впервые его увидел.

Может быть, потому, что много лет назад я был в Нью-Йорке и Чикаго, мне и Лондон представлялся городом огромным, насквозь пропахшим отработанным бензином и фабричной гарью, шумным, крикливым, суматошным, не очень организованным и не очень чистым, с вечно куда-то спешащими возбуждёнными людьми и равнодушными небоскрёбами.

Каким же оказался Лондон на самом деле?

Прежде всего не похожим ни на Нью-Йорк, ни на Чикаго, ни на Берлин, Париж или Вена. Конечно, это очень большой город. Из конца в конец на поезде метрополитена можно проехать даже и за час, потому что это десятки километров. Очень большой по площади, но совсем не высокий. Большинство домов трёх- и двухэтажные. Восьми- и десятиэтажных, вероятно, процентов пять, а выше десяти этажей — так мало, что о них и говорить не приходится. Так как не только в такси и автобусах, но даже и в метро плата зависит от расстояния и так как это сравнительно большая плата, то люди разных районов города фактически разобщены. Вы можете встретить жителей отдалённых окраин города, которые почти не бывают на Оксфорд-стрит или Риджент-стрит, редко любят фонтанами Трафальгар-сквера.

Многие районы, кварталы и даже улицы Лондона настолько не похожи друг на друга, что кажутся принадлежащими разным городам, разным странам или разным эпохам. Непохожесть эта не только внешняя. Она рождена прежде всего тем, что эти районы, кварталы и улицы как бы специализированы и отличаются либо профессией живущих или работающих там людей, либо их национальностью, либо количеством фунтов на их чековых книжках. Есть довольно большой и не очень красивый район, в котором живут главным образом железнодорожники. Есть очень красивые старинные переулочки и дворики, которые, вероятно, надо было бы назвать «Кварталом правосудия». Осью этого квартала является замечательное здание шестнадцатого века «Темпль» — подворье юристов, — в котором Шекспир впервые играл королеве Елизавете свою пьесу «Двенадцатая ночь». На табличках у подъездов домов этого квартала можно прочитать фамилии чуть ли не всех крупнейших юристов Лондона. В окнах магазинов выставлены тысячи книг в кожаных переплётах. Это английские законы, изданные за сотни лет. Тут же продаются белые судейские парики из конского волоса и чёрные средневековые мантии, одним словом, всё то, без чего нельзя ни осудить, ни оправдать жителя современной Великобритании.

Есть улицы, на которых скопилось множество ресторанов. На коротеньком отрезке одной такой улочки — от переулка до переулка — я насчитал больше десятка ресторанов: греческий, турецкий, армянский, индийский, китайский, американский, два итальянских, четыре французских да ещё несколько различных кафе. Посетитель этой улицы может выбрать любой, в зависимости от того, любит ли он «спагетти» или плов, зелёный чай с «цветком» или кофе «капучино», фаршированных омаров или «горячих собак» — «хот догз», как называют американцы горячие сосиски.

А есть улица — Флит-стрит, — на которой и в соседних переулках находятся редакции большинства крупнейших газет не только Лондона, но и других городов Англии. Здесь днём и ночью готовится пища умам, и один и тот же факт в различных газетах может оказаться либо полит сладким и нежным соусом, либо приправлен таким острым перцем, что захватывает дух. Англичане и тут могут получить любое меню.

Есть «частная» улица. С обоих её концов — ворота, в воротах стоят привратники в чёрных сюртуках и высоких цилиндрах. Конечно, «роллс-ройсы» привратники не останавливают, но такси остановят обязательно и спросят, в какой дом направляется пассажир. Это красивая улица, засаженная липами, клёнами, платанами и кустами жасмина, в которых поют скворцы.

В районе Сохо живёт много людей, говорящих между собой на языке звонком и выском: это итальянцы. Или на языке быстром и одновременно певучем: это французы. Или на языке чеканном и чуть свистящем: это греки. Родина эмигрантов, населяющих район Сохо, — Венеция или Неаполь, Салоники, Лион или Марсель.

Есть кварталы, в которых живут люди с глазами сверкающе-чёрными и оливковым цветом лица. Их родина Индия, Пакистан, Бирма. Есть улицы, на которых много людей с ещё более тёмной кожей и ещё более яркими белками глаз. Это эмигранты из Соединённых Штатов Америки.

В районе Лаймхаус живут китайцы. В чёрном пролёте узенькой двери стоит старая женщина с сеткой морщин на лице. У неё маленькие изуродованные ноги. Много лет назад её родители, спасаясь от голода и произвола феодальных помещиков, совершили долгий и скорбный путь от маленького рисового поля в родной провинции Гуандунь до огромной столицы чужого государства.

Район Уайтчепель — Белой Церкви — населён эмигрантами-евреями. И дети, играющие на пустырях или среди поросших травой и кустарником развалин домов — мёртвых свидетелей «битвы за Лондон», — и отцы, и матери этих детей родились здесь, в Уайтчепеле. А вот их дедушки и бабушки — родом из Херсона, Николаева, Киева, Полтавы, Одессы, Варшавы, Белостока. От бесправия и ужасов еврейских погромов, от вечного страха перед слугами Михаила Архангела бежали они из царской России.

Но как бы ни были характерны для Лондона все эти кварталы и улицы, больше всего определяют и лицо города и его историю районы, которые носят названия «Сити», «Ист-энд» и «Уэст-энд».

### ***Котелки и зонтики.***

Слово «сити» в переводе значит просто «город», но в Лондоне оно употребляется для обозначения административно-финансового центра.

В лондонском Сити находится и резиденция лорд-мэра, и знаменитая долговая тюрьма, с которой связаны детские годы Диккенса, и кафедральный собор Святого Павла. В Сити — Фондовая биржа. Под её колоннами ежедневно сотни людей, каким-то «третьим ухом» слушая биение финансового пульса страны, покупают и продают довольно скромные на вид бумажки, дающие право на барыши от производства меди и сахара, чая и самолётов, угля и нефти.

В Сити помещаются Английский банк и главные конторы банков «Большой пятерки», контролирующей большую часть капиталов всей Британии, — «Нэшнл энд Провиншл бэнк», «Мидлэнд бэнк», «Вестминстер бэнк», «Барклэйз бэнк». В Сити — банкирские дома Ротшильдов и братьев Лазар, отделения американских, французских, итальянских, голландских банков.

Дома в Сити нельзя назвать ни современными, ни старинными. В большинстве своём это солидные, тяжёлые, почти чёрные здания, построенные во второй половине девятнадцатого века.

Бродя по Сити, вспоминаешь героев Диккенса и первое поколение Форсайтов. Вспоминаешь прежде всего потому, что одежда тех, кто работает в «оффисах» Сити, мало чем отличается от одежды таких же клерков девятнадцатого века. «Штучные» узенькие брючки в полоску, чёрный короткий пиджак, высокий крахмальный воротничок, котелок, усы и длинный зонтик с изогнутой ручкой.

Ежедневно, кроме воскресений, к девяти часам утра сотни тысяч служащих чёрными ручейками вытекают из-под земли со станций метро — Бэнк, Моньюмент, Сант-Поль, Кэннонстрит, спускаются со ступенек красных двухэтажных автобусов, вереницами идущих по узким улицам Сити, вылезают из автомобилей самых новейших или самых древних конструкций и, звонко постукивая кончиками зонтов об асфальт тротуа-

ров, рассортировываются по конторам, банкам, акционерным обществам и оптовым фирмам. В час дня они вновь появятся на улицах, чтобы сейчас же исчезнуть в дверях маленьких ресторанов, закусочных, пивных или кафе, где, в зависимости от возраста, будут читать либо солидную «Файнаншел таймс», либо тоненький детективный роман в пёстрой обложке и, в зависимости от денежных ресурсов, либо есть полный ленч, то есть фактически обедать, либо, проглотив два сэндвича, пить кофе, сладкий чай с молоком или чёрное пиво — «Гинес».

К двум часам, выгирая усы и засовывая газеты в карманы пальто и пиджаков, клерки возвращаются в свои офисы.

Днём в этом, в сущности, маленьком районе — около двух миллионов людей. Вечером все они, обгоняя друг друга, спешат к своим машинам, остановкам автобусов и станциям метро, оставляя дома и улицы на попечение сторожей, швейцаров, полисменов и кошек. Ночью и в воскресные дни жителей в Сити тысяч десять—двенадцать, не больше.

### „Сэйл!“

Уэст-энд буквально означает Западный конец, Западный край. Исторически это, вероятно, так и было, но сейчас и западнее Уэст-энда идёт ещё много кварталов и улиц, которые к Уэст-энду обычно не причисляются. Сейчас Уэст-энд — это и торговый и фактический центр города. В нём живёт лондонская буржуазия. Тут самые красивые особняки. В садиках перед каждым подъездом жилых улиц почти обязательно цветут розы, пионы или астры.

В Уэст-энде сосредоточены музеи, лучшие театры и кино, мюзик-холлы, рестораны, самые дорогие отели. Но, конечно, для жителей других районов и других городов лондонский Уэст-энд — это прежде всего магазины. Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит, Пикадилли — это самые шумные, самые разноцветные, самые освещённые улицы. Здесь, если у вас есть деньги, можно купить всё, что только изготовляет Великобритания, и многое из того, что производят Франция, Италия, Америка, Австралия, Африка.

Денег нужно много. За многометровыми стёклами витрин, на круглых подставках, гордо показывая себя со всех сторон и блестя обтекаемыми бёдрами, медленно вращаются американские «линкольны», французские «де ля хейсы», английские «роллс-ройсы» и «ягуары», а в соседнем таком же сверкающем стекле кокетливо вертятся декорированные девушки в умопомрачительных бальных платьях из парчи и газа. Они улыбаются доступными пластмассовыми улыбками, несколько сглаженным впечатлением от недоступности цен. Стекланные глаза девушек не обращают никакого внимания на то, что рядом с ними вертятся такие же улыбающиеся неживые мужчины во фраках или непромокаемых пальто, а те в свою очередь не видят гипсовую копию Венеры Милосской, безрукий торс которой одет в розовую, как утренняя заря, трикотажную рубашку из нейлона. Пустые глаза Венеры устремлены через улицу. Может быть, она завидует тому, что там, в такой же витрине, девушка с чуть усталым лицом настоящими живыми руками быстро и профессионально вяжет шарф, рекламируя домашнюю вязальную машину.

Проходящие мимо женщины останавливаются и внимательно следят за работой девушки. Детям этих женщин рассуждения о выгоде вязальной машины совсем не интересны. Они усиленно тянут своих матерей к соседнему окну, где, помахивая хвостиком, упирается лапами в стекло шенок-спаниель, где возятся маленькие той-пудели, спят черноногие сиамские котята, жмутся друг к другу испуганные колибри, похожие на живые ёлочные украшения; в серебряных клетках лазят по целлулоидным лесенкам зелёные неразлучники, обитатели многих более или менее зажиточных английских семей. На полочках лежат резиновые мыши — игрушки богатых кошек — и резиновые кости — игрушки богатых собак, калоши для такс и калоши для немецких овчарок, чтобы не простудились и не наследили на ковре гостиной или вошёлмом ситце диванных чехлов.

Вот они, эти ковры и эти ситцы, в витринах мебельного магазина: знаменитые вошёлные английские ситцы и крепы с тысячами рисунков, начиная с тех, которыми

ещё Екатерина Вторая обивала свою спальню, и кончая сверхмодными, стражающими все течения современного изобразительного искусства. Всё зависит от того, на какую мебель вы собираетесь шить чехлы: на большие мягкие кресла или на подушки для стульев из дюралевых трубок. Для того, чтобы было ясно, что сидеть на таком стуле очень удобно, из тонких прутьев сплетена и посажена в позу машинистки некая абстракция очаровательной девушки.

Владелец соседнего обувного магазина, повидимому, противник абстракций и считает более действенной рекламу конкретную, так сказать, натуралистическую. В его окне выставлен башмак, безжалостно разрезанный пополам по вертикально-долевой оси. Это для того, чтобы все видели, из какого материала и каким способом этот башмак сделан.

Владельца магазина трикотажных изделий, вероятно, нужно причислить к сюрреалистам, то есть к натуралистам и мистикам одновременно. В его витрине на белом ватном снегу растут чёрные безлистые кусты, и на их кривых растопыренных ветвях, как разноцветные птицы, рассажены вязаные перчатки и джемперы. А вон там явный сторонник возбуждения у покупателей чисто физических эмоций: балаганные дергунчики заполнили всю плоскость стекла и танцуют в воздухе, как сумасшедшие. Это реклама нотного магазина.

Впрочем, впечатление если не сумасшествия, то во всяком случае предельной нервности или даже истерии производят многие витрины. Цена на каждом выставленном в них товаре перечёркнута красным крестом и рядом с новой ценой написано слово «сэйл» — распродажа. «Сэйл!» — хором кричат из-за стекла ситцевые юбки, соломенные шляпы и купальные костюмы. «Сэйл!» — стонут разноцветные ленты анонсов. «Сэйл!» — взывают через улицы и площади длинные полотнища, натянутые над вывесками магазинов. «Сэйл!» — подмигивают неоновые трубки. «Сэйл! Сэйл! Сэйл!»

Что случилось? В этих магазинах был пожар и товары испорчены дымом и водой? Нет. Не мог же быть пожар сразу во всех магазинах Лондона. Просто конец сезона. Каждый год в последних числах июля происходит распродажа летних сезонных товаров. Иначе нельзя. Следующим летом будет другая мода. В этом году распродажа была особенно бурной. Ведь с мая по август не было ни одного по-настоящему жаркого дня. Всё дождь и дождь. Не так плохо для полей, но катастрофа для торговцев босоножками и купальными костюмами. «Файнаншел таймс» сообщала о настоящих банкротствах многих фирм.

Ещё в прошлый мой приезд я познакомился с одним из владельцев крупной фирмы дамских платьев. По профессии он предприниматель, капиталист, а по истинному призванию — художник, великолепный акварелист. «Как ваши коммерческие дела?» — спросил я его в этот приезд. Он сказал: «Мне нужно, чтобы неделю было солнце, а потом сразу же две недели дождь. Тогда я более или менее выйду из положения». — «Зачем же вам нужен дождь?» — «Как зачем? Он поможет мне быстро реализовать партию осенних платьев и этим заткнуть дыру, которая образовалась от того, что я потерял на летних».

Но не только кричащее слово «Сэйл», которое почему-то у меня всё время ассоциировалось со словом «SOS» — призывом погибающих, но и обычная реклама Лондона создаёт впечатление торопливости, нервности, напряжённости жизни. Каждая фирма, продающая вино, гвозди или набойки на каблуки, стремится занять на улице наибольшее и наилучшее место и любым способом привлечь внимание к себе, то есть отвлечь внимание от такой же рекламы корсетов, фотографической плёнки или пирамидона. Для этого мобилизованы все более или менее пустующие плоскости зданий, крыши автобусов, стенки станций метро, дебаркадеры вокзалов, мосты — всё, что угодно.

Огромный полосатый тигр кидается на вас с крыши дома буквально на каждом углу. Его правая передняя лапа с растопыренными когтями перспективно увеличена, чтобы казаться ещё страшнее. Большая надпись: «Эссо». Это реклама бензина. Тигр, повидимому, симболизирует одновременно и силу и скорость.

Вы едете в метро в часы пик. Сесть негде. Стоите и держитесь за кожаную петлю, свешивающуюся с потолка. Прямо перед вами плакат. На нём изображён такой же, как вы, человек, держащийся за такую же кожаную петлю. Что может рекламировать

такой плакат? Это ясно только из подписи. Именно непонятность плаката заставляет вас её прочесть, а там написано: «Вы будете стоять ещё крепче, если станете нашим пайщиком», и дальше идёт название какого-то паевого общества. Вы сидите в поезде и вдруг читаете: «Здесь нельзя курить даже сигареты «Абдулла». Табачная фирма нашла способ рекламировать свой товар в вагоне для некурящих. Стоя на ступеньках эскалатора метро, вы проплываете мимо десятков плакатов. На одном из них изображена пятнистая жирафа, нежно смотрящая на своего жирафёнка, на котором нет ни одного пятнышка. Он такой белый, что от него даже исходит сияние. Это реклама пятновыводителя.

Чтобы обогнать конкурента по рекламе, многие плакаты и надписи сделаны особыми и, кстати, довольно дешёвыми светящимися красками: зелёными, красными, синими, жёлтыми. Их не надо освещать ультрафиолетом. Они усиливают свою интенсивность просто от дневного света и особенно выделяются в сумерки, когда обычные плакаты становятся плохо видимыми.

Но вот сумерки ступились ещё больше, и тогда все торговые улицы Уэст-энда вспыхивают неоновыми, аргоновыми и всякими другими газосветными трубками. Огни бегают, прыгают, вертятся, меняются и на стенах домов, и на крышах, и в витринах, и на фасадах театров, кино, мюзик-холлов, ревю. Самая большая световая суматоха происходит на Пикадилли-сёркус — круглой площади, в центре которой стоит бронзовый Эрос. Рождённому в голубом просторе Олимпа самому молодому богу Эллады, вероятно, довольно неудобно в таком сверхкоммерческом окружении. Ему трудно ранить чьё-либо сердце, потому что все пришедшие к его пьедесталу повернулись к нему спиной. Подложив под себя «Ивнинг-ньюс», они расселись по кругу на каменных ступеньках, чтобы смотреть огни реклам. Большинство сидящих — это туристы из разных городов Англии, из разных стран мира. Их лица меняют цвет, становясь то зелёными, то фиолетовыми в зависимости от того, что зажигается или гаснет перед их глазами. Конечно, самая большая реклама, занимающая несколько этажей дома, это американская «Кока-кола». Но и английское чёрное пиво «Гинес» старается не отстать. На светящемся циферблате, тоже раскинувшемся на два или три этажа, стрелки показывают верное время и надпись: «Гинес тайм» — «Время «Гинеса», то есть, иначе говоря: «Пора выпить!»

К полуночи рекламы гаснут. Закончились киносеансы, спектакли, программы ревю. Закрылись двери ресторанов. Англичане рано ложатся спать. На улицах остаются неожиданно застигнутые темнотой группы туристов, одинокие парочки влюблённых да рабочие, идущие в ночную смену. Заперты входы в метро. Автобусы идут так редко, что из средства транспорта превратились в выигрышные билеты. По магистралям двинулись грузовики. Это их время.

От площади Пикадилли-сёркус до нашего отеля на Бейзуотер-роуд пешком довольно далеко, но брать такси не хочется. Ночь тёплая, звёздная. Большинство витрин на Риджент-стрит погасло, а от тех, что ещё горят, на тротуары и мостовые ложатся широкие яркие полосы, будто кто-то постелил серебристо-жёлтые ковры. На них, как бабочки под ламповыми абажурами, возникают прохожие. Пропорхнут световую полосу и погаснут. А некоторые прилипнут к витринному стеклу на несколько минут и, оторвавшись, быстро летят дальше до следующего пучка света.

В полутёмной витрине рядом с уснувшим серебряным ягуаром уютно умывается обыкновенная кошка.

Четыре пластмассовые девушки перестали вертеться и стоят абсолютно голые. Несмотря на то, что у одной из них оторваны руки, а у другой совсем нет волос и она лысая, девушки всё так же мило улыбаются двум равнодушным мужчинам, надевающим на них новые кофточки и парчовые юбки.

Очень хочется всё это сфотографировать, да боюсь, не получится. Витрина освещена слабо. Какой-то небольшого роста человек в чёрном костюме, следивший из глубины магазина за одеванием манекенов, увидел, как я навожу на фокус объектив своего аппарата, замахал на меня руками и куда-то убежал. Через секунду вся витрина засверкала лампами, а человек в чёрном вернулся, удовлетворённо улыбаясь и кивая мне головой. Сделал ли он это по мотивам простой любезности или в расчёте на то,

что мой снимок может оказаться рекламой, я не знаю. Но фотография у меня получилась. К витрине подошли четверо юношей и четыре девушки. Служащие магазина уже заканчивали свою работу: укрепляли на головах покорных мисс маленькие визитные шляпки, раздавали им вышитые сумочки, поворачивали улыбающиеся головы, выбирая наиболее правдоподобные и элегантные позы.

Подошедшие к стеклу девушки, повиснув на локтях своих кавалеров, дегустаторски, со знанием дела, стали обсуждать качество тафтовых юбок, кофточек из модного материала терелин и бальных туфель с бронзовым отливом. Но, судя по их собственным юбкам и туфлям, судя по макинтошу и трём поношенным пиджакам их перспективных супругов, обсуждение витринных соблазнов имело чисто теоретический интерес. В дверь этого магазина они не войдут не только потому, что сейчас она заперта. Они не войдут в неё и завтра днём, потому что и тафтовые юбки и бронзовые туфли для них не товар, а музейный экспонат. Совсем недавно, просматривая в Москве английские газеты и журналы, я натолкнулся на статью Поля Андерсона в мартовском номере журнала «Пикчер пост». В этой статье автор рассказывает о жизни квалифицированного рабочего Кеннета Шефферда, получающего семь фунтов четырнадцать шиллингов в неделю, а при сверхурочных — даже и до десяти фунтов. Такой заработок выше средней заработной платы английского рабочего, но, несмотря на это, Андерсон пишет, что «только миссис Шефферд имеет приличное пальто и одно выходное платье. У детей несколько сильно поштопанных рубашонков и фуфаяк и по паре туфель на каждого. Свой единственный приличный костюм и пару уличных туфель Шефферду пришлось заложить перед Рождеством, там они и поныне».

Прочитав эту статью, я вспомнил маленькую группку лондонцев, стоявших перед ночной витриной.

Витрина погасла. Четыре пары молодых англичан быстро пошли вперёд, а мы, решив сократить дорогу, свернули налево и оказались в тихих, жилых улицах. От садиков перед подъездами пахнет политой травой. На ступеньках перед дверьми поблёскивают пустые молочные бутылки. Утром, проезжая, молочник сменит их на полные. В конце концов мы заблудились среди немых и узких улиц с тёмными домами и после долгих блужданий неожиданно вышли к Гайд-парку.

У тротуаров стоят две тележки с горящими живыми огоньками. После газосветных реклам Пикадилли огни эти кажутся церковными лампадками. Хозяин тележки дал нам горячие сосиски на картонной тарелочке и горячий кофе в картонных стаканчиках. У ларька на колёсах наскоро едят несколько рабочих и полисмен. На парапете решётки Гайд-парка сидят молодые женщины с подведёнными глазами. Когда мы дошли до отеля, на улицах уже не было никого. Шумный Уэст-энд заснул и стал таинственным, как всякий спящий город.

### *На зелёной траве.*

К Уэст-энду примыкают и наиболее крупные парки Лондона. Каждый из них, конечно, имеет своё лицо, но для человека, приехавшего в Лондон впервые, в них больше общего, чем разного. Прежде всего это очень большие парки. Особенно велик прославленный Гайд-парк. Вместе с парком Кенсингтон-гарденс — а фактически оба парка представляют собой единый зелёный массив — они занимают площадь, равную шестистам акрам, то есть почти двести пятьдесят гектаров. В парках этих нет никаких увеселений: ни каруселей, ни «американских гор», ни кривых зеркал. В них не говорят и не играют репродукторы; это в полном смысле слова парки отдыха. По широким дорожкам изредка проезжают гарцующие всадники — мужчины и женщины в спортивных костюмах, традиционных для английских спортсмен-конников. Иногда на лошадях выезжает целая семья: и мама, и папа, и дети. Хотя чаще всего лошади прокатные, а не собственные, удовольствие это не из дешёвых, и поэтому относительно социального положения всадников гадать не приходится. Это богатая семья.

По траве английских парков можно и ходить, и бегать, и лежать на ней, сколько угодно. Трава не мнётся, во-первых, потому, что она очень коротко подстрижена и, следовательно, менее ломка, а во-вторых, потому, что парк так велик, что вытоптать траву

невозможно. В Гайд-парке её невозможно даже выщипать, и среди парка ходят толстые курчавые бараны. Все гуляющие в парке, и взрослые и дети, чувствуют себя абсолютно непринуждённо. Вы можете встретить на лужайке человека, лежащего в одних трусиках. Он загорает. Загорает в самом центре Лондона. Сегодня воскресенье, да к тому же выглянуло солнце — не такой уж частый лондонский гость, особенно в это лето, — надо пользоваться случаем: за два часа можно если не загореть, то хотя бы подрумяниться. Дети бегают и играют в мячик, в крикет, прыгают через верёвочку, носятся взапуски со своими собаками.

В центре Кенсингтон-гарденс — круглый пруд. Там дети пускают игрушечные яхты, и самодельные и покупные. Всерьёз считая себя яхтами настоящими, маленькие кораблики, надувая паруса, идут всевозможными «галсами» и «бейдевиндами», то обгоняя, то натываясь на лебедей. А лебеди, сделав из крыльев ловушку для ветра, круто выгибают свои «лебединые» шеи и, пересекая пруд из конца в конец, как будто всё время проверяют в водяном зеркале, достаточно ли красиво у них это получается и похожи ли они на фарфоровые пепельницы.

Лебедей в Англии огромное количество. По традиции они считаются собственностью королевы. Стрелять их нельзя, и поэтому почти в каждом пруду непременно плавают лебеди. Да и не только лебедей много в парках английских городов, в том числе и в парках Лондона, но и диких уток разных пород, тут же, в прибрежной траве, высживающих своих утят, которые прямо из тёплых яиц отправляются в воду и плывут с такой уверенностью, будто они не утята, а маленькие пароходики. Очень много скворцов, чёрных и пёстрых дроздов и, конечно, голубей: и обычных сизарей, и разноцветных помесей с домашними, и больших диких лесных, и маленьких горлиц.

Кормить птиц — традиционное развлечение посетителей парка. Не только голуби и лебеди, но даже воробьи берут кусочки хлеба прямо из ваших рук.

Помимо больших парков в Уэст-энде много маленьких квадратных зелёных сквериков. Они похожи друг на друга, но один из них, Гровенер-сквер, мне особенно запомнился, потому что каждый раз, когда приходилось проезжать мимо него, шофёры такси, как правило, оборачивались и серьёзно или с усмешкой обращали моё внимание на эту квадратную площадь с садиком посередине. Один из шофёров, со свойственной лондонским шофёрам любезностью и юмором в течение всего пути весело рассказывавший обо всех встречавшихся по дороге достопримечательностях города, проезжая эту площадь, неожиданно бросил через плечо: «Америкэн сеттлмент!»

Дело в том, что дома, окружающие площадь, на девяносто девять лет арендованы американцами и в них расположены всевозможные американские учреждения. Действительно, получилось что-то похожее на иностранный сеттлмент в столице Великобритании, оскорбляющий лондонцев. Не моё дело давать советы американским государственным деятелям, но этот «экстерриториальный» сквер вряд ли укрепляет доверие англичан к Соединённым Штатам, тем более, что трещины в этом доверии и без того не так уж мало.

### **Кокни.**

Ист-энд — Восточный конец, Восточный край города. Это большой пролетарский район, населённый главным образом фабричными и заводскими рабочими, докерами, кустарями-надомниками. Если Сити — это деньги Лондона, Уэст-энд — товары Лондона, то Ист-энд — это руки Лондона, построившие и банки Сити, и дворцы, отели, особняки, театры и магазины Уэст-энда. Руки, наполнившие эти магазины обувью, платьем, мебелью, посудой, автомобилями, электроплитами, игрушками, духами, драгоценными кольцами, ожерельями, галстуками, трубками, книгами, конфетами. Руки, выгружающие кофе и сахар, уголь и лес, апельсины и руду с бесчисленных океанских пароходов, прибывающих из Европы, Африки, Америки, Австралии, и грузящие на эти пароходы станки и автомобили, электрические лампы и сыр, сталь и пиво. Руки, чинящие и строящие эти пароходы.

В Ист-энде мало больших парков; даже сквериков, так часто встречающихся в Уэст-энде, и тех немного. Да и перед жилыми домами почти нет традиционных англий-

ских садиков. В Ист-энде много старых, так называемых «доходных» домов, построенных ещё в джикенсовские времена, домов, которые сами лондонцы окрестили «трущобами»; иначе и не назовёшь большое и мрачное строение, в котором на целый многоквартирный этаж приходится одна уборная. Когда ходишь по лабиринтам узких чёрных дворов, переходов, низких арок, тёмных железных лестниц, не защищённых ни от ветра, ни от дождя, всё время кажется, что вот из-за этого угла появится тоненькая фигурка Давида Копперфильда, вон из того подвала выглянет головка «девочки из подземелья», а по противоположному тротуару пройдёт мистер Скрудж.

В Ист-энде особенно грустно выглядят руины разбомблённых домов и пустыри с остатками фундаментов. Разрушенные войной и ещё не восстановленные здания встречаются и в Уэст-энде, и в Сити, но в Ист-энде их почему-то гораздо больше. На обвалившихся стенах уже растут и трава, и кусты, и даже чахлые деревца. В бывших подвалах навален мусор, цветёт крапива и чертополох. Конечно, и на этих пустырях можно весело играть в прятки, в ковбоев Техаса или в охоту на слонов индийских джунглей. Для этого необходимо только иметь много фантазии и мало лет. Но всё-таки жаль, что пустыри Ист-энда так не похожи на Гайд-парк.

Старая худая женщина в изорванном и заплатанном серо-зелёном пальто вышла из маленькой рыбной лавки, неожиданно взяла меня за рукав, показала сперва на пустырь, торчащий кусками стен, потом на свои седые волосы и, махнув рукой, быстро пошла в узенькую улочку, на которой и асфальт, и тротуары, и стены домов были одинакового чёрного цвета. Хозяйка рыбной лавки сказала, что на этом месте был дом, в котором жила эта женщина, и под его развалинами погиб её ребёнок.

На магистралях Ист-энда есть магазины, в которых можно купить и красивую одежду и вкусную еду, но большинство магазинчиков торгует товарами дешёвыми и, конечно, гораздо худшими, а в лавчонках старьёвщиков продаются поношенные и издержанные вещи.

Пожалуй, наиболее ясно ощутил я имущественное положение жителей Ист-энда, когда прочёл маленькое объявление на стекле продовольственной лавки: там было написано о том, что уже можно делать взносы за рождественскую индейку. Как мне кажется, англичане вообще не очень религиозны, но традиционность праздников они любят. На рождество должен быть рождественский пудинг и, конечно, индейка. И вот уже с лета те хозяйки, которые боятся, что к празднику у них может не оказаться денег на такую дорогую покупку, вносят еженедельно определённую сумму владельцу мясной лавки для того, чтобы в сочельник получить от него то, что станет гордостью семейного торжества.

Многие из тех, кто живёт в Ист-энде, являются, так сказать, потомственными жителями этого района. Здесь родились их отцы, деды и прадеды. Они любят Ист-энд и гордятся тем, что имеют право считать себя настоящими «кокни».

Под словом «кокни» подразумевается довольно широкое понятие истинного лондонца, старожила, простолюдина. «Кокни» может быть промышленным рабочим, ремесленником, кустарём. Он может жить и в Ист-энде или же по другую сторону Темзы, в районе, расположенном на юго-западе и являющемся естественным продолжением Ист-энда. Но горд «кокни» прежде всего тем, что он лондонец и что он не богат, и уж во всяком случае не аристократ. У «кокни» свой особый говор, своя манера построения фраз, свои поговорки, свой акцент. «Кокни» бережно хранит традиции лондонского быта, и так же, как на рождественскую индейку, он скапливает деньги и на «бэнк-хolidays».

Четыре раза в году конторы и банки Англии бывают закрыты, помимо воскресенья, ещё и в понедельник. Это и называется «бэнк-хolidays». В «бэнк-хolidays» не работают также и все учреждения, фабрики и магазины страны. По-разному проводят лондонцы этот календарный праздник. Те богатые, у кого есть «кантри-хауз» — дача, едут туда. Если это августовский «бэнк-хolidays», владельцы машин мчатся в приморский город Брайтон, чтобы купаться в море, или в «Долину дьявола», чтобы валяться на траве, есть сэндвичи и глядеть в небо, или в загородный зоопарк, чтобы кормить бегающих на воле кенгуру и ручных обезьян и кататься на молчаливом и медленном слоне.

Но истинные «кокни», захватив скопленные шиллинги, целыми семьями, начиная с бабушек и кончая внуками в колясках, движутся в сторону Хемпстед-хисс. Там, на традиционном праздничном базаре, они будут есть хрустящие лепестки досуха поджаренной картошки, посыпая их солью и поливая уксусом. Там мужчины будут деревянными шарами сбивать со столбиков кокосовые орехи, а их жёны — узнавать судьбу у гадалки, на шатре которой написано: «Тысячу фунтов отдам в пользу больницы, если кто-либо докажет, что я происхожу не из знаменитой семьи гадалок». Там девушки купят себе целлофановые карнавальные шляпки, а мальчики — «орлиные перья» американских индейцев, а над колясками тех, кто ещё не умеет ходить, повиснут разноцветные надувные шары и колбасы, резиновые летающие собаки, кошки, рыбы. Там вся семья будет до головокружения вертеться на сверхскоростной карусели или съезжать на коврик по деревянной спирали, весело опрокидываясь вверх ногами в самом конце приземления. Там, если удачно попасть шариком в пустую банку, можно выиграть живую испуганную канарейку. Там, на старой, выцветшей ширме, будет верещать двоюродный брат нашего Петрушки, самый потомственный из всех «кокни» — Панч, и лупить палкой свою многострадальную жену Джуди. Там, наконец, будут гордо расхваливать «пуговичные короли и королевы», то есть те «кокни», которые умудрились нашить на свои костюмы, платья и шляпы наибольшее количество перламутровых пуговиц. Одним словом, там будет настоящее народное веселье.

Я приезжал в Ист-энд несколько раз. Был и в будние дни и в воскресенье. Бродил по улицам. Заходил в так называемые «паблик хауз» — рабочие пивные или маленькие закулочные, где рабочие едят свой скромный ленч. Я видел стремление бедных людей улучшить и украсить свою жизнь и понимал невозможность сделать это. В чёрном грязном дворе, около подъезда многоквартирного дома, отец и сын устроили садик — совсем как в Уэст-энде, — там росли и трава и цветы, только размер огороженного решёткой садика был меньше квадратного метра. Такой же садик был устроен и перед домом, который и домом-то назвать нельзя: он скорее похож на половину большой гофрированной консервной банки, разрезанной пополам по вертикальной оси. В полукруге фасада, так сказать на крышке банки, была дверь и два окна с занавесочками, а садик был похож на зелёнку лужицу, вылившуюся из двери. В садике, как и полагалось, копался в земле мальчик, а через железную сетку лаял на прохожих маленький хриплый пёс.

Я выступал перед жителями Ист-энда в театре, который называется «Тиэтр уорк шоп» — театральная мастерская. Об этом театре очень хорошо написал в «Огоньке» Борис Полевой. К сожалению, я не видел спектаклей этого театра, но и сердца зрителей и сердца актёров ощутил, потому что после концерта много людей пришло ко мне на сцену и много прекрасных, искренних слов услышал я о том, как они любят нашу страну и как верят в нашу дружбу. Даже четыре прогрессивных районных мэра были на концерте, а двое из них пришли за кулисы. На груди у каждого висела цепь — официальный знак должности. До поздней ночи сидели мы с работниками этого театра. Ни по костюму, ни по словам, которые они говорили, нельзя было отличить актёров от рабочих сцены, потому что и актёры и рабочие — это одни и те же люди. Работу свою они считают большим общественно-политическим делом. Получают за неё очень маленькие деньги, потому что всё, что они сумели накопить гастролями в Европе, ушло на аренду театра.

И всё-таки я видел и ощущал в Ист-энде только поверхность явлений. У некоторых районов Лондона души маленькие. У Ист-энда душа огромная, и для того, чтобы ощутить эту душу полностью, надо слиться с жизнью рабочих Ист-энда. Стать частью этой жизни. Этого нельзя сделать за полтора месяца.

В одну из суббот я видел, как раскрылись ворота какой-то фабрики и оттуда полилась река людей. Молодые, старые, смеющиеся и сосредоточенные, кто пешком — вероятно, живут либо рядом, либо уж так далеко, что надо на метро ехать, — кто на велосипеде, они растекались ручьями по улицам и переулкам. Я смотрел на них и думал о том, что это правнуки тех, кто сто лет назад, в такой же летний день, второго июля тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, насмерть напугал жителей Уэст-энда, лондонскую аристократию, прогуливавшуюся верхом и в каретах с ливрей-

ными лакеями по аллеям Гайд-парка. Это была грандиозная рабочая демонстрация против церковников, добивавшихся принятия в парламенте билля о запрещении торговли и развлечений в воскресенье. Больше двухсот тысяч «кокни» пришло тогда в Гайд-парк, и многие из них были арестованы, ранены, убиты вызванными для разгона демонстрации полицейскими и войсками.

И я думал ещё о том, что многие из тех рабочих, которые выходят сейчас из фабричных ворот, это сыновья тех докеров, что в двадцатом году отказались грузить оружие, предназначавшееся войскам интервентов, мечтавших задушить нашу революцию и поработить наш народ. И это они, лондонские «кокни», сказали тогда жителям Уэст-энда, банкирам Сити и министрам: «Руки прочь от России!»

Перед самым нашим отъездом из Лондона в 1953 году началась огромная забастовка лондонских докеров, и я вспомнил тогда всеобщую забастовку английских рабочих в двадцать шестом году, когда я ехал в Советский Союз из Америки.

В Лондонском музее я видел фотографии и документы борьбы лондонских суффражисток, а в парламенте мы встретились с делегацией женщин, пришедших подавать петицию с требованием равной оплаты труда женщин за равную с мужчинами работу. В Англии женщина — кондуктор автобуса, или женщина-продавец, или женщина-счетовод, или учительница получает меньшее жалованье только потому, что она женщина, а не мужчина. Среди этой делегации было много жён рабочих Ист-энда. И среди тех, кто борется сейчас за сохранение мира, и среди тех, кто является членами Общества англо-советской дружбы, много, очень много жителей Ист-энда.

### *Лондон-столица.*

Но если бедный, пролетарский Ист-энд обычно противопоставляется богатому, буржуазному Уэст-энду, то оба они, конечно, по-разному могут быть противопоставлены аристократическому Вестминстеру — району торжественно-официальному.

Вестминстер — это и есть Лондон-столица. Столица Соединённого королевства Великобритании. Столица Британской империи. Отсюда радиоволны Бибиси разносят по всем островам, колониям, доминионам, протекторатам, мандатным и подопечным владениям бой часов «Большого Бэна» — башни парламента.

Отсюда, с улицы Уайтхолл, и по земле, и по воде, и по воздуху, и по телеграфным проводам, и по подводным кабелям, и по радио расходятся циркуляры, приказы и распоряжения различных министерств: Хоум-оффис — министерства внутренних дел; Форин-оффис — министерства иностранных дел; Уор-оффис — министерства обороны.

Здесь, на маленькой Даунинг-стрит, в доме № 10, резиденция премьер-министра, происходит заседания кабинета, от решений которого зависит судьба не только жителей Лондона, Глазго, Кардиффа или Беллфаста, но и тех десятков миллионов людей разных национальностей, религий и цвета кожи, что живут на расстоянии многих тысяч километров и от Британских островов и друг от друга в Азии, Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, в Адене или Сиднее, Гвинее или Сьерра-Леоне, Гвиане или Зулуленде, Нигерии или Новой Зеландии.

Одно из самых старых и самых красивых зданий Вестминстера — это часовня Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, построенная на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков. Большинство же других зданий, в том числе и готический парламент, построено в девятнадцатом веке, а фасадная сторона Букингемского дворца — даже в начале двадцатого.

Очень многие официальные здания Лондона — дворцы, музеи, соборы, казармы, — в том числе и в районе Вестминстера, в дни своей юности были белыми или светло-серыми. За десятки лет городская копоть Лондона покрыла их маслянисто-чёрным слоем каменноугольной сажи, таким плотным и крепким, что, сколько ни скреби ножом, до белого доскрести невозможно. Но дождь, обильный лондонский дождь, не дал копоти взрыться в выступающие части зданий, по которым он хлестал в течение тех же десятков лет. Вот почему все карнизы, пилястры, наличники окон, старательно вымытые господом богом, сохранили свой первозданный цвет и либо серебрятся, либо белы, как сахар, положенный на наждачную бумагу.

Архитекторы часто употребляют слово «отмывка». Этим словом они называют процесс постепенного наложения теней на вычерченный проект фасада. Так вот многие фасады лондонских домов очень похожи на «отмытые» архитектурные проекты с постепенными переходами теней от белого цвета бумаги до чёрного цвета хорошей китайской туши. Если колоннада какого-нибудь классического портика подпирает тяжёлый и широкий архитрав, то капители и верхние части колонн, скрытые от дождя карнизом, совсем черны. Затем, на определённой высоте, они начинают светлеть, и в самом низу, там, где дождь становится полновластным хозяином, и колонны и базы абсолютно белые. На архитектурном проекте место перехода от тени к свету определяется воображаемым углом падения косых лучей солнца. Здесь же этот переход распределён вполне реальным углом падения косых струй дождя.

А бывает так, что все колонны с одного боку белые, а с другого — чёрные. Полное впечатление, что строитель специально раскрасил их, чтобы повторить эффект архитектора, решившего на проекте резко осветить своё здание именно с этой стороны. Фактически же такая раскраска произошла потому, что ветер, бивший дождём в эту колоннаду, из года в год дул только с одного боку, так как с другого ему мешал высокий дом или поворот улицы.

Эта битва адской сажи и небесных струй создала особую чёрно-белую графику старых лондонских фасадов. Наиболее эффектно выглядят каннелюры коринфских колонн, фигуры карнатид, подпирающих тяжёлые балконы, скульптура барельефов, на которых каждая впадина, каждое углубление, каждый мускул или завиток волос прочернены и каждая выпуклость выбелена. Полное впечатление гравюры на линолеуме или рисунка жирным углем на шершавой поверхности ватманской бумаги. Немножко хлодно и сурово, но безусловно торжественно и даже театрально.

Особенно театрально и особенно торжественно выглядят фасады Вестминстерского района, так как здесь эта театральность подчеркнута традиционными атрибутами правительственной власти. Две узкие арки ворот, чёрные внутри и белые снаружи. В арках два больших вороньих коня. Если бы они изредка не переминались с ноги на ногу и не взмахивали усталыми головами, их можно было бы принять за скульптуры из агата. На конях — всадники в яркокрасных камзолах и золотых касках. Вероятно, они тоже живые, но это — чисто логическое умозаключение, так как никаких признаков жизни всадники не обнаруживают. Это фасад конногвардейских казарм. Если прийти сюда утром, то сквозь высокую решётку забора будет видно, как выстраиваются ряды всадников и по сигналу трубы выезжают в центральную арку на другой стороне двора, направляясь к Букингемскому дворцу, туда, где каждое утро происходит смена королевского караула, самого традиционного и самого театрального атрибута этого района.

Но если вы хотите видеть всю церемонию от начала до конца, то вам необходимо прийти к решётке Букингемского дворца раньше, чем туда приедут всадники конной гвардии, да и раньше, чем такие же любопытные, как вы, облепят решётку забора. А прийти стоит. Вы увидите настоящую театральную постановку, отрепетированную и отшлифованную годами. Под звуки оркестра, под хриплые крики команды и дробный стук каблучков о камни двора будут строиться и перестраиваться, меняясь местами, гвардейцы в красных мундирах и высоких медвежьих шапках, наклонившись по самые глаза, а под конец этого представления каждый из них замрёт в положенной ему позе часового, и всё замолкнет и застынет, как в заколдованном царстве спящей красавицы.

Театральную торжественность Вестминстерский район сохраняет и ночью. Большие прожекторы освещают готические крыши Вестминстерского аббатства и башню «Большого Бэна», отчего они кажутся вылепленными из воска. Зелёные и жёлтые огни превращают в сказочный замок большой административный дом, стоящий на другом берегу Темзы, гирлянды лампочек висят вдоль набережной, заставляя влюблённых прятаться в тень и разыскивать места хоть и менее эффектные, но зато укромные.

Улицы пусты. Медленно и торжественно проходят полисмены. Высокие, прямые, в чёрных касках.

### *Несоизмеримое.*

Ну вот я и перечислил те показавшиеся мне наиболее характерными признаки, которые отличают разные районы Лондона друг от друга. Но какие же признаки объединяют их? Что характерно для всего Лондона, вне зависимости от того, в каком районе мы находимся?

Таких объединяющих признаков много, но для того, чтобы говорить о них, я должен вызвать в своей памяти ощущения, испытанные мной за много лет до встречи с Лондоном. Ведь в Лондон-то я попал уже после того, как был во многих городах и довоенной Германии и Соединённых Штатов Америки, и, следовательно, те явления, которые характерны для всякого большого капиталистического города, уже не бросились мне в глаза так сильно, как бросились бы всякому советскому человеку, встретившемуся с ними впервые, то есть большинству моих читателей. А именно эти явления и есть наиболее объединяющие признаки всех районов Лондона..

Что же особенно поразило меня, когда больше четверти века назад, впервые в своей жизни, я оказался за границей — в Берлине, Нью-Йорке, Чикаго? Трудно определить это одним или несколькими словами, но если уж определять, то, пожалуй, самым верным будет слово «несоизмеримость». Несоизмеримость отдельных явлений жизни капиталистического общества. Не простая противоположность или контрастность этих явлений, а именно несовместимость, несоизмеримость их.

Вот так же, как в математике есть несоизмеримые величины, так и тут несоизмеримы жизни и судьбы людей. Будто люди живут в разных пространствах, вернее, даже в разных плоскостях, и плоскости эти иногда пересекаются под острым или тупым углом, иногда идут параллельно, вне всякой видимой связи друг с другом.

Вот с этой несоизмеримостью жизни отдельных слоёв общества, отдельных групп и даже отдельных людей, характерной для любого капиталистического города, вы встретитесь и в Лондоне, и она-то и поразит вас прежде всего.

Марбл Арч — Мраморная Арка. Всегда запертые триумфальные ворота, через которые никто не ездит. Зато вокруг Марбл Арч каруселью кружится всё, что только имеет колёса. Упираясь тупым носом в тупой хвост предыдущего, один за другим идут автобусы: двухэтажные красные — городские, двухэтажные зелёные — загородные. сплошь стеклянные — туристские, сплошь закрытые, но зато раскрашенные всякими картинками и надписями — грузовики, развозящие мебель, конфеты, бельё, посуду. Всеми силами стараясь как-нибудь протиснуться и обогнать слоновьи тела автобусов, торопятся и нервничают легковые машины — серые, зелёные, голубые, серебряные; между ними заклиниваются люди, сидящие на низеньких игрушечных мотоциклах; и уж совсем самоубийцами кажутся те, что сидят на хрупких, как насекомые, велосипедах. Всё это моторизованное стадо несётся быстро и молча: в Лондоне запрещены гудки. Только шорох от встречи резины с гудроном. От этого сосредоточенного безмолвного движение кажется ещё более нервным и стремительным.

А всего в нескольких десятках метров, за решёткой Гайд-парка, на платных шезлонгах или на бесплатной траве сидят или лежат люди. Две девушки сняли со своих усталых ног туфли и чулки и, шевеля розовыми пальцами, смотрят в небо. А между девушками и шуршащей бензиновой рекой, на самой кромке парка, какой-то человек вдруг залез на верхнюю площадку лесенки, похожей на стремянку, и начал что-то кричать. Девушки, конечно, слышат. Не могут не слышать, но они даже не оглянулись, как не оглянулись и те, что стоят в очереди к зелёному загородному автобусу. Не оглянулись потому, что в этом крике для них нет ничего удивительного. Ведь сегодня «уик-энд» — «конец недели», — и поэтому на углу Гайд-парка особенно много самых разнообразных ораторов будут произносить самые разнообразные речи тем, кто их захочет слушать.

Закатное солнце отскочило от стекла автобуса и зажгло очки на носу оратора. Левой рукой он вцепился в перила площадки, а правой жестикулирует над головой какого-то туриста, старающегося его сфотографировать.

«Единственная правильная форма организации человеческого общества — это полная анархия. Никто не должен кому бы то ни было подчиняться. Никто!!» На этом

слове оратор так стукнул кулаком по перилам, что прицепленный к ним плакатик со словом «Анархист» перекосялся. Оратор шумно вобрал в себя новый запас воздуха и проводил невидящим взглядом проходящих мимо плотников с пилами. Плотники не обратили никакого внимания ни на оратора, ни на его слова, ни на его плакатик. Они торопились домой. Им сегодня пришлось задержаться, выполняя срочную работу. Нужно было построить специальный помост перед большим полем Гайд-парка. Завтра здесь её величество королева будет принимать парад полицейских Скоттланд-ярда.

В пяти шагах от анархиста, прямо на земле, а не на лестнице, стоит усатый старичок. В его руках небольшая толстая книжечка с вышитой закладкой. Это — евангелие. Громко, но без всякой экзальтации он читает длинные ритмические фразы. Перелистывает страницу, перекладывает закладку и не торопясь принимается за следующую страницу. В течение получаса около него остановилось всего человека три-четыре, да и то каждый слушал не больше минуты.

Наискосок от старика с евангелием на площадку взобрался безбровый толстяк и с места в карьер начал кричать неожиданно высоким голосом.

Повидимому, это был очень опытный оратор, так как сразу же стало ясно, что он обладает особым методом публичных выступлений. В условиях Гайд-парка, где аудитория перед глазами большинства ораторов всё время меняется, как вода в ручейке, и только наиболее закалённые слушатели выстоявают до конца, метод этот безусловно имеет свои преимущества, так как создаёт впечатление полного общения оратора с его аудиторией, а главное, полного её согласия со всеми его взглядами по основным вопросам внешней и внутренней политики.

«Почему Англия победила в прошлой войне?» — кричит оратор, сурово сдвинув несуществующие брови и устремив свой взгляд на довольно безразличную физиономию с трубкой в зубах. Трубку равнодушно перекатывает из одного угла рта к другому, но оратор и не ждёт ответа. Он отвечает сам: «Потому что она не могла не победить!» Ответ кажется ему удивительно удачным по своей лаконичности. На лице его возникает восторженная улыбка. Откинувшись назад, он секунду глядит на освещённую солнцем верхушку липы, затем быстро опускает голову вниз, сдвигает складку над переносицей и, выискивая нового партнёра для своего монодиалога — женщину с той-пуделем на руках, кричит им обоим: «Почему мы не могли не победить?» И женщина и той-пудель молчат... да им и незачем ломать свои кудрявые головы над этим вопросом. Ответ уже готов. Вот он звучит, завершаясь на верхнем си-бемоль: «Потому что наша нация обладает врождённым консерватизмом, то есть врождённой устойчивостью».

Ответ приводит его автора в состояние полного умиления. Счастливыми глазами он обводит всех своих слушателей. Их стало больше. Правда, исчез человек с трубкой в зубах, но зато на его месте появился очень высокий и очень рыжий веснушчатый парень, опирающийся на велосипедный руль, и шотландец в клетчатой юбке.

В паузу, необходимую оратору для того, чтобы с верхушки дерева достать новый вопрос и бросить его в лицо велосипедисту, врывается резкий взволнованный голос: «Я люблю Лондон, я очень люблю Лондон!» Это говорит человек, стоящий на соседней трибуне. У него тёмное, почти чёрное лицо и металлические, будто сделанные из тонкой серебряной проволоки, круто вьющиеся волосы. «Я люблю и Гайд-парк, и музеи, и дворцы Лондона, но только не думайте, что всё это сделали вы, англичане! Не думайте, что ваше богатство создано только вашими руками. Вы знаете, сколько рук работает на вас в Африке? Тёких же вот рук, как эти!» И над серебряной головой поднимаются две тёмные руки, вырезанные силуэтом на закатном небе.

«Нечего хвастать чёрными руками!» — кричит толстый парень в пёстрой рубашке с короткими рукавами и зелёным галстуком, на котором изображена большая рюмка, а в рюмке голая женщина. На американский акцент обернулись и несколько смуглых лиц, и беловолодая девушка в круглых, как свиные глаза, очках. Реплика толстого парня оказалась скорее в пользу оратора, чем против него. «Я и не хвастаю, — отвечает он, разглядывая свои руки, — я этими руками горжусь». Беловолодая девушка кричит: «Правильно!» — и аплодирует белыми ладошками. Зелёный галстук с голой женщиной презрительно разворачивается, направляясь к следующему оратору, около

ксторого стоят пять старух и успешный перексчевать сюда рыжий велосипедист со своим долговязым велосипедом.

Лицо этого оратора искажено экстазом, то есть чем-то вроде восторженного ужаса. Глаза его вытаращены, как у породистого бульдога, а рот движется с такой энергией и быстротой, что слова вылетают из него цепочкой, как трассирующие пули. Ему есть куда торопиться. Ведь каждая следующая секунда может оказаться роковой для всех, кого он не успеет предупредить о грозящей им опасности. Согласно абсолютно достоверным сведениям, антихрист уже явился и буквально на следующей неделе будет воскресение из мёртвых и Страшный суд. Следовательно, если все мы во-время не покаемся в совершенных нами грехах, то адское пламя нам обеспечено.

Такого оратора можно слушать без особого волнения, так как ни о каких конкретных носителях грехов он не говорит и каждый вправе считать себя менее грешным, чем другие. Велосипедист слушал бы этот огнедышащий громкоговоритель ещё, да подбежала девушка с таким же никелированным велосипедом, схватила рыжего парня за руку, и вместе со своими велосипедами они быстро побежали через луг в сторону ресторана. Повидимому, у них здесь просто было назначено свидание, и рыжий только от нечего делать слушал ораторов.

Среди многих упражнений, которые предлагал Станиславский своим ученикам, было одно, называвшееся упражнением на «публичное одиночество». Цель этого упражнения была приучить молодого актёра совсем не стесняться зрителей, как бы исключить их из своего сознания. Вероятно, многие ораторы Гайд-парка получили бы у Станиславского самую высокую оценку за умение находиться в состоянии публичного одиночества. Иначе и не назовёшь истошные вопли человека, кричащего о Страшном суде и геенне сгненной людям, которые проходят мимо, а если и останавливаются, то только от нечего делать. Всё это нисколько не смущает оратора, как не смущает и то, что со стороны улицы несётся очень весёлая музыка.

Это уличный оркестр. Гитара, труба, саксофон и банджо. В Англии запрещено нищенство. Не работать имеет право только тот, у кого есть деньги. Всякий же, у кого денег на жизнь нет, работать обязан. Что он делает, это никого не касается, как никого не касается и то, сколько ему за это платят. Если человек рисует на тротуаре мелом картинку, это похоже на работу? Похоже. Если кто-нибудь кинул этому человеку несколько пенсов, можно ли считать, что он заплатил за наслаждение от этой картинки? Конечно, можно. Пусть человек, кинувший деньги, почти и не взглянул на рисунок — это неважно. Одному нужно для наслаждения картиной час, а ему, может быть, и секунды достаточно. Значит, юридически рисующий — не нищий, а пенсы — не милостыня. Вот и ползает человек по тротуару на коленках и рисует пейзажи, и стирает их тряпкой, и опять рисует. И уличные оркестры, играющие польки, вальсы и фокстроты, и уличные певцы и певицы тоже считаются не нищими. Правда, никто, кроме мальчишек, не остановится их послушать, а у мальчишек нет пенсов, но не для своего и не для чужого удовольствия играют уличные музыканты Лондона, а только для того, чтобы иметь право сказать: «Мы работаем, дайте нам денег, и это не будет считаться милостыней». Вот и летят через головы молчаливо бегущих машин пританцовывающие звуки старой английской польки, аккомпанируя истерическим словам оратора, обличающим всех смертных в том, что они забыли бога.

Оркестр движется вдоль Гайд-парка, по Бейзуотер-роуд, обгоняя двух молодых монашенок в огромных белых накрахмаленных шляпах, таких широкополых, будто каждая выкроена из целой простыни. Монашенки не обращают внимания ни на крики о Страшном суде, ни на оркестрантов, с серьёзными лицами играющих несерьёзную музыку. Они заняты каким-то разговором. Вероятно, о том, насколько были удачны их сегодняшние покупки. Обе держат их в своих руках. У одной коробка с маркой обувного магазина «Саксин», у другой большой пакет с надписью «Берн и Холлингсворт». Не замечают они, вернее замечают, но не обращают никакого внимания и на одиноко стоящих около решётки Гайд-парка женщин, читающих газету, или курящих сигарету, или просто вертящих в своих руках дверной ключ.

В Англии запрещена проституция. Женщина не имеет права приставать к мужчинам. За это её могут привлечь к суду. Но разве какая-либо женщина не может стоять,

где ей хочется? Конечно, может. И разве не имеет права женщина разговаривать с мужчиной или мужчина с женщиной?

Значит, можно стоять на углу. И, значит, можно разговаривать с женщиной, если мужчина к тебе подошёл. И можно пройти с женщиной по улице и войти в подъезд.

Я не знаю, что заставило молодых женщин стать монахинями, но те, что вышли на улицу, сделали это не потому, что искали лёгкой жизни. Деньги, которые они получают от мужчин, невелики — не только на старость, но даже и на год вперёд не накопишь. А конец наступает быстро. Румянами морщин не разгладить. Перекисью годы не уменьшишь. Старость бесперспективна, безнадежна, попросту трагична, о ней лучше не думать.

Все эти разрозненно живущие люди, владельцы «паккардов» и пассажиры автобусов, ораторы и музыканты, богатые всадники на кровных кобылах и монахини, протитутки и проповедники фактически живут в несоизмеримых пространствах.

Кричит оратор о здоровом консерватизме, читает старичок евангелие, играют польку музыканты, стоит девушка с напряжённо ищущими глазами, и всё это врозь — «публичное одиночество»... Пожалуй, нет ничего страшнее на свете, чем быть одному среди многих.

Если посадить мышь под стеклянный колпак, положить её туда сыру и поставить воды, мышь будет есть сыр, пить воду и рассматривать через стекло окружающий мир: кусок письменного стола, подоконник, ветку дерева за окном. Но придёт время, когда воздух, пройдя сквозь мышинные лёгкие, потеряет весь кислород. Мышь погибнет, а воробей на подоконнике будет спокойно клевать крошки, ветер — шевелить листья и гнать по небу облака.

Наблюдая жизнь большого капиталистического города, часто думаешь о том, как много людей разделено друг от друга непроницаемыми, хоть и стеклянными перегородками. Как много людей под стеклянными колпаками изолировано в своей судьбе! Как ясно, что вот под этим или под тем колпаком скоро может не хватить воздуха и тогда задохнётся человек, хотя вокруг него будет и солнце, и воздух, и жизнь. Погибнет человек среди толпы таких же изолированных друг от друга, по-разному одиноких и в счастье и в горе, потому что судьбы людей расслоены, разобщены. Их даже сравнивать трудно. Они несоизмеримы.

### *Осколки кривых зеркал.*

Но эту несоизмеримость явлений вы обнаружите во всяком капиталистическом городе не только в судьбах людей, да и не только на шумном перекрёстке. Эту же несоизмеримость вы увидите и в явлениях культуры, театра, кино.

Может быть, наиболее наглядно и нелепо выглядит она на страницах многих, если не большинства, газет.

Вне зависимости от того, насколько правдиво изложены отдельные факты каждого сообщения или статьи, общее представление об окружающей читателя реальной действительности, как правило, искажено предельно. Искажено прежде всего потому, что степени значительности отдельных фактов несоизмерены между собой.

Представьте себе фотографа, который сфотографировал бы какого-либо человека по частям: отдельно голову, отдельно торс, отдельно руки, отпечатал бы все эти фотографии в совершенно разных масштабах и затем смонтировал их так, что вновь получился бы человек. По частям всё будет правда: и голова похожа, и руки, и даже пуговицы пиджака. А всё вместе — ложь. Сумма разномасштабных правд всегда ложь. Голова размером с пуговицу, рука, как соломинка, а нога втрое больше тела. Именно так и выглядит большинство газет капиталистических стран.

Основная их неправда — это полное нарушение масштабов значимости отдельных явлений жизни, а из-за этого абсолютно искажённое представление и о каждом данном явлении и об их сумме, то есть о жизни в целом.

Первая страница такой газеты посвящена злободневным сенсациям, главным образом уголовного или скандального характера: убита хозяйка шляпного магазина — улыбающийся портрет убитой. Муж в это время был на даче — улыбающийся портрет

мужа. Детектив такой-то отказался сообщить что-либо корреспонденту газеты — сосредоточенное лицо сыщика с телефонной трубкой. А где-то на третьей или пятой странице маленькое сообщение о событиях во Вьетнаме, и тут же две задранные женские ноги в ажурных чулках.

В ноябре или декабре пятьдесят третьего года первые страницы большинства лондонских газет чуть ли не целую неделю были заняты каким-то лордом-гомосексуалистом, а затем в восторге объявили о том, что никому до сих пор не известная восьмидесятилетняя старушка вышла замуж. Сообщения же о войне во Вьетнаме и Корее нужно было разыскивать между фотографией американской кинозвезды и другой фотографией, изображающей девушку, целующую усатого мужчину, с пояснением относительно затруднительности такого поцелуя. Вот и получается, что самое значительное, происходящее в мире, это поведение дегенерата, самое практически важное — это умение целовать усатого, а о борьбе двух многомиллионных народов за жизнь можно и не прочитывать.

Причина такой непостижимой для нас подачи газетных материалов кроется не только в сознательном желании дезориентировать читателя. Она рождена самим капиталистическим строем и конкуренцией газет друг с другом. Каждая стремится опередить другую в занимательности и сенсационности. Вот это постоянное взаимное забегание вперёд и приводит к тому, что наиважнейшим событием сегодняшнего дня оказывается рождение двухголового котёнка.

К этому ещё надо прибавить и сознательную ложь. Я вовсе не хочу обидеть всех английских журналистов и корреспондентов или всех редакторов газет, но если в десяти газетах один и тот же факт часто оказывается изложенным абсолютно по-разному, то у меня, как и у любого, в том числе и английского, читателя есть все основания считать, что по крайней мере девять из десяти утверждений являются неправдой. Вот и получается, что во многих газетах мир отражён кусочками разбитых зеркал разных размеров, да ещё некоторые из этих зеркал кривые.

Что же мне было удивляться на сверхнаивные вопросы некоторых англичан относительно жизни нашей страны, если вызваны эти вопросы раздробленными, разномаштабными, а часто и кривыми отражениями нашей жизни, отпечатанными то аршинными буквами, то неразборчивым петитом?

«Как вам удалось приехать?» — спрашивает меня человек, искренне думая, что это стоило мне героических усилий. Его вопрос законен. Ведь в сегодняшней газете среди других сенсаций он увидел фотографию моей куклы и подпись под ней: «Эта кукла прорвала железный занавес!»

### **„И ты, Брут!..“**

Я недостаточно хорошо знаю английский язык, да и времени у меня для чтения не было вовсе, поэтому я не имею никакого права судить о содержании книг, стоящих на полках магазинов. Я могу сказать только, что очень большое количество книг, особенно по искусству, издано просто великолепно, но, к сожалению, они дороги, и что одновременно слишком много дешёвых книг, представляющих собой главным образом детективные романы. Не могу судить и о содержании большинства журналов. Но что, безусловно, хорошо, так это их количество и разнообразие. Сотни журналов посвящены специальным вопросам — техническим, медицинским, научным, живописи, архитектуре, музыке. Сотни журналов прикладного характера — по фотографии, спорту, домоводству, кулинарии, вышивке, вязанию, шитью, кройке. Сотни альбомов и монографий посвящены стране, отдельным городам, отдельным зданиям. Много детских книг для всех возрастов. Одних только детских энциклопедий по крайней мере десять названий. Для самых маленьких — книжки-игрушки: разворачиваешь страницу, а между нею и следующей вдруг вырастает в высоту сказочный замок или пароход. Берёшь другую книжку, а в ней у всех зверят выпуклые глаза из плексиката, и в них катаются весёлые круглые зрачки. А в другой книжке на каждой страничке нарисован цветок, который надо раскрасить: анютины глазки, пионы, мак, и описание, как выра-

стить такой цветок, а над каждым рисунком — конвертик с настоящими семенами этого цветка.

Много книг по детскому спорту, авиамоделизму, конструкции самолётов, яхт, по электротехнике, столярному делу, выжиганию, склеиванию! Если к этому прибавить очень большое разнообразие всевозможных детских игрушек, начиная от погремушек и кончая наборами кукол для домашних кукольных театров и конструкторами, позволяющими собрать домашнюю детскую электростанцию, и прекрасный по качеству и разнообразию детский спортивный инвентарь, опять-таки рассчитанный буквально на все возрасты, начиная от резиновых бассейнчиков, в которых могут полоскаться двухлетки, и кончая лыжами, коньками, разборными яхтами и гребными лодками, — то создаётся впечатление, что английские родители, во всяком случае те, у кого достаточно денег на покупку детских книг и игрушек, располагают всеми возможностями воспитывать своих ребят и с помощью игрушек и с помощью прекрасно изданных книг на самые различные темы. Но, насколько не умаляя качеств полиграфии или игрушечной промышленности, я должен сейчас же напомнить, что и сюда, в дело воспитания, проникает та самая несоизмеримость явлений, о которой я уже говорил.

Рядом со всеми этими игрушками и книжками, а если не рядом, так за соседним углом, на книжном прилавке или в газетном киоске лежат груды тоненьких книжечек в ярко размалёванных обложках. На каждой книжечке стоит номер, так как они издаются сериями. Но какой бы номер ни стоял на книжечке — восьмой или сто четвёртый, как бы ни называлась серия — «Уголовный детектив», «Герой с Запада», «Неизвестные миры» или даже «Иллюстрированная классика» — и как бы ни называлась сама книжечка — «Сверхчеловек», «Пойманный в пространстве», «Красавец Флойд тут как тут» или даже «Юлий Цезарь», — всё равно, отвернув разноцветную обложку, вы увидите десяток жиденьких страничек, на которых нарисованы картинки. Пять, десять, пятнадцать картинок на каждой. Нарисованы они плохо, напечатаны ещё хуже, но зато почти на каждой картинке кто-нибудь в кого-нибудь стреляет, или режет ножом, или выкалывает кому-то глаза, или разбивает топором голову, так что разлетаются мозги, или душит верёвкой, или давит танком, или взрывает гранатой. Из рта нарисованных людей вытянуты как бы большие мыльные пузыри, и внутри каждого такого пузыря написано, что говорит данный человек. Это короткие фразы, а иногда нечленораздельные звуки, вроде уууууф, иоу, уай, блум, арр, обозначающие крики боли, ужаса, злобы, воя снарядов, взрывы.

Вы спросите: «А при чём же тут «Юлий Цезарь»? Как это ни странно, как это ни кощунственно, но даже в Стратфорде-на-Эвене, родине Шекспира, в газетном киоске вы можете купить книжечку, в которой весь «Юлий Цезарь» изложен с помощью нескольких десятков картинок. Лавровый венок римского императора сдвинут на затылок. Глаза вытарашены. Руки скрючены. Сверху надпись: «И ты, Брут!..», и стрелка от надписи прямо в лоб Цезарю, чтобы никто не спутал, чьи это слова. На картинке рядом Цезарь уже лежит в луже клюквенной крови, и Брут показывает на него мечом. «Иллюстрированные классики» рекламируются как издание «Всемирно известных приключенческих романов, изложенных в неподражаемо-популярной форме». И вот в число этих «приключенческих романов», изображённых отвратительными по своей вульгарности картинками, попали и «Юлий Цезарь», и «Остров сокровищ» Стивенсона, и «Пармская обитель» Стендаля, и «Геккльбери Финн» Марка Твена, и «Илиада» Гомера.

Некоторые англичане говорили мне, что эти книжечки всё-таки лучше откровенно бандитских «комиксов». Не знаю, может быть, вред, приносимый ими, и меньший, но их оскорбительность непереносима. Огромное количество отцов и матерей Англии, воспитателей и педагогов делают всё, что в их силах, чтобы если не уничтожить, то хотя бы сузить поток «комиксов». Вопрос о них иногда даже служит предметом запросов и дебатов в парламенте. Бывает так, что борьба эта даёт некоторые результаты. В своё время были даже введены ограничения на прямой импорт «комиксов» из Соединённых Штатов, то есть с их родины. Но английские издатели быстро наладили и перепечатку и собственное производство этого яда.

Если бы какой-нибудь английский фабрикант сладостей стал изготавливать отравленные конфеты и пирожные, его тут же посадили бы в тюрьму. Каждой английской ма-

тери, каждому школьному учителю ясно, что «комиксы» отравляют души детей. Казалось бы, это не меньшее, а даже большее преступление, но что можно поделать с издателями и продавцами этой отравы? Никаких слов против бога в этих книжечках нет. Значит, юридически запрещать их не за что. Тем более, что на них вовсе не написано, что они предназначены детям.

А фактически читают их именно дети. Коллекционируют по сериям и номерам. Стоят такие книжечки пять, шесть, восемь пенсов, то есть гроши, а доходы издателям и продавцам приносят миллионные.

Не удивляйтесь поэтому, что на первой странице иллюстрированного журнала «Пикчер пост» напечатана большая фотография шестнадцатилетней школьницы, убившей свою мать за то, что ей не нравились её подруги. Вероятно, убивая, девочка эта произнесла: «Бэн-н!» — точь-в-точь, как в «комиксе», который она прочла накануне.

### *Музейный калейдоскоп.*

В Лондоне много музеев. В сводном путеводителе их перечислено больше пятидесяти. А если к этому прибавить ещё и частные музеи, в том числе и те, что расположены вокруг Лондона, то цифру эту придётся увеличить ещё на несколько десятков. К сожалению, большинство этих музеев я осмотреть не успел. Прежде всего потому, что в некоторых был по два, три, четыре раза.

Сейчас, сидя у себя дома и перелистывая музейные каталоги Лондона, я, конечно, жалею о том, что не оказалось у меня времени ни на осмотр зоологической коллекции музея естественной истории, ни на геологический музей, ни на музей науки, в котором стоит знаменитая «Ракета» — сказочная героиня моего детства. Ведь когда много лет назад отец рассказывал мне «заправдашные» сказки, то среди них была и сказка об английском погонщике лошадей в угольных копях — Джордже Стеффенсоне, построившем тот самый паровоз, что привёз из Ливерпуля в Манчестер первый пассажирский поезд и задавил при этом старого депутата парламента — первую в мире жертву железнодорожного транспорта.

Не думал тогда Стеффенсон, что, называя своего железного ребёнка «Ракетой», то есть чем-то недосыгаемо быстрым, он тем самым даёт ему имя уже не гиперболического, а вполне реального двигателя, с помощью которого через сто с небольшим лет люди будут поглощать пространство со скоростью, перед которой стеффенсоновский паровоз покажется просто улиткой.

Жалко, конечно, что не пришлось мне увидеть «Ракету», но зато я рад, что смог два раза выехать из Лондона, чтобы побывать в городе, который в юности мне тоже казался сказкой, в городе великого поэта и драматурга, мысли которого я столько раз читал глазами, столько раз слышал со сцены и столько раз говорил зрителям, — в удивительном по красоте, маленьком, пожалуй даже уж чересчур выглаженном и вычищенном Стратфорде-на-Эвене. На одной из улиц этого города, до того старинной, до того низенькой, до того английской и до того красивой, что она кажется макетом для киносъёмки, стоит двухэтажный дом. Четыреста лет назад у жены хозяина этого дома, перчаточного мастера, в небольшой комнате второго этажа родился мальчик. Удивительное ощущение испытываешь, когда стоишь в этой комнате и смотришь сквозь решётчатые окна на улицу, и почему-то ещё более удивительно видеть в одной из комнат первого этажа приспособление, с помощью которого чуть подросший мальчик учился ходить. Это поставленная вертикально палка, ось от пола до потолка. К ней прикреплена поперечная палка, на одном конце которой — железный обруч, похожий на капкан. В этот капкан замыкали ребёнка, и он ходил вокруг палки. Все знали тогда, что имя мальчика Вильям, а фамилия Шекспир, но разве кто-нибудь мог догадаться, что это Вильям Шекспир? Если бы догадались, то, вероятно, должны были бы кричать «ура» и в Лондоне, и в Париже, и в Москве.

Но гении не рождаются, они только умирают. Об этом невольно думаешь, когда смотришь на старую палку, вокруг которой топали маленькие босые ноги Шекспира.

И, конечно, я очень счастлив, что, оказавшись в Шотландии, всё-таки выкроил то минимальное количество часов, которое необходимо, чтобы по извилистой приморской

дороге доехать до маленького городка Эйр, в окрестностях которого на зелёной лужайке стоит длинный одноэтажный дом, выбеленный мелом и крытый соломой, как старая украинская хата. Дому этому больше двухсот лет. От дней его рождения сохранились в нём два узеньких, как щёлки, окошка. Сквозь одно проникает свет в ту часть дома, где стоял скот, сквозь другое — в одну из проходных комнат, в которых жила многодетная семья крестьянина. В те времена был в Шотландии закон, по которому окна облагались налогом, и чем больше площадь окна — тем выше налог. Хозяин дома был беден, и больше, чем на оплату двух шелей, денег у него не хватало.

В этом доме, в тёмной комнате, на дощатой кровати за ситцевой занавеской у печки, сто девяносто шесть лет назад у жены крестьянина родился сын Роберт. Он вырос, стал пахать землю, пасти скот и писать стихи, а когда через тридцать семь лет умер, за его гробом шли тысячи крестьян, провожая величайшего поэта Шотландии — Роберта Бёрнса.

Рядом с домом, где родился и вырос поэт, на той же зелёной лужайке стоит небольшой деревянный дом-музей. В нём собраны вещи, когда-то принадлежавшие Бёрнсу: рукописи, книги его стихов и на английском, и на французском, и на немецком, и на итальянском, и на русском, и на китайском языках.

Восьмидесятилетний старик Томас Мак Минн водил нас по этому маленькому музею и, останавливаясь то около портрета Бёрнса, то у его рукописей, читал по-шотландски звучные, ритмичные строчки, а я вспоминал и мысленно повторял эти же строчки, так удивительно пересозданные по-русски Самуилом Яковлевичем Маршаким:

В деревне парень был рождён,  
Но день, когда родился он,  
В календари не занесён.  
Кому был нужен Робин?

Зато отметил календарь,  
Что был такой-то государь,  
И в щели дома дул январь,  
Когда родился Робин.

В небольшом музее истории Лондона за стеклянными витринами выставлены платья, в которых короновались английские короли и королевы, а рядом — костюмы некооронованных королей театра: знаменитого трагика Кина, Эллен Терри, Гаррика. В отдельной витрине — костюм русской боярышни, отлитый из бронзы слепок женской ноги, балетная туфля, пудра, пуховка, напёрсток и иголка с белой ниткой, белая балетная «пачка» «лебедя» с большим зелёным камнем. В этой «пачке» русская балерина Анна Павлова покорила и Россию и всю Европу. Недаром же после первых гастролей русского балета в Париже в 1900 году парижский критик написал: «Павлова так же велика в танце, как Расин в поэзии, Пуссен в живописи, Глюк в музыке».

Встреча с документом — всегда волнующая встреча, и, конечно, мы были взволнованы, когда в отделе рукописей Британского музея увидели написанное триста лет назад письмо самого невероятного по широте ума и величию деятельности русского царя Петра Первого, обращённое к английской королеве, а рядом с ним письма двух гениев — Карла Маркса и Владимира Ульянова-Ленина, определивших развитие истории на века вперёд.

В круглом читальном зале королевской библиотеки Британского музея стоит тишина. Горят настольные лампочки. У одной из них полвека назад работал Ленин.

Но Британский музей — это не только огромное хранилище рукописей, манускриптов, гравюр и не только библиотека. Это одно из самых крупных собраний памятников древней культуры мира: Ассирии, Вавилона, Египта, Индии, Китая, Японии, Персии. Я несколько раз был в этом музее и весь его всё-таки осмотреть не смог, потому что нельзя же бежать спортивным кроссом мимо каменных крылатых быков с мужичьими головами, тех самых, что стояли во дворце Ассурбанипала, мимо гигантской головы египетского фараона, которому ровно три с половиной тысячи лет и четыре года, мимо найденной наполеоновским офицером каменной плиты, позволившей людям разгадать тайну египетских иероглифов, мимо мраморных барельефов Парфенсна, мимо настоя-

щего Гомера, гипсовую копию которого я столько раз рисовал в детстве, мимо хрустального черепа ацтеков, мимо китайской живописи пятого века, масок тибетских шаманов, византийских икон времён расцвета Киевской Руси и великолепных русских икон начала семнадцатого века, то есть тех смутных и героических лет, когда Московская Русь окончательно стала Россией.

Большинство лондонских музеев, как, впрочем, и вообще многие музеи капиталистических стран, родословную свою ведёт от частных коллекций, либо пожертвованных, либо проданных государству. Их развитие, расширение, увеличение чаще всего шло также путём пожертвований или дальнейших приобретений больших коллекций частных лиц. Этот процесс и определил некоторую неточность профиля многих музеев. Если бы меня назначили ведать всеми музеями Лондона, вероятно, первое, что я начал бы делать, это перетасовку всех экспонатов из одного музея в другой. Это был бы, конечно, трудный пасьянс, но польза, мне думается, всё-таки получилась бы большая. По крайней мере тот человек, который захотел бы познакомиться с творчеством прекрасного английского художника Гейнсборо, не должен был бы ездить из конца в конец города по разным музеям, в которых развешаны его картины, и не должен был бы совершать новый тур, чтобы в тех же или других музеях разыскивать картины Тициана.

Кроме Британского музея, к самым большим собраниям Лондона, посвящённым искусству, нужно причислить Национальную галерею, музей Виктории и Альберта и галерею Тэйта.

Национальная галерея — самая большая картинная галерея Западной Европы после парижского Лувра. В ней собрана живопись всех европейских стран, начиная от раннего средневековья до конца девятнадцатого века.

Музей Виктории и Альберта — это главным образом коллекция архитектурных деталей, интерьеров, мебели, ковров, скульптуры, керамики, стекла, фарфора, витражей, золотых и серебряных изделий, музыкальных инструментов. По времени и странам он как бы продолжает экспозицию Британского музея и дополняет Национальную картинную галерею, хотя во многом дублирует и то и другое.

Трудно сказать, что именно произвело на меня наибольшее впечатление. Трудно прежде всего потому, что многое невозможно сравнивать, да, кроме того, некоторые произведения как бы дополняли мои предшествующие знания, а некоторые были абсолютно новыми. Конечно, я с большим интересом рассматривал полотна Рембрандта, но наше собрание его картин в Эрмитаже настолько великолепно, что английский Рембрандт к Рембрандту советскому мало что добавил. Интересны картоны и огромные полотна Рубенса, но и Рубенс в Эрмитаже тоже очень хорош, да, кроме того, я больше всего люблю его в эскизах, а эскизы Рубенса в Эрмитаже представлены достаточно полно. Знаменитая «Мадонна в гроте» Леонардо да Винчи почему-то не произвела на меня большого впечатления, попрежнему я остался верен нашей эрмитажной «Мадонне Литте». Зато очень увеличилась моя любовь к Микельанджело, потому что я впервые увидел его живопись, так же как впервые увидел и живопись Хогарта.

Много раз репродуцированные «Зонтики» Ренуара оказались во сто раз лучше в натуре и опять-таки по-новому раскрыли этого прекрасного художника. Новыми были для меня и скульптуры Дега и Ренуара. Не думал я, что такой тонкий, несколько нематериальный колорист, как Ренуар, создаст такую объёмную и сверхматериальную скульптуру.

Но что оказалось для меня, к полному моему стыду, целым открытием, так это живопись английского художника Тёрнера. Я, конечно, знал не только его имя, но и несколько его вещей в репродукциях, но никогда не предполагал ни всей силы его таланта, ни его значения в истории европейской живописи. Картины Тёрнера висят в Национальной галерее и в музее Виктории и Альберта, но самое большое собрание его картин находится в галерее Тэйта. Там ему отведено несколько больших комнат.

Описать картины Тёрнера невозможно, как вообще невозможно описать живопись или рассказать мотив песни. Но Тёрнер, конечно, один из самых больших национальных художников Англии, один из самых больших художников мира. На несколько десятилетий он опередил развитие западноевропейской живописи. Ему надо отдать пальму первенства в открытии света и воздуха. Новое ощущение пространства и света,

возникшее у ранних импрессионистов Франции, вероятно, было непосредственной реакцией на выставку картин Тёрнера в Париже в середине девятнадцатого века. Перед многими картинами Тёрнера я останавливался в полном изумлении, потому что их живописная правда, их искренность, их темперамент прекрасны.

Конечно, то немногое, что я рассказал о лондонских музеях, ни в какой степени не отражает их фактического значения и богатства содержания, но и в этой области культурной жизни современного Лондона есть те же контрасты и та же несоизмеримость, что и во всех других областях. Несоизмеримость, к которой англичане привыкли, и поэтому она им кажется вполне естественной, но которая на нас, советских людей, часто производит впечатление чего-то странного, иногда смешного, иногда обидного, иногда абсолютно нелепого.

Как бы ни были запутаны и дублированы экспозиции тех больших государственных музеев, о которых я только что рассказывал, они всё-таки очень хороши. Великолепно организовано их содержание и обслуживание посетителей. Вход в них бесплатный. В определённые дни и часы проводятся бесплатные экскурсии, читаются бесплатные лекции по различным разделам выставки. Ведутся научные работы, исследования, реставрация. Много хороших книг, каталогов, альбомов, репродукций, посвящённых данному музею, продаётся в вестибюлях или книжных магазинах. В залах музеев или в отдельных выставочных павильонах происходят разные эпизодические выставки. Например, в период нашей жизни в Лондоне была великолепная выставка коллекции мексиканского музея Святого Павла, обладающего редкими произведениями мировой живописи.

И вот в этих обстоятельствах никак невозможно понять, каким образом музей в доме Шекспира в Стратфорде, так же как и музей Бёрнса в окрестностях городка Эйр, — два музея двух гениев британского народа — принадлежат не государству, а различным обществам. С большим трудом почитатели таланта Шекспира выкупили его дом, а общество, стремящееся сохранить всё, что отражает жизнь Бёрнса, приобрело у какого-то частного лица крестьянскую усадьбу, принадлежавшую Бёрнсам.

Частное коллекционирование — дело хорошее, принесшее и приносящее большую пользу. Оно существует и в нашей стране, но мы не могли бы себе представить, чтобы пушкинский музей-квартира содержался на средства любителей Пушкина, хотя денег на это у них было бы более чем достаточно, так как членов такого общества оказалось бы много миллионов.

Совершенно обратное по смыслу, но столь же контрастное ощущение несоизмеримости явлений вы испытываете, когда попадаете в один из частных музеев Лондона, принадлежащих уже не обществу, бескорыстно преследующему высокие культурные цели, а владельцам, извлекающим из этого музея вполне реальную и немалую выгоду.

В путеводителе по достопримечательностям Лондона этот музей стоит в одном ряду с Национальной галереей или Британским музеем и обозначен как «Всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо».

Трудно подобрать какое-либо точное определение, которое обозначило бы содержание этого музея, потому что его нельзя назвать ни коллекцией произведений искусства (так как восковые фигуры, стремящиеся подделаться под настоящего человека до степени полной иллюзии, исполнены с поразительным отсутствием таланта), ни собранием наглядных пособий по изучению истории или этнографии, так как никакой системы, никакого принципиального отбора портретов в этой коллекции нет, кроме принципа «известный человек», в чём бы эта известность ни состояла: в том, что он был королём или открыл Америку, победил в велосипедных гонках или убил родителей.

В зависимости от политической ситуации экспонаты иногда переселяются из одного раздела в другой. Например, Гитлер стоял раньше в верхнем этаже, среди прославленных политических деятелей, а потом переехал в подвал и тарашит свои стеклянные глаза в компании преступников.

Не знаю, может быть, во времена Людовика XVI и Марии-Антуанетты, в дни зарождения этого музея во Франции, он и выполнял какие-нибудь познавательные функции, но сейчас его коллекция стремится удовлетворить не жажду знаний, а только любопытство.

В разделе ужасов и пыток, завлекающем посетителей предупреждением о том, что детям и нервным ходить сюда не рекомендуется, бесталанная пошлость доведена до апогея. Восковая человеческая фигура подвешена за ребро на железный крюк, и восковая же, грязная от многолетней пыли кровь застывшими струями течёт из «зияющей раны». Совсем не страшно, но удивительно противно.

Время, которое я потратил на «музей мадам Тюссо», надо считать потерянным, и только минуты две можно занести в актив. Это те минуты, которые понадобились для того, чтобы посмотреть на группу, анонсированную как «Три самых знаменитых человека в мире»: Наполеон, Спящая красавица и сама мадам Тюссо в чепчике. Наполеон красив и розовощёк, мадам Тюссо несколько зловеща и похожа на старую колдунью, а Спящая красавица, как ей и положено, покорно лежит с закрытыми глазами. Где-то внутри у неё находится заводной, а может быть и электрический, моторчик, который приводит в движение платье на её груди, чтобы, в отличие от других, она казалась не мёртвой, а спящей. Этот наивно дышащий девичий бюст, пожалуй, больше, чем что бы то ни было другое, определяет основное ощущение, которое испытываешь в музее. Ощущение лёгкой тошноты от того, что целый час или больше находился среди мертвецов, которые притворялись, будто они живые, и ничего у них из этого не получилось.

Но среди частных музеев Лондона, перечисленных в путеводителях, очень много таких, которые вовсе не похожи на чисто коммерческое псевдонаучное предприятие «мадам Тюссо». Большинство этих частных музеев расположено в окрестностях Лондона. Это дворцы, замки, усадьбы. Чаще всего в них живут сами владельцы, представители крупных аристократических или плутократических фамилий.

Вход в эти музеи платный, и во многих случаях доход от посетителей является финансовой поддержкой некогда богатого, а сейчас обедневшего рода. Посещение таких музеев приурочено либо к тем месяцам, когда хозяева уезжают на курорт, либо к определённым часам, в которые хозяева уже не пользуются парадными комнатами, если, конечно, не являются одновременно и гидами. Многие из этих музеев, безусловно, интересны — либо как архитектурно-парковые памятники определённой эпохи, либо как собрания картин, мебели, фарфора, среди которых вы можете встретить и полотна Тициана или Рубенса, и акварели Тёрнера, и керамику Пикассо, и японские нецкэ, и венецианское стекло.

Каталоги музеев и достопримечательностей Лондона очень полны. Вот почему так оскорбительно, что ни в одном из них я не прочёл о том, что в Лондоне на Хайгетском кладбище находится могила Карла Маркса. И в первый и во второй приезд вместе со всеми приезжавшими моими советскими товарищами я, конечно, был на этом кладбище. Оно очень большое. Могилы идут по склону горы. В аристократической части они расположены сравнительно свободно: высокие обелиски, ангелы, символические группы, скульптурные портреты. В бедной части кладбища, до циничности заброшенной и неприбранной, на одном метре каждой могилы стоят по пяти, восьми, а то и больше маленьких деревянных крестов. Один к одному. Даже руку между крестами иногда просунуть трудно. Это могилы, в которых похоронены целые поколения семей.

К могиле Маркса надо идти по узким тропочкам среди других могил. В головах — куст. Зимой его чёрные ветки обнажены, летом они расцветают красными розами. У корней куста — мраморная плита, положенная Энгельсом. На плите написано, что здесь похоронены Карл Маркс, его жена, его внук и их экономка, друг и член их семьи. За большие деньги Общество памяти Маркса купило на этом же кладбище, наверху, у широкой пешеходной дорожки, место, куда, как я слышал, уже перенесена могила.

Не указано ни в одном путеводителе по городу и то, что в Лондоне существует библиотека имени Карла Маркса, в здании, где когда-то был клуб чартистов и где в одной из комнат стоял маленький столик, за которым Ленин редактировал «Искру».

Общество, содержащее библиотеку, вынуждено сдавать низ этого и без того небольшого здания каким-то торговым фирмам, но прогрессивное значение библиотеки и лекций, которые читаются в её маленьком зале, огромно.

Конечно, мы, советские люди, логикой объяснить такое положение библиотеки Карла Маркса можем, но сердцем понять этого никак нельзя.

### *Неугодный богу Шекспир и богоугодный гангстер.*

Так как больше всего я был занят по вечерам, то театры Лондона мне видеть почти не пришлось и, следовательно, никакого права судить о них у меня нет. Я слушал «Богему», в которой пел великолепный двадцатичетырёхлетний драматический тенор, швед по происхождению. Видел я спектакль «Всё хорошо, что хорошо кончается» Шекспира в театре «Олд уик». Играли в этом спектакле хорошо, а молодая героиня Клер Блюм — просто замечательно. Для меня слушать Шекспира впервые в подлиннике было, конечно, очень интересно.

Был я в двух английских мюзик-холлах. Мюзик-холл — это чисто английское и очень давнее изобретение. Сейчас настоящий английский мюзик-холл переживает явный кризис. Его забивает и американское ревю, и кино, и телевидение. Количество мюзик-холлов в Лондоне сократилось во много раз, они исчисляются теперь единицами, а раньше, как вспоминают лондонцы, их было много десятков, если не сотни.

Мюзик-холлы — это сборная эстрадная программа с различными, тематически не связанными друг с другом номерами, исполнителями песенок, акробатами, жонглёрами, эксцентриками. В одном из мюзик-холлов, программу которого мы смотрели. «Гвоздём» был знаменитый сейчас эстрадный английский комик Норман Уисдом, появлявшийся перед зрителями несколько раз в течение всего вечера в театре «Палладиум». Он безусловно талантлив, хоть иногда, к сожалению, и переигрывает.

Надо отдать должное зрителям: все сверхэксцентричные, но бестемные номера Нормана Уисдома, именно благодаря бестемности требовавшие от него нажима, переигрыша, принимались зрителями куда хуже, чем эпизоды, внешне, может быть, и менее эффектные, но обладавшие, помимо забавности сюжета, ещё и определённой темой. Одна из таких сцен-пантомим, безусловно сыгранная Уисдомом и его партнёршей, имела самый большой успех. Её тема была простая и трогательная. Два очень бедных и любящих друг друга человека мечтают о богатой жизни, о нарядах и дорогих ресторанах, но, встретившись с ложью и фальшью богатства, обнаруживают, что сила их любви значительнее и дороже всяких денег. В финале Норман Уисдом, проводив свою возлюбленную до крылечка её маленького дома, чувствует такой прилив счастья, что от восторга целует постового — бобби.

Но, может быть, самое большое впечатление из всего того, что я видел в двух лондонских мюзик-холлах, произвело на меня выступление пианиста Семприни, игравшего попури из старых английских песен в Финсбюри Парк-Эмпайр, в рабочем районе Лондона. Играл он очень хорошо, под тихий аккомпанемент оркестра, но сама по себе игра не была чем-то исключительным, и не она меня поразила, а то, что так же тихо, как оркестр, даже ещё тише, буквально шёпотом, слова песен подпевал весь зал. В этом обнаруживалась не только настоящая музыкальность зрителей, но и большая их любовь к простым народным песням — иногда смешным, иногда грустным.

Посмотрел я, конечно, и «айс-оперетт» — ледяную оперетту под названием «Трактир Белой лошади». В огромном крытом стадионе «Эмпресс-холл» на пятнадцать тысяч зрителей, сидящих амфитеатром вокруг залитого искусственным льдом катка, освещённого разноцветными прожекторами, великолепные фигуристы разыгрывали какой-то довольно примитивный опереточный сюжет. Выделявая всевозможные фигуры, они пели дуэты и арии. Вернее, только раскрывали рты, так как пели за них другие через многочисленные усилители.

Было это очень здорово в смысле конькобежного мастерства, очень сентиментально по «красивости» всевозможных световых эффектов и очень безвкусно по существу.

Настоящее содержательное искусство увидели мы в маленьком самостоятельном театре «Юнити». Существует он уже больше двадцати лет. Все члены его коллектива — рабочие или служащие, отдающие театру только свои свободные часы. Тем не менее театр поставил очень серьёзный и страстный спектакль о Розенбергах, а во второй приезд в Лондон мы видели в прекрасном исполнении театра одну из мало у нас известных пьес елизаветинского времени — «Воскресный день сапожника Томаса Деккера», написанную в тысяча шестисотом году.

Я уже говорил, что на основании нескольких виденных мною лондонских спектаклей я не имею права судить обо всех театрах Лондона. Вот совершенно так же я не имею права судить и об английской кинематографии или о телевидении.

Слишком мало и слишком случайно смотрел я и кинокартины и телевизионные передачи. Но всё-таки и в том и в другом зрелищном искусстве некоторые явления показались мне безусловно интересными и важными, и одновременно другие явления обнаружили себя как нечто очень вредное и глубоко реакционное.

Явления, которые показались мне важными, на первый взгляд носят чисто технический характер. Это так называемая «синерама» — широкий киноэкран. Он развёрнут от стены до стены во всю ширину зала и бывает в пятнадцать, двадцать и больше метров. Изображение на таком экране кажется не ограниченным никакими рамками кадра. Будто вы просто глядите на море, степь, горы. Экран несколько изогнут, что создаёт некоторый эффект стереоскопичности. К этому надо прибавить стереоскопичность передаваемого звука, заключающуюся в том, что вы ясно ощущаете, откуда исходит звук: из глубины, слева, справа, сзади и т. д. Пока это только техническая сенсация, только рождение нового средства выразительности, как когда-то родилось звуковое, а затем цветное кино, но, конечно, очень скоро это техническое изобретение повлияет и на работу сценаристов и, в ещё большей степени, на работу режиссёров.

Много технических новостей увидел я и в студиях телевидения. Увидел не только потому, что и сам несколько раз выступал в передачах и театр наш со всеми декорациями выезжал в телевизионную студию Бибиси, но и потому, что работники телевидения провели меня по всем отделам, очень подробно объясняя методы их работы.

И опять-таки дело тут было для меня не только в технических новинках, интересной аппаратуре или прозрачных экранах, на которые системой зеркал проектируются любые задники, а в том, что современное английское телевидение — это не просто средство передачи изображения на расстояние, а как бы лаборатория нового зрелищного искусства, с помощью которого можно разыгрывать пьесы, читать лекции, показывать кукольные представления, проводить экскурсии и всё это делать особым, только телевидению присущим образом, недоступным ни театру, ни кино.

Конечно, художественные формы и творческие законы этого нового, а весьма возможно, самого сильного и самого массового зрелищного искусства только нарождаются, но мне, работнику театра, очень интересно, да и очень важно было различать пусть пока не очень ясные, но всё-таки контуры этих форм в лондонском телевидении.

Но если технический прогресс английского кино меня интересовал и радовал, то зато чисто коммерческий момент эксплуатации кинокартин я ощутил буквально как некую национальную беду. Родена эта беда всё той же удивительной для нас, советских людей, несонимостью происходящих явлений.

По старым английским законам всякое зрелище, требующее какой бы то ни было костюмировки, и, следовательно, прежде всего театральное зрелище, не может происходить в воскресенье, так как день этот должен принадлежать богу. В воскресенье все театры и мюзик-холлы Англии закрыты. Наш кукольный театр тоже не играл по воскресеньям. Ну что ж! Каждое государство вольно жить своими законами. Грех так грех! Но дело-то в том, что закон этот издан ещё до изобретения кинематографа. На киноэкране не живой человек, а его изображение; следовательно, фактического «ряжения» не происходит, и таким образом киносеансов этот закон не касается. И вот в воскресенье заперты двери всех театров — и оперных и драматических, — потому что смотреть и слушать Россини, Чайковского, Шекспира, Шоу — это грех, но зато открыты двери всех кинотеатров, ибо это уже не грех. А во многих кинотеатрах идут отвратительные американские детективы, оживлённые «комиксы», сплошные убийства и ужасы.

Сотни этих ядовитых картин переплывают океан, чтобы отравлять души зрителей в течение всех семи дней недели. Лучшие люди Англии борются с этим, чем могут. Вопрос о демпинге голливудской отравы обсуждается и на страницах печати и в парламенте, но торговля есть торговля и выгода есть выгода! Нет в картине слов против бога? Нет. Значит, всё в порядке, а что колесо легковой машины наматывает на ось кишки раздавленного человека, так это запрещению не подлежит. Нельзя подобрать соответственного параграфа закона.

### Традиции.

Многие из тех противоречий, которые бросаются в глаза всякому советскому человеку и о которых я рассказал, описывая свои впечатления от лондонских улиц, газет, кино, специфичны вовсе не только для Лондона или Англии. Они характеризуют Лондон, но не отличают его. Дезориентирующую путаницу масштабов вы обнаружите и в большинстве газет Франции или Италии. Отвратительные «комиксы» и рекламы гангстерских кинокартин вы увидите и на улицах Рима или Парижа.

Но есть противоречия в явлениях жизни, характерные только для Лондона и Англии, отличающие Лондон от Парижа или Рима и Англию от Франции или Италии.

Каждый народ, каждая страна обладают определёнными бытовыми традициями, и нет ничего удивительного в том, что всякому иностранцу разность этих традиций бросается в глаза, но в Англии традиции выходят далеко за пределы быта, играя в жизни народа совершенно особую роль, иногда являясь тяжёлым, а в чём-то даже, может быть, и непосильным грузом.

Традиция — казалось бы, что особенно дурного или опасного в этом слове? Разве мало у каждого народа хороших традиций? Украшающих жизнь, объединяющих и укрепляющих национальное самосознание, оберегающих и сохраняющих опыт, накопленный поколениями, питающих корни молодого и нового? Да всякая культура быта любого народа связана с наличием определённых традиций, наследуемых и вновь накапливаемых. Традиция — это эстафета поколений.

Но традиции бывают живые и мёртвые. Живые традиции — это артерии, питающие организм. Мёртвые традиции — это те же артерии, но окаменевшие, застывшие, не пропускающие, а задерживающие жизнь. Это — артериосклероз.

Как у каждого народа, у англичан много хороших бытовых традиций. Что можно сказать против спортивного воспитания? А ведь в Англии спорт — это бытовая традиция и в семье, и в школе, и в университете, и на фабриках или заводах.

В зимние воскресные дни на вокзалах, держа лыжи подмышками, толпятся целые семьи: и мама, и папа, и дети, а иногда даже и дедушка с бабушкой. Поезда, уходящие в снежные горные районы, забиты лыжниками всех возрастов. В первый день школьных каникул невозможно купить билеты на многие поезда и все вокзалы буквально кишат школьниками-туристами с тяжёлыми рюкзаками за плечами, с походными палатками, складными лодками.

Как-то в одно из воскресений мы выехали за город. Наша машина то и дело обгоняла группы велосипедистов, девушек и юношей, членов фабричных и заводских спортивных клубов. Несмотря на то, что погода была дождливая, она никому не помешала выехать на дальнюю прогулку. По обочинам дорог стояли легковые машины, около которых, раскрыв «пикник» — чемодан с термосами, тарелками, стаканчиками, бутербродами, — сидели целые семьи. Большинство машин не могло похвастать маркой фирмы, но, конечно, было много и хороших, дорогих. У некоторых были специальные прицепы, так называемые «караваны». В такой прицепной комнатке на колёсах можно спать. Дачи ведь есть только у очень богатых людей, а отпуска у служащих короткие — две недели. Выезд раз в году на поезде, велосипеде или автомобиле куда-нибудь на природу, с тем чтобы на лужайке, в лесу или у реки провести эти две недели, просто необходим. Всякий старается сделать это наиболее доступным для него способом, и спортивность англичан помогает им.

Но у этой традиции спорта существуют ещё и дополнительные, очень смешные и хорошие формы. Как я уже говорил, в Англии, помимо сверхмодных и сверхсовременных автомобилей, бегают большое количество абсолютно архаичных. Но владелец такой машины вовсе не стыдится её. Наоборот, ежегодно происходят традиционные гонки старых машин из Лондона в приморский город Брайтон. Право участвовать в этом нескрываемо ироническом полусостязании-полупараде принадлежит только самым старым и самым изношенным машинам, гордящимся тем, что их колёса — на спицах, что у мотора только два цилиндра, а кузов похож на карету диккенсовских времён. Ну что ж! Это как бы отдел юмора внутри спортивных традиций Англии, свидетельствующий только об умении смеяться, а это уже само по себе хорошо.

А разве можно сказать что-либо против традиции англичан в одежде? В данном случае я говорю не об одежде клерков, судей или гвардейцев, а о бытовой, обычной, повседневной одежде англичанина.

Мне понравилось прежде всего то, что среди англичан редко можно встретить людей, которых мы называем «стилягами», то есть одетых нарочито модно или экстравагантно. Если, идя по Лондону, вы встретите мужчину с галстуком, на котором нарисована обезьяна, или вовсе без галстука, но зато в рубашке, сделанной из цветастого ситца, можете быть уверены, что он не англичанин. Американец, француз, швед, немец — кто угодно, но только не англичанин. Одним словом, если вам встретится мужчина, костюм которого почему-либо обратит ваше внимание, не спрашивайте его, как пройти на Гордон-сквер, — вряд ли он сумеет вам объяснить, потому что он сам приезжий. Традиция англичан в том и состоит, что они считают неприличным выделяться своим костюмом.

Я уже говорил, что американцев не очень любят в Англии, особенно военных. Всё время испытывать на себе недоброжелательные или презрительные взгляды прохожих не совсем приятно, поэтому американские военнослужащие стали ходить в штатском. И вот в одном из юмористических лондонских журналов была помещена карикатура. Стоят двое мужчин. У одного галстук с балериной, другой в рубашке на выпуск, и у обоих брюки, как макароны. А внизу подпись: «Не понимаю, как они узнают, что мы американцы». Эта карикатура и эта подпись не только определяют отношение к американцам, но и негативно утверждают традиционные вкусы англичан в одежде. Что ж, это хорошие вкусы и хорошая традиция!

Да и против традиции англичан в еде тоже ничего дурного не скажешь. Что же плохого в том, что утром они любят есть кашу-размазню, а на ночь вовсе не едят? И разве плохо, что часы еды они стараются соблюдать очень точно? В ресторане гостиницы в десять часов утра вам уже никто не даст завтрака, да и во многих других ресторанах вы с трудом этот завтрак найдёте. Опоздали. Ждите до часу. В час будет ленч — второй завтрак. Торопитесь поесть! В три часа вам его уже не дадут. В пять часов дня пьют чай. Крепкий чай с молоком и сахаром. Не вздумайте в это время попросить обед! Диннер — обед — будет в семь-восемь часов. В десять он кончится. Саппер — ужин — бывает уже редко. Англичане не любят ужинать. Эта сперва удивлявшая меня пунктуальность в еде и одновременность её для всех в конце концов мне понравились. Возникает некий общий ритм жизни, и это удобно, так как, войдя в этот ритм, вы всегда понимаете, как вам распределить ваш день, вашу работу, ваши встречи с людьми.

Я рассказал только о некоторых хороших бытовых английских традициях. Их, конечно, гораздо больше, но, во-первых, нельзя рассказать обо всём, что видел, так как на это никакой бумаги не хватит, а во-вторых, невозможно за такой короткий период жизни в Англии, да ещё жизни в гостинице, а не в английской семье, целиком понять все традиции семейного и общественного быта. Но сейчас мне хочется привести несколько примеров традиций другого рода. Они могут показаться иногда странными, иногда торжественно-красивыми, иногда трогательными, но это только их внешняя сторона. По существу своему они уже не украшают и не облегчают жизнь, а отяжеляют и тормозят её.

Мы приехали к студентам в Кембридж. Собрались хорошие молодые ребята, горячо расспрашивали о Советском Союзе, о наших университетах, театрах, о нашей жизни, о Москве. Повели нас по улицам старинного городка. Стали показывать очень красивые здания колледжей, немного похожие на монастыри или замки.

Сумма колледжей и составляет Кембриджский университет. Первое, что я подумал: «Значит, колледж — это что-то вроде факультета?» Мне разъяснили: «Нет, в каждом колледже несколько факультетов». — «Ага! В таком случае, вероятно, в одном колледже химический и биологический факультеты, а в другом — исторический и литературный?» — «Нет, — ответили мне, — и в одном и в другом колледже могут быть химические факультеты, так же как в двух других могут быть литературные или географические». — «А по каким же признакам подобраны факультеты колледжа и чем отличается один колледж от другого?» На этот вопрос ответа нет! Единственным признаком, един-

ственной причиной, определившей сумму факультетов каждого даиного колледжа, является традиция. Да и объединение колледжей в единое понятие «Кембриджского университета» — это чисто механическое объединение. Органической связи, кроме некоторых общих лекций, между колледжами нет.

Колледжи — это исторически сложившиеся бывшие сословные, закрытые учебные заведения, всеми силами стремящиеся сохранить свои традиции. Студенты, как правило, обязаны и жить в колледже. В привилегированных, аристократических колледжах у каждого студента бывает и две и три комнаты, очень дорого стоящие.

Колледж обычно представляет собой сумму зданий, расположенных в виде каре, с зелёной лужайкой посередине. Традиция разрешает ходить по траве лужайки только профессорам и старостам курсов. Рядовые же студенты должны обходить лужайку по тротуару.

Входит в ворота компания весёлых молодых людей с книжками в руках. Двое идут по траве, направляясь к двери противоположного здания. Остальные сворачивают направо и шагают по асфальту тротуара. Сопровождавший нас студент сказал, смеясь: «Кроме профессоров и старост, на лужайке имеют право по ночам танцевать феи».

В сумерки мы вышли в чудесный студенческий парк. По узенькой речке плыла лодка и, конечно, лебеди. Наш гид вдруг заволновался. «Простите, — сказал он, — я должен на минуту сбежать к себе... Надо надеть шапочку и накидку — без них мы, студенты, не имеем права появляться на улице после захода солнца». Скоро он вернулся в средневековой чёрной накидке-мантии и смешной чёрной шапочке.

Парк и улицы Кембриджа стали наполняться молодыми людьми в одеждах странных и неудобных.

Но если люди, любя традицию, хотят носить архаические одежды, то это ещё полбеды; хуже, когда они пользуются архаическими законами.

В каждой стране отдельные судебные законы устаревают, видоизменяются или заменяются новыми. В каждой стране в какой-то определённый период можно обнаружить тот или иной устаревший закон, но в Англии количество не только устаревших, но буквально архаических законов, сохраняющих юридическую силу, просто невероятно. Это не «свод», а «коллекция». Изучать её, может быть, и интересно, но пользоваться ею затруднительно, так как практическое применение некоторых законов приводит к почти смешотворным казусам, а иногда может служить поводом и к злоупотреблениям.

Если бы английские юристы приступили к пересмотру устаревших законов, то, вероятно, сразу были бы отменены десятки, если не сотни нелепых и вредных. Уверен что одним из первых потерял бы свою силу и тот анекдотический закон, якобы охраняющий религиозное благочестие, по которому в воскресенье грешно играть в театре какой бы то ни было спектакль, хотя бы это был «Король Лир» Шекспира, и не грешно показывать в кино любую кинокартину, хотя бы это было ревью с голыми женщинами или детектив с изощрёнными пытками и убийствами.

Мне кажется, что пересмотр устаревших административных распоряжений и законов обязательно натолкнул бы английских юристов на необходимость отменить и архаичность судебных костюмов.

Один англичанин говорил мне, что судейские мантии и парики придают торжественность судебной процедуре и вселяют в подсудимых трепетное отношение к суду. Думаю, что дело тут совсем не в этом, а всё в том же превращении традиции в фетиш.

Многие англичане понимают нелепость этого фетишизма и подтрунивают над ним. но делают это без всякой мысли о его реальном вреде. Стремление к консервированию бытового уклада в некоторых случаях доходит до таких пределов, что его можно назвать навязчивой идеей, манией. Я боюсь, что если бы кто-нибудь изобрёл средство, с помощью которого можно было бы навсегда покончить с лондонскими туманами, то нашлись бы лондонцы, которые заявили бы протест, так как туман — это лондонская традиция и, следовательно, без тумана Лондон, с их точки зрения, перестанет быть Лондоном. Во всяком случае, если не туман, то камин находится под бронированной охраной традиции. А как это ни странно, камин приносит Лондону, да и всей Англии, не меньше вреда, чем туманы.

Москвичу трудно этому поверить, но в Лондоне почти нет центрального отопления. Только в очень небольшом количестве домов, вряд ли составляющих десять процентов, вы встретите калориферы, во всех же остальных домах только камины.

Как-то я спросил одного англичанина: «Зачем вам непременно нужен камин?» На вопрос он ответил вопросом: «А куда я буду смотреть вечером?» Это, конечно, была шутка, но по существу в ней заключается, если можно так выразиться, вся философия английского камина. Камин — это символ семьи, счастливого семейного быта, его прочности и благополучия. Часы, наиболее полно выражающие семейное счастье, — это вечерние часы у камина. Мама вяжет, поставив ноги на маленькую скамеечку, папа сосредоточенно курит, покачиваясь в старом кресле, дети сидят на коврике, обхватив руками коленки. Все мирно беседуют или молчат, глядя на перебегающие по чёрным уголькам красные и синие огоньки. Когда уголь превратится в седую золу, вся семья отправится спать. Так как камин не голландская печка, то греет он только, пока горит. Погаснет — и комната начинает остывать. Поэтому мама, поцеловав детей на ночь, непременно засунет каждому под одеяло специальную глиняную бутылку с горячей водой; если ночь холодная, то такие же грелки приготовит она и себе, и мужу, и бабушке. Чтобы не обжечь голые ноги, на бутылки надеты вязаные шерстяные или стёганные шёлковые чехлы, сделанные мамой, старшей дочкой или подаренные друзьями и уж в крайнем случае купленные в галантерейном магазине.

Зимними ночами во многих и богатых и бедных постелях англичан лежат горячие глиняные бутылки. Как и камины, они тоже стали традицией. Если в гостинице, в которой вы остановились, и проведено центральное отопление, то будет ли это в Глазго, Абердине, Манчестере или Лондоне, всё равно в десять вечера к вам в номер придёт горничная и предложит вам «хат уотер боттл» — бутылку с горячей водой.

Что же плохого в этом каминно-бутылочном ритуале? Почему я сказал про него, будто камин опаснее и вреднее туманов?

По двум причинам. Первая — это огромная национальная расточительность. Если разыскать в энциклопедии слово «камин», то там будет написано: «Кэффициент полезного действия камина невелик, всего 5—20 процентов». Вы только подумайте: даже в лучшем случае через дымоход уходит восемьдесят процентов тепла, а в худшем так и все девяносто пять! А ведь это же труд, огромный труд сотен тысяч рабочих каменно-угольных шахт. Какой смысл добывать уголь из-под земли, чтобы отапливать им небо, а самим спать с горячими бутылками? Правда, это выгодно тем, кто торгует углем, но народу невыгодно. Миллионы часов человеческого труда в полном смысле слова вылетают в трубу. Это государственная растрата.

Но есть и ещё одна причина считать традицию каминов несчастьем. Определяется она гибридным словом «смог», родившимся от двух разных слов: «смоук» — дым и «фог» — туман. Я уже рассказывал о том, как чернеют стены лондонских домов от копоти и как дождь отмывает эту копоть на всех выпуклых частях зданий. Графика английской архитектуры — это война сажи с водой. Но, оказывается, вода и сажа умеют не только воевать, но и дружить, и тогда человеку становится плохо.

Великобритания — страна влажная. Вокруг — море. От берега на востоке до берега на западе совсем близко. Бродит по острову влажный морской воздух. Цепляется тучами за лесистые горы, ложится росой на зелёные луга, по которым круглый год ходят толстые курчавые бараны. И вдруг наступает такой момент, когда воздух над какой-нибудь долиной превращается в белый, густой и липкий пар. Ничего не видно: ни гор, ни баранов, ни собственных ног. Дышать холодно и мокро. «Фог» — слепой туман.

По Лондону часто ползают туманы, но бывают дни, когда сплошной «фог» заполняет все улицы и площади столицы, и вот если это зима, то в плотную массу «фoga» входит «смоук» — дым сотен тысяч семейных каминов. Каждая капля тумана растворяет мелкие частицы сажи и становится от этого жёлтой. «Смог» — непроницаемый, рыжий, отравленный углеродом холодный пар. Англичане называют его ещё «гороховый суп».

Всё движение в городе останавливается. Не только ехать на чём-нибудь, но и пешком итти невозможно. Люди, застигнутые в городе «гороховым супом», едва перестав-

ляя ноги, одной рукой ощупывают заборы и стены домов, а другую вытягивают вперёд, чтобы не удариться лбом о столб, круглую тумбу почтового ящика или стоящий автобус. Дышать трудно даже здоровому человеку, а многие из тех, кто болен астмой, плевритом, воспалением лёгких, в дни «смога» умирают. «Смог» — это настоящее бедствие.

Так почему же англичане не откажутся от каминов, хотя бы в городах? Неужели действительно только из-за того, что «некуда будет смотреть вечером»?

Нет, не только из-за этого, а ещё и из-за того, что большинство лондонских домов, так же как и дома Глазго, Манчестера или Ливерпуля, практически невозможно оборудовать центральным отоплением, и невозможность эта происходит уже от другой традиции, вернее — от укоренившейся системы пользования жильём.

Если каждый лондонец, каждый англичанин, каждый британец мечтает иметь камин, «чтобы было куда смотреть вечером», то совершенно так же мечтает он иметь и собственный, хотя бы очень маленький, садик, где бы мог он возиться после трудового дня, сажая пионы или мальву, выкладывая камешками крохотные клумбочки, подстригая траву. Собственный городской дом, окружённый садом, — предел мечты англичанина. На окраине города это ещё осуществимо, но надо быть уж очень богатым человеком, настоящим крупным капиталистом, чтобы в центре Лондона купить особняк, окружённый садом.

Нет, об этом не мечтает ни мелкий торговец, ни конторский служащий, ни средний интеллигент. Пусть дом зажмут чужие дома, но пусть будет сад, хотя бы только перед крыльцом. И вот если вы въезжаете в Лондон не на поезде, а на автомобиле, то на подступах к городу по бокам дороги вначале будут стоять одно- или двухэтажные малюсенькие домики с садиками. Затем вы увидите дома, похожие на сиамских близнецов. Каждый из них — это по существу один дом под одной двускатной крышей, но с двумя крыльчками, выходящими в сад, разделённый пополам. Потом вы увидите домики, также двух- или трёхэтажные, но уже с тремя, четырьмя крыльчками, выходящими в расположенный перед домом узенький палисадник, разделённый заборчиками ровно на столько частей, сколько у дома дверей. И, наконец, когда вы выедете на основные жилые улицы города, то состоят они будут из длинных двух-, трёх-, иногда четырёхэтажных домов с десятками крыльчек, выходящих каждый в свой кусочек палисадника. Такие длинные дома построены какой-либо строительной фирмой и распроданы по ломтикам разным людям.

В Англии мало «квартирных» домов, принадлежащих каким-либо владельцам, сдающим эти квартиры. В Лондоне процент таких домов совсем ничтожен. Большинство же жителей города, в том числе и сравнительно бедные люди — рабочие, ремесленники, мелкие служащие, живёт в домах, которые они либо купили, либо арендовали с расщечкой на двадцать лет. Несмотря на длительность этой расщечки, недельный взнос составляет основную часть семейного бюджета. Но как бы то ни было, с момента въезда в такой дом он уже считается собственностью того, кто им пользуется. Он его и чинит, и красит, и отопливает. Дома — сиамские близнецы, стоящие под одной крышей, юридически считаются двумя разными домами. Они принадлежат разным хозяевам, и вы сразу видите это. Дом, представляющий собой единое архитектурное целое, всегда раскрашен пополам. Черепица на левом скате его крыши может оказаться жёлтой, а на правом — темнокоричневой. Наличники окон и дверей на правой стороне фасада небесно-голубые, а на левой — зелёные или яркокрасные.

А по центральным жилым улицам Лондона, где длинные дома распроданы по вертикальным секциям, каждая секция также становится самостоятельным домом. Владелец когда хочет, тогда её и ремонтирует. Секции узкие, иногда всего в три-четыре небольших окошка. Фасады многих таких домов покрашены масляной краской; тогда уже не только окна у них разноцветные, а весь дом становится полосатым. Розовая полоса, голубая, белая, просто грязная, жёлтая, опять розовая. Из каждой такой фасадной полосы выходит крыльцо со ступеньками, спускающимися к дорожке, пересекающей маленький садик. Как правило, общий забор перед этим домом состоит из решётки и столбиков, находящихся в тех местах, где садики отделяются друг от друга. Так как каждый столбик одной своей стороной принадлежит одному хозяину, а другой стороной — другому, то и столбики раскрашиваются пополам соответственно вкусу владель-

цев. Я видел забор, на столбиках которого сидели маленькие львы. Так даже и львы были раскрашены пополам: одна половина жёлтая, а другая — серовато-зелёная.

Я спросил у моего спутника: «Скажите, владельцы этих львиных половинок назвали друг друга так раскрасили несчастных животных или им кажется, что это красивее?» Он ответил, смеясь: «Мы этого не замечаем. Мы привыкли к раскрашенным домам, а мистер Черчилль даже как-то сказал, что такая раскраска свидетельствует о здоровом стремлении англичан к индивидуализму». Это уж мне показалось совсем удивительным, так как львиные половинки как нельзя лучше доказывали прямо обратное — невозможность проявить свою индивидуальность человеку, если он со всех сторон зажат частно-владельческими интересами капиталистического общества.

Но какое же отношение эти насмешившие меня львы имеют к вопросу центрального отопления?

Как это ни странно, самое непосредственное. Именно они-то и охраняют камин. Их половинчатость, наглядно доказывающая наличие десяти хозяев одного дома, тем самым и раскрывает невозможность проведения общего центрального отопления. Ведь стоит только одному владельцу своего ломтика сказать «не хочу» или «у меня денег нет», как вся затея мгновенно лопнет, и единственное, что, может быть, могло бы спасти англичан от каминов, то есть от растраты денег и «смога», так это проведение теплоцентралей, но при такой раздроблённой домово́й собственности, вероятно, и это очень трудно.

Говоря «добрая старая Англия», англичане прежде всего вкладывают в это понятие сумму дорогих и милых их сердцу традиций. Жаль только, что они не замечают того, что многие из этих традиций уже давно не добрые, а злые, что они не украшают их жизнь, а затрудняют её, мешая развитию и счастью народа. А что самое главное, так это то, что умиление традициями превращается в розовые очки, мешающие видеть правду. Статья моя не претендует на какой бы то ни было анализ внутреннего или внешнего политического положения Англии. Для этого недостаточно ни знаний моих, ни наблюдений, но и того и другого вполне достаточно, чтобы понять основное: спокойствие, которое некоторым англичанам внушает домашний камин, парик судьи или мантия студента, — это мнимое спокойствие.

«У нас всё хорошо, у нас всё по-старому, у нас всё, как было раньше», — уверяет себя современный Сомс, растапливая вчерашним «Таймсом» чёрно-серые угли.

Нет, не всё хорошо. Не всё, как было раньше. Сумма традиций не гарантия благополучия, если определённые круги политических деятелей подвергают опасности одну из основных и самых необходимых народу традиций — традицию политической самостоятельности.

Разве было, разве могло быть когда-нибудь, чтобы англичанин, шагая по земле своей родины, был остановлен часовым в иностранной форме и окриком с заокеанским акцентом? Часовой охраняет на английской земле американские военные базы, американские аэродромы, американские склады оружия. А когда в парламенте ставится вопрос, имеющий жизненное значение для Англии, но почему-либо не нравящийся людям, живущим за тысячу километров от Лондона, решение этого вопроса наталкивается на такой же заокеанский окрик.

Я уверен, что английский народ — народ смелый и гордый — заставит тех, кто забыл о традиции политической самостоятельности, вернуться к ней, так как нет традиции, более нужной народу.

### *Дети Альбиона.*

Я рассказал о том, что отличает районы Лондона друг от друга, я постарался перечислить и те признаки, которые объединяют эти районы. Значит ли это, что я рассказал обо всём, что увидел и понял в Лондоне? Можно ли на основании всего рассказанного представить себе Лондон?

Нет, нельзя. Потому что я не сказал или почти ничего не сказал о тех, кто живёт в этом городе.

Я не рассказал о лондонцах. Об англичанах. Имею ли я право рассказывать о них? Разве я достаточно их знаю? Нет, конечно, недостаточно. Но не рассказывать тоже не могу. Раз уж взялся говорить о городе, так не говорить о людях нельзя. Ведь это город живой, а не мёртвый.

Начиная рассказывать о Лондоне, я предупреждал, что рассказ мой не может быть очень обстоятельным и что он основывается только на внешних впечатлениях, ограниченных небольшим сроком моей жизни в Англии вообще и в Лондоне в частности. Я напоминаю об этом потому, что собираюсь говорить о людях, а не о домах. О сердцах, а не о каминах, а это куда ответственнее.

«Альбион» — так называли Британские острова древние греки.

«Дети Альбиона» — так иногда иронически называют англичан и в наши дни.

И в Германии, и во Франции, да и во многих других странах по малю мне понятным причинам есть определённое представление об англичанах как о людях чопорных, сухих, малообщительных, редко улыбающихся.

Когда мы приехали на поезде из Лондона в Париж, носильщик на парижском вокзале, схватив наши чемоданы, сказал: «У нас вам будет весело, месье. Мы не англичане, мы умеем смеяться!» Я был рад приезду в Париж, я рад был и весёлому носильщику, потому что я люблю смеяться. Но я не мог только ради того, чтобы поддержать разговор с моим новым знакомым, взявшим мои чемоданы, предать тех, с кем только что расстался на другом берегу Па-де-Кале, и поэтому ответил: «Вы ошибаетесь! Англичане тоже умеют смеяться».

Как бы мало я ни был в Англии, но я всё-таки побывал во многих её городах, ездил в поездах, знакомясь с десятками случайных соседей по купе, болтал с пассажирами автобусов, продавцами магазинов, посетителями кафе, закусочных, с отдыхающими на скамейках или на траве парков. Я встречался с сотнями людей на пресс-конференциях, митингах, докладах, после которых всегда возникала масса вопросов. И если к этому ещё прибавить более длительные встречи и знакомства, перешедшие в дружбу, с теми англичанами, которые помогали нам в нашей работе, с актёрами, приходившими за кулисы нашего театра, с кукольниками, с которыми я проводил многие часы, приходя и на их спектакли и просто в гости, — одним словом, если сложить всех тех, с кем я так или иначе общался, то получатся не десятки, не сотни, а тысячи людей. Значит, у меня не могло не создаться какого-то общего представления об англичанах. Хотя бы о внешних свойствах их характера.

И вот в этом новом моём представлении они оказались совсем лишёнными чопорности, сухости, замкнутости и уж тем более холодности.

Если в каком бы то ни было городе мне приходилось останавливаться на перекрёстке в нерешительности относительно того, верно ли я иду или на какой номер автобуса нужно сесть, чтобы приехать в гостиницу, мгновенно первый же идущий по тротуару человек останавливался и спрашивал меня: «Кэн ай хелп ю?» — «Могу ли я вам помочь?» — и затем внимательно объяснял, почему я заблудился и куда мне надо идти. При моём плохом знании языка это было вовсе не так легко и требовало если не труда, то, во всяком случае, времени.

Нет, сухости я не заметил в англичанах. Конечно, среди них, как и у каждого народа, есть достаточное количество людей и необщительных, и чопорных, и, наконец, просто злых. Мы хорошо знакомы с ними хотя бы по литературным произведениям самих же англичан.

Но когда я говорю здесь о внешнем проявлении английского характера, то я имею в виду то общее представление о народе, которое возникло у меня от ежедневных встреч с сотнями людей.

Общительность и доброжелательность, о которых я только что говорил, вовсе не ограничивались желанием показать мне дорогу. Они проявлялись мгновенно, как только мои случайные собеседники узнавали во мне иностранца, и увеличивались по крайней мере раз в десять, как только выяснялось, что мы приехали из Москвы, из России, как обычно называют англичане Советский Союз.

И ни разу я не встретил ни одного недружелюбного взгляда, не услышал ни одной недружелюбной фразы.

Среди случайных соседей по купе бывали люди разные: рабочие, торговцы, военные, учителя, священники, туристы, и почти никогда не было случая, чтобы буквально через десять минут не завязывался совершенно непринуждённый разговор.

Ехал как-то с нами преподаватель географии частной, и насколько я понял, аристократической средней школы. Его политические взгляды были ортодоксально-консервативными. Но, несмотря на то, что я прибыл в Англию из более чем подозрительной для него страны, он сейчас же отнёсся ко мне, как к гостю, любезно пригласил выпить с ним чашку утреннего кофе в вагон-ресторане и решительным образом не позволил, чтобы я за эту чашку заплатил. Из чувства хозяйского такта он не сказал мне ничего дурного про мою страну, но его отношение к её социальному устройству ясно определялось тем, с какой гордостью он объяснял мне стройность социального устройства Великобритании. «Всё у нас идеально сочетается одно с другим, — говорил он, засовывая салфетку между первой и второй пуговицей жилета. — Именно благодаря этому сочетанию мы, англичане, выиграли войну. Французы оказались побеждёнными, потому что у них нет королевской власти. Мы победили потому, что у нас она есть. Есть король — сейчас королева. Солдаты знали, за кого они дерутся, — за короля, кого защищают, — короля. Это объединяет солдат, нацию. Не будь короля, мы проиграли бы войну, так как солдаты не знали бы, за кого они сражаются».

Но одновременно он находил удивительно мудрым устройством английского государства и то, что монарх — это символ, а настоящая власть принадлежит парламенту и даже не просто парламенту, а палате общин. Вот почему наибольшей удачей для англичан он считал тот факт, что во время войны премьер-министром был Уинстон Черчилль. «Вы подумайте только, ведь если бы он не был премьером, Англия обязательно проиграла бы войну».

Сказав это, мой собеседник отломил кусочек подсушенного хлеба, намазал апельсиновым джемом, вкусно съел, запил последним глотком кофе и, вынув салфетку из жилета, а кiset из кармана, стал набивать коричневые стружки табака в свою прокуренную трубку.

Итак, по его словам, победа в прошлой войне была результатом сочетания королевской власти как символа и Черчилля как лидера консерваторов. О том, что судьба войны решалась не только, а главное — не столько на Даунинг-стрит или в Букингемском дворце, сколько на улицах Сталинграда, Орла и Курска, моему собеседнику и в голову не приходило. Его спокойные рассуждения были аргументированы с такой завидной уверенностью, какой обладают только дети шестилетнего возраста. Одним словом, это был очень взрослый ребёнок, почему-то обучающий английских ребят географии того самого мира, о котором он по существу ничего не знает. Но я нарочно рассказал о встрече с этим консервативным географом, чтобы показать, что и этот человек был любезен, доброжелателен и гостеприимен по отношению ко мне, представителю страны, исповедующей неприемлемое для него мировоззрение.

В этом же купе ехал молодой человек с грустным лицом. Он оказался военным лётчиком, служащим в английских авиационных частях, расположенных в Австралии. Приезжал он в Лондон в отпуск, чтобы повидаться со своими родителями. Жены у него нет, так как он недостаточно встал на ноги, чтобы иметь право на жену (это я привожу его объяснение). Едет он сейчас в какой-то город, где находится тот аэродром, с которого ему надо вылетать в Австралию. Настроение у него плохое, потому что, во-первых, ему не хочется ехать, а во-вторых, ещё и потому, что он снова больше чем на год расстался с родителями, которых очень любит. Сегодня — его последний вечер в Англии. Меня он узнал, так как видел в телевизоре. «Как бы мне хотелось посмотреть ваш полный концерт! К сожалению, это невозможно: ведь завтра я буду уже в воздухе. Сегодня вечером? Ваш концерт сегодня вечером? Где? А если я сойду с поезда вместе с вами? Мне удастся купить билет на концерт?»

И он действительно выскакивает вместе с нами из поезда, и помогает носильщику тащить мою ширму, и поселяется в той же гостинице, и смотрит концерт, и прибегает в антракте за кулисы, а после концерта долго прощается и благодарит за то, что последний вечер в Англии у него оказался таким весёлым.

В каком-то городе между прибытием поезда и концертом было очень мало времени. Мы были голодны, а поесть уже некогда. Мы — это переводчица миссис Барр, моя жена и я. Пока ехали в машине, говорили о том, что хорошо бы сейчас хоть чуть чего-нибудь перекусить. В антракте за кулисами неожиданно появился встречавший нас на вокзале, а затем сидевший за рулём машины мистер Бротертон. В руках у него был термос и большой бумажный очень тёплый свёрток. Горячие пирожки. Это, оказывается, его жена успела быстро испечь, пока шло первое отделение. Наш неожиданный кормилец разлил пирожки, разлил чай в термосные стаканчики и, в восторге глядя в наши жующие рты, расспрашивал о Москве.

В первый же мой приезд, вернее, прилёт в Лондон, буквально через два дня, мы вместе с кинорежиссёром Григорием Васильевичем Александровым выступали в телевизионной студии. Александров давал интервью о советском кино, я показывал кукол. Происходило всё это в более чем непринуждённой обстановке. Александров хотя и говорит по-английски намного лучше меня, но тоже не абсолютно идеально. Отвечая на вопросы интервьюера, он иногда ошибался в произношении или построении фразы и тут же весело поправлялся или переспрашивал своего собеседника. Оба они смеялись и затем говорили дальше. Это не было специальной инсценировкой веселья, и одновременно это не было развязно. Это было именно непринуждённо. И, конечно, это-то и понравилось зрителям. Газеты писали: «Он оказался милым и симпатичным, этот русский из Москвы!»

Я показывал несколько моих номеров, в том числе и «Колыбельную песню» Мусоргского с куклой Тяпой, а в конце, прощаясь со зрителями, пожелал счастья «ту эврибоди» («всем») «энд ту ол йор чилдрен» («и всем вашим детям»).

Моё выступление получило хорошую оценку газет, но наибольшее впечатление, оказывается, произвели Тяпа и моё пожелание «счастья всем вашим детям».

Так как в Великобритании около трёх миллионов телевизоров, то, значит, нас с Александровым сразу услышало, а главное — увидело много миллионов англичан. Утром, выйдя на улицу, мы поняли это по тому, как на нас оглядывались и как улыбались нам встречные.

Это постоянное узнавание так и сохранилось на протяжении всей моей жизни в Англии, не только в первый, но и во второй приезд. На пристани в таможене, когда я ровно через полгода вступил на английскую землю, таможенный чиновник сказал мне: «Гуд мнинг! Хау из йор Тяпа?» («Доброе утро! Как поживает ваш Тяпа?»).

Ходить по городу, когда тебя узнают и показывают на тебя—кто глазами, кто пальцем,—это хотя и тешит актёрское тщеславие, но вовсе не так уж легко. Но, по правде сказать, в Англии мне такое узнавание было приятно. Не по тщеславным соображениям, а по причинам более уважительным. Из-за этих ежедневных узнающих меня незнакомых глаз я чувствовал себя в чужой стране не чужаком, а гостем, да ещё гостем желанным. Глаза эти, как маленькие градусники, показывали температуру доброжелательного отношения англичан к людям из Советского Союза и стремление понять и ощутить нас конкретно, путём обычного человеческого контакта.

Эти «узнавания» происходили не только в Лондоне, но и в любом большом или маленьком городе, в котором я по тем или иным причинам оказывался.

Как-то в Шотландии, в городе Абердине, мы зашли в рабочую закусочную, чтобы наскоро выпить кофе. Взобрались на высокие неудобные стулья-вертушки. Налево от меня перед недопитой, остывшей чашкой сидел усатый человек и читал газету. Судя по запёкшейся зелёной краске на его башмаках, это был маляр. Переворачивая страницу, он обнаружил меня и сразу же, отложив газету, спросил: «Простите, не мог ли я вас видеть в телевизоре?» Я сказал: «Да». — «Большое спасибо. Вы очень смешно показывали кукол. Мой Фред уже спал, но утром я сказал, что человек из Москвы пожелал ему счастья».

Проезжая на машине малюсенький городок Стивенэдж, мы остановились, чтобы купить в универсальном магазине конверты и открытки. Продавицы сбежались целой стайкой. «Это правда, что вы сначала были художником? Нарисуйте, пожалуйста, что-нибудь на память нашим детям! Если можно, Тяпу!»

Свежим утром я сидел в Гайд-парке на лавочке. Дышал липовым воздухом, таким пахучим, будто его напульверизировали одеколоном. На моей ладони лежали крошки хлеба, а на пальце сидел удивительно бесстрашный воробей и, проверяя бусинками глаз мои намерения, торопливо клевал.

На дорожке появилась обычная прогулочная комбинация английской семьи. Молодая, высокая, красивая мать вела на поводке с бубенчиками ребёнка лет трёх. Семилетний мальчик держал в руках почти такой же поводок, но на нём был уже не мальчик, а беспородная чёрная собака с весёлым хвостиком. Старшая дочка везла коляску, и судя по тому, как она кому-то лежащему в глубине этой коляски кивала и подмигивала, этот кто-то вряд ли имел за своими плечами больше нескольких месяцев.

Описав сейчас внешний вид этой семьи, я понял, что, пожалуй, каждое слово этого описания требует некоторой расшифровки. Начну с первых же прилагательных. «Молодая, высокая, красивая». Единственное, что можно не объяснять, а только подтвердить, так это слово «высокая». Распространённое среди жителей других стран представление об англичанах и англичанках, как о людях высоких, полностью отвечает действительности. В большинстве своём они действительно высокие. Но вот слово «красивая» надо объяснить. Дело в том, что данная женщина вовсе не была исключением из общего правила. Если среди англичанок мало таких, которых можно было бы назвать хорошенькими, то красивых, по-настоящему красивых, довольно много. Стройных, хорошо сложенных, с красиво посаженной головой, красивым овалом лица, свободно вьющимися волосами, редко — хотя бы и зимой — прикрытыми шляпой.

Теперь слово «молодая». Как видите, у этой женщины не такое уж малое количество детей. Два сына, дочь, да ещё кто-то в коляске. Итого — четверо. Насколько я успел понять, для английской семьи это тоже не редкость. Во всяком случае я встретился с несколькими семьями, в которых было четверо, пятеро, шестеро ребят и сравнительно молодая мама. Правда, я сплошь да рядом ошибался в её возрасте, но у этой эшбки тоже есть своё объяснение. Дело в том, что все очень молодые англичанки — девочки, девушки — всегда кажутся старше. Это из-за того, что они, как правило, высокие. Вы думаете, что девочке семь лет, а ей пять. Вы думаете — пятнадцать, а ей десять. Но зато все взрослые женщины обычно выглядят гораздо моложе. Вам кажется, что ей тридцать, а на самом деле — сорок. Вы говорите — сорок, а ей, оказывается, все пятьдесят. Это уж от спортивности, стройности фигуры, а значит, лёгкости походки, движений, жестов. Не знаю, сколько было матери подошедшего семейства. На вид — лет двадцать восемь, никак не больше.

Но почему она вела своего трёхлетнего сына на поводке, как собачонку? Да потому, что водить маленького ребёнка на поводке, а не за руку — это в десять раз удобнее матери и в двадцать раз полезнее ребёнку. У него не выворачивается плечо и не устаёт рука, не кривится позвоночник и грудная клетка. Он идёт впереди, а не волочится сзади. Шагает своим ритмом, не испытывая мучительных неудобств от того, что его маленькие шаги не совпадают с большими шагами матери. Он свободен в своих движениях, и в то же время он не соскочит с тротуара и не попадёт под машину. Детские поводки похожи на вожжи для игры в лошадки. Бывают с бубенчиками, а бывают и без бубенчиков. Это может быть просто верёвочка, надетая через шею и проходящая подмышками, но её функции и практическая польза остаются теми же.

А почему же требует объяснения чёрная беспородная собака, которую вёл на поводке мальчик? Да потому, что и это тоже не исключение, а почти правило для многих английских семей. Мечта всех маленьких англичан, чтобы в доме была собака. Пороdistые дороги, и поэтому очень много дворняг. Мальчик сказал мне, что его собака «почти лабрадор». Он гордился этим, потому что чёрные собаки, называющиеся лабрадорами, считаются ценной породой. Только они куда больше ростом и у них нет таких задорных хвостиков крючком.

Итак, всё семейство уселось на мою скамейку. Я подвинулся, воробей улетел, а крошки доел и без того жирный голубь. Мальчик отцепил своего «почти лабрадора», и он побежал знакомиться с «почти таксой». Мама отцепила младшего сына, оказавшегося Майклом. Почувствовав полную свободу, он отправился по дорожке догонять голубя, а голубь, не испытывая никакого волнения, быстро семеня своим чистым вымы-

тыми красными лапками. Мама наклонилась над коляской, потом посмотрела на меня и, показав на то, что лежало в коляске, сказала: «Тьяпа!.. Мы назвали её Тьяпа!..» Я взглянул внутрь. Там лежала голубоглазая девочка с четырьмя рыжими волосиками на лбу. «А как её настоящее имя?» — «Айрин».

Значит, встреча состоялась. Когда-то, сидя в самолёте, летевшем в неведомый мне Лондон, я думал о Гайд-парке и о рыжеволосой красавице Ирен (по-английски Айрин). В неё были влюблены и английские и русские читатели романа Голсуорси. Да и я тоже был неравнодушен.

Вот, значит, она теперь какая! Вновь стала молодой. Живёт сызнова... Взяла мой палец своими мягкими перламутровыми пальчиками. Серьёзно сморщила лоб, а ртом улыбается, пуская мелкие пузыри. И мне удивительно приятно знать, что у неё двойное имя: Айрин — Тяпа. Как было бы хорошо, если бы это символическое тире доброжелательности и дружбы сохранилось и через шесть лет, когда рыжеволосая Тяпа пойдёт в школу, и через двадцать лет, когда Айрин опять найдёт своего Джоллиона!

Конечно, мы разговорились со всем семейством и, конечно, много смеялись. Маленький Пит, так и не догнав голубя, начал выдёргивать кустики травы под липой и старательно вновь закидывать их в землю между корнями ясеня. «Что это он делает?» — спросил я маму, переливавшую из термоса в маленькую бутылочку тёплое молоко, чтобы кормить Айрин. «Занимается тем же бессмысленным делом, что и его отец в нашем саду! Он настоящий англичанин!»

Кто это выдумал, что англичане — сухие люди, лишённые юмора, которых к тому же невозможно рассмешить?! Это поразительная ошибка.

Отражение окружающего мира в больших литературных произведениях неотделимо от образного мышления народа, родившего автора. Юмор Пиквикского клуба — это не просто Диккенс, это прежде всего англичане. Это их юмор. Всегда иронический по отношению к себе и всегда пикировочный по отношению к партнёру в диалоге. В какой-то степени юмор англичан — это общепринятая манера общения между людьми, хотя бы эти люди были вовсе друг с другом не знакомы.

В течение всей поездки в Англию у меня через плечо висел фотоаппарат, и хотя фотограф я более чем неопытный, но старался снимать буквально всё, что попадалось на глаза. Особенно быт.

Вот в поисках бытовых сюжетов мы и отправились как-то на лондонский рынок Петтикот-Лейн, что в переводе значит — «Нижняя юбка». Один из ехавших с нами пассажиров автобуса весело рассказывал нам, что рынок этот издавна славился ворами. «Когда женщина выходит с рынка, ей уже предлагают по дешёвке купить её же собственную нижнюю юбку. Ту самую, что была на ней, когда она на этот рынок входила».

Кондуктор, казалось, не обращал никакого внимания на наши разговоры и довольно громко насвистывал какую-то песенку. Автобус остановился у рынка. Весёлый пассажир крикнул нам вслед: «Желаю удачи! У вас будет что фотографировать на рынке!» А кондуктор спокойно добавил: «Если будет че м!..»

Мы садимся в такси, чтобы ехать на вокзал. Ручка моего чемодана с куклами неожиданно отрывается, и он с грохотом падает набок. Я говорю: «Что было бы, если бы там была посуда?» Шофёр, не торопясь, подымает чемодан. «Вы неверно сказали, сэри! Надо было сказать: чего бы там не было!»

На вокзале берём три билета до Ноттингэма. Кассир называет цену — около пяти фунтов. «Не слишком ли дорого за три часа езды?» — говорит наша переводчица, отсчитывая деньги. Кассир, не задумываясь, отвечает: «Не огорчайтесь, миссис. Если, приехав в Ноттингэм, станет ясно, что за такую цену не стоило ехать, вы можете вернуться обратно».

В вагоне я спросил старика-кондуктора, пришедшего проверять наши билеты: «Скажите, пожалуйста, когда мы будем в Ноттингэме?» Сохраняя официальное выражение лица, он ответил: «Простите, но я не могу сказать, когда мы будем в Ноттингэме. Я могу только сказать, когда мы должны быть!» И, спрятав улыбку, он отправился дальше по коридору, как бы машинально напевая: «Эй, туппи-инуска, укмэм!» В дальнейшем выяснилось, что он был матросом и ходил на торговом судне в Архангельск.

Мы позавтракали в вагон-ресторане. Взяли «хэм энд эггс». — ветчину, политую яйцами, компот и кофе. Официант с лицом лорда выписал счёт и, несколько раз внимательно его проверив, сказал: «Двадцать четыре шиллинга девять пенсов... К сожалению, сэр, сколько я ни пересчитывал, у меня никак не получается больше!»

В Манчестере мы разыскивали музей. Обратились с вопросом к двум безавшим нам навстречу девушкам: «Простите, не знаете ли вы, где...» Девушки не дали закончить фразу, и обе сразу ответили с быстротой рассыпавшегося гороха: «Мы можем вам сказать только, где находится кино «Одеон». Больше мы ничего не знаем. Мы сами приезжие!»

Очень часто острота англичанина может показаться вызывающей. Не думайте, что она рождена каким-либо враждебным чувством. Нет, просто ваш случайный собеседник провоцирует вас на пикировку. Он обязательно ждёт ответа и обрадуется, если ваш ответ окажется удачным, так как это позволит ему продолжать иронический словесный бой.

Я зашёл в магазин, где продавались рыбы, птицы, собаки, голуби. Это страсть моего детства, и, следовательно, остыть она не может. Стонали влюблённые горлицы, что-то трагичное кричал попугай, щёлкала и рассыпалась трелями красная канарейка. Её напев был для меня неожиданным. Как известно, в каждой стране любители канареек по-своему обучают их пению: либо с помощью особых наборов дудочек, либо приставляя к ним учителей — других, уже обученных канареек, сибирских щеглов (особенно ценящихся в Англии), соловьёв, снегирей.

Я спросил у продавца: «Эта канарейка обученная?» Улыбаясь уголком одного глаза, продавец ответил: «Нет, сэр. У нас свобода слова. Она поёт, что хочет». Уголок другого глаза тоже прищурился. Мячик брошен. Долго думать нельзя, надо отражать. Я говорю, что очень рад за канарейку. «Жаль только, что она поёт в клетке хозяина». Продавец говорит: «О!» Он явно доволен ответом, но ему хочется продолжать пикировку. «А вы знаете, почему канарейка красная? Мы её кормим особой пищей. Вы ваших коммунистов тоже чем-то специальным кормите?» Я отвечаю: «Конечно!» — «Чем же?» — «Хорошими книгами!» — «Значит, и я могу стать красным?» — «Вероятно!..» — «Боюсь, что моему хозяину это не очень понравится!» — и продавец уже весело смеётся.

Конечно, въезжая в Лондон, мы волновались по поводу того, как будут приниматься наши спектакли. Находились люди, предупреждавшие нас о том, что на особенно бурный приём мы рассчитывать не должны, так как англичане по природе своей народ сдержанный. Для актёра сдержанный зритель хуже, чем для велосипедиста песок, и поэтому такие предупреждения увеличивали наши и без того серьёзные опасения.

На наше счастье, эти опасения оказались напрасными. Английские зрители умеют смеяться ничуть не хуже любых других зрителей.

У меня даже есть подозрение, уж не сами ли англичане просто в виде очередной остроты выдумали легенду о сдержанности своей природы. Или, может быть, они сочинили её для того, чтобы скрыть фактическую свою экспансивность.

В общем, мы не можем пожаловаться на «детей Альбиона», хотя, конечно, нам пришлось преодолевать много трудностей. Естественно, что чисто словесный юмор наших пьес неизбежно исчезал, и поэтому мы довольно сильно сократили многие монологи и диалоги, оказавшиеся излишне длинными для тех, кто не знает языка, то есть для всех наших зрителей, если не считать некоторого обязательного процента русских эмигрантов.

Перед каждым актом каждого спектакля английский актёр вкратце рассказывал зрителям содержание. Делал он это очень складно, импровизированно в смысле текста и всегда с юмором.

С таким предварительным конферансом шли и «Чёртова мельница» и «2 : 0 в нашу пользу», а вот «Необыкновенный концерт» мы сумели сделать совсем английским спектаклем. Состоит он из отдельных концертных номеров: виолончелист, колоратурное сопрано, танго, фокусник и т. д. Если некоторые из этих номеров и обладают текстом, то никакой сюжетно-смысловой роли он не играет. А текст конферансье был нами заново сделан на английском языке, и артист Гердт играл эту роль по-английски, с моей точки зрения, на пять с плюсом.

Два раза в неделю, по средам и субботам, мы играли днём для детей «Волшебную лампу Аладина». По окончании первого детского спектакля к нам за кулисы прибежал взволнованный администратор и сказал: «Что делать? У актёрского входа выстроилась целая очередь ребят с вырезанными из газеты объявлениями. Они требуют, чтобы их пустили на сцену!» Не сразу мы поняли, в чём дело. Потом наконец разобрались. Оказывается, какая-то газета напечатала, что мистер Образцов предлагает всем зрителям—ребятам, желающим посмотреть устройство кукол, после спектакля прийти за кулисы. В качестве же пропуска будет служить это самое сообщение, вырезанное из газеты. Ничего подобного, конечно, мистер Образцов не говорил, но ребятам этого не объяснишь, да, собственно, и незачем объяснять. Проще пустить их всех на сцену. И с этого дня после каждого детского спектакля цепочка ребят двигалась через служебный ход рассматривать наших кукол. Это было интересно не только им, но и нам, потому что всегда приятно видеть горящие ребячьи глаза, показывать этим глазам, как шагает верблюд, как устроена пасть у льва и почему летят искры из сабли Аладина.

Но не только после дневных спектаклей сцену нашу заполняли гости, но и после вечерних. Они в не меньшей степени, чем дети, интересовались тем, как раздваивается чёрт и каким образом бабушка плюёт на утюг.

Да и во время самого спектакля за кулисами, на специально поставленных стульях, рядышком сидели гости, внимательно следившие за движениями кукол и актёров. Это были английские кукольники. Мы, естественно, не скрывали никаких своих секретов, а многое в устройстве кукол и декораций нашего театра было для англичан новым, так как в Англии нет таких больших кукольных театров.

Даже то, что нас приехало в Лондон сорок человек, казалось им удивительным, а когда я говорил, что в Москве в нашем театре работает больше двухсот, это всегда вызывало возглас, похожий на длинное «у».

Постоянных, стационарных кукольных театров, ежедневно играющих в Лондоне или в каком-либо другом городе, тоже нет. Все кукольные театры Англии по существу передвижные, и большинство носит любительский или полупрофессиональный характер. Конечно, среди английских кукольников есть и профессионалы, для которых работа в кукольном театре является источником дохода, средством к существованию. Чаще всего весь коллектив такого профессионального кукольного театра состоит всего только из двух, трёх, четырёх человек. Обычно это члены одной семьи плюс один или два приглашённых со стороны. Как правило, такой театр разъезжает на своей машине. Иногда она же является и сценой. В таком случае зрительный зал — это двор, площадка в парке, лужайка.

Довольно большое место занимают куклы в программе детского телевидения. Некоторые из них стали любимыми героями не только детских передач, но и детских книг. Их можно обнаружить и на обоях, ковриках, детской посуде, скатертях, наконец, просто среди детских игрушек. Один из таких любимых детьми кукольных героев — смешной, немножко глупый, но добрый и весёлый мул Маффин. Он родился в кукольном театре супругов Яна Бассел и Энн Хогарт, с которыми я переписывался задолго до поездки в Англию и, конечно, встречался много раз и в первый и во второй приезд.

Мы познакомились и подружились не только с ними, но и с такими же профессиональными кукольниками — супругами Уолдо и Мьюрел Ланчестер из города Стратфорда-на-Эвене, и с совсем молодыми кукольниками Майлз Ли и Оливией Гопкинс из Эдинбурга в Шотландии, и с Робертом Смитом, и со многими другими. Среди них были люди разных талантов и разных профессиональных уровней, но не было ни одного, кто бы не был искренне и жертвенно увлечён этим делом. Впрочем, мне кажется, что это — свойство кукольников всех стран. Я говорю об этом не только в силу естественного для меня пристрастия к людям этой профессии, но и потому, что, во-первых, больших выгод занятие это дать не может и, следовательно, людям, стремящимся к деньгам, вряд ли приходит в голову заниматься куклами, и, во-вторых, потому, что кукла — существо маленькое, неуклюжее, беспомощное, а главное, абсолютно бездушное и, следовательно, требует, чтобы в неё эту душу вкладывали.

Одним словом, с кукольниками мы подружались. И не только с лондонскими, но и с теми, что живут в других городах, так как почти все они приезжали на наши спектакли.

Подружились мы и с рабочими театра «Кассино», в котором играли, и, конечно, с нашими переводчиками и организаторами наших спектаклей, работниками аппарата Англо-советского общества культурной связи. Когда расставались, то и на их и на наших глазах нет-нет да и поплёскивало что-то мокрое.

В течение всего периода жизни в Лондоне я получал очень много писем из разных городов Англии от совершенно разных людей. Это всё были очень хорошие письма. На каждое из них я непременно отвечал. В одном из таких писем было написано, что в лондонской больнице лежит немолодая и очень больная женщина. Заболела она после смерти своего сына. До болезни она выступала с куклами и была одной из лучших кукольниц Англии. Женщина эта совсем не может двигаться и знает о наших гастролях только по рассказам. В конце письма было написано, что если бы я мог навестить её, то это было бы для неё большой радостью. Взяв с собой деревянную хохломскую вазу и купив цветы, мы отправились в больницу. Женщина, о которой было написано в письме, лежала на высокой кровати. У неё было какое-то очень тяжёлое заболевание нервных корешков, в результате которого даже прикосновение простыни вызывало боль, и поэтому простыня лежала на специально построенной над кроватью деревянной клетке. Руки женщины почти утратили координацию движений. Живыми остались только глаза. Наш приход и наши маленькие подарки были для неё, повидимому, действительно большим счастьем. Советских людей она видела так близко впервые. Уйти от её кровати было трудно, так как ей очень хотелось, чтобы мы сидели подольше.

Недавно я получил письмо от моей переводчицы, что Доррис Бикердак умерла. И вот, несмотря на то, что всего два или три часа я видел эту женщину, узнать о её смерти мне было так больно, будто я потерял друга.

Почему же это так? Да потому, что стремление понять и ощутить сердце человека в чужой стране обостряется необычностью обстоятельств. Обостряется обоюдно. Кондуктор автобуса, везущего советского человека, так же как и его пассажир, этот самый советский человек, невольно стремятся заговорить друг с другом и понять друг друга, так как слишком уж долго длятся обстоятельства, мешающие этому взаимопониманию. Слишком плотен тот самый туман клеветы на Советский Союз, о котором я говорил.

В последний день жизни в Лондоне я шёл пешком по направлению к нашему посольству. Неожиданно, завизжав тормозами, около меня на полном ходу остановилось такси. Выскочил шофёр. Незнакомый мне человек. «Это правда, что вы завтра уезжаете?» — «Правда». — «Очень жаль, очень жаль!» Он протянул мне руку. Попрощался и так же быстро поехал дальше.

Наша советская газета, выходящая в Англии, обратилась ко мне с просьбой написать для неё статью. Я долго думал над тем, что я мог бы сказать англичанам, с которыми недавно расстался, и в конце концов решил написать просто письмо с добрыми пожеланиями. Всем вместе и, по возможности, каждому в отдельности.

Так я и сделал. Получился как бы каталог моих английских знакомых, правда неполный. И хоть сейчас я дополнил его ещё несколькими именами, но и то, конечно, не смог перечислить всех, с кем подружился. Просмотрите его и вы. Может быть, он доскажет о людях Англии что-то, чего не сумел досказать я непосредственным их описанием.

Дорогие друзья!

В течение одного года я два раза был в вашей стране, и сейчас мне захотелось написать это письмо, чтобы сказать, что я не забываю ни дней, проведённых в Великобритании, ни городов Англии, Шотландии, Уэльса, ни людей, с которыми познакомился и подружился.

Может быть, члены советской делегации и в этом году останавливались в Лондоне в том же самом «Палас-отеле» на Бейзуотер-роуд, в котором два раза останавливался и я? Если это так — значит им было хорошо и удобно. Значит, утром они смотрели из

окна на деревья Кенсингтонского сада, потом спускались вниз и говорили: «Хау ду ю ду, мистер Смит?» И я сейчас говорю Вам: «Хау ду ю ду, мистер Смит?» Как Вы пожииваете? Передайте привет от меня всем служащим отеля и тем, кто доставал мне ключ от номера «уан оу три эй», и тем, кто помогал выносить мою ширму с куклами, и двум женщинам, сидящим за деревянной перегородкой и печатающим на машинке, и высокому заведующему рестораном, и девушкам, которые каждое утро кормили нас корнфлексом с молоком, яичницей с грибами, жареной селёдкой и очень вкусным английским чаем с молоком. Передайте привет и постоянным жильцам Вашего отеля, пожилым одиноким женщинам, которые так уютно вяжут в гостиной. Пожелайте им здоровья!

Милая миссис Барр! У нас, русских, есть такая поговорка: «Чтобы назвать человека другом, надо съесть с ним пуд соли». Мы с Вами сделали столько сотен километров по железным дорогам Великобритании, столько проехали на автомобилях, столько десятков моих концертов, докладов, речей Вы перевели, что, конечно, это равняется пуду соли. Наверно, и сейчас у Вас было много работы. Передайте, пожалуйста, и от меня и от моей жены привет всем тем, кто был так внимателен к нам и в первый и во второй наш приезд. Вероятно, в эту минуту, когда Вы читаете моё письмо, миссис Фокс ведёт деловой разговор по телефону, потому что я с трудом представляю её без телефонной трубки, но я прошу Вас: в перерыв между двумя её телефонными разговорами постарайтесь успеть передать ей привет и от нас и от актёров кукольного театра, бывших в Лондоне. Скажите, что все помнят и любят и её, и её дочку, и её маму. Кланяйтесь, пожалуйста, и переводчицам миссис Киш и миссис Дидмэн, и миссис Стелле Джексон, угощавшей нас такими вкусными бифштексами. Не забудьте передать привет и Вашей маме, и Вашей дочери, и Вашим внукам, и мужу Вашему. Ещё раз напомните ему, что я очень советую сделать большую выставку его акварелей. Уверен в успехе этой выставки. Когда будете у Приттов, кланяйтесь им от нас. Нам было очень приятно, что мистер Притт, проезжая через Москву, побывал у нас в гостях, но, конечно, мы с женой жалели, что не было миссис Притт и мы не могли угостить её русским чаем и домашним пирогом, как она угощала нас.

Вероятно, выступления советских артистов и в этот месячник передавались по телевидению. Значит, наши артисты были в студии телевидения и встречались там с заместителем директора Мэри Адамс. Мы познакомились с Вами, миссис Адамс, ровно год назад — шестого декабря пятьдесят третьего года, когда я впервые показывал своих кукол в Вашей студии. Потом мы много раз виделись с Вами на передачах «Лампы Аладина», «Необыкновенного концерта» и моих концертных номеров. А не так давно я встречал Вас вместе с другими членами Английской культурной делегации на московском аэродроме. Мы с женой часто вспоминаем, какой хороший вечер, вернее даже ночь, мы провели с Вами в Москве, расспрашивая друг друга о том, какое впечатление произвела на Вас Москва, а на нас — Лондон. Я желаю Вам, милая миссис Адамс, здоровья и успехов и очень прошу передать привет тем, кто в тот вечер был вместе с Вами у нас в гостях: миссис Даулинг, доктору Джермен и миссис Фаррингтон из Суонзи. А её, в свою очередь, прошу передать привет её мужу и дочке, у которой такое же приятное и открытое лицо и такая же добрая улыбка, как у её мамы.

Режиссёром многих передач по телевидению был мистер Слитс. Стоит мне только закрыть глаза, как я уже вижу его. На нём коричневый пиджак, голова немного наклонена вбок и на лице весёлая, чуть хитренькая улыбка. Передайте и ему привет! Он хороший режиссёр и очень хороший человек. У него есть молодая секретарша. Год назад она познакомила меня со своим женихом. Через полгода я поздравил её с браком. Уверен, что они с мужем живут счастливо. Если когда-нибудь ещё приеду в Лондон, вероятно, смогу увидеть и конкретные результаты их брака. Когда я в Москве рассказываю об англичанах, я всегда говорю о том, что они хорошие семьянины и очень любят детей. У меня даже есть в качестве примера некоторый эталон английской семьи. Это семья Плэттс-Миллса. Разве это не правда? Оба высокие, оба стройные, как спортсмены, оба весёлые и остроумные и, несмотря на то, что выглядят молодыми, на вопрос «Есть ли у вас дети?» спокойно отвечают: «Шестеро». У вас, вероятно, в дни месячника было много работы, мистер Плэттс-Миллс, но, когда сегодня вечером Вы соберётесь

около Вашего семейного камина, передайте, пожалуйста, привет Вашей милой жене и Вашим детям!

Дорогой доктор Хьюлетт Джонсон! Хорошо ли Вы с женой долетели до Лондона? Вероятно, хорошо. На аэродроме вы оба сказали мне, что никаких неудобств в полёте не испытываете. Я встречался с Вами много раз в совершенно разных обстоятельствах, и среди сотен людей на официальных приёмах в Москве или Лондоне, и в одном купе поезда, везшего нас из Глазго в Данди. Я видел и слышал Ваши страстные выступления на больших митингах, посвящённых англо-советской дружбе, в двух залах одного здания, причём перерыв между Вашими речами был всего минут двадцать, не больше. Слушал я Вас и в обстановке домашней, когда Вы с женой прямо с концерта и приёма, организованного ВОКС, приехали к нам ужинать и так много и так увлекательно рассказывали о Лондоне, о Кентербери, о Вашей поездке в Испанию в годы героической борьбы испанского народа с фашизмом и о том, как, будучи студентом Оксфордского университета, Вы были капитаном гребной команды и получили приз — золотые вёсла. И сколько бы часов подряд я ни наблюдал Вас, никогда, ни на секунду, Вы не выглядели уставшим. Я не перестаю удивляться Вашей энергии, Вашей неисчерпаемой молодости, неиссякаемому оптимизму и непоколебимой вере в людей.

Я поздравляю английских борцов за мир с тем, что в их рядах есть такой человек, как Вы, и я поздравляю Вашу жену и Ваших дочек с тем, что у них такой замечательный муж и отец. Прошу Вас, доктор Джонсон, передать привет от меня генеральному секретарю Общества дружбы мистеру Пату Слоуну. Вероятно, и в этот раз, как и в прошлом году, каждый вечер, когда уже все расходились спать по номерам, он устало садился в кресло и, вытащив из своего толстого портфеля кучу разных бумажек и записок, раскладывал бесконечный пасьянс, чтобы ещё и ещё раз проверить, кто из членов советской делегации завтра едет в Бирмингем, кто читает лекцию, кто выступает на митинге, кто на концерте и у кого встреча со студентами.

Может быть, и сейчас, когда я пишу эти строки, он, глотками отпивая пиво из стакана, занят этим пасьянсом. Если это так, то очень прошу Вас, мистер Слоун, закажите ещё один стаканчик «Гинеса» для меня, чокнитесь и выпейте оба стакана. Ваше здоровье, мистер Слоун! «Гинес» из гуд фор ю!

Мистер Айвор Монтегю! Не так давно я прочёл Вашу очень интересную статью в «Литературной газете» и вспомнил нашу последнюю встречу. Это было в конце июля прошлого года в Лондоне. Мы с женой шли по мокрому от дождя тротуару. Неожиданно около нас остановилась маленькая машина, из которой выпрыгнули Вы и сказали, что только что вернулись из Москвы и что в Москве очень тепло и солнечно. Желаю Вам счастья, мистер Монтегю! Если увидите Моннику Фелтон, скажите ей, что мы были очень огорчены тем, что во время наших гастролей её не было в Лондоне.

Вы хорошо понимаете, уважаемый мистер Ротштейн, как дорого для всякого советского человека всё, что связано с именем Маркса и Ленина, и поэтому мы горячо благодарим Вас за то, что Вы так внимательно познакомили нас и с библиотекой Карла Маркса и с документами, хранящимися в Музее.

Мистер Фримен! Это от Вас, как секретаря Общества культурной связи, наш театр получил приглашение приехать в Лондон. Но, когда мы приехали, Вы были в Москве. А когда мы вернулись в Москву, Вы уехали в Лондон. Так мы с вами и не встретились. Но с женой Вашей и дочкой подружились. Передайте им привет от всех нас. Кланяйтесь также мистеру Уоткинсу, который так много сделал в организации наших гастролей. Когда в конце каждого дня мы с ним обсуждали план нашей работы, он, поднимая два пальца, начинал обсуждение всегда с одной и той же фразы: «У меня два вопроса!» И у меня сейчас к Вам два вопроса: как Вы поживаете, мистер Уоткинс, и как поживает Ваша маленькая жена, которая так терпеливо каждый вечер дожидалась, когда мы наконец закончим наши обсуждения и она сможет уехать с Вами домой? Все сорок человек актёров, музыкантов, рабочих, которые играли в Лондоне в спектаклях кукольного театра, передают Вам привет, мистер Уоткинс, и просят Вас кланяться Вашему помощнику, мистеру Дону Риччелу, и сказать ему, что, вспоминая о Лондоне, мы часто

поём песенку старого английского мюзик-холла, которой он нас научил: «Ранняя птичка она была, чип, чип, чип пела она».

И, конечно, мы часто вспоминаем Адольфа Борсдорфа и всех работников театра «Лондон Кассино». Рабочих сцены, электриков, радистов. Кукольный домик, который сделал и подарил нам начальник пожарной охраны, мы будем всегда беречь как память о людях, с которыми сорок пять дней проработали бок о бок.

Милый мистер Майлз Малессон! Ваш сын недавно был в Москве и привёз нам от Вас пьесы. Большое Вам спасибо! Очень прошу передать привет Вашей жене и очень надеюсь видеть вас обоих у нас в Москве.

Мистер Горас Кинг! Как идут дела Меджик-сёркл? Где Вы выступаете с Вашими изумительными фокусами? Мы с женой часто вспоминаем Вашу семью. Вероятно, Грэхму удалось познакомиться с Хачатуряном: ведь сын Ваш так замечательно знает и русскую классическую и советскую музыку, в том числе и музыку Хачатуряна.

Как идут ваши спектакли, дорогие друзья из театра «Юнити»? Как бы ни был мал ваш театр, дело, которое вы делаете, — очень большое и очень важное. Я желаю вам дальнейших успехов и очень верю в них.

Уважаемый мистер Томас Мак Минн! Маленький домик великого поэта Шотландии Роберта Бёрнса, зелёная лужайка перед домом, любовно собранные книги, картины и рукописи в музее Бёрнса и Ваш голос, читающий его прекрасные стихи, соединены в моей памяти в единый образ. Вам уже идёт девятый десяток, а глаза Ваши яркие и голос звонок, потому что Ваша жизнь и работа Ваша освящены любовью к своему народу и великим гуманизмом Бёрнса.

Конечно, я очень часто вспоминаю встречи с моими коллегами по профессии — английскими кукольниками, которые были так внимательны и к театру и ко мне лично и проявили столько искренности и тепла.

Как ваше здоровье, милые Энн Хогарт и Ян Бассел? Как поживают Маффин и Вилли? Вы говорили мне, что хотите попробовать применить в своей работе нашу систему кукол на тростях. Удачной ли оказалась эта проба?

Где вы сейчас гастролируете, Уолдо и Мьюрел Ланчестер? Как здоровье вашей матери? Теперь Стратфорд и Дом Шекспира навсегда соединились у нас с воспоминанием о вас, о вашей весёлой лавочке кукольного театра, в которой так много интересного и близкого сердцу всякого, кто любит театральное искусство. А город Бирмингем навсегда связан у меня с вами, Маргарет и Френк Уортс, с тем вечером, когда, сидя на ковре у вашего камина, я смотрел ваших кукол и на коленях у меня сидела ваша дочка, маленькая Маргарет. Кланяйтесь от меня и ей и её старшему брату.

Как ваше здоровье, самые молодые кукольники Шотландии. Оливия Гопкинс и Майлз Ли? Помните, как год тому назад я был у вас в Эдинбурге? Вы тогда сказали мне о том, что получили письмо из Франции от знаменитого английского режиссёра Гордона Крэга, что он очень стар и живёт где-то недалеко от Ниццы, в маленьком пансионе. Я вам очень благодарен за то, что вы сказали мне тогда об этом, так как очень уважаю и высоко ценю Гордона Крэга, который, как вы знаете, был дружен со Станиславским, а в 1935 году приезжал в Советский Союз. В декабре прошлого года я прямо из Лондона поехал в Париж, а оттуда на один день в Ниццу. Там, в маленьком городке Вансе, я разыскал Гордона Крэга и подарил ему английский рождественский пудинг, что привёз из Лондона, и букет роз из Ниццы. Мы имели возможность поговорить друг с другом всего только полчаса, так как мне надо было спешить на поезд, но я очень рад, что судьба выкроила мне эти полчаса, потому что провёл я их с человеком, горячо любящим искусство.

Как идёт ваша работа, мистер Робер Смит из Глазго, Лотта Рейнигер и Карл Кох — энтузиасты теневого театра, Перси Пресс, хранящий традиции старого англий-

ского Панча, Джеральд Морис из города Маквори, супруги Ставордэйл и супруги Вилльямс, Кристин Тэнуолл?

За время жизни в Лондоне я получил больше ста писем из разных городов Великобритании. И ответил на каждое письмо и сохранил их все. Вот они лежат сейчас передо мной в разных конвертах, написанные разными почерками. Все эти письма дружеские, от хороших, искренних, простых людей.

И, конечно, сейчас я думаю о вас, дорогие мои друзья, которых я знаю только по почерку, по словам, которым верю. И Вам, мистер Майкл Е. Фолк из Ньютауна, который так много хороших слов написал относительно моих кукол, и Вам, Робби Бэддж, и Вам, мисс Элен из Лондона. Вы написали мне, мисс Элен: «Все люди похожи между собой, в какой бы стране мира они ни жили. Если бы не политические деятели, которые сеют недоверие и разжигают ненависть, люди нашли бы путь к дружбе, тот самый путь, который Вы показали нам».

Мы, советские люди, умеем отличать тех политических деятелей Англии, которые сеют недоверие и разжигают ненависть, от честных и искренних англичан, от английского народа. И я уверен, мисс Элен, что люди найдут путь к дружбе. Он ведь очень ясен и прост. Для этого необходимо только любить жизнь, ненавидеть вражду и верить в то, во что верите Вы, — в то, что «все люди похожи между собой, в какой бы стране мира они ни жили», и, значит, все люди и все народы имеют равное право на жизнь и счастье.

Миссис Дитчфилд из Ланчестера! Я часто перечитываю Ваше письмо. Я знаю, что Вы инвалид и что Вам трудно живётся. Вы просите меня подарить Вам мою куклу Тяпу? Из Лондона я мог прислать Вам только её фотографию, но сейчас, вернувшись в Москву, я непременно сделаю для Вас Тяпу и пришлю. Желаю Вам счастья и хороших друзей!

Лиза и Ричард Оттенберг из Дерби, эмигрировавшие в Англию от ужасов фашизма довоенной Германии! Я желаю вам счастья и счастья вашей родине, единой, миролюбивой, демократической!

Я желаю вам счастья, Дж. В. Пембл из Фолкстона, Ричард Пирсон из Честера, Малькольм Молтено из Фарихама, Келим Форстер из Кента, Бидди Йоргдей из Аштона, Джон Н. Шарип из Сул!

Я желаю вам счастья, милые ребята, приславшие мне письма. Как вы живёте, Кэррол, Джейн и Кэтрин из Бристоля? Вы написали мне, что Джейн больше всего понравился Аладин в пещере, Кэтрин — голос принцессы, а Кэрролу — Дух и артисты, вышедшие с куклами. Ты писал мне, Боб Бакмэн, что тебе пять лет и три четверти года и что больше всего в «Лампе Аладина» тебе понравился тоже Джин. С тех пор прошло много месяцев. Значит, тебе уже шесть лет. Поздравляю тебя с днём рождения. Тебе Дэвид Эллиот из Лейтона, одиннадцать лет. Продолжаешь ли ты увлекаться своим домашним кукольным театром, о котором ты мне писал?

Милая Джинетта Шорт из Хертса, как поживает твой пудель Трудди? Моя Кора здорова. На зиму мы её не стригли, и она сейчас похожа на маленького медведя, особенно когда бегала в саду по белому снегу. Милая Сторм Кокшот из Йоркшира! У нас с тобой уже целая переписка. Спасибо за фотографию. Я теперь знаю, какая ты и какая у тебя сестричка Эрике. Хотя тебе только семь лет, но ты совсем большая по сравнению с ней. Ты просила меня передать от тебя привет советским детям. Я это сделал. И все маленькие москвичи, которым я говорил о тебе, просили меня передать привет от них и тебе и Эрике и пожелать вам счастья.

Моё письмо оказалось гораздо длиннее, чем я предполагал, и всё-таки я не назвал ещё очень многих имён не потому, что забыл кого-нибудь, а только потому, что иначе письмо моё никогда бы не кончилось. Ведь о людях, с которыми я встречался в Великобритании, и о том, что увидел и понял в Лондоне, Глазго, Ливерпуле, Эдин-

бурге, Абердине, Манчестере, Суонзи, Вульвертхемптоне, Бирмингеме и других городах, я могу говорить много часов.

Вернувшись из Великобритании в августе, я сделал в Москве несколько больших докладов о современном Лондоне в Центральном Доме работников искусств, в Доме актёра, в Доме журналиста, в Доме писателей. Я пишу об этом не для того, чтобы похвастаться своими докладами, а для того, чтобы наглядно показать вам, дорогие друзья, как велик в Советском Союзе интерес к вашей стране и как важно нам с вами как можно больше знать друг друга для того, чтобы вера в искренность дружбы нашей всё больше увеличивалась, а дружба с каждым днём росла и стала бы такой крепкой, что разрушить её было бы невозможно.



---

---

ЮРИЙ ЖУКОВ

★

## ПАРИЖ, МАРТ 1955

*Странички из дневника журналиста*

### *Встреча со старым знакомым.*

5 марта. «Париж, ты несколько не изменился, мой старик. Боже мой, ты совсем не изменился!..»

Слова этой незатейливой песенки популярного французского певца Шарля Трене невольно идут на ум, когда медленно бредёшь широкими тротуарами Больших бульваров, вернувшись в Париж после тридцатимесячного отсутствия. Всё та же шумная пёстрая толпа плывёт вдоль витрин, всё те же завсегдатаи кафе тянут свои аперитивы, всё те же газетчики в каскетках выкрикивают оспившими от необычной для парижского марта стужи голосами лихие газетные заголовки, которые далеко не всегда отвечают подлинной злобе дня.

Вы можете узнать из газет, что на международной конференции, посвящённой ревизии санитарной статистики, утверждён список 999 способов заболеть или умереть, что на последнем аукционе в отеле Друо был продан за 1350 тысяч франков лакированный комод Людовика XV, что пастор Бельне произнёс проповедь на тему «Тайна страдания», в которой доказал, что «человек рождён для того, чтобы страдать», а прорицательница Женевьева Зепфель предсказала, что Франция вступит в союз с Западной Германией, что в Лондоне скончался знаменитый пёс Чёрный Рыцарь, принадлежавший леди Маннингс и возведённый её неустанными хлопотами в звание почётного гражданина британской столицы, и что безработный тенор Роже Конт, отец троих детей, повесился у себя на квартире, на улице Сорбонны.

Четыре раза за эти тридцать месяцев сменилось во Франции правительство, многие бури отгремели в стране, многие события потрясли древний Бурбонский дворец, в котором дни и ночи заседает парламент. Но есть в Париже большие невидимые силы, которые вот так, исподволь, негромко, но непрерывно, изо дня в день, из месяца в месяц отвлекают парижанина от этих событий, забавляют его пустячками, втолковывают ему: «Политика — дело нудное и скучное. Политика не для тебя. Погляди-ка лучше на картинки: видишь, какие высокие каблуки носит приехавшая в Париж итальянская кинозвезда Лоллобрижида? А вот, не угодно ли, сенсационная пикантная история в рисунках — «Наполеон и женщины». Или другая серия — «Знаменитые преступления»...

Так было в 1952 году, и так же обстоит дело в году 1955. Те же киноафиши: «Три убийства», «Я должен убить», «Призрак с улицы Морга», «Преступление было почти прекрасно», «Пулю в лоб инспектору». Те же плакаты фальшивомонетчика от политики Жан-Поля Давида, который под краденой вывеской «Мир и свобода» ведёт пропаганду войны. Те же пёстрые еженедельники — только числом болеее и тиражами гораздо мощнее, чем тридцать месяцев назад; их специальность — дурманить людям мозги и отвлекать их от острых проблем современности.

И ещё одна неизменная деталь: в бесприютном, голом, занесённом поздним мартовским снегом саду Трокадеро, за ржавой колючей проволокой — серые, с грязными потёками, уродливые временные пристройки к дворцу Шайо. Их соорудили семь лет

тому назад для сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где произносились речи о сокращении вооружений. Их захватил потом Совет организации Атлантического пакта да так и остался там. Именно здесь в декабре минувшего года было принято решение о развёртывании подготовки к атомной войне.

В прошлом году стало известно, что не в меру самоуверенные организаторы «европейской армии», не дожидаясь ратификации договора о «европейском оборонительном сообществе», уже приютили в этих бараках пару сотен западногерманских «военных экспертов», спешивших занять командные посты. Когда французский парламент похоронил «европейскую армию», этим «экспертам» пришлось со стыдом очистить помещение и убраться в Бонн. Вернулись ли они сейчас в Париж в чаянии ратификации парижских соглашений? Колочая проволока хранит свой секрет...

Я постарался возможно объективнее написать обо всём том, что осталось или кажется в Париже неизменным. Но было бы грехом против истины не сказать и о том, что изменилось.

Говорят, что пришедшее на днях к власти правительство радикала Эдгара Фора опирается на то же самое парламентское большинство, на какое опиралось позапрошрое правительство — правительство Ланьеля. Арифметически это, вероятно, правильно. Но с тех пор, как пал кабинет Ланьеля, много воды утекло под мостами Сены и много разыгралось политических сражений, в итоге которых руководители партий, образующих «классическое» большинство во французском парламенте, с тревогой обнаружили, что их парламентские фракции начинают трескаться и рассыпаться, как пересохший кусок глины.

Разгром проекта «европейской армии» осенью прошлого года не прошёл бесследно. Эта великая победа сторонников возрождения подлинно национальной внешней политики гальванизировала Францию. Буквально повсюду начали раздаваться голоса, требовавшие сделать далеко идущие логические выводы из ликвидации проекта «Европейского оборонительного сообщества». Идея обеспечения общеевропейской безопасности приобретала всё больше сторонников. Выдвинутый коммунистами лозунг национального фронта становился всё более популярным в народных низах. Это пугало некоторых ограниченных буржуазных политиков, рассуждающих так: «Лучше быть в подчинении у заокеанских банкиров и лучше пойти на воскрешение гитлеровского вермахта, нежели сидеть за одним столом с коммунистами».

Такова была подоплёка парижских соглашений, сфабрикованных с быстротой фокусника и брошенных в лицо парламенту Мендес-Франсом. Нет нужды напоминать о тех постыдных трюках, с помощью которых удалось протащить эти соглашения через Национальное собрание, — они у всех в памяти. Следует подчеркнуть лишь одну деталь: правительство Мендес-Франса надорвалось на этом деле и, втащив парижские соглашения на порог Совета Республики (второй палаты французского парламента), испустило дух.

Вот тут-то и оказалось, что в нынешних изменившихся условиях совсем не так просто перетасовать парламентскую колоду карт, как это делалось когда-то. Глубокие трещины пересекали парламентские фракции буржуазных партий во всех направлениях; в каждой из них были сторонники и противники «европейской армии», сторонники и противники новых, парижских соглашений, и хотя оба эти плана преследовали одну и ту же цель — восстановление вермахта, — эти трещины далеко не всегда совпадали.

Так получилось, что три кандидата на пост премьер-министра — «независимый» Пинэ, католик Пфлимлен и социалист Пино — один за другим провалились, и только Эдгару Фору, которого в беседе со мной один французский дипломат назвал «самым ловким акробатом», удалось буквально чудом сформировать новое — двадцатое по счёту за последние десять лет — правительство Франции. Фор собрал воедино сторонников и противников вооружения Западной Германии, «европеистов» и «националистов», голосовавших за «европейскую армию» и против неё, за парижские соглашения и против них.

Газета «Фран-тирер» вчера не без ехидства напомнила, что нынешний министр иностранных дел Пинэ в парламенте отказался голосовать за парижские соглашения.

Теперь же он убеждает членов Совета Республики ратифицировать эти соглашения. «Избранники второй палаты, — пишет «Фран-тирер», — с трудом принимают тот факт, что господин Пинэ, который не голосовал за парижские соглашения в Национальном собрании, явится уговаривать их голосовать за те же документы...»

В этой обстановке кое-кто в Париже стал поговаривать, будто правительство Эдгара Фора займёт пресловутую позицию «неподвижности», которую в своё время с таким успехом использовал его духовный учитель и наставник радикал Анри Кэй, поставивший до сих пор никем не побитый рекорд длительности пребывания у власти (заметим попутно, что сам Фор несколько лет тому назад поставил прямо противоположный рекорд, продержавшись у власти всего 47 дней). Заговорили о том, что Совет Республики может отложить дебаты до пасхальных каникул, а затем последуют кантональные выборы, за ними потянутся частичные перевыборы Совета Республики, там, глядишь, и осень подойдёт. В этом духе высказывались в частных беседах и некоторые видные лидеры буржуазных партий.

Не стоит судить, чем были продиктованы подобные прогнозы: желанием успокоить общественные круги, серьёзно встревоженные перспективой возможной ратификации парижских соглашений, либо недооценкой тех средств давления, которыми располагает американское посольство в Париже и которые оно неизменно пускает в ход всякий раз, когда ему необходимо обеспечить выполнение планов государственного департамента. Останемся на почве фактов. А факты таковы: первого марта к Эдгару Фору явились послы США и Англии. В ходе их бесед, как дипломатично выразилась газета «Монд», «Эдгар Фор смог (!) напомнить, что он в своей правительственной декларации выразил пожелание, чтобы дебаты относительно ратификации парижских соглашений состоялись как можно быстрее, то есть до пасхальных каникул». Немедленно вслед за сим было объявлено, что эти дебаты назначены на 22 марта...

Таким образом, в распоряжении французских политических деятелей остаётся всего две недели для того, чтобы обдумать свои позиции перед тем, как сделать решающий выбор. Каждый понимает, что предстоящее голосование в Совете Республики будет иметь далеко идущие последствия для Франции: если Совет Республики скажет парижским соглашениям «да», это будет означать, что на восточной границе Франции встанут закованные в броню корпуса нового вермахта, а франко-советский договор, призванный служить одной из основ безопасности в Европе, будет перечёркнут. И наоборот, если Совет Республики скажет «нет», это будет означать, что парижские соглашения вернутся на новое чтение в Национальное собрание, а получить там вновь большинство голосов в пользу восстановления вермахта и ликвидации франко-советского союза — дело совсем не такое простое и лёгкое. Кое-кто говорит даже, что это — дело невозможное.

В газете «Монд» появилась весьма характерная для тех раздумий, которыми охвачены в эти дни многие французы, статья профессора Анри Леви-Брюля под заголовком «Размышления рядового социалиста». Оправдывая своих коллег по партии, поддержавших в парламенте парижские соглашения, он утверждал, что в своё время социалистов привлекла «энергия и ловкость» Мендес-Франса, порождавшая у них надежду на то, что ему удастся и после ратификации предпринять «плодотворные переговоры с Советами», которые обеспечили бы безопасность Франции перед лицом вооружённой Западной Германии.

«Сегодня положение изменилось, — писал этот «рядовой социалист». — Международное соглашение (о вооружении Западной Германии. — Ю. Ж.) не может быть отделено от своего политического контекста. Уже при Мендес-Франсе это соглашение казалось нам опасным, и мы поддерживали его лишь с колебаниями и дрожью. В руках правого правительства оно может открыть наихудшие перспективы. Лучше пойти на риск быть непонятыми и даже изолированными на некоторое время, нежели помочь ремилитаризации (Западной Германии. — Ю. Ж.), полной опасностей».

И «рядовой социалист» заключал: «Мы остались бы верны себе и постоянным интересам Франции, если бы мы после отклонения проекта европейского оборонительного сообщества и после одобрения — против собственной воли — лондонских соглашений при Мендес-Франсе отклонили бы их при его преемнике».

Не будем входить в оценку неуклюжих мотивов, с помощью которых автор этой статьи пытается задним числом оправдать поведение депутатов-социалистов, голосовавших за лондонские и парижские соглашения в Национальном собрании. Зафиксируем конкретный факт: сейчас даже те, кто поддерживал их, требуют изменения позиции.

Мне вспоминается беседа в дни Женевского совещания с одним из ближайших советников Мендес-Франса. Приоткрывая завесу над планами своего патрона, решившего связать судьбу возглавляемого им правительства с ремилитаризацией Западной Германии, он силится оправдать их. «Поймите, — говорил он, — Франция расколота. Пуска эта проклятая проблема остаётся на повестке дня, ни одно правительство не в состоянии чувствовать себя уверенно. Надо разрубить этот гордиев узел, надо решать...» Да, надо решать. Но... в какую сторону? Мендес-Франсу нельзя отказать ни в ловкости, ни в настойчивости. Однако и он был сброшен с министерского кресла, когда попытался навязать Франции соглашение о вооружении её вчерашних палачей.

Франция остаётся расколотой. Её буржуазные партии всё больше трескаются и рассыпаются на враждующие между собой группы и кланы.

Формально всё ещё существует партия радикалов. Но что, говоря по совести, общего между Эррио и Даладье, выступающими против вооружения Западной Германии и за национальную внешнюю политику Франции, Жан-Полем Давидом и Марино-Депла, отдавшими свою совесть под залог американским ростовщикам, и Мендес-Франсом, связавшим свою политическую карьеру с интересами Англии, а затем и США?

Существует то, что до сих пор по старой памяти именуется «деголлевским движением». Но как можно игнорировать тот факт, что и сторонники де Голля разбились сегодня на несколько групп, идущих разными путями: одни выступают за восстановление вермахта, другие — против, третьи отмалчиваются; одни продолжают требовать подавления коммунистической партии, другие честно признают, что только в союзе с коммунистами можно отстоять национальные интересы Франции.

Всё ещё существует партия социалистов, и Ги Молле попрежнему удаётся диктовать ей проамериканский и антифранцузский политический курс. Но значительная группа депутатов-социалистов бунтует и голосует против возрождения вермахта, а приведённое выше письмо «рядового социалиста», опубликованное в газете «Монд», свидетельствует о том, что в низах партии этот раскол чувствуется ещё сильнее...

А впереди — выборы; и многим политическим деятелям становится не по себе при мысли, что им скоро придётся встретиться с избирателями, которые всё громче протестуют против проводимой ныне правящими кругами антинациональной политики. И вот за кулисами всё лихорадочнее становится возня тех, кто хотел бы накануне выборов сколотить какие-то новые политические формирования, которые пришли бы на смену дискредитировавшим себя буржуазным партиям. Но это особая и очень важная тема...

Хмурое, тяжёлое и низкое серое небо висит сегодня над Парижем. Запоздалый мокрый снег падает на влажный купол Люксембургского дворца, где заседает Совет Республики, и поникший трёхцветный флаг свисает с флагштока. Вспоминается, как восемь с половиной лет тому назад в этом самом здании работала мирная конференция, в задачу которой входило выработать и подписать мирные договоры с государствами, участвовавшими во второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Кто мог думать тогда, что с самой Германией мирный договор не будет подписан вплоть до 1955 года и что, больше того, придёт день, когда в этом самом здании будет решаться вопрос о восстановлении гитлеровского вермахта?

До решающих заседаний Совета Республики остаётся немного дней, и парламентариям Французской республики есть о чём подумать в эти дни.

### ***В гостях у людей, власть и мушкетёры.***

8 марта. В последние дни мне довелось встречаться и беседовать со многими из тех, кто имеет самое прямое отношение к руководству государственными делами Франции: с депутатами Национального собрания и с членами Совета Республики, с дипломатами и министрами, с банкирами и промышленниками. И всякий раз в центре

разговора оказывался всё тот же «проклятый вопрос», висящий сейчас над Францией: вопрос о вооружении Западной Германии и включении её в Атлантический блок.

Некоторые из моих собеседников возмущались, самым резким образом осуждали это решение — это были, конечно, люди, не занимающие официальных постов в правительстве и не разделяющие его политической линии. Другие разводили руками: «Да, вооружение Германии опасно... Но... что поделаешь?.. Мы не можем противиться воле наших союзников...» Третьи — этих, надо сказать, было ничтожное меньшинство — очертя голову бросались в атаку: «Да, мы должны ратифицировать парижские соглашения. Нас вынуждает к этому коммунистическая угроза». Но даже они не говорили: «Союз с Западной Германией необходим. Он отвечает интересам Франции». Они и не могли бы этого сказать: уж слишком очевидной была бы такая ложь.

Мои беседы носили частный характер: деятели, с которыми довелось встретиться в эти дни, охотно изъявляли готовность встретиться с советским журналистом, изложить свои взгляды, объяснить, почему они занимают такую позицию в вопросе о парижских соглашениях, а не какую-либо иную. Но никто из них не желал, чтобы наши разговоры были преданы гласности. И эта небольшая деталь, возможно, представляет наибольший интерес, ибо она свидетельствует о многом. Во-первых, она показывает, что в глубине души сторонники вооружения Западной Германии сами не считают свою аргументацию убедительной и потому отнюдь не горят желанием, чтобы она была воспроизведена на страницах советской печати. Во-вторых, кое-кто из этих деятелей опасается того, что будет предан гласности самый факт встречи с советским человеком, что может показаться предосудительным кое-кому в Вашингтоне.

Я не буду поэтому называть здесь моих собеседников и воздержусь от упоминания каких-либо «особых примет». Ограничусь лишь общим воспроизведением их аргументации, ибо без этого было бы трудно понять некоторые обстоятельства современной политической жизни Франции, характерной чертой которой является отречение её правящих кругов от жизненных национальных интересов.

Запомнилась мне встреча с одним видным дипломатом, играющим далеко не последнюю роль в выработке основных линий французской внешней политики и известным своим стопроцентным равенством на дипломатию Вашингтона. Мы встречались и раньше, и мой собеседник всячески изображал радушие. Он даже счёл возможным обратиться ко мне со словами «шер ами» (милый друг), но, заметив, что я улыбнулся, тут же пошутил: «Вы не подумайте только, что я шерамыжник, — кажется, так говорят у вас по-русски?»

О чём же говорил этот «милый друг»?

Самое любопытное — это то, что и он не попытался доказывать, что парижские соглашения отвечают интересам Франции. Нет, весь пыл своего красноречия он отдал попыткам доказать, что французское правительство не может рисковать отказом от этих соглашений потому, что в этом случае у правительства Соединённых Штатов возникли бы сомнения в верности Франции Атлантическому союзу.

— Ну и что же? — простодушно спросил я.

— Как «ну и что же»? — с некоторым замешательством переспросил мой собеседник. — Ведь это означало бы катастрофу! Мы не можем рисковать такими вещами. Франция была бы изолирована, Атлантический союз рухнул бы, а США и Англия всё равно вооружили бы Западную Германию!

— Позвольте мне в таком случае вступить за Францию, — возразил я. — По-моему, вы явно обижаете свою страну и недооцениваете её силы. Во-первых, Франция, если я не ошибаюсь, считается великой державой... — мой собеседник утвердительно кивнул головой, — и за ней полностью сохраняются её прерогативы и права... — мой собеседник безнадежно махнул рукой, — и, во всяком случае, её достоинство... — мой собеседник пожал плечами. — Во-вторых, помимо всего прочего, существуют технические факторы, которых не могут не учитывать ваши беспокойные заокеанские союзники. Они не могут не отдавать себе отчёт в том, что вооружать Западную Германию без согласия Франции и вопреки её воле значило бы пойти на безнадежную авантюру: от Эльбы до Рейна всего лишь триста километров, и любой офицер вам скажет, что с такой ничтожной оперативной глубиной фронт в наше время не развернёшь. Для этого необходимы глу-

бокые тылы, выходящие на левый берег Рейна, то есть во Францию,— я имею в виду, конечно, гипотезу, что предполагается повернуть вермахт против нас, то есть против СССР, хотя, понятно, не исключена возможность, что в один прекрасный день он пожелает, как и в прошлый раз, для начала наведаться в Париж...— Мой собеседник сидел с каменным лицом, словно он меня не слышал.— Больше того, если учесть, что американский генеральный штаб имеет в виду взять вермахт на своё снабжение, то ему не обойтись без ваших портов и баз на Атлантическом побережье — все коммуникации Западной Германии идут через французскую территорию... Нет, без вашего согласия и без вашего соучастия восстановить вермахт невозможно!

— Всё это только теория,— не совсем уверенно сказал мой собеседник.— А главное, что нас заботит,— это перспектива остаться в изоляции. Мы не можем рисковать, мы не можем пойти на то, чтобы остаться в Европе один на один с мощным Советским Союзом, который был бы отделён от нас лишь немецкой «ничьей землёй», и без ободряющей военной поддержки США...

— Вы опасаетесь, иными словами, что СССР может напасть на вас?

— Нет, что вы! Эта легенда давно рассеяна. Ни один француз не верит, что Советская Армия может двинуть свои дивизии на Париж...

— Так в чём же дело?

— Дело в том, что мы не можем рисковать узами Атлантического союза, который представляет собой живой символ общности западной культуры, западного образа жизни, западной цивилизации...

И мой собеседник пустился в долгие рассуждения на тему о том, что Атлантический союз, по его мнению, имеет не столько военное, сколько политическое, экономическое и культурное значение. Можно было подумать, что и вермахт имеется в виду восстановить лишь для того, чтобы было сподручнее приобщить молодых немцев Западной Германии к питью кока-кола, жеванию резинки и освоению прочих атрибутов «западной цивилизации».

О подлинном существе дела мой собеседник, конечно, умалчивал, но о нём было нетрудно догадаться: людей, которых он представляет, обуревают забота вовсе не о сохранении общности культуры и общности цивилизации Франции и США. Их страшит всякий намёк на возможность остаться наедине с демократическими силами собственной страны. Пока американские дивизии остаются на континенте Европы, французские капиталисты и владельцы земельных латифундий чувствуют себя спокойно: американский жандарм стоит на страже старого социального строя. Но что было бы, если бы этот жандарм вдруг облюбывал другое поле действия и ушёл из Европы? Самая мысль об этом бросает в дрожь людей вроде моего собеседника. И хотя в глубине души они знают, что такое предположение абсурдно, что правящие круги США кровно заинтересованы в сохранении своих экономических и политических позиций в Западной Европе и вовсе не собираются уходить отсюда, американский шантаж их пугает. Стоит какому-нибудь генералу из Пентагона заговорить, к примеру, о «периферической обороне» (то есть о военно-стратегической системе, которая базировалась бы на Британские острова, Испанию и Северную Африку, с тем чтобы Франция была превращена в так называемую «атомную подушку»), как эти люди немедленно отказываются от всяких попыток отстаивать национальные интересы своей страны.

К этому надо добавить, что многие французские тресты и банки настолько тесно связались с американскими монополиями, что полностью утратили свой национальный характер и теперь интересы банков Уолл-стрита, куда вложены их капиталы, им гораздо дороже, нежели интересы самой Франции.

И хотя обо всём этом, конечно, мы не говорили, но нам обоим было совершенно ясно, о какой «общности западного образа жизни» идёт речь и что за этим понятием скрывается.

Мы спорили добрых полтора часа и, конечно, ни в чём не убедили друг друга. Мой собеседник с неизменной любезностью проводил меня до выхода из дому и на прощание ещё раз сказал:

— Поймите, Франция пятидесятих годов — это не Франция двадцатых годов. Времена меняются. Теперь мы представляем собой лишь часть известного вам сообщества,

и нам необходимо считаться не только с собственными чувствами и умонастроениями, но и с тем, что думают и делают остальные члены этого сообщества...

Вскоре меня принял один из видных государственных деятелей Франции. И на этот раз главной темой разговора были парижские соглашения. И на этот раз я слышал всё те же доводы: Франция не может не согласиться на вооружение Западной Германии, ибо нельзя нарушить «атлантическую солидарность». Но мой новый собеседник был гораздо гибче, нежели дипломат, с которым я беседовал раньше. Он не хотел, чтобы у меня составилось представление, что я беседую с проамериканским деятелем. Нет, он всячески стремился подчеркнуть, что интересы Франции для него превыше всего, что он глубоко взволнован драматичностью переживаемого момента. Но... Но... что делаешь?

← Трагедия заключается в том,—приподнято говорил этот деятель,—что до сих пор столь часто сменявшиеся правительства не имели мужества взглянуть правде в глаза и принять должные решения. Всё, на что они были способны, это отсрочка, отсрочка и отсрочка. Бесконечные отсрочки, под любыми предлогами! Вначале эти отсрочки можно было понять, потом их можно было извинить, но наконец они стали просто нетерпимыми, ибо делали из моей страны посмешище. Вспомните, как это было,—и мой собеседник начал отсчитывать, загибая пальцы на руке.—Осенью 1950 года — переговоры в Вашингтоне, американцы требуют возродить Западную Германию, англичане и мы в принципе соглашаемся,— раз! Потом бесконечная серия встреч и совещаний, в результате которых вырабатывается и подписывается договор о создании «европейской армии», предложенный, кстати сказать, самим французским правительством,— два! Потом новая серия встреч и совещаний — вырабатываются дополнительные протоколы, которых требует Франция ради своей безопасности,— три! Потом Франция же опрокидывает ко всем чертям всё это сооружение, отказываясь ратифицировать договор о создании «европейской армии» со всеми дополнительными протоколами,— четыре! Потом всё начинается сначала, и с превеликим трудом возводится новое сооружение — парижские соглашения,— пять! Потом опять-таки Франция начинает заявлять, что, пожалуй, и эти соглашения не лучше договора о «европейской армии», и парламент, проваливая статью первую, предусматривающую вооружение Западной Германии, снова всё ставит под вопрос,— шесть! Потом Мендес-Франсу удаётся каким-то чудом спасти положение и добиться от парламента одобрения парижских соглашений, хотя и фактическим меньшинством голосов,— семь! Потом парламент сбрасывает Мендес-Франса, и начинается затяжной, тяжёлый правительственный кризис, ставящий — если не прямо, то косвенно — под удар эти злосчастные соглашения,— восемь! Потом правительство наконец удаётся сформировать, и оно вносит парижские соглашения в Совет Республики,— девять! И вот опять возникают споры и разговоры: не следует ли вернуть эти соглашения из Совета Республики в Национальное собрание, где их во втором чтении наверняка провалят,— десять!..

Мне остаётся выразить моему собеседнику соболезнование по поводу отсутствия стабильности в правящей верхушке Франции, но, спрашиваю я, можно ли этим оправдать отречение от коренных национальных интересов Франции, каким явилось бы принятие решения о вооружении Западной Германии? Он только разводит руками.

— Но поймите, мы колебались и увёртывались от принятия решений целых пять лет! Теперь мы подошли к такому рубежу, когда нельзя больше тянуть ни одного дня. Наши союзники не потерпят этого. Надо выбирать: либо ратификация парижских соглашений и укрепление нашего союза с Англией и США, либо отказ от ратификации и разрыв этого союза. Достаточно так поставить вопрос, чтобы получить ответ: нужна ратификация. Мы не можем пойти на риск изоляции...

Круг замыкается: я слышу те же доводы, какие выдвигал передо мной немного ранее дипломат, не считавший нужным скрывать свою проамериканскую ориентацию и не утруждавший себя поисками смягчающих обстоятельств. Мой нынешний собеседник, видимо, отдаёт себе отчёт в том, что сделанный им вывод чересчур прямолинеен, и вновь начинает поиски более округлённых аргументов.

— Поймите,— мягким голосом повторяет он.— Если бы предшествовавшие нынешнему кабинету правительства не искали отсрочек, если бы они нашли в себе достаточно мужества, чтобы поглядеть правде в глаза и принять достойное Франции решение, мы не находились бы в том отчаянном положении, в каком мы оказались сегодня.. Перед нами теперь только одна дверь. На ней написано: «Ратификация». Мы должны пройти через эту дверь, и потом...

— И потом? — переспрашиваю я.

— ...И потом перед нами будут открыты все пути,— горячо говорит мой собеседник, как бы пытаясь ободрить самого себя жаркими модуляциями хорошо поставленного голоса опытного оратора.— Западный мир вновь обретёт доверие к Франции, она восстановит свой авторитет на международной арене и сможет выступить в традиционной роли посредника между Западом и Востоком. Её силы и авторитет возрастут тем более, что она будет опираться на две гармонические и симметричные опоры: на Западе — оборонительный Атлантический союз, на Востоке — наш договор о союзе и дружбе с Советским Союзом...

Я внимательно поглядел на своего собеседника: не шутит ли он? Нет, его лицо было совершенно серьёзно, и он продолжал говорить с тем же пафосом прирождённого оратора. Вежливо извинившись, я прервал его, чтобы поставить вещи на свои места: неужели моему собеседнику неизвестно, что франко-советский договор в случае ратификации будет аннулирован, как утративший свою силу? На лице моего собеседника вдруг возникло траурное выражение невыразимой скорби и печали. С мрачной торжественностью он сказал:

— Я не хочу думать, что это могло бы произойти... Я глубоко верю, что парижские соглашения не противоречат франко-советскому договору,— обе эти системы носят чисто оборонительный характер. Больше того, они взаимно дополняют друг друга, обеспечивая общую безопасность...

Этот поток округлённых адвокатских деклараций, грубо противоречащих элементарным фактам, начинал становиться утомительным. Я снова прервал моего увлечёвшегося собеседника:

— Вы говорите об оборонительном характере договоров. Но понятие обороны сугубо конкретно. Нельзя обороняться от абстрактного противника, не правда ли?

— Конечно...

— Во франко-советском договоре, по-моему, совершенно ясно записано, что он имеет целью предотвратить возобновление германской угрозы, не так ли?

— Конечно...

— Это значит, что если со стороны Германии возникнет новая угроза Франции, то СССР придёт ей на помощь, а если германская угроза будет направлена против СССР, то Франция в свою очередь выступит против этой угрозы.

— Конечно...

— Но парижские соглашения предусматривают восстановление вермахта, причём вооружённые силы Франции объединяются с ним под общим командованием, в состав которого, как теперь доподлинно известно, войдут гитлеровские генералы. Не так ли?.. Но в таком случае, как же можно говорить о совместных действиях Франции и СССР против вермахта в случае новой войны? Одно из двух: либо вы сохраняете союз с СССР, и тогда исключается участие Франции в восстановлении вермахта и её военный союз с Западной Германией, либо вы ратифицируете и вводите в действие парижские соглашения, и тогда исключается ваш союз с СССР...

— Да, но...

Моему собеседнику этот разговор явно не по душе, и он спешит уйти от него, распространяясь на тему о том, что каждому французу дорога традиционная дружба с Россией, что франко-советский союз является опорой безопасности в Европе, что было бы «трагической ошибкой» разрушить эту опору. Но всё это говорится вновь и вновь лишь для того, чтобы потом вернуться к той же, ставшей классической, формуле многих французских политических деятелей: «Да, но...» Да, вооружение Западной Германии представляет серьёзную угрозу национальным интересам Франции, но этого требуют западные союзники, и возражать им французское правительство не в состоянии.

Да, сохранение франко-советского договора жизненно необходимо для Франции, тем более в период, когда восстанавливается вермахт, но французскому правительству в интересах сохранения «атлантической солидарности», видимо, придётся предпочесть этому договору парижские соглашения...

Можно было бы очень долго рассказывать о подобных беседах с людьми, власть имущими во Франции. Но все они в конечном счёте выглядят однотипно, и разницы, в сущности говоря, кроется лишь в том, что одни буржуазные деятели считают возможным открыто говорить о том, что они избрали США в качестве маяка своей политической карьеры, а другие расходуют долгие часы на лихорадочные поиски какой-то видимости оправдания проводимой ими антинациональной политики.

Но есть среди этих деятелей и другие люди, проявляющие в час решающего выбора глубокую и искреннюю тревогу, которую нетрудно понять. Эти люди не забыли уроков 1938 года, когда классовая ненависть к новому, социалистическому миру и страх перед ростом и укреплением демократических сил в собственной стране ослепили французскую и английскую буржуазию, заставили её очертя голову заключить сделку с Гитлером в надежде, что он ринется на Восток. Результат известен: не прошло и года, как началась вторая мировая война, а ещё год спустя германские дивизии ворвались в Париж, и Гитлер с довольной улыбкой фотографировался на фоне Эйфелевой башни.

Повторить теперь всё сначала?.. Нет, как ни озабочены эти французские деятели перспективой возможной размолвки с США, им трудно принять безропотно диктуемый из Вашингтона курс в германском вопросе.

Официальная пропаганда высмеивает таких деятелей, как «отсталых» людей, ослеплённых шовинизмом. Она твердит, что у них нет будущего, ибо будущее принадлежит не националистам, а космополитам — слово «космополитизм» в устах проамериканских газетчиков звучит как высшая похвала. Официальная пропаганда утверждает, что век независимых государств, разделённых границами, отжил, что существует в мире только одна граница — рубеж между «западным» и «коммунистическим» миром, а посему пора отказаться от претензий на независимую роль Франции, оставить подозрения в отношении Западной Германии и растворить обе страны в едином «сообществе».

Слушая эти речи, деятели, не желающие забывать об уроках 1938 года, лишь пожимают плечами. Была бы возможность, они охотно зачеркнули бы нынешние границы Франции и распространили бы свой контроль повсюду, в том числе — и в первую очередь, конечно, — в Руре. Но в том-то и беда французских монополий, что они стали много слабее в последние двадцать—тридцать лет. Под ногами у них шатается и трещит их основная база — колониальная империя Франции, стыдливо именуемая ныне «заморскими территориями». Народы «заморских территорий» всё энергичнее борются за свою независимость. С другой стороны, американские, английские — а в последнее время и западногерманские — «друзья» французских монополий влезают в эти владения Франции, строят там свои предприятия, закупают земли, создают свои базы. Золотой ручеёк, текущий сттуда в сейфы парижских банков, всё мелеет и мелеет.

И в этих условиях соглашаться на растворение Франции в каком-то западно-европейском «сообществе»? Соглашаться на экономическое и военное воссоединение с Западной Германией? Дать ей право создать свои собственные вооружённые силы? Не благоразумнее ли было бы в этих условиях отгородить стальным барьером то, что осталось у Франции, и предотвратить окончательное разграбление этих остатков?..

Мне довелось услышать все эти доводы от одного деятеля, принадлежащего к знатной аристократической фамилии, но отнюдь не чуждого и тому, что в Европе деликатно именуется «деловыми кругами». Я был приглашён к нему на ужин. За массивной дверью старинного особняка мне открылся мир восемнадцатого века: древние гравюры на стенах, портреты предков хозяина дома в париках с буклями и в парадных мундирах, пузатенькие комоды в стиле рококо, замысловатые этажерки и стеклянные горки, набитые фарфоровыми маркизами и пажам, древние клавикорды в углу гостиной, поблёкшие, но всё ещё прекрасные гобелены, изображающие сцены из придворной жизни короля-Солнца. Но в кабинете у хозяина дома я увидел и более современные

предметы: модель домны, груды технических справочников, свежие номера газет с последними котировками биржи.

Как везде и всюду, речь шла и в этом доме о парижских соглашениях, о вооружении Германии, о том, что всё это сулит Франции. Но, в отличие от многих других моих собеседников, хозяин дома отнюдь не пытался извинить или оправдать решение о восстановлении вермахта. Он достал из сверкающего стеклом и лаком солидного книжного шкафа объёмистый кожаный альбом и раскрыл его передо мной.

— Вот, смотрите. Судите сами, могу ли я согласиться на то, чтобы их снова вооружили?

Передо мной были отлично исполненные с технической точки зрения фотографии руин какого-то старинного замка. Их было превеликое множество. Чувствовалось, что тот, кто приказал запечатлеть гибель этого замка, был горячо привязан к нему: на фотографиях были воспроизведены отдельные уголки полуразрушенного здания, обломки колонн, обрывки шёлковых обоев на закопчённых стенах, еле приметные следы вырубленных и уже заросших буйной травой аллея бывшего парка. Мне эти снимки мало что говорили, но тот, кому принадлежал альбом, вероятно, видел очень многое, разглядывая их.

— В этом замке жили мои деды и прадеды,— сказал хозяин дома.— В его стенах родилась слава нашего рода. Здесь прошло моё детство. И вот что они с ним сделали...

Я догадывался: «они» это гитлеровцы или же «боши», как их наверняка называют в этом доме. Так и есть — мой собеседник продолжал:

— Боши сделали это в первые же месяцы войны. Теперь ничего уже не поделаешь. Разрушения столь велики, что попытаться восстановить всё это — бессмысленно. Я предпочёл построить новую виллу. Но того, что они сделали, я забыть не могу...

Признаться, меня не очень волновали сентиментальные переживания этого человека, жизненный уровень которого вполне позволял ему построить вместо разрушенного старого замка не одну, а добрый десяток современных, комфортабельных вилл. Я понимал, что дело здесь не только в сентиментальных чувствах, и хозяин дома, словно догадываясь об этом, перевёл разговор на темы, более близкие к реальной жизни. Он заговорил о плане Шумана, о том, как осуществление этого плана помогает западногерманским монополиям завоевать европейский рынок, о бедах и трудностях французских промышленников, которые в результате применения плана Шумана лишились защитных таможенных тарифов и теперь изнемогают в конкурентной борьбе со своими западногерманскими коллегами, располагающими более современной техникой и более дешёвой рабочей силой.

— Некоторые из нас,— сказал он,— пошли на прямое слияние с западногерманскими фирмами. Считают, что это более выгодно и бесхлопотно. Но я вижу в этом большой риск. Мой дед учил меня: если ты берёшь компаньона, позаботься о том, чтобы он был беднее тебя,— тогда тебе не придётся его остерегаться. Я не хочу сказать, что мы уже сейчас беднее, скажем, герра Круппа. Но мы, бесспорно, слабее, чем он, в техническом отношении. И потом не следует забывать, что Крупп и его коллеги пока что могут пригоршнями грести американские доллары, а нам их перепадает всё меньше. Как же в этих условиях рисковать таким далеко идущим сотрудничеством? Ведь они нас съедят!..

Хозяин дома поднёс свои тонкие, холеные руки к вискам, как если бы у него вдруг разыгралась мигрень.

— В сущности говоря, это чудовищно: всего десять лет спустя после разгрома этих проклятых бошей, когда казалось, что им не встать и через полвека, мы снова должны дрожать при мысли о том, что будет завтра, когда герр Крупп опять вооружит вермахт!

И он, поднявшись с кресла, торжественным, немного театральным голосом сказал:

— Нет, что бы там ни было, а я скажу: безумие — голосовать за парижские соглашения, безумие — идти на риск восстановления сильной Германии, безумие — рвать наш союз с СССР...

Я спросил его, имеет ли он в виду выступить с таким заявлением публично. Он с некоторым изумлением поглядел на меня.

— Конечно, при каждой встрече с нашими политическими деятелями я твержу им об этом. Я уверен, что моё слово для них кое-что значит. Но выступать публично? Заниматься агитацией на площадях? Нет, я человек дела, и я не могу позволить себе, чтобы завтра мои коллеги по Административному совету подшучивали надо мной, как над несерьёзным человеком...

Мы ужинали при свечах — это считается во Франции аристократичным. Хорошо вышколенные лакеи бесшумно меняли серебряную посуду, и в бокалах искрилось выдержанное вино из фамильных подвалов. Разговор шёл о старом добром времени, когда людям этого круга не приходилось погружаться в низменную прозу жизни и вникать в дела анонимных обществ, заниматься биржевыми комбинациями, вести расчёты расходов и прибылей.

Престарелый отец хозяина дома, молча сидевший напротив, глядел на меня с ужасом — он наверняка впервые видел живого советского человека. У него, видимо, вертелся на языке какой-то навязчивый вопрос, но он долго не решался заговорить со мной. Наконец он обратился ко мне, выговаривая слова надтреснутым, сипловатым голосом:

— А это правда, что некоторые графы выжили в Советском Союзе и даже заняли известное положение в обществе?

— Правда, — ответил я. — Граф Игнатъев был генералом, а книги графа Алексея Толстого пользовались и пользуются огромным успехом.

— Но таких было немного? — прошелестел старик.

— Немного, — охотно согласился я.

Старый аристократ вздохнул, погрузил свой взор в тарелку и уже до самого конца ужина больше ни о чём не спрашивал...

Итак, какие же впечатления оставляют встречи с людьми того круга, который принадлежит, как говорилось в старину, к «людям, власть имущим»?

Когда перебираешь их в памяти, хочется сказать вот что. Беседы эти разнообразны и изобилуют многими оттенками: одни из этих людей выступают за вооружение Западной Германии убеждённо, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, — это люди американской ориентации, напрочно связавшие свои судьбы с Вашингтоном; другие — поддерживают тот же курс, но с оговорками и оговорочками, заботясь о том, как бы, проводя антисоветскую линию, сохранить на всякий случай видимость добрых отношений с советскими людьми; третьи — энергично и, вероятно, искренне выступают в частных беседах против вооружения Западной Германии, но публично сказать об этом побаиваются.

И только очень немногие люди, принадлежащие к этому кругу, вроде банкира Лебона, с которым я познакомился в феврале на Варшавской встрече общественных и политических деятелей европейских стран, посвящённой германской проблеме, рискуют открыто выступить против пагубного для Франции внешнеполитического курса. Эти люди, более дальновидные, чем их коллеги, в полной мере отдают себе отчёт в том, какую смертельную опасность для их страны представляет быстрое возвышение Западной Германии, которая уже сейчас стала сильнее Франции в экономическом отношении. А что будет, когда гитлеровцев вооружат?..

— Говорят, что воскрешённый вермахт будет стражем наших интересов перед вами, коммунистами, и гарантирует нас против опасности революции, — говорил мне один из этих людей. — Может быть, может быть... Но я знаю, что уж во всяком случае немецкий Рейнке-лис начнёт с того, что сам ошиплет галльского петуха и спровадит его в свой солдатский котелок. И тогда этому петуху будет уже совершенно безразлично, грозит ли чья-либо подрывная деятельность захваченному лисом птичнику или нет. Нет уж, увольте нас от таких стражей! Мы должны сами быть хозяевами в своём доме...

И потом, помедлив, мой собеседник сказал со вздохом:

— Нет, измельчали наши государственные деятели! Как не хватает нам сейчас нашего «тигра» — Клемансо...

Эта тоска по «тигру» — не новое явление во Франции: я много раз слышал от французских крупных буржуа подобные заявления. Года четыре тому назад мне дове-

лось побывать в далёкой от Парижа Вандее — на родине Клемансо. По узкой, усыпанной гравием дороге мы проехали вглубь небольшой рощицы, туда, где на краю неглубокого оврага стоят две скромные железные ограды. Это могилы Клемансо и его отца. Ни памятников, ни могильных холмов, ни надписей — одни решётки: такова была воля самого «тигра».

На тесной площадке у могил стояло несколько автомобилей. Их собственники приехали сюда почтить память крупнейшего деятеля Третьей республики, которому французская буржуазия во многом обязана победой в первой мировой войне. Солидные господа в безукоризненно скроенных дорожных костюмах долго молча стояли перед его могилой. Потом один из них, вздохнув, обратился к своему соседу:

— Мне рассказывали, что он приказал в завещании зарыть свой гроб стоямя — не хотел лежать даже после смерти...— и, помедлив, зло добавил: — А некоторые распыляются на земле даже при жизни!

Его собеседник промолчал. От соседней фермы спешила какая-то старуха, размахивая корзинкой с сувенирами: не желают ли господа приобрести на память фотографию могилы или пепельницу с портретом Клемансо? Но господа досадливо отмахнулись и поспешили к машинам.

Глядя им вслед, я долго думал тогда о том, насколько в действительности оскудела французская буржуазия в духовном и моральном отношении, как измельчали её власть имущие люди, оглядывающиеся на Вашингтон чаще, чем на Францию.

И вот теперь, в критический для Франции час, её правящий класс оказывается не в состоянии встать на защиту национальных интересов...

### *Фальшивая монета.*

10 марта. Многие члены Совета Республики — второй палаты французского парламента — лишились сна. Они считают дни и часы, отделяющие их от роковой даты — 22 марта, когда им придётся сказать вслух: за или против восстановления вермахта выступает каждый из них.

— Вы представляете себе, — сказал мне вчера один видный французский экономист, тесно связанный с промышленными кругами, — на завтра после дебатов повсюду запостреют, к примеру, такие плакаты: «Господин Дюпон голосовал в Совете Республики за возрождение гитлеровской армии. Учтите это, граждане избиратели!» А господину Дюпону вскоре предстоит отстаивать свою кандидатуру на кантональных выборах — они состоятся 17 апреля. Тут есть о чём подумать..

Газеты подсчитали, что на кантональных выборах (речь идёт о выборах в генеральные советы департаментов, приблизительно равнозначных нашим областям) выставляют свои кандидатуры 139 парламентариев и шесть министров, в том числе и сам премьер-министр Фор. По существующей традиции во Франции видному парламентскому деятелю очень важно сохранять за собой и представительство в местных органах власти. Это даёт ему, между прочим, возможность обеспечить позиции для последующих парламентских выборов.

Понятно поэтому, что члены Совета Республики предпочли бы отложить обсуждение вопроса о ратификации парижских соглашений. Но в американском посольстве, всё ещё делающем политическую погоду в Париже, не хотят об этом и слышать. «Хватит с нас истории с «европейской армией», — говорят не слишком любезные американские дипломаты. — Тогда вы тянули два года и в конце концов подвели нас. Будьте добры голосовать немедленно!» Тут действительно есть от чего лишиться сна...

Хлопочущая за ратификацию парижских соглашений газета «Фигаро» жалуется сегодня, что избиратели, как она выражается, «оказывают давление» на парламентариев (давление со стороны американского посольства её не беспокоит — она считает его, повидимому, в порядке вещей!). «Фигаро» публикует беседы с членами Совета Республики, из которых явствует, что они буквально засыпаны письмами избирателей и осаждены делегациями, требующими голосовать против парижских соглашений. Представитель группы независимых республиканцев Ляшеввр, например, сказал, что он получает, в среднем, сорок пять писем в день, причём в последнее время поступает

немало писем даже из Германии: немцы настаивают на том, чтобы Совет Республики не следовал примеру бундестага и проголосовал против парижских соглашений.

Те члены Совета Республики, которые стоят на патриотических позициях, окрылены поддержкой общественного мнения. Дебю-Бридель, сторонник де Голля, представляющий в Совете Республики столичный департамент, заявил, что он получил две тысячи писем, одобряющих его решение голосовать против парижских соглашений. Делегации, посещающие Дебю-Бриделя на дому, благодарят его за это решение и выражают свою солидарность с ним.

В более затруднительном положении находятся те члены Совета Республики, которые до сих пор не решились выступить против парижских соглашений. Радикал Лафарг, также представляющий столичный департамент, откровенно признался, что он в эти дни «очень поздно возвращается домой», чтобы избежать встреч с поджидающими его делегациями; но тем не менее избиратели ухитряются дозвониться к нему по телефону, чтобы потребовать исполнения своей воли.

Что может дать парламентариям такая игра в прятки с избирателями? В конце концов встреча с ними произойдёт — хотя бы и заочно — у избирательных урн. А ведь никто в Париже не осмеливается опровергнуть тот бесспорный факт, что большинство французов настроено против вооружения Германии в какой бы то ни было форме.

Вот почему в эти дни в политических штабах буржуазных партий думают не только о предстоящих дебатах в Совете Республики, но и о том, что произойдёт впоследствии. И вот почему здесь всё чаще и всё громче начинают говорить о планах широкой политической перегруппировки, которая становится жизненно необходимой в результате того, что партии, на протяжении четырёх лет выступавшие за вооружение Западной Германии в той или иной форме, безнадежно дискредитировали себя в глазах рядового француза.

Одни буржуазные партии выступали за так называемый «европейский вариант» вооружения Боннской республики: у всех в памяти декларация социалиста Жюля Мока, который осенью 1950 года рекомендовал включить западногерманские «батальоны» в «европейскую армию». Потом «батальоны» Мока превратились в «боевые группы», создание которых проповедовал год спустя лидер ЮДСР («Демократический и социальный союз сопротивления») Плевен, а «боевые группы» вскоре разрослись в «дивизии» католика Робера Шумана. Когда же план «европейской армии» был отвергнут, на смену «дивизиям» Шумана пришли «национальные вооружённые силы» Западной Германии, создание которых было предложено радикалом Мендес-Франсом.

Только коммунисты и их союзники с начала и до конца последовательно выступали и выступают против всякого восстановления вермахта. Естественно поэтому, что коммунистическая партия всё в большей мере приобретает уважение даже у многих из тех французов, которые не разделяют её политической и социальной программы. Естественно и то, что противники вооружения Западной Германии, принадлежащие к буржуазным партиям, всё чаще заявляют о необходимости установить единый фронт с коммунистами в этом конкретном вопросе и поступают соответственно. Можно было бы занять десятки страниц простым перечислением фактов, когда коммунисты, социалисты, сторонники де Голля, независимые, радикалы в самых различных городах и селениях совместно выступают с требованием отвергнуть гибельные для Франции парижские соглашения. Достаточно сказать, что более трёх тысяч мэров городов и коммун обратилось к Совету Республики с этим требованием.

Уже голосование в Национальном собрании — первой палате французского парламента — показало, что парижские соглашения начисто раскололи буржуазные партии. Ни одна из них не поддержала эти соглашения полным своим составом. Складывается тревожная для лидеров этих партий картина: ни исключение из партии «бунтовщиков», отказывающихся поддерживать вооружение Западной Германии, ни попытки уговорить их не дают результата. Откальвающиеся группировки создают всё новые и новые — пусть пока ещё мелкие — формирования.

И вот что характерно: все эти формирования считают необходимым поднять знамя создания «новой левой» группировки. Это обстоятельство отнюдь не случайно: лишь коммунисты, стоящие на левом фланге французского общественного мнения, не

только не подмочили своего авторитета в «смутное время» возни вокруг проектов вооружения Западной Германии, но, напротив, умножили его. Вот почему теперь известные шансы на политический успех могут иметь только те, кто в свою очередь громогласно заявит о намерении равняться налево.

Больше того, наиболее дальновидные поборники политической перегруппировки в стане буржуазных партий отдают себе отчёт в том, что такая перегруппировка будет иметь шансы на успех лишь тогда, когда «новая левая» не будет игнорировать коммунистов, а, напротив, вступит в сотрудничество с ними. «Для того, чтобы выжить, левое крыло обязательно должно включать коммунистическую партию, — заявил на днях депутат парламента Валлон, избранный в своё время по списку деголлевцев. — Без этого перегруппировка будет лишь маскировкой правого крыла». «Мы вступили в один из тех периодов, когда союз с коммунистической партией вновь становится возможным, как в 1936 и как в 1944 годах», — сказал со своей стороны известный сторонник де Голля Капитан.

Само собой разумеется, было бы ошибкой переоценивать значение подобных заявлений и видеть в них больше того, что они содержат. Во-первых, деятели, которые выступают с этими декларациями, остаются убеждёнными антикоммунистами и не скрывают этого; во-вторых, они пока ещё далеко не представляют мощных политических формирований, которые были бы способны оказать решающее влияние на ход событий в стране. Но при всём том подобные заявления представляют собой определённое знамение времени. Они свидетельствуют о том, что в стране назревают реальные возможности создания единого фронта, образованного представителями различных политических течений и социальных групп и имеющего целью решение конкретных задач, отвечающих национальным интересам Франции.

Нельзя не отметить попутно и такой факт. Тот же Валлон напомнил на днях, что существующие во Франции буржуазные партии в настоящее время «не соответствуют ни точно определённым социальным группам, ни точно определённым идеологическим направлениям». Валлон резко критиковал эти партии за то, что они «довольствуются тем, что предлагают общественному мнению технику уклончивых решений, практическая цель которых заключается в том, чтобы предоставить возможность французским капиталистам, находящимся в подчинении у американского империализма, обдeldывать серьёзные дела за кулисами».

Само собой разумеется, те, кто, по выражению Валлона, «обдeldывает серьёзные дела за кулисами», глубоко встревожены процессами, которые мало-помалу развиваются на левом фланге общественного мнения, примыкающем к коммунистам. Они не могут не видеть того, что за последний год на местах, в особенности на юге страны, растёт авторитет сторонников воскрешения народного фронта и, в частности, прогрессистов, выступающих в союзе с коммунистами. Они не могут не видеть и того, что рядовые социалисты всё громче критикуют своих лидеров, которые упорствуют в проведении антинациональной политики и упрямо отказываются от каких бы то ни было совместных действий с коммунистами. Они не могут не считаться с тем, что даже в парламенте многие представители буржуазных партий, вынужденные принимать в расчёт мнение избирателей, всё чаще голосуют вместе с коммунистами, невзирая на злобные окрики проамериканской прессы.

Вот почему с некоторых пор здесь пущена в обращение фальшивая монета «либеральной (!) новой левой», выступающей под флагом... Мендес-Франса. Проповедниками этой «либеральной новой левой» являются редактор еженедельника «Экспресс» Серван-Шрейбер, который ещё не так давно публично выступал за превращение Франции в «49-й штат Североамериканского союза», а затем стал одним из членов так называемого «мозгового треста» Мендес-Франса, небезызвестный трубачур фашистских идей писатель Андрэ Мальро, бывший министр внутренних дел Миттеран и католический писатель Франсуа Мориак.

Пытаясь представить Мендес-Франса в глазах общественного мнения как «трагически непонятого человека» и как жертву интриг, эта группировка призывает французов создавать повсюду «комитеты действия», которые послужили бы опорой создаваемой ими «либеральной новой левой». При этом многозначительно подчёркивается

сделанное в своё время Мендес-Франсом двусмысленное заявление: «Мы находимся теперь в 1788 году». Сторонники свергнутого премьера, который пока что развлекается на аристократическом курорте Межев в ожидании развёртывания событий, всячески дают понять, что этот «динамичный человек» способен совершить новую «буржуазную революцию», которая «омолодила бы Францию».

— А что же делает в этой компании Мальро? — спросил я одного французского дипломата. — Ведь если мне не изменяет память, он всегда был оруженосцем другого «динамичного человека» — генерала де Голля...

— Времена меняются, — сказал, улыбаясь, мой собеседник. — Генерал стареет. И, кроме того, его нынешние позиции не всегда выглядят современно... Конечно, Мальро хотел бы позолотить герб генерала за счёт Мендес-Франса. Но нельзя считать исключённым, что сам Мендес-Франс предпочтёт, если он признает это целесообразным, использовать в качестве опоры деголлерцев, нежели стать их опорой. Что же касается Мальро, то он всегда испытывал неотвратимое тяготение к сильной личности. Вчера для него такой личностью был де Голль, завтра ею может стать Мендес...

Этот осторожный и витиеватый ответ приоткрывает завесу над одним из немало-важных явлений сегодняшней Франции: де Голль и его наиболее верные сторонники до сих пор отказываются одобрить вооружение Западной Германии. В этих условиях люди, «обдельвающие серьёзные дела за кулисами», предпочитают поискать других сторонников авторитарной власти, которые были бы в то же время согласны безропотно принимать пожелания, идущие из Вашингтона и из Лондона. Отсюда и возня вокруг проекта «либеральной новой левой». (Напомню попутно, что поборники этого проекта открыто заявляют: задача создаваемых ими «комитетов действия» состоит в том, чтобы «подготовить и выиграть будущие выборы» в парламент с тем, чтобы... «отнять у коммунистов три миллиона голосов».)

Характерно, что шумным декларациям поклонников теории «нового 1788 года» сопутствовало следующее многозначительное заявление старого и убеждённого сторонника безотказного сотрудничества с Вашингтоном Поля Рейно: «Понятия правой и левой устарели», — сказал он с трибуны парламента. Так Рейно в косвенной форме благословил тех, кто спешит перебежать с правого крыла на псевдолевый фланг, над которым кое-кто хотел бы поднять стяг Мендес-Франса.

Так складывается поразительная картина, над которой можно было бы вдоволь посмеяться, если бы речь не шла о столь серьёзных вещах, — в канун предвыборного сезона на правом фланге никого не остаётся, все кричат: «Я левый!» Все заявляют о своём стремлении «покончить с обанкротившейся системой». Все утверждают, что пришло время «решительно пересмотреть всю политику». Достаточно, однако, внимательно присмотреться к программе, выдвигаемой ревизителями «либеральной новой левой», чтобы убедиться в том, что речь идёт всё о тех же милых сердцу тоскующей по «железному кулаку» буржуазии идеях: «восстановить твёрдую власть», «управлять государством так, как управляют кораблём», «подвергнуть новой ревизии конституцию», «покончить с системой партий».

Всё это не новые идеи. В Париже помнят, как перед войной подвизавшийся в Бельгии ревизионист де Ман, проповедуя «необходимость пойти дальше (!) марксизма», пытался заменить научные основы общественного развития «новой наукой психологии толпы». Ученики де Мана — «неосоциалисты» Деа, Марке и Монтаньон — тогда тоже хотели создать «новую левую» во Франции, которая восстановила бы «порядок и власть». Известно, куда они пришли: к национал-социализму Гитлера.

Нынешние поборники «либеральной новой левой» пускают в обращение ту же фальшивую монету с единственной разницей: они уже не говорят о стремлении пойти «дальше» марксизма и честно признаются, что их политическая группировка хочет быть «либеральной и антимарксистской».

Некоторые сторонники Мендес-Франса уверяли меня, что шумиха вокруг планов создания «либеральной новой левой» поднята помимо воли его самого. Они даже утверждали, что сам Мендес-Франс предпочитает оставаться в «классических рамках» партии радикалов. Может быть, это так и есть — гадать не стоит. Но в высшей степени подозрительно выглядит тот неоспоримый факт, что до сих пор бывший премьер-

министр не шевельнул и пальцем, чтобы прекратить или дезавуировать шумную кампанию, которую ведут, пользуясь его именем, его же ближайшие друзья и советники.

Нельзя, наконец, пройти и мимо того факта, что лидеры французской социалистической партии со своей стороны всячески пытаются помешать сплочению патриотических сил. Не так давно руководители этой партии пытались сколотить раскольнический «демократический и социальный фронт», противопоставляя его коммунистической партии. Эта диверсия потерпела провал. Сейчас они начинают заигрывать с католиками и с тем же Мендес-Франсом. Только что вернувшийся из США один из лидеров социалистической партии Андре Филипп выступил на днях с докладом, в котором призвал к объединению в рамках «новой левой» группировки социалистической партии, католической партии МРП и сторонников Мендес-Франса. Характерная деталь: когда Филиппа спросили, как социалистическая партия относится к марксизму, он с циничной развязностью заявил: «У нас мысли и лицо лорда Кейнса с бородой Карла Маркса... Быть может, пора эту бороду сбрить». Так французские правые социалисты смыкаются с поборниками «либеральной новой левой», которые откровенно заявляют, что они стоят на «антимарксистских» позициях.

Могут сказать: стоит ли обращать внимание на всю эту возню? Стоит! Сомнений в этом быть не может. Конечно, французы знают цену политическим фальшивомонетчикам и не раз разоблачали их и с позором вышвыривали вон с арены общественной деятельности. Но тысячу раз правы те, кто сейчас призывает к бдительности, разоблачая попытки врагов нации замаскироваться под «либеральную левую», помешать подлинной перегруппировке политических сил на основе борьбы за соблюдение национальных интересов и под прикрытием демагогических фраз ещё раз попытаться установить в стране режим «железного кулака». Во Франции имеются все возможности для того, чтобы, разоблачив политических фальшивомонетчиков, противопоставить силам реакции подлинный единый фронт здоровых сил народа, борющихся за жизненные интересы нации, против угрозы возрождения германского милитаризма, за независимую внешнюю политику, за спасение демократических свобод, за социальный прогресс.

Таковы некоторые политические процессы, вызревающие в стране, пока парламент охвачен страстной дискуссией о парижских соглашениях. Подобно химическому катализатору, эта дискуссия содействует прояснению обстановки.

### *В глухом углу.*

13 марта. До дебатов в Совете Республики остаётся ещё добрая неделя. Не воспользоваться ли этим временем для того, чтобы совершить поездку по стране? Сменить обстановку, повстречаться с простыми людьми, потолковать с ними, узнать, чем живёт и дышит в эти дни рядовой француз... Пожалуй, это неплохая идея! И вот вчера утром я оставил Париж, отправившись на машине по широкому шоссе, ведущему на юг.

Позади остались Фонтенбло, старинный город Невер со своим разбитым авиабомбами собором и дворцом, где в шестнадцатом веке жили две принцессы, вышедшие потом замуж за польских королей, Мулен — не менее древний город, где вокруг кафедрального собора теснятся кварталы домов, построенных ещё в XV—XVI веках...

Дальше, дальше! Хочется проникнуть в самую глубь страны, в самый дальний угол, чтобы посмотреть, какова там жизнь...

Свернув с большой дороги, мы долго ехали по извилистым просёлкам вдоль гряды невысоких холмов, заросших чахлым кустарником, — то были отроги Юры. Здесь, на пороге горной цепи, обрывается прославленная равнина Бресс, крестьяне которой кормят Францию мясом, сыром и главным образом курятиной. Выращиваемая здесь порода белых кур с серо-голубыми лапками откармливается в вольерах по специальному режиму, и на парижских рынках куры эти пользуются особым спросом.

На заборах деревень мы видели сотни плакатов, прославляющих «золото долины Бресс» — кукурузу. Кукурузная мука составляет основу рациона для кур, и крестьяне заинтересованы в получении высоких урожаев манса. Зная об этом, компании, производящие удобрения, ищут здесь клиентуру и наперебой рекламируют свой товар. Ку-

пишь удобрения — получишь вдоволь кукурузы, будет у тебя кукуруза — откормишь вдоволь птицы, будет у тебя птица — будут и деньги на покупку удобрений. Таков круговорот, щедро обещаемый рекламой. Только вот вопрос: останется ли достаточно денег на то, чтобы самому прожить в довольстве и сытости?

Если взглянешь на дома, мимо которых мы держим путь, то прежде, чем дать определённый ответ на этот вопрос, невольно задумаешься: домишки старенькие, ветхие. Слепленные по большей части из глины, которая держится на дряхлом деревянном каркасе. Редко увидишь богатый дом, окружённый садом и многочисленными хозяйственными постройками. По всему видно — это район небогатых, малоземельных крестьян, живущих тем, что им удаётся произвести на своих небольших клочках земли.

Придорожная табличка подсказывает нам: впереди селение Мейонас. Когда-то это была резиденция графов Мейонас. Одна из представительниц этого знатного рода принимала здесь Вольтера, совершавшего путешествие в Швейцарию. Вот две высокие квадратные башни, сложенные из серого дикого камня, — когда-то эти башни составляли часть графского замка. Они видели блеск и падение рода Мейонас. Теперь в этих башнях размещается сыроваренный завод местного кооператива, а графов давно уже и след простыл.

Деревушка, затерявшаяся в глухом углу долины Бресс, манит взор путника своей живописностью. Вокруг угрюмых башен лепятся узенькие, в полтора метра шириной, улочки, обнесённые высокими каменными заборами. Журчит прозрачный ручей вдоль просёлка. Жалобно звякает колокол старой церквушки. В воздухе разлиты ароматы ранней весны; в садах набухают почки. Крестьянин в синей брезентовой куртке и деревянных сабо сжигает бурьян на своём огороде, его жена несёт вёдра с парным молоком.

Вероятно, так же выглядела эта деревня и пятьдесят и сто лет тому назад. Но вот мы огибаем церковь и видим на стене сарая зеленоватый плакат, на котором воспроизведены две фотографии: слева — памятник расстрелянным гитлеровцами партизанам, справа — угрюмая, надутая физиономия какого-то господина и надпись крупными буквами: «Этот человек предал их память. Он голосовал за вооружение гитлеровцев. Его зовут Сен-Сир. Он депутат парламента от нашего департамента, радикал-социалист. Придёт день, когда народ потребует от него отчёта!» Так мы сразу же возвращаемся в сегодняшний день...

Я заехал в Мейонас, чтобы повидаться с писателем Роже Вайаном, который сменил шумный Париж на деревенское уединение, более способствующее творческому раздумью. Хотелось поговорить о литературных делах, потолковать о том, чем живут прогрессивные писатели Франции, каковы дальнейшие творческие планы самого Вайана, который недавно выпустил в свет новый роман «Пьеретт Амабль», пользующийся большим успехом у читателей. Но как только мы встретились, стало ясно, что речь пойдёт не только о литературе. Да, Вайан пишет нозую пьесу. Да, он увлечён планами создания фильма о 1793 году. Да, ему хотелось бы взяться и за новый роман. Но главное сейчас для него не это: деревенское уединение, оказывается, существует только в теории, и жизнь в этом глухом углу не менее кипуча и страстна, нежели в Париже, — надо только суметь войти в неё.

В Мейонас не много дворов — какая-нибудь сотня. Но в каждом из них — своя жизнь, свои интересы, свои жгучие проблемы, свои большие характеры, свои страсти. Среди друзей и знакомых Вайана самые разные люди: сорокапятилетний крестьянин Жиру, неутомимый опытник, ищущий всегда чего-нибудь нового (в этом году он удивил всю деревню своим опытом с посевом гибридных семян кукурузы; вначале над ним посмеивались, а потом, когда он собрал небывалый урожай, ему стали завидовать); молодой шофёр Симонэн, отличившийся своими героическими подвигами в партизанском отряде в 1943—1944 годах, когда он был ещё совсем юнцом; булочник, являющийся прилежным читателем газеты «Юманите»; деревенский тряпичник и местный стражник, активно участвующие в борьбе за мир.

Можно не сомневаться, что когда-нибудь все эти люди станут героями какого-то нового литературного произведения писателя. Но сейчас его объединяют с ними сугубо практические, будничные дела, и дела эти — прежде всего политические. Дело в

том, что даже здесь, в этой крохотной деревушке, затерянной в отрогах Юры, людей волнуют те же самые наболевшие вопросы, которыми сейчас живёт далёкий отсюда Париж. И, конечно, главный среди них — борьба против планов вооружения гитлеровской Германии.

В 1944 году через эти места откатывались на северо-восток гитлеровские дивизии. Командование спешило перебросить их навстречу наступавшей Советской Армии. Партизаны, укрывавшиеся в лесах, которыми заросли отроги Юры, успешно подрывали мосты и атаковали эшелоны. Гитлеровские карательные экспедиции вымещали свою злобу на мирных селениях. До сих пор ещё во многих углах этого района сохранились следы зверских расправ, и в самой деревушке Мейонас на памятник жертвам двух войн выгравированы имена сорока двух деревенских парней, отдавших свои жизни за родину: тридцать шесть — в первой и шесть — во второй мировой войне. Для такого крохотного селения это немалые цифры.

Нетрудно себе представить, как реагируют отцы, матери, братья, друзья и знакомые этих парней на вести о том, что сейчас там, в Париже, люди вроде этого окаянного Сен-Сира собираются опять вооружить гитлеровцев. Недавно крестьянин Жиру бросил все свои дела и вдвоём с Вайаном, который ради такого случая тоже отложил свои рукописи, отправился в путешествие по окрестным коммунам в надежде уговорить местных мэров присоединиться к тем, кто требует от членов Совета Республики голосовать против парижских соглашений.

Район этот дальний, коммунистов тут почти нет, и все мэры принадлежат либо к католической, либо к социалистической партии, либо вообще не интересуются политикой и верят тому, что говорят им буржуазные газеты. В самой Мейонас мэр до недавнего времени считал себя убеждённым сторонником Мендес-Франса, но, когда он узнал, что тот выступает за вооружение гитлеровцев, его симпатии поколебались, и Жиру не составило большого труда убедить его в необходимости сделать что-то такое, что помогло бы добиться отклонения парижских соглашений. Мэр Мейонас согласился обратиться к мэрам других селений с призывом совместно выступить против планов вооружения Западной Германии.

Надо ковать железо, пока оно горячо! И вот Жиру и Вайан сами устремились в соседние коммуны, чтобы поговорить с местными мэрами.

Мэр селения Прессья — крестьянин Лянди. Жиру и Вайан пошли к нему домой. Лянди копался на дворе — он строил сарай. Когда неожиданные гости объяснили ему, зачем они приехали, Лянди сказал: «Конечно, я против вооружения Германии, — и он кивнул головой в сторону соседних дворов: повсюду ещё были видны руины — след карательной экспедиции гитлеровцев в 1944 году. — Но что я могу поделать? Ведь такие дела решаются не здесь, а в Париже...» Завязался горячий спор. Он длился долго. В конце концов Лянди согласился собрать муниципальный совет и предложить ему принять обращение к членам Совета Республики с требованием голосовать против парижских соглашений.

К вечеру Жиру и Вайан добрались до деревни Кюязья. И эта деревня в 1944 году наполовину была сожжена гитлеровцами. Здешний мэр — Масюи — крестьянин пубогаге. Он шёл на свою животноводческую ферму, когда его повстречали гости из Мейонас. «У меня слишком много работы по хозяйству, — сказал он им, когда они объяснили цель своего приезда. — Я не слежу за политикой. Кто из наших депутатов голосовал за парижские соглашения?» «Сен-Сир», — ответил Жиру. «Странно, — сказал задумчиво Масюи. — Я всегда с уважением относился к нему. Это опасная штука — вооружать немцев.. Но мне хотелось бы узнать, почему Сен-Сир так проголосовал...» Ещё больше Масюи был удивлён, когда Вайан сказал ему, что одним из авторов парижских соглашений и их горячим защитником являлся Мендес-Франс. «Не может быть! — воскликнул он. — Я всегда думал, что этот человек проводит новую, хорошую политику. Мне хотелось бы узнать, почему же и он так поступает...»

Снова завязывается долгая беседа. Масюи с недоверием относился к своим соседникам, он всё время опасался, как бы его не провели, как бы его не толкнули на ошибочный путь. С одной стороны, он хорошо помнит, что сделали гитлеровцы здесь в 1944 году, и понимает, что если их вооружить опять, то не будет никакой гарантии

против их нового появления в Кюзизья. С другой стороны, Сен-Сир и Мендес-Франс, которым он привык доверять, выступают за вооружение Западной Германии. Как же тут быть? Хорошо бы вообще уклониться от какого бы то ни было решения... Но тут Масюи опять вспоминает, что в 1944 году немцы сожгли половину его деревни и конфисковали его скот. В конце концов он решает — надо договориться с мэрами соседних деревень и совместно обратиться к Сен-Сиру с требованием: пусть он придет к своим избирателям и объяснит, почему он голосовал за парижские соглашения. И пусть члены Совета Республики тоже немедленно явятся и объяснят избирателям, что они думают о вооружении Западной Германии и как они намерены голосовать. В заключение он воинственно говорит: «Я был бы очень удивлён, если бы им удалось меня убедить, будто надо дать оружие в руки гитлеровцам. Мы с ними поговорим как следует...»

Так они и ехали — крестьянин Жиру и писатель Вайан — от деревни к деревне, от мэра к мэру. Они посетили шесть селений, беседовали с шестью мэрами. Пять из них — двое социалистов, один католик, двое беспартийных — согласились в той или иной мере принять участие в борьбе против восстановления вермахта. И только один — мэр селения Сент-Этьен-дю-Буа, нотариус Рибу, завзятый сторонник Бидо и Робера Шумана, — наотрез отказался участвовать в этом деле.

Жиру наклеил против дома, где живёт Рибу, плакат, напоминающий о том, что избиратели ещё потребуют отчёта у тех, кому они вверили общественные и государственные полномочия. Подошедшие крестьяне, читая плакат, одобрительно качали головами. Завязался разговор, начались знакомства. Пошли в соседний кабачок, и там крестьяне в беседе с гостями из Мейонас отвели душу, ругая нотариуса Рибу, который не хочет и слышать требований своих односельчан — поддержать борьбу против вооружения гитлеровцев. Один из них вспомнил, как немцы сожгли его мельницу, другой пустился в воспоминания о том, как он и его сорок товарищей по партизанскому отряду на протяжении восьми часов сдерживали продвижение колонны гитлеровских войск в Сен-Жан-де-Тре; только тогда, когда подошли танки, гитлеровцам удалось прорваться...

Хозяйка кабачка, слушая эти разговоры, одобрительно покачивала головой. Потом она подошла к Жиру и сказала: «Я видела, как вы наклеили свой плакат против дома Рибу. Он его, наверное, сорвёт после вашего отъезда. Дайте мне ещё один, я его сумею сберечь». Жиру протянул ей плакат, и она торжественно прикрепила его кнопками на стене у прилавка. «Так будет лучше», — заботливо сказала она.

...Обо всём этом и о многом другом рассказали мне с увлечением оба участника этого необычайного путешествия — Жиру и Вайан. Мы сидели в тесной кухне ветхого домика, принадлежащего Жиру. Хозяин — сухощавый крестьянин с морщинистым лицом и живыми хитроватыми глазами — оживлённо жестикулировал, изображая в лицах свою беседу с друзьями-партизанами из Сен-Жан-де-Тре и с хозяйкой кабачка. Вайан, откинувшись на высокую спинку самодельного стула, сидел, положив ногу на ногу, в грубошёрстной куртке и в высоких резиновых сапогах, какие носят фермеры долины Бресс, и изредка вставлял дополнительные детали. Его тонкие черты лица немного огрубели под солнцем и ветром, и многие его парижские друзья того периода, когда он был одним из завсегдатаев литературных кафе и увлекался сюрреализмом, сейчас не узнали бы его.

Решающий поворот в его судьбе свершился в памятный день 28 мая 1952 года, когда десятки тысяч парижских рабочих, вышедших на демонстрацию против планов подготовки к новой войне, вступили в жестокий бой с атаковавшими их охранными войсками. Вайан был там в качестве корреспондента газеты «Либерасьон», когда рядом с ним упал, сражённый пулей насмерть, молодой рабочий. Без колебаний писатель занял его место в строю и, забыв о своём карандаше и блокноте, пошёл дальше, вперёд, как рядовой манифестант. Несколько дней спустя он написал арестованному полицией и брошенному в тюрьму Жаку Дюкло письмо, в котором сообщил о своём желании вступить в коммунистическую партию.

...Мы заговорили о прозе повседневной жизни фермеров. Жиру вскочил и повёл нас во двор показывать своё немудрёное хозяйство — обветшалый сарай, коровник, курятник. Ему принадлежит небольшой участок земли. Кроме того, он арендует

ещё пять гектаров на тяжких условиях испольщины — половину всего урожая он должен отдавать собственнику этой земли. Свои участки Жиру засекает кукурузой, овсом для своей лошади, картофелем, свёклой, озимой пшеницей. Стараётся как можно лучше удобрять землю — почвы здесь кислые, их нужно известковать: кроме того, Жиру вносит в почву фосфаты. Всего за год он покупает примерно четыре тонны удобрений. К этому он добавляет навоз от своего хозяйства. Посев производит отборными семенами. Трудится усердно. Вот почему ему удалось собрать прошлой осенью 50 центнеров кукурузы с одного гектара и 25 центнеров озимой пшеницы — с другого. Но участок у Жиру крохотный, и доход его невелик.

Пытался он было начать разводить свиней. Но для того чтобы это дело стало рентабельным, надо иметь их много, а чем их кормить? В конце концов Жиру, как и многие его односельчане, склонился к куроводству. Каждую неделю он покупает у хозяина инкубатора два десятка цыплят, только что вылупившихся из яиц, по сто франков за каждого. Три месяца он их выращивает, откармливая по всем правилам птицеводческой науки, расходуя на это немалые деньги, и потом отвозит на базар, где скупщик платит ему за них по 650 франков. Жиру знает, что в Париже эти самые молодые куры будут проданы по 1 300 франков, — посредники лихо наживаются на сделках, — но что он может поделывать? Не поедешь же сам со своими двумя десятками кур в столицу! Так и получается, что крестьянину достаётся лишь малая доля оплаты за произведённый им товар, а основной барыш кладут себе в карман те, кто вовсе не прикладывает своих рук к производству...

Речь снова заходит о новых, передовых методах ведения сельского хозяйства — эта тема волнует сейчас всех французских крестьян: подумать только, если вести хозяйство разумно, с использованием последних достижений науки, можно с тех же площадей снять вдвое больший урожай! За последние десять лет в агротехнике произошли огромные изменения. Увлекающийся Вайан склонен даже сравнивать происходящие сейчас сдвиги в агротехнике с тем молниеносным расцветом промышленной техники, толчок которому был дан на рубеже XVIII и XIX веков изобретением ткацкой машины.

Механизация обработки полей, применение гибридных семян — особенно по кукурузе, — использование новых видов удобрения, производство новых, высокопитательных концентрированных кормов для скота — всё это позволяет достигать таких результатов в ведении сельского хозяйства, о которых крестьянин полвека назад не смел и мечтать. Добились же крестьяне деревни Сен-Тривье-де-Курт на опытных участках за два года увеличения урожая с 15 до 50 центнеров пшеницы с гектара!

Но... и тут начинается долгая серия унылых и безнадежных «но».

— Но гибридные сорта пшеницы требуют больше удобрений, чем старые виды, на протяжении столетий приспособившиеся к глинистой почве этой долины...

— Но мощные машины, обеспечивающие наилучшую обработку полей, требуют больших пространств и на мелких участках экономически невыгодны, не говоря уже о том, что рядовому крестьянину, обладающему таким участком, такие машины не по карману...

— Но покупательная способность людей, живущих только на зарплату, во Франции всё время снижается, и они покупают всё меньше и меньше продуктов. Значит, возникает проблема сбыта...

В этих условиях только мощное, крупное хозяйство капиталистического типа, обладающее высокой товарностью, способно дать существенный доход. Жиру вспоминает — Морис Торез в своём выступлении на пленуме Центрального комитета партии 27 января сказал: эксперты правительства пришли к заключению о том, что восемьсот тысяч «малорентабельных» крестьянских хозяйств во Франции «осуждены на исчезновение».

— Восемьсот тысяч, — медленно повторяет Жиру, и глаза его на миг тускнеют: видимо, он явственно представляет себе, что могут означать для восьмисот тысяч таких же рядовых крестьян, как он, эти жестокие слова — «осуждены на исчезновение».

Роже Вайан рассказывает драматическую историю знакомого ему крестьянина, по имени Луи Блан, проживающего сравнительно недалеко отсюда, в селении Ле Мон-

тейе. Жизнь этого крестьянина могла бы послужить темой для большого романа, и, может быть, Вайан когда-нибудь его и напишет. Но пока что эта история требует не созерцательного, а действенного, активного подхода, и Вайан собирается предать её гласности на страницах «Юманите»: она, по его мнению, многим откроет глаза...

— Судите сами, — говорит он. — Представьте себе умного, образованного крестьянина, которому исполнилось сегодня уже семьдесят четыре года. Он всю жизнь работал не покладая рук, и с ним работали одиннадцать его сыновей и дочерей. Мечтал, естественно, стать побогаче, как мечтают все крестьяне, но к этому примешивались и более благородные чувства — мечта о лучшем будущем Франции, о новой жизни. Надо вам сказать, что отец Луи Блана сумел дать ему и пяти его братьям среднее образование. Но вот беда: ни отец Луи, ни он сам собственной земли никогда не имели, как, впрочем, и многие другие его односельчане. Они арендовали землю у сеньоров так же, как это делали их деды. Правда, им удавалось арендовать землю вполне достаточно, чтобы прокормить свою большую семью, — тридцать—сорок гектаров. До войны они жили даже зажиточно — в 1925 году Луи сумел купить, например, трактор. Хозяйство своё он вёл по всем правилам агротехники: покупал много удобрений, осушил болотистые участки. Это сказало — пошли хорошие урожаи. Но что же вы думаете — разбогател Луи?..

Я ждал продолжения рассказа. Вайан раздражённо махнул рукой.

— Как бы не так! Луи быстро заметил страшную закономерность: чем больше он работал, чем больше его ферма производила зерна и мяса, тем больше возрастали его расходы, а доходы не прибавлялись. Надо было платить всё больше денег за удобрения, трактор изнашивался и требовал всё чаще ремонта, увеличивались налоги. Тем временем заготовительные цены на зерно, молоко и мясо всё время понижались. А дети росли, их надо было одевать, обувать, надо было платить за их обучение. И вот годам к шестидесяти Луи Блан увидел, что жизнь как бы обратилась вспять, — он возвращался к тому, с чего начинал свой путь...

Вначале Блану пришлось сократить арендуемые участки. Потом пришло время отказать от трактора — не было денег на его ремонт да к тому же использование его становилось всё менее выгодным по мере того, как сокращалась посевная площадь. Луи пришлось снова запрягать быков, как это делали его дед и прадед. Потом пришлось сократить поголовье коров. Все сыновья Луи, кроме одного, покинули ферму и отправились в город искать работу: на уменьшившемся участке им было уже тесно. Пришло время возобновлять договор об аренде. Раньше эта операция выполнялась почти автоматически: Блан всегда исправно выполнял все платежи, своё хозяйство он вёл хорошо, и постоянно удобряемая земля на его участке не только не истощалась, но, наоборот, обогащалась. Но на этот раз управляющий от имени хозяина земли, которого Блан ни разу в жизни в глаза не видал, объявил ему: «Договор об аренде возобновлён не будет». Эта весть потрясла Блана. Он переспросил, не веря своим ушам: «То есть как это — не будет?» — «Очень просто, — сухо ответил управляющий. — Хозяину виднее: захочет сдать землю в аренду — сдаст, не захочет — не будет сдавать. Земля-то принадлежит ему, а не вам!» — «Но я ведь её выхаживал десятки лет...» — «Ну и что ж, — ещё более сухо возразил управляющий, которому этот старик начинал надоедать. — Теперь её будут выхаживать другие. В ваши годы надо на покой итти, на покой! Поняли?»

Теперь у Луи Блана один выход: распродать своё хозяйство и ехать в город — просить сыновей взять его на содержание, а у них самих дела не блестящие. Вот как раскрывается на практике эта формула: «восемьсот тысяч крестьянских хозяйств осуждены на исчезновение»

Жиру, видимо, не в первый раз слушал эту историю — он должен был хорошо её знать. И всё же, наблюдая за ним, я видел, что рассказ Вайана глубоко его волновал: он не мог не видеть в судьбе Блана и свою собственную судьбу, судьбу всех мелких и средних крестьян. Он то вставал с самодельного, крепко сбитого стула и расхаживал по бетонному полу, то снова садился и барабанил пальцами по краю стола, покрытого потрёпанной клеёнкой, то обводил каким-то встревоженным взглядом до мелочей знакомые ему закопчённые стены, словно прикидывая вдруг, что следует

взять с собой, если, не дай боже, придётся и ему в один прекрасный день покинуть ферму на старости лет и итти искать счастья в городе.

Желая, быть может, отвлечься от этого тяжёлого раздумья, Жиру вдруг переводит разговор в будничный, житейский план. Он озабоченно говорит о том, что разрыв между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары всё время возрастает. Сельскохозяйственные машины и удобрения вздорожали по сравнению с довоенным уровнем в тридцать раз, а цены на сельскохозяйственные продукты за то же время поднялись лишь в двадцать четыре раза. Выходит, для того чтобы расплачиваться по счетам, крестьянину надо продавать теперь гораздо больше произведённых им продуктов, нежели раньше.

Почему крестьяне оказались в таком положении? Газеты кричат: «Происходит перепроизводство сельскохозяйственных товаров!» Власти уговаривают крестьян вырубать виноградники, сокращать посевы свёклы, ограничивать число коров. Жиру жонимает плечами: он хорошо знает, что домохозяйки из рабочих семей Бурга, куда он ездит на базар, рассчитывают каждый франк и в обрез ограничивают свои покупки. Если бы их мужья приносили больше денег в получку, продукты пошли бы нарасхват. В общем, куда ни кинь — везде клин... А где первопричина тех трудностей, которые переживают и рабочие и крестьяне Франции? Жиру знает, в чём дело: гонка вооружений поглощает плоды труда и рабочих и крестьян Франции; но это ещё не всё — виновата сама социальная система, виноват тот режим, который обрекает трудовой люд на жестокую эксплуатацию, а богачам предоставляет возможность жить в роскоши.

Жиру регулярно выписывает «Юманите» и коммунистическую газету для крестьян «Ля Терр». Он с гордостью говорит, что в его доме «Юманите» читает уже третье поколение: покойный отец Жиру выписывал «Юманите» ещё до первой мировой войны, когда её редактировал Жорес. Сам он читает «Юманите» уже тридцать лет. Теперь эту газету читает и его старший сын, которому недавно исполнилось 19 лет. «Юманите» на многое открыла ему глаза. Он понял, что мелкому крестьянству из нужды не выйти, если оно не решится вместе с рабочими бороться за новую жизнь.

— Не такое это простое дело — убедить крестьянина в необходимости заниматься политикой, — говорит Жиру со вздохом. — Многие смотрят на меня либо как на чудака, либо как на опасного человека. Они боятся политики. Но политика сама проникает в каждый дом, хотят того его хозяева или не хотят...

И Жиру рассказывает поучительную историю о том, как депутат Сен-Сир — тот самый, что голосовал за вооружение Западной Германии, — попытался нажить дешёвую популярность на создании «образцового сельскохозяйственного района» и что из этого вышло. Сен-Сир выхлопотал у правительства за счёт кредитов по плану Маршалла средства на «реконструкцию» деревни Сен-Тривье-де-Курт. Местный сельскохозяйственный кооператив был снабжён тракторами, был закуплен даже комбайн. Был проведён водопровод. На казённые деньги наняли опытного агронома, который давал советы, что надо сделать, чтобы добиться высоких урожаев. В деревню были доставлены лучшие гибридные семена кукурузы. Удобрение почвы производилось на основе самых передовых методов. Крестьян призывали увеличивать поголовье коров. Они следовали всем этим советам и тщательно выполняли указания специалистов, предвкусывая большие доходы.

Так продолжалось три года. И когда наконец животноводческое хозяйство в этой деревне достигло расцвета, разразилась тяжкая драма: оказалось, что невозможно найти покупателей мяса и молока. Посредники пожимали плечами: «Надо было думать раньше, чем увеличивать поголовье скота». Молочные коровы пошли на убой, мясо продавалось за бесценок. Крестьяне несли тяжкие убытки и проклинали Сен-Сира, сулившего им процветание. Они наглядно убедились в том, что такое план Маршалла.

Пока ещё в этом глухом углу долины Бресс крестьяне не принимают активного участия в политической борьбе. Но в деревнях, хотя и медленно, назревает ощущение тревоги, недовольства, неудовлетворённости своей судьбой. Конечно, такие люди, как Жиру, пока ещё являются здесь исключением. Но та работа, которую они проводят

среди своих односельчан, тот пример, который они им показывают, рано или поздно дадут результаты.

Пришло время расставаться. Семья Жиру вместе с Роже Вайаном вышла во двор нас проводить. Глава семейства потрепал вихрастую голову своего младшего сынишки — пятилетнего Жака, кивнул в сторону устремившихся загонять цыплят в курятник дочек Мишель и Андре и взволнованно сказал:

— Им жить будет лучше, чем нам. Это будет другая, новая жизнь...

Потом он задумался и после паузы добавил:

— Недавно я прочёл советский роман «Жатва», мне его дал Роже. У вас там всё по-другому. Я понимаю, есть и у вас трудности... Но ваши крестьяне знают, что судьба их — в их собственных руках. Если можно, передайте им привет и скажите: есть в департаменте Эн такая дальняя деревня Мейонас, и в этой деревне есть люди, которые с любовью следят за тем, как там у вас идут дела.

На этом мы и распрощались.

*(Продолжение следует)*



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КОЗЛОВ

★

## О СЖАТОСТИ В ПРОЗЕ

1

**О** сжатости в литературе и пишут и говорят ещё мало. Между тем потребность в обстоятельном разговоре об этой проблеме, именно проблеме в совокупности всех или по крайней мере многих её сторон, чрезвычайно велика. Разговор этот необходим прежде всего в интересах борьбы за дальнейший подъём художественного мастерства.

На Втором всесоюзном съезде писателей отмечалось, что, несмотря на серьёзные успехи советской литературы, идейно-художественный уровень многих произведений остаётся ещё недостаточно высоким. Коммунистическая идейность, партийность — основное и определяющее в нашем искусстве. Но и значительная идея мельчает, если её выражение в большом и главном подменено малосущественными подробностями, брошено в бездну многословия и пустословия. Большая идея требует совершенной формы.

Далеко не все молодые писатели (и не только молодые!) берутся за работу с ясно осознанным пониманием необходимости писать экономно, сжато, сообразуя форму, жанр и даже объём произведения с идейным замыслом и материалом. Даже некоторые из тех, кто к большой форме приходит через новеллу, требующую, как известно, чрезвычайной художественной экономии, в повести или романе как бы уподобляются пружине, которая была сжата и вдруг разжалась: места заняла много, но перестала быть упругой... Сколько ещё появляется романов, которые только вследствие своей пухлости бывают причисляемы к этому жанру, материала же в них не больше, чем на рассказ или повесть. Казалось бы, автору и следовало написать рассказ или повесть, но нет, он взялся именно за роман. В конце произведения, напечатанного в двух-трёх

номерах журнала, нередко ставится курсивом «конец первой книги», тогда как в интересах литературы и авторов некоторых произведений полезнее было бы ограничить эту курсивную строку одним первым словом. Таким «объёмным» произведениям читатели дали меткое прозвище «кирпичи».

Мы сознательно выделяем прозу, а внутри неё — главным образом роман, потому что нигде, пожалуй, не встречается такого нарушения требований сжатости, как в романе. Стихотворение, новелла, рассказ, драма и вследствие особенностей формы и вследствие малого объёма обязывают к краткости, тогда как широкий плацдарм романа «избавляет» от неё, даёт соблазнительную возможность «разгуляться на воле».

Слов нет, всякая тема может быть выражена в романе, но далеко не всякая требует для себя этой большой и сложной формы.

Оговоримся, что привлекаемые нами произведения рассматриваются лишь в связи с поставленной проблемой, а требование сжатости, краткости отнюдь не выдвигается в качестве всеобъемлющего критерия художественности. Полная оценка достоинств или недостатков произведения должна быть сделана в совокупности всех его идейно-художественных сторон. Сжатость сама по себе ещё ничего не объясняет в идейной направленности романа или повести, она лишь делает заметной или, как говорил Чернышевский, выставляет на вид красоту формы и, таким образом, достоинство произведения в целом. Требование краткости в эстетике социалистического реализма не самоцель, а средство достижения цели — художественно полного и совершенного выражения идеи, утверждающей в большом и малом торжество нашего великого дела — построения коммунизма.

Что же понимать под сжатостью?

Повесть «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя вместились в сто книжных страниц обычного формата. Повести А. С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка» имеют по шести—шести с половиной авторских листов. Примерно такого же объёма лермонтовский «Герой нашего времени». А два романа И. С. Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо» уложились в одном пятнадцатилистном томе. Может быть, сжатость— это минимальный внешний объём произведения? Но разве лишена достоинств краткости «Война и мир» Л. Н. Толстого, хотя в эпосе около ста листов? Н. А. Добролюбов справедливо отводил от автора «Обломова» обвинение в растянутости письма, мотивируя нужность и правомерность всех мельчайших деталей глубиной типизации жизни... Нет, дело отнюдь не в размерах. Под сжатостью следует понимать соразмерность формы произведения с замыслом его, умение писателя при максимальной экономии художественных средств дать реалистическую полноту изображаемой жизни, показать в произведении всё нужное, не сказав ничего лишнего.

Среди богатейших традиций русской реалистической классики советская литература наследует и традицию экономности письма.

А. М. Горький и личным примером и многочисленными советами товарищам по цеху пера учил писать так, чтобы «словам было тесно, а мыслям просторно». Повесть «Мать» составляет всего небольшой томик, объём же «Дела Артамоновых» ещё меньший. В одном из писем 1936 года к Всеволоду Иванову Горький, говоря о своих занятиях и шуточно называя себя в третьем лице — «угрюмый усатый старик», сообщал, что этот старик «...перделал старую пьесу из 4-актной в 3-актную. Если бы у него было время, он сократил бы 23 тома своих книг до 8-и». Горький не уставал говорить о необходимости быть кратким и точным, сжимать, сокращать, выбрасывать из произведения всё лишнее, необязательное. «Местами вы увлекаетесь словом, а многословие делает рассказ жидким», — писал он В. Шишкову по поводу его повести «Тайга». «Короче», «лишнее», «боритесь с многословием» — обычные горьковские пометки на полях многих прочитанных им рукописей.

Экономно написаны «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева и

другие классические произведения советской литературы. Без всяких оговорок следует отнести к подобным произведениям и «Тихий Дон» М. Шолохова. Широта охвата событий — в пространстве и во времени, — обилие действующих лиц, многоплановость повествования, подробность и обстоятельность описаний— всё это соразмерно с глубочайшим социальным содержанием романа — проблемой исторических судеб казачества в пролетарской революции. Многоплановость здесь оправдана широтой замысла — изображением человека «во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни» (Л. Толстой).

Сжатость характерна для дилогии К. Федина, автобиографической трилогии Ф. Гладкова, «Молодой гвардии» А. Фадеева, «Счастья» П. Павленко, «Спутников» В. Пановой, «Звезды» Э. Казакевича и ряда других повестей и романов послевоенной поры.

Совсем не значит, что в этих произведениях есть всё и нет ничего лишнего. Однако в них, как и в произведениях классической литературы, читатель видит естественное, а вместе с тем и полное выражение идеи. Движение замысла от одного сюжетного узла к другому дано здесь как вполне целесообразное, а это и есть движение по кратчайшему расстоянию.

Советская литература в лучших своих произведениях утверждает сжатость как один из критериев художественности. Но существует во многих книгах и её антипод — растянутость, расплывчатость, многословие.

## 2

Проблема сжатости наитеснейшим образом связана с вопросами композиции. От правильного и совершенного композиционного построения произведения во многом зависит красота его формы, так же как неумелое решение композиции даёт форму неуклюжую, рыхлую, растянутую.

Выигрывает или проигрывает в этих случаях не только форма, но и содержание, — ведь композиция не есть голая технология организации материала, некая сумма ремесленных приёмов, а важнейший способ типизации действительности; содержание же и форма в искусстве неразсторжимы.

Композиция, как и другие компоненты произведения, определяется его идейно-художественным замыслом.

«Только произведение, в котором воплощена истинная идея, — писал Н. Г. Чернышевский, — бывает художественно, если форма совершенно соответствует идее. Для решения последнего вопроса надобно посмотреть, действительно ли все части и подробности произведения проистекают из основной его идеи. Как бы замысловата или красива ни была сама по себе известная подробность — сцена, характер, эпизод, — но если она не служит к полнейшему выражению основной идеи произведения, она вредит его художественности».

Применяя это положение Чернышевского, как мерку художественности, к некоторым произведениям нашей современной прозы, мы, увы, не можем не отметить, что в некоторых из них многое ни близко, ни отдалённо не связано с идейным замыслом и не служит полнейшему его выражению.

Недостатки такого рода, как это в своё время справедливо указывала критика, в той или иной мере свойственны таким в общем ценным романам, как «Волгины» Г. Шолохова-Синявского, «Сказание о казаках» Д. Петрова-Бирюка, «На сопках Маньчжурии» П. Далецкого, и другим произведениям, объём которых приближается к эпосе Л. Толстого «Война и мир», а в иных случаях и превосходит её. К сожалению, некоторые из авторов таких объёмных романов не хотят прислушаться к дельным замечаниям критики. Так, П. Далецкий на замечания и пожелания критики освободить своё произведение от излишних персонажей, эпизодов «ответил» во втором издании добрым десятком вновь дописанных листов, что более повредило роману, чем пошло ему на пользу.

Не отрицаем, роман «На сопках Маньчжурии» во многом интересен, талантлив. Писателя отличает широкий взгляд на жизнь, хорошее знание людей, их быта, нравов, местности, где развёртывается действие. Он даёт верное в основных своих проявлениях истолкование событий общественно-политической жизни в стране перед русско-японской войной 1904—1905 годов и в период самой войны. П. Далецкий ведёт читателя на берега Тихого океана, на поля Маньчжурии, где разыгралась кровавая трагедия, закончившаяся поражением российского самодержавия, в Петербург, снова в Маньчжурию, в Китай, в Японию...

Однако широта замысла не только не избавляла писателя от заботы о компози-

ции произведения, а, наоборот, предполагала особую строгость в этом отношении: каждый лишний разговор действующих лиц, каждый необоснованный экскурс в прошлое, чрезмерная детализация в описании нравов, обычаев и т. п. грозили неоправданно отяжелить роман. К сожалению, П. Далецкий не удержался от соблазна сказать лишнее, ввести ненужные сцены, эпизоды, характеры, в одном случае в целях якобы более обстоятельного показа народных масс, в другом — для передачи идейно-исторического колорита эпохи...

Во второй части — «Далёкий край» — в события вводится дальневосточный купец Алексей Иванович Попов. Подробно изображаются его семейные злоключения в местечке Гарволин. Совершенно не оправдано описание не только многих подробностей этого периода биографии Попова, но и последующего; больше того, законно сомнение в надобности этого персонажа вообще. Не обязательны для раскрытия идейно-художественного замысла романа образы Жени Андрушкевич — русской декадентки, китайской поэтессы Ши Куэн, японской социалистки Кохану. Лишними кажутся нам описания необычайных происшествий с Катей Малининой, некоторые рассказы Кузьмы Кузьмича и другие эпизоды. Без всего этого роман «На сопках Маньчжурии» был бы короче, собраннее, лучше.

Часто приходится слышать, что большой объём произведения советского писателя предопределён необходимостью раскрывать полностью человеческого характера.

Да, литература социалистического реализма добивается наиболее полного показа человека, наиболее полного раскрытия его характера. Она не мирится со схематизмом, упрощенчеством, примитивизмом. Но в конкретном произведении мы имеем дело с конкретным образом, конкретным человеком, биография которого с определённого момента начинается и определённым же моментом заканчивается. Границы образа, ракурс его раскрытия определяются идейно-художественным замыслом писателя. Непременное условие сжатости — раскрытие характера в границах наиболее целесообразного выявления идеи.

Образ лейтенанта Травкина из «Звезды» Э. Казакевича не производит ощущения неполного или схематичного, хотя знаем мы о нём не столь уж много. Если «подсчитать», какие стороны своего героя писа-

тель «не показал», то список недостающего получится, пожалуй, значительно длиннее известного нам. Так, между прочим, и поступают иные критики, требуя от авторов разбираемого ими произведения «показа» и того, и другого, и третьего, не задумываясь над тем, а надо ли это в плане данного идейно-художественного решения. И то, что составляет силу и красоту формы — пропорциональность частей, логическая соразмерность общего и частного, — превращается под пером таких критиков в недостаток художественности. Эстетическое чувство наше вполне удовлетворено образом Травкина, потому что он прекрасно и глубоко раскрыт в повести в соответствии с замыслом автора, с жанром и объёмом произведения. То же можно сказать и о других действующих лицах «Звезды», хотя все они выявляются на одном, общем — отношении к подвигу, воинскому долгу. «Звезда» по праву считается образцом сжатой, концентрированной прозы, что, впрочем, достигнуто не только за счёт композиции.

Однако художественная «полнота» образов в некоторых произведениях делает их неуклюжими, а самые произведения — растянутыми и рыхлыми. Это получается прежде всего там, где писатель стремится изобразить всех своих героев с одинаковой подробностью и всесторонностью, не учитывая того, что композиция произведения предполагает дальний и ближний планы, выделение главного, главных действующих лиц.

Ведь в системе образов полнота каждого из персонажей заключается не в том, что о нём будет рассказано как можно больше, а в том, чтобы читатель узнал о герое столько, сколько необходимо. Даже в многоплановом романе, предоставляющем наибольшие возможности для наиболее всестороннего раскрытия характера, не требуется, чтобы второстепенные персонажи были уравнины с главными, ибо это повредило бы художественности произведения, одним из условий которой, как это подчёркивал Белинский, является «строго-соразмерное распределение ролей для всех лиц».

С несоблюдением «строго-соразмерного распределения ролей» мы встречаемся, например, в романе Л. Зайцева и Г. Скульского «В далёкой гавани».

Как бы полемизируя с писателями, одно-сторонне изображающими человека, авторы романа справедливо заявляют устами одно-

го из действующих лиц — политработника Парамонова: «Служба для офицера не только профессия, но и быт»; «судить о нём буду не только по тому, как дело знает, но и по тому, какие у него друзья, что за книги он читает и как семью строит». Действительно, изображение личных отношений Андрея Высотина и Анны Субботиной, семейной жизни Терентия Золотарёва и Полины Золотарёвой расширяет наше представление о внутреннем мире этих людей.

Но Л. Зайцев и Г. Скульский распространили правило подробного изображения личной жизни героя почти на всех действующих лиц своего романа, не посчитавшись с тем, что это далеко не всегда вызывается необходимостью.

Изображение семейной идиллии супругов Евтеревых, романа лейтенанта Плакуши с Наташей Субботиной, а более всего, пожалуй, личной жизни Кипарисова и Марии Краевой отяжеляет действие. Множество частных семейных конфликтов и конфликтов отодвигает назад ведущее противоречие романа, тормозит сюжет. Создаётся впечатление, что не стремление раскрыть внутренний мир советских моряков, показать формирование их характеров в процессе борьбы за новое, передовое на флоте направляло авторов романа, а желание продемонстрировать всевозможные варианты офицерской семьи — счастливую и несчастную, хорошую и плохую, удачную и малоудачную. В результате композиция романа теряет чёткость, осмысленность, начинает казаться, что перед нами не целостное произведение, организующее общей мыслью, а отдельные очерки на бытовые темы. И это, несомненно, снижает достоинства неплохого произведения о современной жизни советских военных моряков.

Полнота изображения внутреннего мира наших людей достигается не механической дозировкой производственного и бытового, положительного и отрицательного; она может быть создана на основе верной авторской позиции, умения выделить главное, определить роль и место второстепенного, правильно организовать материал.

Поучительны в этом отношении и недостатки романа Ольги Зив «Горячий час».

Первый раз Ольга Зив напечатала свой роман в 1951 году («Октябрь», №№ 9 и 10). Автор увлёкся тогда изображением технологических процессов и не обратил должного внимания на изображение внутреннего

мира рабочих. Критика справедливо указала на этот серьёзный недостаток произведения. Готовя роман к отдельному изданию, писательница попыталась углубить образы его героев, обогатить мир их мыслей и чувств. И вот перед нами новый вариант романа («Советский писатель», 1954), выросший почти в полтора раза, больше чем на десять листов.

Главная идея «Горячего часа» — борьба новаторов производства с рутинёрами, утверждение торжества технического творчества. Инженер Белочкин — из тех, про которых в народе говорят «светлая голова и золотые руки», — противопоставлен творчески бесплодному специалисту Соснину. Этот конфликт выдвигает автор в качестве основного.

Мы следим за развитием действия, за людьми, в него втянутыми. В ряде картин перед нами предстают директор завода Корзунов, начальники цехов Терлецкий, Поляновский, мастера Володин, Мехов, рабочие Зигурда, Кудрявцев и другие. В меру своих возможностей автор пытается индивидуализировать героев романа, и у него есть удача.

Но, присматриваясь внимательно к действующим лицам, в первую очередь к тем из них, которые несут на себе основной груз главного замысла, мы постепенно убеждаемся, что как носители идей технического прогресса, как новаторы металлургии они не ярки, не глубоки.

Как же поступает писательница, в чём находит выход? Как к спасительному средству, прибегает она к изображению личной жизни действующих лиц, их быта. В новом варианте романа много, значительно больше, чем в прежнем, рассказывается о том, чем заняты рабочие и инженеры после заводского гудка, вне комбината. Некоторые персонажи, например, Зигурда, стали от этого полнее, реалистичнее. Однако личная жизнь ряда других героев предстаёт не как то необходимое, что создаёт естественную полноту человеческого характера, а как некое добавление к их производственным портретам.

Стоит проследить хотя бы за образом парторга ЦК на заводе Озерова — одного из важнейших действующих лиц романа. Озеров выступает в произведении весьма активно. Он появляется на заводе в тот самый момент, когда в коксовом цехе происходит авария; повседневно интересуется

состоянием реконструкции домы; словом, делает всё, что входит в круг обязанностей партийного руководителя крупного металлургического предприятия. Однако во всех или почти во всех этих проявлениях Озеров — фигура скорее должностная. Ни в одной из сцен в роли парторга не показан он так ярко, как «в роли» неудачного семьянина, мужа ветреной и никчёмной Ирины. А ведь для романа он интересен прежде всего и больше всего как парторг. Творческое руководство партийным коллективом должно было выступить определяющим в образе Озерова.

Перерабатывая роман, Ольга Зив убирала из произведения голую технику и дописывала героям личную жизнь, в то время как требовалось большее — раскрыть духовную сущность, типические черты наших современников, людей труда. Писательница не смогла сделать этого и потому, что слабо знала жизнь героев в её наиболее важных, определяющих проявлениях.

Именно вследствие этого сюжет в романе строится не на реалистической основе, а на ложной занимательности, порою детективе, что приводит к растянутости произведения. Два главных узла сюжета — случай с анализом «Сталь-3» и потеря Белочкиным тетради Соснина с его «проектом» реконструкции домы — при сопоставлении с правдой действительности не выдерживают сколько-нибудь серьёзного «испытания на прочность». В самом деле! Из цеха вследствие небрежности одного рабочего в заводскую лабораторию вместо марки «Сталь-3» прислали другой сорт. В жизни такой вполне возможный случай легко устранить дополнительным анализом. Лаборатория сообщила бы начальнику соответствующего цеха свои недоумения и соображения, и всё решилось бы скорее и проще, чем это представляется автору. Ещё большее недоумение вызывает потеря Белочкиным соснинской тетради. История эта возникает где-то в первой трети романа и тянется через множество страниц, почти до финала произведения. Читатель давно уже понял, что это недоразумение, нелепый случай, ему хочется сказать писателю: «Довольно мучить хорошего человека, выведите подлца на свет божий, пусть Соснин как следует поищет злополучную тетрадь». Но ему приходится «глотать» страницы романа и сетовать на автора за непомерную пухлость его творения...

Нередко недостатки композиции произведений литературы и их растянутость связаны с неверным соотношением общего и частного в художественном произведении, с неумением писателя подчинить частное общему.

Реалистическое искусство придаёт огромное значение детали как части целого. Без детали нельзя передать многогранности жизни, без детали нет образа. Но к изображению художественной детали, индивидуального частного писатель социалистического реализма идёт сложным путём. Он зорко всматривается в действительность, в многообразие её событий, характеров, красок, взвешивая, оценивая, отбирая и синтезируя её проявления, а не беря первое подвернувшееся под руку. Отвергая натуралистическое описание, простое фиксирование событий и лиц, опытный мастер ищет деталь осмысленную, такую, которая бы «играла» на идею.

Мастерство сочетания общего и частного, толстовской «генерализации» и «мелочности» отличает творчество К. Федина, и особенно его дилогию «Первые радости» и «Необыкновенное лето». Отдельные эпизоды и сцены, самые мельчайшие детали произведения служат у Федина выявлению общего и организованы тем «центром» произведения, которым, по словам самого писателя, «является его цель (идея, замысел)». Здесь не встретишь частности, которая была бы написана «так», потому лишь, что хороша и соблазнительна своей фактурой. В таком виде она попадёт в записную книжку художника, но в роман может войти, только как живительный ручеек, воды которого непременно сольются с главной рекой жизни, текущей в произведении, чтобы сделать её ещё полноводнее и богаче.

Из множества возможных примеров мы остановимся лишь на одном. В главе тридцать седьмой «Необыкновенного лета» К. Федин скупно, но ярко рисует зимний буран. Вначале он возникает просто как деталь зимнего пейзажа — более или менее обычная перемена погоды. Почти сразу же буран становится важной частью сюжета: машина, на которой Кирилл Извеков едет после митинга к Аночке Парабукиной, портится далеко от города, и ему в метель, в темноте приходится идти пешком, он опаздывает на условленное свидание больше чем на два часа. Аночка ждёт, волнуется, у неё возникают разные предположения,

что она Извекову не ровня, что «разница между большими делами Кирилла и маленькими — Аночки никогда не исчезнет»; с каждой минутой эти предположения усиливаются, превращаются в подлинную бурю сомнений по поводу возможности её, Аночки, счастья с Извековым. Между тем «сквозь жгучее метание вьюги Кирилл видел тёплый свет маленькой комнаты (Аночки.— И. К.), в которую ему хотелось скорее войти». В эту же ночную метель неожиданно и некстати приходит к Парабукиной Цветухин со своими «чувствами». И, постепенно нарастая, зимняя вьюга становится аккомпанементом всего повествования. Метель — это уже не просто подробность картины, развёртываемой художником, а её составной и определяющий компонент. Так нерасторжимо часть слилась с целым.

Но в нашей прозе, как отмечалось, нередко приходится встречаться с нарушением принципа соподчинения частного общему. Весьма явно это проявилось, например, в романе А. Первенцева «Матросы». Здесь строгий отбор деталей, необходимых для более глубокого выявления главного замысла, во многих случаях подмён внешним описанием, основанным на изображении первых попавшихся фактов. И этот эмпиризм не позволил А. Первенцеву глубоко, ярко и многогранно изобразить жизнь советских моряков, гражданского населения Севастополя, кубанских колхозников. Известно, что эмпирик раскрывает героя не в главном, а во множестве малозначительного, «рядового». Но никакое количественное увеличение событий, сцен, эпизодов не даст полного и верного представления о действительности, если писатель не сумеет проникнуть в суть явлений, познать типические проявления жизни. В ряду созданных им фрагментов могут быть фрагменты интересные, оригинальные, однако в целом произведение окажется рыхлым. Именно таким и получился роман «Матросы».

Описание особенно проявилось в тех главах, где А. Первенцев изображает жизнь колхоза. Автор показывает её глазами главного героя Петра Архипенко. Казалось бы, найден способ, позволяющий художнику быть «разборчивым», экономным, дающий возможность отобрать из бесконечности явлений и фактов действительности только те, которые необходимы для развития главного образа. Однако писатель не отбирает, а рас-

сказывает обо всём, что попадает на глаза герою. Вот Пётр едет в бригаду Харькова. По дороге он выслушивает длинный и маловразумительный рассказ Помазуна о том, как Харьков женился. Затем Пётр встречает звеньевую Машу Татарченко — начинается пространный разговор об агротехнике и уходе за посевами, о механизации, о росте культуры колхозников. Далее прибывает Харьков — с ним тоже разговор о том, что волнует бригадира «на данном этапе», — машины, правильная организация труда, методы руководства. Затем встреча с председателем колхоза Карамазовым, парторгом Латышевым, директором МТС и с каждым из них свой разговор. Во всех этих сценах и разговорах есть реальные, достоверные черты сегодняшней колхозной жизни, но как связано всё это с сюжетом, с главным героем? Никак. Сюжета эти эпизоды не движут, образа не обогащают. Исключи многие из подобных сцен, и никакого ущерба для романа не будет.

А ведь от настоящего художественного произведения, как от живого организма, ни одной части не отнимешь без боли, без крови. Попробуйте, например, исключить из «Повести о настоящем человеке» небольшую сцену, в которой комиссар Воробьёв показывает Мересьеву фотографию Валерьяна Карповича — русского авиатора, поднимавшегося в воздух с протезом вместо ноги. Вы обедните произведение, ибо эпизод этот лежит на главном направлении идейно-художественного замысла повести.

Но представим, что Воробьёв показывает Мересьеву не одну, а несколько подобных фотографий, сопровождая каждую из них одинаковым рассказом, — и как сразу, бросится в глаза растянутасть этих страниц.

Художественность требует краткости, не повторения схожих сцен, а поисков одной, синтетической картины и таких при этом изобразительных средств, которые бы покорили наш разум и сердце и заставили нас сказать: «Да, здесь найдено всё, что надо, и более сильно, пожалуй, не выразить».

### 3

Ничто так не выдаёт несостоятельности композиции, не создаёт впечатления растянутости, вялости, как присутствие в произведении бездействующих, не несущих на себе должной смысловой нагрузки персонажей.

Герой в произведении, если это произведение настоящее, появляется не по капризу художника. Образ человека — основное средство типизации жизни. Поэтому не случаен уже самый выбор персонажей — с них начинается тот отбор фактов действительности, без которого невозможно её художественное изображение. Ни за что не допустит подлинный художник в своё произведение героев ненужных. Н. Г. Чернышевский справедливо видел одно из достоинств «Детства и отрочества» и «Военных рассказов» Л. Толстого в том, что «...никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения». Никогда не допустит настоящий писатель и героев безликих или как две капли воды похожих друг на друга.

В богатом духовном, портретном и языковом разнообразии предстают перед читателем, например, герои романа Леонида Леонова «Русский лес». Глубоко индивидуальна судьба, различны строй мысли, речь, манера поведения, внешность не только у таких социальных антиподов, как Вихров и Грацианский. По многим существенным проявлениям характера мы хорошо различаем и подруг — Полю Вихрову и Варю Чернецову. И Варя потребовалась писателю, конечно, не только для того, чтобы ввести Полю в роман: её образ самостоятелен и необходим для наиболее полного выражения общей идеи произведения.

Однако в нашей прозе «неустроенный», а то и «безработный» персонаж — явление, к сожалению, далеко не исключительное.

В журнальном варианте романа Василия Гроссмана «За правое дело» батальонный комиссар Крымов и полковник Новиков появлялись во многих сценах, присутствовали при многих событиях большой важности, полных драматического содержания, и всё же жизнь самих героев от этого не представляла наполненной драматизмом. Главное развивалось помимо них, они лишь присматривались к происходящему, сочувствовали, страдали, но не действовали активно и целеустремлённо. Задуманные автором как фигуры первого плана, они не вели действия в романе, не помогли выявлению авторского замысла, потому казались «лишними» в произведении.

Когда после доработки романа этот недостаток был в некоторой мере исправлен, герои получили своё «рабочее место» (глав-

ное у них ещё впереди), то это привело и к более правильному распределению красок в произведении, а следовательно, и к более стройной композиции.

Особенно часто приходится встречаться с ненужными лицами в галерее второстепенных, по преимуществу эпизодических персонажей. Конечно, ни одно произведение не может обойтись без таких персонажей. Отсутствие их не только стеснило бы художника в выявлении основных героев, но и могло бы повести к нарушению правды жизни, типичности обстановки.

Но при всём этом писатель не имеет права вводить в произведение персонажей второго плана бесконтрольно. Немотивированное появление таких лиц создаёт литературную толчею. Неоправданное присутствие второстепенного героя в романе или повести отягощает повествование и уводит его в сторону от главного направления. Д. Фурманов был прав, говоря, что действующие лица «должны быть актуальны и всё время находиться в психологическом движении, никогда не должны быть мертвы и очень редко эпизодичны: ценнее, когда они участвуют на протяжении всего действия, почти до конца». Закономерны в произведении лишь такие второстепенные, эпизодические лица, которые не просто «обозначают среду», где действуют главные герои, а и сами не только названы по имени, но и наделены индивидуальными чертами. Человек, пусть и на втором плане повествования, всё-таки не «фон»!

Довольно характерный образец подобной «толчеи» действующих лиц являет, пожалуй, «Оттепель» И. Эренбурга.

Иметь дело не с «минимумом», а «максимумом» персонажей — особенность художественной манеры И. Эренбурга. Однако при несравненном умении писателя давать лаконические характеристики персонажи в таком, например, его романе, как «Буря», не кажутся безликими и схематическими. Там они одухотворены большой идеей романа, большой мыслью, большим стремлением. Они включены в действие, и это даёт возможность писателю сказать о каждом из них самое существенное. В «Оттепели» же, в которой авторская идея лишена подлинной страсти и в которой мало движения, персонажи даже первого плана — Володя Пухов, Журавлёв, Лена, Соколовский, Вера Григорьевна, Андрей Иванович, Сабуров, Коротеев, Танечка и другие — расселены с

явным отступлением от необходимых норм квадратуры площади и кубатуры воздуха. А ведь помимо этих основных, какое множество в повести второстепенных лиц, какое, мы позволим себе употребить это слово, мельтешение фигур, имён, фамилий на некотором удалении от первого плана: Брайнин, Надежда Егоровна, Глаша, Антонина Павловна, Барыкин, Хитров, Прохоров, Добжинский, жена Хитрова, Чижев, мать Чижева, Сибирцев, Белкин, Родионов, Горохов, Настя... Они, как справедливо отмечалось в критике, присутствуют в повести лишь как обозначение той или иной добродетели, чаще — порока. Разве могут итти в какое-либо сравнение бледные персонажи «Оттепели» с такими героями, как, скажем, Мадо, Сергей Влахов и другие, в которых действительно бьётся горячее сердце, течёт кровь, в которых воплощена любовь или ненависть самого И. Эренбурга?

В интересном романе И. Мележа «Минское направление» наряду с большим числом основных действующих лиц немало и эпизодических фигур. Многогеройность и многоплановость этого произведения обусловлены широтой его замысла: показать освободительную войну Советского Союза как войну общенародную. Но даже и такой объёмный замысел делает совершенно неоправданным, излишним присутствие в романе ряда персонажей.

Так, в некоторых главах накоротке появляется Живица — «человек... немолодой, со светлыми усами и давно не бритым подбородком», председатель колхоза из-под Минска, спешащий в родные места с Советской Армией. Кажется, что такой персонаж очень нужен для того, чтобы показать стремление советских людей скорее возродить разорённую врагом жизнь. Он в орбите темы. И однако же в романе Живица лишний. Лишний потому, что тот мотив, ради которого он введён в произведение, полнее и ярче выражен в других героях и сценах, хотя бы в той из них, где комиссар и командир партизанской бригады отбирают людей для мирной работы. И Живица не единственный лишний, повторяющий других персонаж романа. У танкистов, изображённых Мележем, далеко не у каждого своё лицо и свой голос, в ряде эпизодов их различаешь только по фамилиям.

Перенаселённость «Минского направления» второстепенными действующими лица-

ми не только сделала роман растянутым, но и нанесла больший ущерб некоторым основным героям произведения. Они оказались обеднёнными, так как некоторые свойственные им качества автор отдал их литературным двойникам из числа второстепенных фигур. Особенно это сказалось на изображении врагов. Так, образ гитлеровца Кляммта получился малоудачным и потому, что «положенное» одному Кляммту И. Мележ как бы распределил между тремя — Кляммтом, Вольфом и Рейзе.

Внешне появление многих второстепенных фигур в «Минском направлении» вполне оправдано. Наступает танковая бригада полковника Бессонова, наступает стрелковая дивизия генерала Щербатюка, ведёт бой в тылу врага партизанская часть Ермакова. На пути главных героев, естественно, встречается много самых различных людей. Но все такие встречи требовалось оправдать художественно, то есть показать как неизбежное и закономерное звено, необходимое для выявления основной идеи романа.

Вспомним высокие примеры.

Отправляя своего героя в своеобразное путешествие по России Гоголь. Но какое из «случайно» встреченных Чичиковым лиц не интересно, не нужно для «Мёртвых душ»? Ехал из отцовского поместья в Оренбург на службу молодой Гринёв. Надо полагать, не без встреч была его дорога, но с кем из эпизодических фигур «пожелал» свести его Пушкин? С ротмистром гусарского полка Зурниным в Симбирске и с хозяином постоянного двора где-то на большаке, между Симбирском и Оренбургом. Обе эти встречи необходимы для повести, а встречные оставили о себе вполне определённое впечатление, хотя сказано о них весьма мало. Зурнин явился для Гринёва как бы предвестием той жизни, которой будущий офицер себя посвящал. Образ же хозяина постоянного двора — ящичного казака, сочувствующего Пугачёву, — помогает показать массовый характер движения Пугачёва. Дорогу Гринёва Пушкин мог «обставить» приключениями, встречами с разбойниками, недоразумениями, и, надо думать, при его таланте сцены вышли бы исполненными занимательности и перед нами предстали бы интересные персонажи. Но великий художник не сделал этого: подобные сцены и фигуры пошли бы во вред произведению.

Чрезмерное обилие эпизодических лиц нередко возникает, пожалуй, от бессилия раскрыть закономерности жизни подлинно художественными средствами. У писателя не хватает мастерства изобразить своего главного героя посредством выявления его типических качеств в типических обстоятельствах. В таком случае внутреннее развитие характера подменяется внешними, не всегда оправданными встречами, столкновениями, разговорами.

Намечая героев своего произведения, думая об их ролях, писателю полезно помнить следующие слова Гоголя, сказанные в его заметках о романе:

«Всякий приход лица, вначале, повидимому, незначительный, уже возмещает о его участии потом. Всё, что ни является, является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя. Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным».

Нельзя не сказать ещё об одном источнике композиционной рыхлости и растянутости, чаще всего обнаруживаемом в произведениях молодых авторов. Источник этот — неумение трезво соразмерить цель и собственные творческие возможности.

Естественно стремление нашей литературы и литераторов к роману. Эта сложная, объёмная форма даёт возможность широко показать советскую жизнь, поставить многие волнующие проблемы современности, выразить к ним своё отношение. Пример Л. Толстого и М. Горького, создавших величайшие образцы многопланового эпического произведения, — перед взором каждого советского писателя. Но, думая об эпическом романе, проявляя творческую смелость, надо задуматься одновременно и над тем, хватит ли на это сил. Тут нельзя не привести хороших слов В. Г. Короленко:

«Средний художник поднимает в воображении двух, трёх, наконец, десяток-другой лиц. И чем больше расширит он свой захват, тем тусклее становятся образы. Воображение Толстого поднимает сотни и не сёт их с изумительной лёгкостью, как могучая река свои караваны и флотилии... В его картине сотни лиц, и каждое, даже случайно, мимоходом выпущенное на арену, тотчас же заявляет о своей яркой особен-

ности, насильно захватывает ваше внимание для своей собственной, личной жизни, не хочет уйти из вашей памяти.. При меньшей силе художественного кругозора эта буйная плодливость воображения могла бы стать роковым недостатком, столпление образов могло бы превратиться в настоящий хаос конкретных явлений, то есть потерять значение обобщающего художественного творения».

Некоторые молодые писатели, как уже было замечено, берутся только за роман, причём роман многоплановый, считая малые формы — рассказ, очерк, небольшую повесть — как бы мелкими водами, в которых невозможно развернуться их кораблю. На деле же часто оказывается, что для крупных полотен у них не хватает ни широкого знания жизни, ни мастерства.

Так получилось, в частности, у молодого писателя М. Старостина с его трилогией «Подвиг», выходящей в течение нескольких лет, книга за книгой, в Ставрополе. Вместо синтетического произведения о советском народе в годы Великой Отечественной войны вышел длинный, вялый и весьма слабого идейного наполнения роман.

Канонов и правил — с рассказа или романа начинать, — конечно, не существует. История литературы знает, что разные писатели входили в литературу и через большую форму и через малую. Но хочется, однако, подчеркнуть большое значение рассказа для начинающих писателей. Умение строить сюжет, динамично вести повествование, быть экономным в материале, филигранно работать над словом — всё это вернее и прочнее обретается в школе рассказа. Не потому ли большинство наших русских классиков начинало с этой школы? Горький до того, как перешёл к большой форме, ряд лет работал над рассказами и очерками. Короленко, Алексей Толстой, Куприн и многие другие также шли этим путём.

«Позвольте дать Вам хороший, практический совет, — наставлял в своё время М. Горький Вс. Иванова, — не пишите года два-три больших вещей, вышколите себя на маленьких рассказах, влагая в них сложные и крупные темы». В этом совете великого мастера младшему, но достаточно опытному литературному собрату. ошутимо слышен живой голос учителя и сегодняшней писательской молодёжи, проникнутый заботой о её росте, о большом будущем всей нашей литературы.

## 4

Явления жизни художник выражает в слове, и только в слове. И от того, как — умело или неумело — применено оно в романе или повести, произведение будет или кратким, или утомительно растянутым.

Мастерство композиции мы ставили в в связь с жизненным опытом и мировоззрением литератора. С полным основанием это можно распространить и на язык.

Нужное слово приходит не как плод пустой забавы, игры фантазии по поводу вообразаемых явлений, а как результат глубоко пережитого, продуманного и выстраданного писателем, оно — голос его сердца и разума. Хорошее знание жизни помогает находить такое слово, которое больше всего и лучше всего способно сказать о ней содержательно, кратко и вместе с тем ярко и своеобразно. Идейная же ясность авторской позиции, горячая убеждённость в том, что выражаемая мысль ценна, значительна, нужна народу, придает этому слову твёрдость, страстность, эмоциональность. Оно так становится в строку, что его оттуда не выкинешь.

Приблизительное представление о жизни, идейная неопределённость (не говоря уже о ложной идее, которую писатель пытается выдать за верную) чаще всего ведут к словесной невнятице, пустословию, языковой эквилибристике.

Конечно, глубокое знание писателем жизни, верность художника идеям коммунизма и народным идеалам ещё не делают его обладателем богатого языка. И потому немало ещё у нас повестей и романов, в которых хорош замысел, правильна идея, глубоки наблюдения писателя над действительностью, но художественное изображение лишено должной впечатляющей силы.

Накладным расходом на язык ложатся слова неточные и приблизительные, требующие рядом с собой новых слов — пояснений, уточнений, дополнений. Как известно, в русском языке для обозначения того или иного понятия существует обычно несколько примерно равнозначных слов, слов-синонимов. Однако в каждом конкретном случае для изображения данного настроения человека, данного явления и т. п. годится не любое из этих слов, а лишь то, которое с наибольшей точностью это настроение, явление раскрывает. Но в художественном произведении, помимо смысловой функции слова, исключи-

тельно важна его образно-выразительная, эмоциональная функция. В. Короленко уподоблял слово орудию работы и говорил, что «оно должно подымать за собой известную тяжесть. И только по тому, сколько оно захватывает и подымает за собой чужого настроения, мы оцениваем его значение и силу».

При этом следует заметить, что художественная литература вовсе не требует каких-то особых слов, лежащих за пределами основного словарного фонда.

Самыми обычными, простыми словами рисует, например, А. Фадеев в «Молодой гвардии» картину ночи, в которую молодые гвардейцы освобождают из концлагеря советских людей. «Стояла свежая, безлунная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Кустарник, подступивший здесь к самому берегу, шевелился над ними, река чуть светлела и катилась почти бесшумно, только где-то пониже у обвалившегося берега тихие струи её, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся крыши, то ли затагивая и вновь опуская какую-то лозинку, издавали посаывающий и причмокивающий звук, будто телёнок матку сосал». Но в этой словесной «обычности» так много необычного! Доводилось ли вам испытать подобное описанному или нет, вы всё равно ощутите свежую, безлунную ночь, увидите чуть светлеющую воду реки, услышите это еле заметное движение струй. Наглядность и музыкальность слиты в этой картине воедино. Ритм фразы напоминает медленное и бесшумное течение реки.

Подобное мастерство рисунка словом и способно дать картину, вмещающую бесконечно много содержания, настроения, впечатлений. Таким путём и достигается художественная экономия в языке. В. Белинский называл это тайной слога. «Тайна слога, — писал он, — заключается в умении до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет никакого слога, он может писать самым превосходным языком, и всё-таки неопределённость и — её необходимое следствие — многословие будут придавать его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, всякое слово стоит на своём месте, и в не-

многих словах схватывается мысль, по объёму своему требующая многих слов».

Каждый писатель по-своему, своей дорогой идёт к овладению тайной слога. Метод социалистического реализма предоставляет бесконечные возможности для проявления каждой творческой индивидуальности.

Предельно точно и выразительно стремится писать Вера Панова. Она достигает лаконичности главным образом благодаря тому, что хорошо видит своего героя, видит и в целом и в каждый данный момент его жизни.

В одиннадцатой главе романа «Спутники» рассказывается о встрече Лены Огородниковой с мужем. Встреча произошла на станции, внезапно — один поезд следовал на фронт, другой с фронта, и вот в толпе защитных гимнастёрок, высыпающих на перрон, Лена увидела Даню. Она забыла себя от счастья. Забыла настолько, что даже не сразу поняла жестокое и простое слова мужа о том, что он встретил другую девушку, полюбил и женился.

«Вдруг она поняла. У неё опустились плечи.

Он говорил, запинаясь:

— Я много думал: почему так случилось?.. Не знаю. Может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно.. Был угар. И когда мы разлучились, он прошёл..

— У меня не прошёл, — сказала она серыми губами.

Он не расслышал слов, но угадал их смысл — по её глазам, по движению её головы.

— Ты сумела это сберечь..

Она повернулась и пошла от него.

Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжёлой, чужой походкой.

Она шла изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, теперь давила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдёт сил сбросить его с себя».

Всё в этой сцене выпукло, точно, тонко, особенно, когда воспринимаешь сцену в общем течении повести. Слова самые вмести-тельные. Походку Лены Панова определяет тремя эпитетами, в порядке усиления впечатления — медленная, тяжёлая, чужая. Да, после страшного известия, внезапно сразившего Лену, она могла идти только медленно. Походка была и тяжёлой — это следующая ступень углубления характери-

стики состояния героини. И ещё одна ступень — чужая походка! Для кого чужая? Для Дани и, главное, для самой Лены, ибо слишком много извалила на неё судьба, и в эти минуты Лена стала другой, в ней что-то изменилось.

Заметим, что употребление нескольких эпитетов рядом с одним существительным иногда может вместо усиления впечатления привести к ослаблению его, к тавтологии, а следовательно, к многословию. Панова счастливо избегает этой опасности благодаря хорошему чувству слова. Она обычно не нанизывает друг на друга однозначные эпитеты, а подбирает такие, каждый из которых углубляет и расширяет впечатление. Данилов при встрече с женой после войны говорит «ласково, раскаянно и устало»; деревья в зимнем лесу стоят «так статно, пышно, богато — на подбор, как отборная рать»; юноша Данилов, придя к Фанне, чувствует себя «косопалым, ничтожным и совершенно не интересным для неё».

Лаконизм Пановой таков, что картина, нарисованная писательницей, не делается плоской, а, напротив, обладает рельефностью, пластикой, вызывает отклик в душе читателя. Секрет этого, на наш взгляд, заключается в том, что Панова, рисуя портрет, пейзаж и т. д., умеет отобрать и наиболее важные признаки изображаемого объекта, отказывается от описания малосущественного, а следовательно, и от расходования лишнего языкового материала.

Мы не склонны видеть в языковой манере В. Пановой единственно возможный путь для достижения краткости. Это лишь одна из многих удачных творческих манер, известных литературе социалистического реализма. У Пановой свой хороший слог, а только обладая хорошим слогом, можно писать сжато, точно, красиво.

Отсутствие хорошего слога — беда небольшого числа романов и повестей, выходящих в наши дни.

И в этой связи мы вынуждены ещё раз обратиться к «Матросам» А. Первенцева; произведение это написано ниже возможностей автора, в чём убеждает не только его прошлое творчество, особенно роман «Кочубей», но и некоторые хорошие места самих «Матросов». Язык произведения изобилует выражениями, лишёнными сколько-нибудь заметной внутренней силы, слова-

ми, которые ничего «не поднимают за собой».

Роман начинается описанием прибытия крейсера «Молотов» на Севастопольский рейд. Автор пространно рассказывает, что делали матросы, какие при этом подавались команды и т. д. Однако художественного, пластического изображения он не достигает:

«Одетые в белые кители командир корабля и его старший помощник перешли с мостика на шкафут, о чём-то беседуя.

Как только был заведен на бочку троси корабль накрепко соединился с грунтом — морским дном, на носу был поднят гюйс — крепостной флаг.

Затрепетавший лёгким полотнищем гюйс означал: корабль и на стоянке является грозной боевой крепостью, способной в любой миг нанести врагу сокрушительный удар.

Вся эта заранее распisanная и отработанная техника постановки на бочку требовала от экипажа в целом и от каждого моряка в отдельности блестящей выучки, сноровки, дисциплины.

Когда вслед за стальным тросом на бочку была заведена якорная цепь, а вахтенная смена заняла места согласно табелю якорных вахтенных постов, главному боцману представилась возможность снять не более чем на одну минуту свою старенькую фуражечку с прозеленевшим «крабом» над козырьком и быстрым движением руки вытереть пот с лица».

Образно-выразительная сила слова в этом описании использована чрезвычайно слабо; выбор слов, расстановка их в значительной мере случайны. К чему, например, в абзаце «Вся эта заранее распisanная и отработанная техника постановки на бочку требовала от экипажа в целом и от каждого моряка в отдельности блестящей выучки, сноровки, дисциплины» подчёркнутые нами слова? Они не нужны по смыслу и придают всей фразе оттенок канцелярщины. Понятия «выучки» и «сноровки» тождественны: сноровка достигается посредством выучки, выучка включает в себя сноровку. Мешает в данной сцене увидеть действия моряков и такое выражение: «Когда... вахтенная смена заняла места согласно табелю якорных вахтенных постов», ибо мало кому ведом и «табель якорных вахтенных постов» и порядок занятия их «вахтенной сменой».

Значительную часть словесного материала в произведении писатель обычно затрачивает на разговоры действующих лиц. Умелое пользование диалогом может сообщить стремительность повествованию, ускорить течение событий, следовательно, послужить средством достижения художественной экономии. Но в диалоге же таится опасность и потерять темп, растянуть, замедлить повествование. Здесь важна роль, какую отводит писатель диалогу, и его смысловая и эмоциональная нагруженность, умение писателя индивидуализировать язык действующих лиц.

В первой главе романа Николая Чуковского «Балтийское небо» майор Лунин, приехав в авиаэскадрилью, неожиданно для себя присутствует при разговоре командира эскадрильи капитана Рассохина с лётчиком Байсеитовым по поводу весьма трагического события. Ведущий Байсеитов был убит, и комэск связывал это с неправильными действиями в бою ведомого.

«Ты бросил его аккуратненько, — говорил Рассохин, с ненавистью глядя ему (Байсеитову. — И. К.) в лицо. — Ты его ведомый и должен был смотреть, чтобы никто не зашёл к нему в хвост. А ты аккуратненько бросил его.

— Я сбил «юнкерс», — сказал горбоносый, глядя на Рассохина прекрасными, слегка навывкате глазами.

— Плевать я хотел, что ты сбил «юнкерс»! — крикнул Рассохин. Он побледнел от гнева, и веснушки у него на лице стали ещё заметнее. — Ты погнался за «юнкерсом», а его застрелили. Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего. Не бывает!

— Я сбил «юнкерс», — повторил горбоносый упрямо и обернулся.

Он, видимо, уже очень много раз повторял эту единственную фразу.

Рассохин ударил веснушчатый кулаком по столу. Он хотел крикнуть, но бешенство перехватило ему горло, и он почти прошептал:

— Пошёл вон!»

Этот короткий диалог стремителен и сам по себе и придаёт динамичность всему действию. Вместе с тем он и чрезвычайно богат по содержанию, посредством него решается одновременно несколько задач.

Прежде всего Лунин узнаёт командира эскадрильи, своего начальника. Узнаёт же в порядке «обычного» знакомства, про ко-

торое принято говорить, что первое впечатление обманчиво, а знакомства необычного — без обиняков, без недоговорённости. Лунин узнаёт, далее, из разговора атмосферу, которой живут в эскадрилье, атмосферу боевого товарищества, кровной дружбы и суровой, боевой дисциплины. Суворовское правило: «Сам погибай, а товарища выручай» — здесь закон. Узнавая людей эскадрильи, Лунин в какой-то мере раскрывает и самого себя. И люди и обычаи подразделения ему по душе, он попал в хорошую среду, в его натуре многое сродни этим честным, самоотверженным воинам.

Язык разговаривающих — от синтаксического построения фразы до жаргонных «аккуратненько» и «плевать я хотел» у Рассохина — существенные штрихи образов. Слушая этот разговор, видишь его участников, как живых.

Однако некоторые наши романы и повести разбухают как раз за счёт неумелого и неумеренного применения диалога. Авторы таких произведений превращают диалог в универсальное средство, в равной мере пригодное для решения любой художественной задачи. Персонажи у них излишне говорливы, предмет их разговора неоправданно бессодержателен, а язык стёрт и невыразителен.

В романе кишинёвского писателя Н. Муратова «Кодры» — произведении в целом интересном, но чрезвычайно растянутом — львиная доля площади отведена диалогу. Автор иногда понуждает героев вступать в словесное общение по такому поводу, сущность которого короче и ярче можно было бы передать другими способами. Нередко в разговоре действующих лиц подробно повторяется то, что уже сообщалось в авторской речи. Такова, скажем, беседа Петра Николаевича Кожухаря — секретаря укома партии — со своим тестем, крестьянином Василием Алексеевичем Дарнику. О факте, уже известном читателю, — о том, что машина, принадлежащая Кожухарю, испортилась в дороге и её захватили немцы, шофёр же сбежал, — персонажи говорят долго и нудно:

«— Они торопились. Машину, конечно, забрали...

— А шофёр?

— Сбежал.

— С вами?

— От нас.

— С немцами?

— И от немцев.

У Кожухаря мелькнула мысль: хорошо, что шофёр не знает ничего об отряде.

— Ну, дальше, Василь Алексеевич... Жаль...

— Что жаль?

— Человек пропал.

— Какой человек?

— Шофёр. Ведь был человеком, а стал...

— Струсил он!.. Я тебе всегда говорил — жидковатый он мужичишка, так себе, между прочим.

— Ну, чёрт с ним. Немцы?..

— Немцы покрутились вокруг машины и тоже не сладили с ней. Зажгли её.

— А вы?

— По лесу шли, всю ночь.

Право же, всё содержание этого разговора могло уложиться в две сжато написанные фразы...

Особенно хочется сказать об одном изобразительном средстве, которое во многом повышает художественную ёмкость языка. Мы имеем в виду употребление в речах действующих лиц, а также в авторской речи крылатых слов, метких народных выражений, афоризмов.

Вспомним, как широко и как плодотворно пользовался М. Горький этим средством, как оно помогало ему ярче, короче, энергичнее характеризовать героя, его манеру говорить и, следовательно, его манеру мыслить.

Лучшие наши прозаики успешно осваивают богатый опыт Горького в работе над языком. В трилогии Ф. Гладкова («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»), например, эта горьковская традиция проявилась с большой силой и эффективностью. Сколько здесь поговорок, пословиц, метких выражений, концентрирующих народную мудрость, сильнее подчёркивающих социальную типичность персонажей произведения!

Ф. Гладков плодотворно использует в трилогии и другой приём повышения языковой ёмкости — он умело применяет местные речения, провинциализмы. Известно, что Горький, борясь против засорения языка диалектизмами, допускал, однако, употребление подобных слов в речи действующих лиц в количествах, потребных для их лучшей характеристики. Благодаря особой нагрузке, падающей на такое местное слово в общем контексте правильной литературной речи, оно более концентрированно пе-

редаёт нужное впечатление, интонацию. В «Лихой године» мужик-возница произносит слово «бьяда». И мы лучше видим и слышим говорящего, видим его какого-то ошарашенного, пыльного, «в заскорузлой от пота и грязи рубахе, в измятом картузе, надвинутом на переносье», слышим его невнятное, повторяемое каждый раз со стоном «бьяда... везде бьяда».

Правильность употребления того или иного средства художественной выразительности, необходимость и целесообразность того или иного слова в определённом контексте определяются замыслом, идеей, содержанием произведения в целом и отдельных его глав и сцен. Практически же это подсказывается автору его художественным вкусом. Вкус, чувство меры, чувство соразности — важнейшие составные части таланта.

Нарушение меры, перенасыщенность языковой ткани произведения метафорами, сравнениями, уподоблениями и т. д. мешает глубокому и ясному раскрытию сущности событий, ведёт к ложному украшательству, замедляет повествование, затрудняет восприятие.

Лучшими в своей повести «Баррикады» П. Павленко считал — и мнение автора совпадало с мнением читателей — те места, «где язык прост и краток». «Самая маленькая попытка, — говорил он, делясь опытом работы над повестью, — принарядить фразу отнимает долю образности от описываемого в пользу просто начертанного на бумаге, от смыслового в пользу графического. Фраза может богатеть только за счёт внутреннего образа, образа содержания. Хотите, чтобы изображаемое вами было ярче, — опишите его проще.

Пышная, нарядная фраза, утыканная щегольскими метафорами, может стать «приёмом» сознательного, произвольного обеднения внутреннего образа. Чрезмерная метафоричность языка, кроме того, ещё и утомительна и, оказывается, не всегда целесообразна».

Современная советская проза значительно преодолела болезнь украшательства, орнаментализма, так характерных для нашей литературы двадцатых и отчасти тридцатых годов, и в этом — один из показателей её зрелости. Однако иногда ещё проявляется склонность к «красивости», велеречивости.

А. Толстой как-то сказал: «Язык двигается к точности и выразительности через про-

стоту и экономии... Будем мыслить, что мы идём к такому совершенству, когда возможен, например, литературный скандал по поводу лишнего или неправильного эпитета».

Оснований для таких «литературных скандалов, к сожалению, ещё немало. В «Волге матушке-реке», например, Ф. Панфёров пишет:

«По степи уже бродили вихри пыли, на-  
поминающие футболистов: вдруг там и там  
поднимется чёрный, уходящий ввысь, как  
морской смерч, вихрь и побежит, побежит,  
а навстречу ему другой — и вот они оба  
столкнулись и рассыпались или в виде ог-  
ромного штопора поднялись и ввинчивают-  
ся, ввинчиваются в голубое, чистое небо, да  
так, играючи, и убегают куда-то вдаль».

Зачем, спрашивается, в этом неплохом описании степного вихря пыли потребова-  
лось прибегать к неестественному сравне-  
нию его с футболистами? Зачем, далее, по-  
требовалось нанизывать несколько, к тому  
же противоречащих друг другу, сравне-  
ний — и «футболисты» и «морской смерч»?

В повести М. Стельмаха «Над Черемо-  
шем» читаем:

«Перед глазами Степана проплывают кур-  
чавые полосы свёклы. Чистые голоса расчё-  
сывают её густые, как девичьи косы, ряд-  
ки»; «Дорога, изогнувшись, круто подни-  
мается на кладбище, словно в знак того,  
что даже после смерти отголосок человече-  
ской души взлетает ввысь»; «Карпаты вели-  
чественно колышутся в весеннем мареве.  
Кажется, синие от пихт и зелёные от лугов  
горы перегоняют, спускают в долину сол-  
нечное золото и оно в грузном неводе по-  
качивается на волнах Черемоша».

Повесть перенасыщена подобными  
усложнёнными сравнениями, изображаемая  
в картине действительность подчас теряет  
реальные очертания, вместо поэтичности  
языка получается невнятное многословие...

«Щедрость» писателя на слова в романе  
или повести имеет в своей основе и то не-  
верное, но распространённое мнение, что  
язык прозы не столь уж строг в отношении  
словесного материала, как язык поэзии. Но  
это далеко не так. Язык прозы — настоя-  
щий, а не суррогат его — требует большой  
внутренней дисциплины, собранности, сво-  
его ритма, определённого грамматического  
и синтаксического строя, определённых  
слов, определённых эпитетов, обусловлен-  
ных в каждом случае. идей, всей образ-  
ной логикой произведения.

Опыт лучших прозаиков русской класси-  
ческой и советской литературы достаточно  
убедительно свидетельствует, что лишь  
определённые слова и в определённом соче-  
тании способны выразить мысли и чувства  
художника и найти отклик у читателя.  
Потому, например, Л. Толстой смотрел на  
расстановку и перестановку слов в фразе,  
как на дело важнейшее во всём творче-  
ском процессе, и потому работа эта — и в  
рукописи и в гранках — доводила его до  
иступления.

«Муки слова» — так издавна именуется  
работа писателя над языком. И, по спра-  
ведливому утверждению поэта, «нет на  
свете мук сильнее муки слова». Об этих  
муках сказано немало, и нам хочется при-  
вести лишь один пример, достойный подра-  
жания.

На одной из читательских конференций  
А. Новикову-Прибою задали вопрос, почему  
он долго пишет роман «Капитан первого  
ранга». «Долго? — переспросил писатель. —  
А знаете, сколько я передумал, извёл бу-  
маги, пока нашёл вот такую сцену: к де-  
вушке на приморском бульваре под-  
ходит моряк и, желая познакомиться,  
говорит: «Разрешите бросить якорь у ва-  
шей скамейки?» — и слышит в ответ: «По-  
пробуйте, только место здесь такое, что  
может не зацепиться».

Однако некоторым нашим прозаикам  
муки слова ведомы мало. Они пишут не-  
оправданно легко, а точнее, легкомысленно.  
Кое-кто считает, что достаточно открыть  
тему, собрать интересный материал, кое-  
кто пишет по принципу того литературного  
Стёпы, над которым в своё время издевался  
Маяковский:

То ли дело  
наш Стёпа,  
— забыл,  
к сожалению,  
у него фамилию и отчество,—  
в стихах  
Коминтерна топот!..  
Вот это —  
настоящее творчество!  
Стёпа —  
кирпич  
какого-то здания,  
не ему  
разговаривать вкось и вкривь.  
Стёпа  
творит,  
не затемняя сознания,  
без волокиты аллитераций  
и рифм...

При чтении растянутых, вялых, многословных произведений невольно приходят на память слова Н. Г. Чернышевского: «Иногда приходит охота представить осязательное доказательство того, какой вред приносит растянутость, какой интерес, силу и даже красоту придаёт сжатость, сделав из какой-нибудь растянутой повести, прошедшей незамеченною, «извлечение», «экстракт», который бы выказывал её достоинства, погибшие в пучинах многословия...»

Некоторые наши писатели недостаточно требовательно относятся к своей работе, плохо учатся у великих художников прошлого и лучших современных мастеров. Они словно забывают, что ни один подлинный талант не обходится и не обходился без того, чтобы многократно переписывать, пе-

ределявать, сокращать свои произведения. В черновиках русских классиков, например, Л. Толстого, имеется огромное количество прекрасных жанровых сцен, характеристик, диалогов, описаний природы, которые не вошли в окончательный текст их произведений по многим причинам, и одна из них — стремление к сжатости. Такова же практика и лучших советских писателей. А. Фадеев переписывал «Разгром» четыре раза, а отдельные главы («Пути-дороги» и «Груз») — свыше двадцати раз.

Проблема художественной экономии, сжатости, соразмерности и сообразности всех элементов формы с замыслом произведения является одной из важнейших проблем мастерства, которое утверждает и за которое борется литература социалистического реализма.



К. ГОРБУНОВ

★

## ЧЕРТЫ ЖИЗНИ

**Ш**ифры — не враги, а спутники живого восприятия. Уместно поэтому для начала привести некоторые подсчёты и справки.

Вышедший недавно коллективный сборник «Башкирские рассказы» включает шестнадцать произведений, принадлежащих перу восьми авторов. Каждый рассказ сопровождается датой написания. «Бедняки» Мажита Гафури, открывающие книгу, помечены 1907 годом. Эта небольшая повесть наиболее видного зачинателя башкирской литературы, оставившего после себя значительное художественное наследство, написана кровью сердца и напоминает о том жестоком прошлом, когда капиталистический город морил голодом, терзал холодом несчастных обитателей подвальных и чердачных каморок. Помещённый в конце сборника рассказ «Незванный гость» Ибрагима Абдуллина, одного из представителей молодого творческого поколения, относится к 1954 году. Писатель изображает колоритную фигуру председателя колхоза.

Таким образом, в расположении материала подчёркнут принцип хронологичности. Чернорабочий-подёнщик Шариф из «Бедняков» почти на полвека старше хлопотливого руководителя артели Сахи из «Незванного гостя». Амплитуда времени довольно внушительная. За эти десятилетия потоки воды унесла река Белая, много ветров прошумело над нивами и дубравами Башкирии. Строительство социализма существенно изменило пейзаж республики, а душа человека в процессе радостного созидания воспрянула, помолодела.

О чём могли мечтать замытаренные нищетою Шариф и его жена Бадри? Что видели они вдаль и по сторонам своими подслеповатыми от тоски и трахомы глазами?

Один — словно пожизненный невольник, обречённый до гробовой доски с отупляющим однообразием вертеть жернова чужих мельниц. Другая отдала свою молодость дымному очагу и стиральному корыту. Заработать случайный гривенник и хоть раз в неделю всей семьёй наесться досыта похлёбки из конской требухи — вот предел желаний этих пасынков судьбы.

Мажит Гафури должен был проявить большое мужество и высокое понимание гражданского долга, чтобы не отвернуться с содроганием от гнилого угла нужды, где взрослых пожирает туберкулёз; а дети обезображены рахитом. Такт художника-реалиста не позволил ему при этом впасть в натуралистические излишества; вера в людей и человечность, несомненно почерпнутые у Горького, уберегли от чёрного пессимизма.

Морозный зимний день прошёл для горемыки Шарифа в унижении перед богачами, в жестоких физических испытаниях. Но, принеся домой скудную добычу, он сразу преобразился, почувствовал себя хозяином: в ожидании ужина. «как и подобает главе семьи, растянулся на нарах и лениво следит за домочадцами». А маленький Худайбирде выхватил из печки тлеющий прутик, быстро размахивает им в тёмной комнате, и перед глазами у него как бы извивается золотая змейка. Повеселевшая семья теперь просит алаха лишь об одном: чтобы за ночь наметло высокие сугробы снега, тогда Шарифу хватит работы по очистке дворов и тротуаров.

Жизнелюбовость простых людей достойна удивления. Но правдивый Мажит Гафури оскорблён злым парадоксом своего века: Шариф, до нитки ограбленный алчными хищниками, и сам незаметно превратился в какого-то жалкого скрягу, по уши завязшего в подсчёте съедаемых кусков хлеба.

Он духовно опустошён, и ему вряд ли интересно знать, что творится на белом свете, за прогнившим порогом собственной кобуры.

Карающего суда заслуживают злодеи, виновные в страшном падении человека. И от писателя ждётся призыва к возмездию. Однако после поражения первой русской революции Мажит Гафури не смог провозгласить это гневное слово. Его герои гибнут от голода и недугов. Они фаталистически видят свободу в избавлении от земной юдоли. Они избалуют молча:

«— Горе оставшимся в живых!.. Смерть избавила её от гнёта жизни... Теперь ей всё равно, даже если её просто выкинут из дома... Когда её выгоняли из богатых домов, она проливала слёзы... Теперь она не просит у богачей ни помощи, ни пожертвований, ни сострадания».

Ну, а что можно сказать о Сахи — героине «Незваного гостя»? О, это совсем иной, особого склада человек! Вместе со своими беспокойными сверстниками он разворочал плугом окаменевшие от древности единоличные межи. И теперь хозяйство артели такое, что за день не обойдёшь, не оглядишь. Усилиями современников Сахи были заложены и поднялись густым лесом вышки Ишимбаевских и Октябрьских нефтяных промыслов. Пафосом преобразовательной деятельности, так присущим советским людям, окрашен рассказ Ибрагима Абдуллина.

Но если подробнее разобраться в самобытном характере Сахи, то обнаружишь некоторые любопытные черты, заслуживающие в художественном произведении более правильного истолкования.

Сахи как председатель колхоза старается самолично уследить решительно за всем, не полагаясь ни на кого. Ему хотелось бы взвалить на себя каждую тяжёлую ношу. Действительно, есть такие слишком усердные руководители. Ибрагим Абдуллин правильно подметил, что они нередко связывают инициативу других работников.

Но в чём истоки беспокойства Сахи? Вот тут наблюдательность изменила автору, и он в поспешности принял за всю правду только половину её. По его мнению, всё дело в природной суетливости председателя. Не лишён Сахи и доли тщеславия: дескать, пусть колхозники смотрят — в полную мощь тяну, не зря выбрали. Всё это приемлемые детали портрета. Но не следовало брать их как единственные да ещё увеличивать до

неправдоподобных размеров. В самом конце рассказа председателя, чуть ли не связанного, отправили отдохнуть. Возвращаясь из отпуска, он проезжает колхозным полем и ведёт с шофёром такой разговор:

«— Абдрашит, почему тракторы не работают?»

— Всё, что полагалось, вспахали, дядя Сахи.

— А к очистке семян, должно быть, ещё не приступили?

— На прошлой неделе кончили, дядя Сахи».

Получается, что мнительный председатель мало сказать не доверял бригадирам, но и вообще плохо, может быть, руководил колхозом: ведь в его отсутствие с работой справились скорее. Такая концовка противоречит всему содержанию рассказа и является непредвиденной для самого автора.

Эта неожиданность не могла бы случиться, если бы Ибрагим Абдуллин увидел в характере своего героя не только суетливость и тщеславие, но и другие начала и постарался бы серьёзно развить их.

Да, Сахи ещё не научился распределять обязанности между своими помощниками, и ему не чужды вспышки честолюбия — изъяны, вполне устранимые. Всё же людьми такого типа сильнее владеет совсем иная страсть — бескорыстное служение народу. Ради счастья ближних они, порой с ненужным рвением, готовы впрячься в любой воз и ничего не оставить другим. Они не мыслят ни одного дня вне забот, интересов, стремлений коллектива. При перешагивании своих недостатках характера Сахи владеет драгоценным качеством, которое заставляет видеть в нём человека новой морали.

Таковы эти два героя первой и последней страниц книги, столь не похожие друг на друга. Один — жертва корыстного и тёмного царства — ничем не владеет, но каждому должен. Другой — ревностный труженик, хозяин своей жизни.

## 2

Повидимому, идея сборника заключается в том, чтобы на характерных примерах показать, как развивалась «малая форма» башкирской сюжетной прозы и в каких наиболее примечательных образах мастера этого жанра запечатлели полувековую историю своего народа, насыщенную драматизмом острой социальной борьбы и пате-

тикой строительства нового мира. Должно было получиться нечто вроде небольшой антологии рассказа.

Замысел плодотворный, содержательный. К сожалению, он выполнен не до конца.

Существенные, ничем не оправданные пробелы мешают восстановить полноту картины. Вслед за произведением Мажита Гафури, относящимся к началу столетия, помещены два рассказа Сайфи Кудаша. Ранний из них — «Первое письмо» — помечен 1934 годом. Второй — «Дедушка Гимади» — появился пять лет спустя.

Сайфи Кудаш — литератор старшего поколения. Его творчество последовательно и ярко отражает жизнь башкирского народа. И остаётся только пожалеть, что из рассказов талантливого писателя отобраны по мастерству не лучшие, а тематически — не самые значительные.

В «Первом письме» говорится о том, как пожилые супруги — тётушка Гюльбика и дядюшка Тимеркай — научились грамоте и послали сыну-красноармейцу весточку. Трогательна радость ещё недавно тёмных людей, приобщившихся к культуре. Рассказ ценен тонкими бытовыми наблюдениями. Но некоторые его детали неубедительны. Так, некто Гилаго не хочет учиться только потому, что он сын пономаря. А тётушка Гюльбика пошла в школу лишь после того, как сестра кулака Гаффа насплетничала, будто Исанбай на занятиях пленился вертушкой Зифой.

«Дедушка Гимади» продолжает ту же тему. В колхоз первый раз прибыла кинопередвижка. Сколько шума по деревне, радости среди взрослых и малых! Автору и здесь удалась жанровая зарисовка. Но ради обострения интриги он опять утрачивает чувство меры. Бригадир Салим, стараясь заманить «консервативного» деда в кино, пускается на сомнительную выдумку:

«— К нам в деревню приехали товарищи Ленин и Сталин...

— Настоящие Ленин и Сталин? — всё ещё не верил дед Гимади.

— Настоящие.

— И разговаривают?

— А как же».

Имеется в виду звуковой фильм «Ленин в 1918 году». От первого до последнего кадра дед принимает картину за реальность. Происходит ряд неуместных для данного случая недоразумений. Наивность деда

была хороша в начале сеанса. А к концу она доведена до абсурда.

Полезно было бы включить в книгу более сильные рассказы Сайфи Кудаша, например, «Когда были помещики».

Проникновение культурной революции в башкирскую деревню — вот, собственно, с чего начинается в сборнике советская тематика. Нет в нём рассказов об эпопее гражданской войны; героев произведений не видно под знамёнами легендарной Чапаевской дивизии, которая, как известно, форсировала Белую и разгромила под Уфой отборные силы врага. Нет и рассказов о великом переломе в индустрии и сельском хозяйстве Башкирии: даже не упоминается о том, как в республике закладывались пробные скважины на нефть и организовывались первые колхозы.

Неужели башкирские литераторы не создали ни одного хорошего рассказа на важнейшие темы? Подобное утверждение было бы ошибочным. Изъяны составления сборника нельзя отнести за счёт писателей. Взять хотя бы творческий архив покойного Гайнана Хайри. В нём немало заслуживающих внимания рассказов. Некоторые из них посвящены временам становления советской власти и начала коллективизации в Башкирии. Отсутствие именно такого материала и обедняет сборник. Но ничья любознательная рука не прикоснулась к творческому архиву товарища по профессии, который уже не может подать за себя голос.

После «Первого письма» и «Дедушки Гимади» в ряде рассказов освещена вторая половина тридцатых годов. И вдруг ещё прыжок через шесть лет. Очерковая зарисовка Сагита Агиша «Сторожиха Гайша» относится к 1945 году. А последняя группа произведений помечена в книге уже пятидесятью годами.

И снова сборник создаёт впечатление, что в рассказах башкирских писателей не нашли отражения важнейшие темы современности (Отечественная война, послевоенный труд советского народа). Между тем славные сыны башкирского народа участвовали и в штурме угрюмых стен гитлеровского рейхстага, работали и в стахановских бригадах, заливавших асфальтом широкие площади нового Сталинграда.

Читая этот не очень-то объёмистый томик, можно и впрямь подумать, что писатели Башкирии обращались к рассказу неохотно,

от случая к случаю, будто жанр развивался «скачкообразно», какими-то рывками.

На самом же деле произошло печальное недоразумение. По странной беззаботности мы иногда недооцениваем результаты собственного труда. Рассказ с давних пор и не престанно культивируется в башкирской литературе. В малых каплях последовательно отражалась цепь больших событий. Художественные достоинства, бесспорно имеющиеся в сборнике, опираются на весь прошлый и теперешний опыт.

Достижения могли быть продемонстрированы гораздо внушительнее, если бы список авторов в оглавлении не подвергся беспричинному ограничению. Из круга участников незаслуженно выпал Гариф Гумер, работающий над рассказами. Женщин-писательниц по праву должна была представить одарённая Зейнаб Бишшева. Русские читатели знают Акрама Валеева больше как стихотворца, пора шире познакомиться с его прозой. Не следовало забывать и Али Карная. Этот краткий перечень далеко не исчерпывает всех возможностей.

### 3

Но есть в книге более серьёзный недостаток. Авторы рассказов почему-то не затрагивают тему индустриального труда.

И это после того, как Анвер Бикентаев опубликовал в Уфе «Дорогу Карася» — роман о нефтяниках. Труженики социалистической промышленности действуют и на страницах романа Кирея Мэргэна «На склонах Нарыш-тау», уже выпущенного в русском переводе издательством «Советский писатель».

Высказывается соображение о том, что производственному сюжету тесно на площадке рассказа. Не является ли это иносказательным признанием недостатка мастерства и слабой веры в свои способности? Ведь подлинный художник не примеряет фигуры к куску холстины. Он сначала вообразит, проработает вчерне масштабы и пропорции картины, потом уже натянет полотно на подрамник.

Как бы то ни было, для авторов «Башкирских рассказов» осталась обойдённой огромная, густо населённая и необычайно насыщенная деятельностью область жизни, с её героями, с её заводами, шахтами, доменными печами, железными дорогами, нефтяными вышками, где человек мудрее всякого волшебника управляет сложнейши-

ми и могучими агрегатами, заставляя их работать для торжества коммунизма.

Зримо, с хорошим знанием среды герои книги показаны в поле и на огороде, в лесу и на лугу. Случайно встречаешь их в приёмной руководителя неизвестного учреждения, в канцелярии сельпо («Сторожиха Гайша» и «Счетоводы» Сагита Агиша). Но они сторонятся мастерских и гаражей МТС, хотя частенько ведут беседы о тракторах и комбайнах. Оно и понятно: труд в современном колхозе, борьба за высокие урожаи и увеличение скота в стадах совершенно немислимы без применения передовой агронауки и соответствующей техники. Машина органически вошла в будний обиход деревни, в круг понятий и представлений её жителей. И, вынося на страницы рассказа общее собрание колхозников, нельзя не дать слова представителям новых профессий, механизаторам, потому что они нужные и уважаемые люди, аудитория ждёт их выступлений.

Но всё это лишний раз энергично напоминает о том, что писателю никак нельзя ограничиваться только формальным упоминанием о технике в колхозном производстве, не включая моторов, не ставя к управлению ими опытных людей.

Есть и ещё одна сторона дела, столь же важная. Заключается она в следующем простом соображении: машины, без которых теперь в артельном хозяйстве руками не развести, где-то и кем-то делаются. И колхознику артели отнюдь не безразлично, как сработана картофелесажалка, сколько она стоит, хороша ли в поле. Ему близки, сродни труд и быт заводского рабочего. Цель у пахаря и металлурга одна. Их интересы неразрывны, а общение стало живым и буквально повседневным.

Не надо далеко путешествовать в поисках впечатляющих примеров. И в столице республики — Уфе — и в любом районном центре можно наблюдать житейско-деловые и дружеские встречи, о которых часто рассказывается в газетах. Вот в машинном отделении мельницы глава делегации подшефного колхоза деликатно толкует с механиком-партгором об изготовлении «в порядке часового суботника пустяковых деталек», которые «до самой крайности нужны». А несколько позже хозяева и гости сидят в завкоме за огромным самоваром, пьют чай с местным знаменитым мёдом, и разогрев-

шие делегаты заверяют, что «отказа в полной загрузке мельничной промышленности зерном не должно быть».

Пусть литератору по тем или иным творческим соображениям не представилось возможным перенести действие непосредственно в цех. Но факты, убедительно свидетельствующие о многообразных и крепких связях города и села, если он хочет быть вдумчивым и правдивым летописцем своей эпохи, не могут не привлечь его внимания.

Так и произошло в рассказе Дениса Исламова «Гость с Кубани». Автор нашёл сердечные, искренние слова, показывая дружбу двух молодых комбайнеров: башкира Арслангарея и украинца с Кубани Андрея Бондаря. Товарищеские отношения возникли в процессе общего труда. Парни отлично справились с уборкой высокого колхозного урожая. И они понимают, что успеха добились благодаря первоклассным машинам, выпущенным нашей промышленностью. Ведь от степного корабля марки «Сталинец», на котором работает Арслангарей, «ещё краской пахнет».

Тема дружбы и труда у Дениса Исламова не лишена драматизма. Своенравная и волевая Рашида робкому увлечению Арслангарея предпочла смелое, широкое чувство Бондаря. И тут уж ничто не может изменить и отец девушки — колхозник Шайхулла-агай, считающий, что «любовь жизнь украшает... отец всегда желает счастья своему ребёнку». Лирична в рассказе грусть покинутого Арслангарея. Но этой горечи не дано перейти в ненависть, потому что очень крепкие узы связывают всех участников коллизии.

Правда, вызывает сомнение не совсем правильная разработка сложного психологического мотива: добровольное отречение Арслангарея от возлюбленной. В его настроении есть не очень приятный оттенок, будто он Рашиду «уступил» Андрею из дружбы. Но как можно в наше время «уступить» или «не отдать» девушку, совершенно свободную в своём выборе? Скорее всего Арслангарей, поняв, что он лишний, отошёл в тень не так уж легко, как думается автору. Впрочем, эту шероховатость нетрудно устранить. Достаточно убрать два-три неловких штриха, положить новые — и рисунок получит более верное решение.

Не оправдывает ожиданий рассказ «Авторитет». Между тем автор его, Шакир Насыров, — очень своеобразный писатель.

Соблюдая необходимый такт и меру, он удачно пользуется сатирическо-гротесковыми тонами. Избранная им манера вполне оправдала себя в «Летучей мыши». Непривлекательный портрет сварливой лжеколхозницы, ханжи Шамсибанат, по прозвищу Ярганат (летучая мышь), нарисован с темпераментом, сочно. Угадывается также и простодушно-прямой характер Асгата-зловязычного, от лица которого ведётся рассказ, насыщенный своеобразными оборотами речи.

Но изображение отрицательного героя в «Авторитете» явно страдает неполнотой и недоговорённостью. Это тем более досадно, что поначалу думаешь — нашёлся в сборнике хотя бы единственный рассказ, в котором вроде бы изображаются люди индустриального труда.

На реке Белой участвует в строительстве плотины для электростанции местного значения простой, искренний парень Тагир, полюбивший девушку Гюльназ, о которой выразительно сказано: «Чуть поведёт она ресницами — и каждый готов хоть семьдесят лет тесать на дороге камни. Впрочем, именно это и заставляет она нас делать. Гюльназ — дорожный мастер».

Окрылённый счастливой любовью, Тагир совершает трудовые подвиги, входит в славу. И тут совсем неожиданно взбеленилась в нём спесивая душонка: «...такой авторитетный человек, как я, должен заботиться о своём поведении». Надо теперь «как подобает шагать, держать корпус, поворачивать голову». А когда Гюльназ пригласила его на вечеринку потанцевать, он «почувствовал себя неловко, больно несолидно показалось». В конечном счёте жизнь одёрнула честолюбца.

В принципе психологическая позиция подмечена верно и во многом оправдана. Всё же из цепи выпало важнейшее звено. Осталось неясным, по каким ступеням на стройке плотины Тагир поднимался к славе. По ходу дела нельзя было обойтись без показа ударной работы Тагира на плотине, без прорисовки общего производственного фона.

А Шакир Насыров вдруг перестаёт чувствовать себя писателем, ограничивается скороговоркой: «...дела мои пошли на лад. На кладке камня я выполнил на другой день пятидневную норму. Люди смотрят на меня и на мою работу с удивлением... меня вскоре назначили бригадиром».

В добавление к этой краткой и неубедительной выдержке нельзя найти больше ни одной буквы. Вместо движения по нисходящей линии одного и того же характера в «Авторитете» фигурируют две полярно противоположные личности. Никак не веришь, чтобы Тагир, дубоватый и кичливый во второй половине рассказа, был способен в начале вот к таким лирическим признаниям: «...сердце не знает ни чинов, ни званий. Придёт срок, и загрузит, запоёт оно... как к голубой звезде, потянулась к девушке моя душа... Назвать ли вам её имя? Пожалуй, лучше назвать...»

Мало того, что характер Тагира пошёл восхвалением, образ Гюльназ — «голубой звезды» — неузнаваемо искажён вульгарными ремарками: «...ведь сделалась, шельма, электротехником... Когда она только успела, чёртова девка?» И уже знакомым дробным говорком автор сухо перечисляет факты, которые должны были бы показывать рост девушки-производительницы: «Оказывается, Гюльназ училась заочно, съездила куда надо, сдала там экзамен и вернулась электротехником».

Ограниченность и отрывочность жизненных наблюдений неизбежно сужают горизонты мышления, сковывают воображение писателя. Повидимому, башкирские прозаики, работающие в области рассказа, пока что более или менее уверенно проторили дорожки в близлежащие колхозы и ещё плохо ориентируются на заводском дворе и в цехах, редко переступают порог рабочего общежития.

## 4

Совершенно очевидно, что авторы рассказов, помещённых в сборнике, больших успехов достигли в разработке колхозной тематики, хотя и здесь иногда сбиваются на частности, сворачивают с просёлочных дорог на узенькие тропинки.

В группе содержательных рассказов особо выделяются «Дело не в самоваре» и «Чужая слава» Сагита Агиша.

В рассказе «Чужая слава» известный профессор, депутат Зиннат Калкаманов едет в колхоз «Весёлая речка», чтобы изучить метод работы одного знатного овцевода. Места, знакомые с юности. Здесь он проходил студенческую практику с лучшим своим товарищем Альмухаметовым. Теперь друг работает в этих краях директором лесхоза. Надо обязательно заехать. Много тём-

лого, волнующего чувства в этих воспоминаниях и в ожидании встречи.

И вдруг случайный попутчик из местных жителей, не знающий в лицо профессора, сообщает, что Альмухаметов — стяжатель, устроил из лесхоза нечто вроде собственного имени. «Как? — возмущается Калкаманов. — Почему же вы не жалуетесь?» Оказывается, Альмухаметов хвастается: «У меня, говорит, есть большой приятель Калкаманов... Он у любого министра в почёте... Нашли, чудачки, на кого жаловаться».

Калкаманов мучительно краснеет. Всё тут правда, кроме одного: он не покровительствовал Альмухаметову. Но ведь дружил и не заметил, что опустился человек, прикрывается чужим популярным именем!

Встреча с бывшим приятелем подтвердила худшие предположения. И с каким облегчением учёный-общественник вырвался из барсучьей норы обывателя в большой мир, к овцеводу Хурматуллину, к колхозникам, чтобы служить им своими знаниями. А всё-таки на душе осталась царапина: до сих пор в тёмном лесу прячутся вот такие Альмухаметовы.

Оперативная поездка профессора с целью научного вторжения в практику животноводства неожиданно столкнула его с вопросами морали, духовно приподняла. В рассказе тема крупного плана органически и непринуждённо связана с как будто обыденным случаем. Так оно и бывает.

Но профессор должен бы темпераментнее негодовать, когда воочию убедился, в какое ничтожество выродился друг юности, не подающий и малой надежды на исправление. Калкаманов же ограничивается терзаниями совести. А в конце, выслушав сбивчивый лепет оправдания, он «с чувством жалости посмотрел на приятеля» и, как бы для самоуспокоения, даже «ласково похлопал его по спине». Это — традиционно мягкосердечное поведение старого интеллигента, а не советского учёного.

Вызывает раздумье и другой рассказ Сагита Агиша — «Дело не в самоваре». Здесь всё происходит внешне просто. У вдовой колхозницы Хуршиды «оба сына ушли учиться в город и теперь занимают ответственные должности». Старший, Япар, женился и уговорил мать переехать к нему в город на жительство. Хуршида в непривычной обстановке томится, скучает. Желая хоть какую-нибудь пользу принести, она зашла распоротый подол на юбке у снохи.

Опять невпопад. Сноха смеётся: «Да ведь это же фасон такой, с разрезом».

Не помог и самовар, купленный для развлечения Хуршиды. Настал день, и она сказала: «...отправьте вы меня обратно в деревню!.. Привыкла я там... Да и работы у меня в колхозе и дома хватает». И вот по весенней чёрной дороге женщина выехала на санях в поле. От радости она даже ворон за голубей приняла и вдруг вспомнила: «В сумерки, когда зажигают огни, хороша наша деревня».

Вот и всё. Но, выдержанный в полутонах, рассказ густо насыщен мыслями и настроениями. Япар и его молодая жена хотели убогаторить мать и одновременно похвастаться городской жизнью. В их намерении было больше лёгкого тщеславия, чем настоящего добра. И это едва не обернулось бедой. Ведь в каждодневной тоске по земле, по соседям Хуршида и в самом деле могла зачахнуть. Напрашивается пожелание, чтобы Сагит Агиш не остановился на полпути, но продолжил, развил свою тему. Если сыновья всерьёз заботятся о Хуршиде, то почему бы, например, одному из них по окончании учёбы не вернуться с женой в родную деревню? Такое развитие темы могло бы придать хорошему рассказу более сильное общественное звучание.

Камерные сюжеты и тяготение к психологическим нюансировкам личного характера неизбежно снижают голос писателя до шёпота, которому способен внимать весьма немногочисленный круг слушателей. Несколькими манерная, подчёркнутая интимность цикла Анвера Бикчентаева «Рассказы о деревенских девушках» может сузить аудиторию читателей.

Некто безымянный, скрывшийся за местоимением «я», то из окна, то из сада неотрывно наблюдает за домиком нансенок: там живёт Камиля, там «приветливо синют её ставни». Рассказчик знает: «Нет, не будет моей женой Камиля. Она невеста гармониста Салаяха из соседнего аула», но с настойчивостью обречённого добивается встреч, объяснений. Словно желая растравить рану, всё-таки признаётся: «...если бы всю жизнь я мог быть с вами...» И, конечно, получает отказ: ведь у Камили скоро свадьба. Надо бежать от своего чувства. Краткая концовка: «Пароход идёт, оставляя за собой пенистый треугольник. Уже давно исчезли очертания пристани, но я не могу уйти с палубы».

Общая минорность рассказа усиливается ещё тем, что героиня окутана дымкой какой-то загадочности. Она, скорее, бесплотный идеал любви, чем реально существующая девушка. Авторское сообщение: «Целый день Камиля пропадает в поле; она бригадир первой бригады, и эту весну забот у неё полон рот» — обронено между строк и решительно ничем не подтверждено.

Счастливее складывается будущее для гордой красавицы Зифы. Она было убежала с праздника, приревновав своего возлюбленного, краснофлотца Бурана, к спортсменке Фатыме. Старый мудрый учитель Нигмат цитатами из стихов и притчами убеждает девушку не уступать без борьбы. И Зифа вернулась на праздничную площадь, переплясала свою соперницу, вернула сердце моряка.

Но на тоненькой ниточке держится счастье да, пожалуй, и жизнь слепого и безрукого героя Отечественной войны Рената. Хотя жена его, Аминя, и не уступила домогательствам гармониста Ильдара, как знать, чем всё это кончится. Ведь Ильдар дерзок, настойчив. Ведь за Аминей уже приехали родители, чтобы увести её от инвалида. Факт жестокий и бесспорный. Противопоставленная ему лаконическая справка о том, что инвалида навестили секретарь райкома и долго беседовал с ним, не ободряет, потому что это всего лишь оптимистическая отписка. Останется ли верной своему долгу молодая, здоровая женщина?.. Писатель не сумел убедительно ответить на тревожные вопросы.

В каждой из этих трёх историй есть своя доля романтики и лирического драматизма. Отдельные психологические характеристики отличаются глубиной и верностью. Беглые зарисовки пейзажа созвучны душевному настроению персонажей. Но всё же рассказы лишены широкого диапазона и несколько меланхоличны по настроению.

У Кирея Мэргэна почерк энергичный, с нажимом. Пишет он в густых, сочных тонах. Некоторые слова хоть и грубоваты, зато по-народному метки и точны.

У него тоже есть рассказ о Зифе («Зифа-апай»). Намерение писателя ясное. Он хотел изобразить девушку независимую, сильную духом и физически выносливую. Такая, выйдя замуж, не позволит верховодить собой. Любимая жена должна быть равным товарищем. Только так. Писатель не побоялся здесь резких красок.

«Справный бригадир» Зифа, обладая громоздкой фигурой и силой богатырши, ходит «в жёлтой шубе, мужицкой шапке и с кнутом в руках». На пашне «грудью наваливается на соху, отмахивает борозду за бороздой». Автор справедливо сожалеет: «Почему не родилась она мужчиной?»

Героиня остро переживает свою непривлекательность, даже впадает в мужененавистничество. В то же время «многие молодые парни... к ней засылали сватов, писали нежные письма», хотя она «сватов просто гнала в шею», а одного солидного поклонника выбросила из саней и усакала.

И вот писатель сообщает о её замужестве. Зифа настолько своеобразна, что не из праздного любопытства хочется знать, кто её жених. Дело, однако, в том, что избранник сердца остался за рамками рассказа. Краткие авторские реплики не дают никакого представления о недюжинном человеке, которого Зифа сочла равным себе.

Не менее колоритна, но уже как отрицательный персонаж, и бабушка Майгуль в одноимённом рассказе. Отталкивающее впечатление производит её скарденность. Эта полубезумная от жадности бобылка, повидимому, является у автора неким символическим выражением уродливого инстинкта собственности старой деревни. Портрет нарисован смелой, размашистой кистью.

Остаётся пожалеть, что не все черты в нём ясны. Нет около неё ни внуков, ни племянников — молодой поросли современного села. Старуха как бы изъята из конкретной среды. До самой смерти от неё не слышно ни одного слова ни в порицание, ни в одобрение колхоза. Все её помыслы сосредоточены на заветном горшке с медяками, закопанном где-то на огороде или в подполе. Под влиянием каких биографических факторов развилась в крестьянке Майгуль эта мания?

Не дают ответа и соседи, пришедшие на похороны Майгуль. Они только сбивают с толку своими противоречивыми репликами: «Бедняжка, что хорошего видела она в жизни? Сроду сыта не была».

«Даже на табак не оставила, старая чертовка».

...Рассказы, помещённые в сборнике, отличаются разнохарактерностью стилистических форм. Только при абсолютном равноду-

шии к ритму и краскам невозможно было бы отличить эпически-повествовательную манеру Мажита Гафури от напряжённой взволнованности Анвера Бикчентаева, у которого новелла походит на стихотворение в прозе. Всё же хочется пожелать авторам рассказов более смелых исканий в области формы. Порой их произведения слишком созвучны между собой.

Вот один пример:

«Я, конечно, не знаю, приходилось ли вам бывать в нашем селе Акташ, но если вы бывали у нас, то вам, наверное, известно, что в прежние времена почти все здешние жители имели прозвище».

Вот второй:

«Пользуясь случаем, скажу, что в Карасе янтарные глаза почитались перед всеми остальными: синими, отражающими голубизну небес; серыми, которые в иных местах, в сочетании со светлыми волосами, сводят с ума парней...»

Что это? Писатель позволил себе в одномерном ритме и в одинаковой тональности написать два рассказа, перенеся действие из села Акташ в село Карасей? Нет, выдержки взяты из произведений двух писателей: из «Летучей мыши» Шакира Насырова и из «Зифы» Анвера Бикчентаева.

Девять из шестнадцати рассказов сборника написаны от первого лица.

Может быть, стилистическое сходство появилось в переводе как результат нивелировки текста некоторых рассказов, написанных от первого лица? А может быть, это результат отбора рассказов, сделанного составителями?

Вообще-то такая возможность не исключена.

Над переводом рассказов трудился коллектив квалифицированных литераторов<sup>1</sup>.

Переводчики добились главного: правильно раскрыли идейную сердцевину каждого произведения, сохранив художественную структуру.

Это позволяет надеяться, что весь строй образов книги рассказов вызовет у русского читателя именно те мысли и чувства, которые стремились выразить на своём родном языке башкирские писатели.

<sup>1</sup> А. Борщаговский, А. Вальцева, М. Шамбадал, С. Гехт, Ю. Нагибин, Е. Дорош, В. Луннашевич.



# ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Архангельская обл., Вельский р-н,  
деревня Надрусьевская  
Александру Варлыгину

## ПО ПОВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Дорогой товарищ Варлыгин!

В № 15 альманаха «Север» (Архангельск, 1954) я прочитал нижеследующее Ваше стихотворение (оно без заглавия):

Солнце лишь о том и беспокоится,  
Чтоб земля имела красоту.  
На моё окошко веткой клонится,  
Пенится черёмуха в цвету.  
На лужайке, у её подножия,  
У тропы, что убегает в рожь,  
Вечерами звонкими, погожими  
Водит хороводы молодёжь.  
А вчера, поблёскивая стёклами,  
Мчался, весь покрытый пылью, «ГАЗ».  
Вдруг остановился, словно вкопанный,  
Возле той черёмухи как раз.  
Дверь кабины с напускной небрежностью  
Молодой водитель открывал  
И кому-то с ласковою нежностью  
Вот какой букет цветов набрал!  
Я не знаю, что с букетом случилось...  
Знаю лишь, что с этих самых пор  
Часто у крыльца одной красавицы  
Стал авто придерживать шофёр.

Прочитал я эти строки, и стало мне как-то очень досадно: ведь могло бы выйти хорошее лирическое стихотворение, но Вы чего-то не додумали, не доделали, поспешили, и результат получился, по-моему, неутешительный.

Вы говорите в стихотворении и о весне, и о распутившейся черёмухе, и о молодёжи, которая водит хороводы, но основной смысл стихотворения, основная идея его, если это вообще можно назвать идеей, сводится к тому, что шофёр часто стал бывать у «одной красавицы» после того, как он наломал однажды букет черёмухи.

Но сказать в стихотворении только это — значит ничего не сказать, ничего не раскрыть.

Это крайне бедно по мысли, слабо в поэтическом отношении. В сущности говоря, последние строки, которые должны были бы стать самыми яркими, самыми выразительными в Вашем стихотворении, не несут в себе никакой поэтической нагрузки. Я не говорю уже о том, что построены они несколько неловко, нелогично (шофёр однажды наломал букет черёмухи и с тех пор часто стал встречаться «с одной красавицей» — Ваш вывод построен именно на этой схеме; подумайте над ней, и Вы сами всё поймёте).

Надо ещё добавить, что Ваша «красавица» — это сплошная условность, это пустое место. Невозможно представить себе, что же скрывается за псевдонимом «красавица». Если бы Вы хоть одной фразой, хоть одним словом (а поэт обязан уметь делать это) дали читателю понять, почувствовать, о какой девушке идёт речь, каков её характер, склонности и т. п., то есть придали бы «красавице» хоть одну живую черту, то Ваш рассказ, наверное, приобрёл бы и большую поэтическую выразительность и большую убедительность.

Немногим отличается от «красавицы» и шофёр. Это тоже чистейшая условность, а не живая фигура, появившаяся к тому же совершенно случайно и неизвестно откуда и зачем. И вот когда у Вас в стихотворении один отвлечённый персонаж встречается с другим таким же, то, право же, это ничего не говорит читателю.

Я думаю, что если бы Вы проявили больше внимания к своей работе, то избежали бы многих ошибок, имеющихся в Вашем стихотворении. Я уверен, что Вы могли бы заметить (и, конечно, исправить) по крайней мере те погрешности, которые лежат на самой поверхности и прямо-таки сами просят, чтобы на них обратили внимание.

Вы, например, пишете, что шофёр часто стал бывать у девушки после того, как наломал букет черёмухи. Но ведь букет-то он наломал только вчера (так сказано в стихотворении). Стало быть, он не мог бывать у девушки «часто»: со времени его первого появления прошли всего одни сутки.

В некоторых случаях Вы несколько произвольно обращаетесь с языком. Вы пишете: «Солнце лишь о том и беспокоится, чтоб земля и мела красоту». Этот оборот речи совершенно не русский. Никто не скажет: «Я хочу иметь красоту», а скажет: «Я хочу быть красивым». Неправильно также, когда Вы пишете, что молодёжь водит хороводы «у её подножия», то есть у подножия черёмухи. Водить хороводы у подножия дерева практически невозможно. «У подножия» — это значит в самом низу ствола, у самых корней.

Вы употребляете выражение «ласковая нежность». Но разве нежность может быть не ласковой?

В некоторых случаях Вы произвольно обращаетесь с рифмами. Такие слова, как «беспокоится — клонится», «сталося — красавицы», «стёклами — вкопанный», никак друг с другом не рифмуются.

В общем, мне кажется, что Вы поспешили с опубликованием стихотворения, что оно, по существу говоря, ещё не написано: есть только самые первоначальные наброски его. Может быть, отдельные (очень немногие) строки из этих набросков могут войти в стихотворение, но вообще-то писать стихотворение надо заново и на совершенно новой основе.

И в заключение я хочу сказать, что для меня непонятно, почему редакция альманаха «Север» не обратила Вашего внимания на слабость стихотворения, если Вы этой слабости не видели сами. Она должна была это сделать.

Желаю Вам больших успехов в Вашей будущей работе.

**М. ИСАКОВСКИЙ.**

Саратов,  
ул. Мичурина, д. 55, кв. 3  
Ю. М. Савельеву

## ПО ПОВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ЮРИЯ САВЕЛЬЕВА

Здравствуйте, товарищ Савельев!

Я пишу и печатаюсь столько лет, что Вам моё имя, очевидно, знакомо. Вы же, видимо, молоды: Ваши стихи я прочла впервые в альманахе «Новая Волга»; следовательно, теперь уже и я знакома с Вами. И на правах обоюдного знакомства я и пишу это письмо.

Редакция «Нового мира», приславшая мне саратовский альманах, заинтересовалась моим мнением, в частности, о Ваших стихах. Я же подумала, что, быть может, и Вам небезинтересно будет высказывание старшего товарища по работе.

Мне хочется написать Вам ещё и потому, что стихи Ваши в какой-то мере типичны для многих молодых поэтов. Отдельные неудачные строки, имеющиеся у Вас (о них я тоже скажу), могут быть устранены. Но дело не в этом, а в общей направленности Вашего творчества в том его виде, в каком оно предстаёт перед читателями в 1954 году в альманахе «Новая Волга».

Во всех четырёх Ваших стихотворениях неприятно удивляет незначительность описываемых событий, огорчает легковесность мыслей и чувств, нарочитая будничность всего, на что обращено Ваше внимание.

Пытаясь проанализировать эту тягу к будничности, я прихожу к выводу, что эта тяга не случайна. Она является своего рода реакцией на чрезмерную пафосность, на абстрактность, на риторическую пышность: всё это встречается порой в нашей поэзии.

Этим грешили и мы, представители старшего поколения поэтов. Этому отдало дань и среднее поколение. Не без греха в этом смысле и некоторые совсем юные поэты. Но большинство — или, во всяком случае, значительная часть — молодых старается держаться поближе к земле, к повседневности.

Холодная, выпренная, мнимопоэтическая поэзия чрезвычайно тягостна. Её пышные словеса никому не доставляют радости. Возьмём хотя бы такое описание зимы из одного сборника 1947 года:

Мела косматая пурга,  
Больших холмов трещали лбы,  
И месяц медные рога  
Пригнул, как ослеплённый бык.

Конечно, эти строки дают представление о холоде. Однако это совсем не тот холод, о котором думал поэт: это холод риторики, а не природы. Здесь присутствуют те «ужасы словесной красивости», о которых говорил Горький в «Беседе с молодыми».

Бывает в нашей поэзии и другое. В ней попадают стихи, полные общих мест, лишённые какой бы то ни было свежести.

Я, например, никак не могу согласиться со Степаном Петровичем Шипачёвым, похвалившим однажды в печати небольшое стихотворение, которое начиналось так:

Город рос. И кто-то пел о счастье...

Дальше описывалось, как шли степью «девушка и парень». Они шли, и им казалось,

Что не по дороге, а по песне  
Шли они под звёздами вдвоём,  
По земле, которой нет чудесней,  
По стране, в которой мы живём.

Как можно было не заметить, что эти «девушка и парень» уже очень и очень не молоды. Не счесть, сколько раз фигурировали они в нашей поэзии, сколько раз шли всё по той же проторённой дорожке.

Чувства, выраженные в этом стихотворении, — правильные. Наша земля действительно чудесна. Но поэт не нашёл своих слов, своей формы для выражения своих чувств, а удовольствовался чужими, уже много раз сказанными словами. Иначе говоря — не выполнил своей задачи.

Вы, товарищ Савельев, попытались по-своему решить лирическую задачу. Подальше от общих мест! Побольше конкретности! Введём читателя в задушевный, повседневный быт, в скромные будни. Извлечём из этих будней праздник поэзии. Но праздника не получилось.

Рассмотрим все четыре Ваши стихотворения.

Первое — «Парикмахер». В этом стихотворении Вы ставите читателей в известность, что, побрившись, становитесь более привлекательным и нравитесь девушкам. Действительно, так иногда бывает. Вы выражаете за это благодарность парнишке-парикмахеру. Ну что ж! Улыбнувшись снисходительной улыбкой, читатель, так и быть, готов в какой-то мере разделить с Вами это чувство.

Но вот второе Ваше стихотворение — «Жена».

Мы знакомимся с нею на вечере, во время танцев, когда —

Она,  
Ещё тогда мне не жена,  
Стояла вся, от туфель до веснушек,  
На глянцевом полу отражена.

Согласитесь, что это невозможно. Нет такого паркета, который был бы в состоянии страдать веснушки. Но допустим, что влюблённому могло так показаться, тем более, что любовь Ваша и Вашей будущей жены была чрезвычайно интенсивной. Вы оба, по Вашим же словам, —

В любви своей не знали  
Ни отдыха, ни сна, ни выходных.

Согласитесь, что и это маловероятно. Но дальше:

Всю зиму продолжались наши встречи.  
Был круг друзей немало поражён,  
Когда однажды, в тёплый майский вечер,  
Разнёсся слух, что я  
Молодожён.

Жениться — в Вашем возрасте вполне естественно. Но, как видно, в Вашем характере было нечто такое, что женитьба Ваша вызвала удивление у хорошо знающих Вас людей. Тогда и нам, читателям, следовало бы знать эти свойства Вашего характера. Возможно, что тут наметился бы небольшой конфликт и мы присутствовали бы при его разрешении. Но поскольку этого не произошло, Ваша женитьба не вышла за пределы узкого круга Ваших друзей и не стала фактом настолько интересным, чтобы сообщать об этом в печати. Концовка, в которой говорится, что «в сердце» Вы и по сей день «молодожён», не делает стихотворение более значительным.

Третье стихотворение — «Первомайское утро» — посвящено годовалому сыну, который на демонстрации «не идёт, а едет на отце». Сказано это не слишком удачно. Но главное в том, что о годовалых сыновьях написаны уже целые тома. И хотя речь идёт о мае, однако свежести и в этом стихотворении очень мало.

Но наибольшие возражения вызывает, на мой взгляд, заключительное стихотворение — «В гостях». Оно невелико, и я приведу его полностью:

С женой и сыном утром рано  
В зелёный май, в разгар весны  
Я в Сталинград совсем неожиданно  
Нагрюнул к теще на блины.  
Весь день от бурного веселья  
Полы ходили ходуном,  
Родня справляла новоселье,  
Переселившись в новый дом.  
Был тихий вечер полон ласки,  
А с улиц  
С волжских берегов,  
Шёл лёгкий запах свежей краски  
И дух пшеничных пирогов.

Здесь всё неточно и неуместно, начиная с блинов, которые плохо вяжутся с «разгаром весны» (правда, блины быстро превращаются в пироги). Но основное опять-таки не в этом. Основное в том, что, желая показать возобновление мирного течения жизни в городе, пережившем так много во время войны, Вы на редкость неудачно выбрали приметы мирного времени.

Теща с её блинами не стала такой приметой. Задуманные Вами бытовые подробности превратились в плоский бытовизм, особенно трудно переносимый, когда речь идёт о Сталинграде.

Если Вы сами не почувствовали этого, то высказанные здесь соображения должны были подсказать Вам редколлегия «Новой Волги».

Я, товарищ Савельев, написала это письмо не из желания причинить Вам неприятность, а, как говорится, для пользы дела.

Для меня ясно, что Вы неразумно распоряжаетесь своими творческими данными. Не по-хозяйски используете их.

Обидно будет, если написанное Вами «прошелестит и исчезнет». Это слова Короленко. Вы найдёте их в превосходном сборнике «Русские писатели о языке». Этот сборник, а также и второй сборник — «Русские писатели о литературном труде» (вышедшие в 1954 году в ленинградском отделении «Советского писателя») должны стать настольными книгами для всех нас.

В этих книгах собраны высказывания русских классиков о литературе. Задачи русской литературы всегда были велики и ответственны. Особенно велики и ответственны они сейчас. Размениваться на пустяки, на мелочи мы не имеем права.

**Вера ИНБЕР.**



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Кардин.** Активность очерка.— **Юрий Нагибин.** Поэзия достоверности.— **Н. Муравина.** Несовершенства содержательного романа.— **А. Сахалтуев.** Живые страницы истории.— **А. Шумский.** Горький — пролетарский интернационалист.— **Анна Илупина.** Самодеятельности — настоящую помощь! — **Я. Фрид.** Письма Флобера Тургеневу.— **А. Дирингерова.** Не к лицу.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **М. Юрьев.** Молодой Китай.— **Ю. Милёнушкин.** Ценное издание.— Кандидат исторических наук **В. Лейкина-Свирская.** Забытый историк и публицист.— Кандидат исторических наук **А. Николаева.** Посланцы Русского государства.

## Литература и искусство

### Активность очерка

**О**черк — авангард литературного вторжения в жизнь на самых решающих её участках.

Нечего греха таить, наш очерк немало пострадал и ещё страдает порой от иллюстративности. При иллюстративном решении темы очеркист не раскрывает жизненное явление во всей его неповторимой сложности и своеобразной противоречивости, а подкрепляет картинкой общеизвестный тезис, характеризующий это явление. Не особенно полагаясь на понятливость читателя, он берёт в руку указку и комментирует изображённое.

Очерк по-настоящему активен лишь тогда, когда автор выискивает новое в жизни и смело становится на его сторону. При этом важно, чтобы писатель умел видеть в жизни существенное, пусть порой и менее различимое с первого взгляда, замечал новое в облике, в характере, во взаимоотношениях людей, новое в острой борьбе, напряжённом столкновении со старым, установившимся. Такой, скажем, борьбе, какая развёртывается

ся в очерке И. Сельвинского, помещённом в рецензируемом сборнике, где прибывшая на глубинные земли группа ленинградских комсомольцев встречается с директором Барсукбайской МТС Токеновым. Токенову, привыкшему к своим гнилым порядкам, не дано понять, почему взбешены ленинградцы кладбищем металла, в которое он превратил детали машин, зачем они собирают в складчину деньги и командируют Олега Пилецкого в область. Сердобольный Токенов, желая Пилецкому добра, отказывает ему в транспорте — как пускать человека в степь, если мороз, снег?

И вот через мороз, снег, пешком, на путных санях, верхом, автомобилем, самолётом, поездом добирается Пилецкий до Кокчетова. Его принимает первый секретарь обкома. Токенов снят. Заведующим машинно-тракторной мастерской назначен один из ленинградцев.

«В этом небольшом эпизоде, — пишет И. Сельвинский, — сосредоточено многое. Здесь и новое, подлинно социалистическое отношение к государственному достоянию и стиль работы заводской молодёжи. Принесшей свои навыки в степь, но главное —

«На крутом подъёме. Очерки колхозной жизни». «Советский писатель», М. 1954.

характер советского коллектива, яркая его активность, готовность идти на жертвы и умение побеждать».

Целеустремлённая активность очерка — в активности героев, олицетворяющих новое. Таким героем может быть и сам автор. Авторское «я» в очерке часто совершенно не замаскировано. Автор встречается с людьми, беседует с ними, то ли вмешивается в происходящее, то ли оставляет при себе своё мнение, но сама позиция очеркиста, его трактовка увиденного защищают новое, вступают в конфликт со старым, лежащим на пути.

Т. Журавлёв, рассказывая в «Сельских сценах» о бумажных сорняках, только изредка задаёт директору МТС Акимову короткие вопросы. Но эти вопросы и заставляют Акимова выложить всё, что он думает о бумажном потоке, захлёстывающем и нервирующем работников.

Ещё недавно раздавались отдельные голоса о том, что очерки В. Овечкина и некоторых других авторов, выступивших с острыми вещами о деревне, относятся к критическому реализму, к обличительной литературе и т. д. Подобные мнения, в лучшем случае, основаны на недоразумении, на непонимании того, что именно эти произведения идут в широком русле социалистического реализма. Активность критики в условиях социалистического общества означает не только умение вскрыть недочёты, ошибки, промахи, но и самое непосредственное участие в их устранении, несокрушимую веру в коллективную мудрость партии и в непреодолимую силу народа. Само название открывающего сборник очерка В. Овечкина «Своими руками» выражает эту неопровержимую мысль.

В очерках, да и не только в очерках, у нас встречаются герои, энергично, но довольно бездумно выполняющие полученные задания. Овечкинское Мартынова отличает от них творческий характер и смелая широта мышления, стремление самостоятельно додуматься до всего и прийти к правильному государственному выводу, а уже придя к нему, — деятельно и неуклонно проводить свою линию, не считаясь с тем, что она кое-кому не по сердцу, а многим, в том числе и самому Мартынову, приносит немало беспокойства.

Говорить о творчестве в работе, активности мысли — это говорить и о том, что сковывает это творчество и тормозит эту

активность. С неумолимой убедительностью в очерке А. Калинина «На среднем уровне» обнажена давящая сила мёртвых знаний, груза привычки, страха перед ответственностью; с беспощадностью изобличено в этом очерке спасительное прибежище трусливых душой и ленивых умом работников, на вратах которого начертано: «Там, на горе, виднее». Эти пороки нельзя безразлично констатировать, ибо за них порой приходится платить слишком дорогой ценой. Подбивающий на счётах очередную сводку секретарь райкома Неверов, председатель райисполкома Молчанов, знающий немало способов «спустить» беспокойного человека «на землю», приглушили яркий и дерзкий организаторский талант председателя колхоза Степана Тихоновича. Только благодаря решениям сентябрьского Пленума Степан Тихонович снова расправил крылья, и все узнали в нём прежнего орла-председателя. Прямо с трибуны Степан Тихонович бросает в лицо Неверову: «...И после этого... нам с вами, Павел Иванович, ну никак невозможно жить вместе».

Достоинство большинства очерков сборника, на наш взгляд, состоит в том, что принято называть удачным решением проблемы положительного героя. Такими героями выступают люди разного возраста, служебного положения, специальностей и должностей — секретарь райкома Мартынов у В. Овечкина и «учёный» председатель колхоза Рожнов (В. Марина. «Учёный»), комсомолцы и пожилая Лукьяновна из поэтического очерка Вл. Солоухина, партийный работник Ермаков и Никита Максимович Табаков, которого всю жизнь «бросают» на отстающие колхозы, из добротного написанного очерка Гр. Бакланова «В Снегирях». Особенно примечателен герой очерка С. Залыгина «Весной нынешнего года» — директор МТС Назар Матвеевич Башлаков.

По своей целеустремлённости, складу характера и достоверности его проявлений Назара Башлакова можно поставить в ряд с Настей Ковшовой из повести Г. Николаевой и Андреем Лобановым из романа Д. Гранина. И вместе с тем Башлаков — натура самобытная. Многие из того, что у Насте впереди, а у Лобанова составляет сегоднешний день, для Башлакова пройденное. У него уже выработался свой стиль руководства людьми. Назар Матвеевич — человек твёрдый, минутами крутоватый и резковатый, но всегда справедливый, честный,

беспокойный, не боящийся ответственности, косых взглядов начальства, научившийся разбираться в окружающих и оценивать их не по словам, репутации, славе, должности, а по делам. О делах Башлаков судит не только по цифровым показателям, но и по тому, сколько души и сердца вложено в них.

Пислегин, некогда гремевший по области директор МТС, а теперь увлекаемый под откос кучей сомнительных махинаций, недоумевает:

«Вижу — силён Башлаков. Молод, а силен! Чалдон! Газетку считаешь — прёт Буяновская МТС всё в гору. И как? Не ищет обходов, не комбинирует — на прямую! Башлакова начальство хвалит, а он что? А он крикует!.. И не просто взлягивает — критикует! Башлакова — в управление, в аппарат, а он там года не просидел и обратно в МТС: канцелярский климат не подходит».

Чем бы ни занимался Башлаков, о чём бы ни вёл речь, всё время чувствуешь партийную основу его действий, энергии, активности. Без этой основы энергия вырождается в предприимчивость, деятельность — в делячество, активность — в суетливость. Не робость, не боязнь возможных неприятностей удерживают Башлакова от компромиссов, от скользких дорожек и окольных путей, а ставшее самой натурой понимание того, что эти пути и дорожки, хоть и могут привести к каким-то временным результатам, чужды цели, которой посвящена жизнь.

Живое и взволнованное знание действительности и людей, обострённое восприятие нового отливаются у писателя в живые и волнующие образы, прототипы которых у очеркиста ощущаются особенно явственно. Новый герой нередко входит в литературу через очерк. И одна из наиболее привлекательных сторон сборника — присутствие такого героя. Он не всегда достаточно чётко, кое-где его место ещё занимает привычная очерковая риторика, описательность, ещё не изжитая до конца жанром инерция избитых оборотов и словосочетаний (кстати, не она ли продиктовала столь примелькавшееся название сборника?). Но в действитель-

ном, думающем, непримиримо борющемся герое наиболее удачных произведений видим мы реальные предпосылки преодоления этих недочётов и дальнейшей активизации боевого советского очерка.

Однако для того, чтобы эти предпосылки были реализованы, для того, чтобы очерк на деле осуществлял предназначенную ему авангардную роль, необходима неутомимая творческая наступательность писателей, работающих в этом жанре.

К сожалению, нельзя не заметить, что в области очерка после появления ряда образцовых произведений наблюдается некоторое затишье. Особенно досадно, что это затишье приходится на время, когда процессы, о которых год-полтора назад писали очеркисты, вступили в новую фазу, когда возникли и решаются новые сложные проблемы, такие, скажем, как изменение практики планирования сельского хозяйства, усиление помощи города деревне и т. д.

Важнейший закон очерка как жанра состоит в оперативности, быстрой и глубокой реакции на самое существенное из происходящего вокруг. В последние годы ряд талантливых очеркистов жил темами колхозного строительства. Благодаря этому стал возможным выпуск таких интересных и нужных сборников, как «На крутом подъёме». Но попробуй издательство подготовить равноценный сборник, посвящённый деятельности рабочего класса, нуждам, задачам и делам людей промышленности, оно вряд ли сумело бы осуществить свой замысел. И не потому ли иные из колхозных очерков страдают некоторой односторонностью, узостью взгляда на явления, что авторы их искусственно ограничили своё поле зрения околицей села?

Многообразная, стремительно развивающаяся жизнь советского общества требует постоянного расширения сферы очерка, включения в неё свежего материала, неустанного «открытия» тем, создания действенных, актуальных произведений, способствующих победе и утверждению нового.

**В. КАРДИН.**



## Поэзия достоверности

Знойный, душный полдень.

Пожилой батрак Апог, тяжело больной, найдорвавшийся на работе, расчищает в поле канаву, поросшую ивняком. Этот прекрасный пепельно-серый кустарник, украшение пейзажа, стал ему давно ненавистен. Сколько он его рубил, дёргал, рвал, а он всё растёт и растёт! Сегодня Апогу попалась особенно упорная ива. Он несколько раз хватил её топором наотмашь. Она не переломила, не погнулась. Тогда Апог бросил топор, ухватился за неё обеими руками и начал рвать. Он задышался, из горла вырывался отрывистый хрип, им овладела странная, небывалая ненависть. Он не обращал внимания на всё усиливающуюся боль и хрип в груди, он только гнул, дёргал, скручивал. Наконец ветвь с хрустом оторвалась от корня, и Апог, не выпуская её из рук, тяжело упал на землю...

Это был конец батрака Апога. Он ещё привстал, проковылял, прополз по полю к людям и снова упал...

Рассказ о нелепой гибели батрака Апога на лоне родной цветущей природы полон глубокого и скорбного смысла. Батрак Апог ещё не ведаёт, в чём подлинное зло жизни; весь ужас его существования воплотился для него в этих могучих зарослях ивняка, которые ему уже не под силу одолеть. Но есть в рассказе и иной, грозный смысл: придёт же, не может не прийти день, когда эта слепая, неизбывная ненависть станет зрячей.

Андрей Упит — суровый, беспощадно правдивый повествователь. Но вместе с тем всё творчество Упита проникнуто непоколебимым жизнелюбием, твёрдой верой, уверенностью в победе света над тьмой.

Крестьянин Мартын, осознав, что через двенадцать лет помещик может согнать его с арендованной земли, которую он, Мартын, своими руками расчистил от леса и вспахал, бросает землю, покидает любимую девушку Катрину, чтобы итти в Петербург «искать правду».

Конечно, в чиновном Петербурге Мартын не найдёт нужной ему правды, но со своим беспокойным сердцем он пойдёт дальше и дальше... в революцию. В этом и заклю-

чается мысль автора: раньше или позже, а трудящийся человек дойдёт, не может не дойти до осознания того, что правда — в разрушении до основания всего собственного человеческого строя, в создании на земле новых человеческих отношений.

Эти прекрасные, сильные рассказы написаны давно, около полувека назад, но они живы и сейчас. Для половины трудового человечества, уже нашедшего свою правду, — это история, запечатлённая в художественном слове, а для другой половины — призыв, живой голос, подымающий душу.

В трёх десятках рассказов Андрея Упита, представленных в книге, отложился его огромный человеческий опыт. Выходец из народа, он знает во всех подробностях труды и дни крестьянина, ремесленника, рабочего своей родины, ему близки и дороги их интересы, мечты и думы; он знает во всех изгибах душу кулака, «барина», пастора и нещадно клеймит их своей суровой иронией. Рассказы Упита лишены всякой нарочитой «тенденциозности» — это сама правда жизни, её нельзя ни отринуть, ни оспорить.

Вот рассказ «Братья». Городской чиновник в последнем градусе чахотки приезжает к своему брату Екабу, хозяину хутора, в надежде вернуть себе здоровье на чистом деревенском воздухе. В течение многих лет помогал он Екабу подняться, обстроиться, посылал ему двадцать рублей в месяц, и вот теперь он славно поживёт на братнином хуторе. Братья с детства любили друг друга, и Екаб до слёз тронут приездом Эрнста, с благодарностью вводит он его в свой устроенный дом, знакомит с женой и милыми нарядными детьми...

Родственная беседа за сытным обеденным столом. Эрнст деликатно молчит о своём намерении пожить на хуторе; молчит об этом и Екаб, хотя отлично сознаёт, что любимый брат тяжело болен и городской воздух губителен для него. Но эти проклятые двадцать рублей в месяц не дают Екабу поступить по сердцу: он уже решил на эти деньги выстроить в будущем году новый хлев, и как-то само собой выходит, что Эрнсту будто бы надо завтра же возвращаться в город, у него там дела, срочные дела...

— Неужели больше одного дня не можешь побыть? — с искренним сокрушением говорит Екаб.

В ответ Эрнст только густо краснеет. В повозку ему щедрой рукой укладывают увесистые свёртки с продуктами и даже две новые рубашки, вышитые собственноручно женой Екаба; брат сам отвозит его на станцию...

Как это глубоко верно: лично добрый человек, любящий брат, Екаб, несмотря на свои душевные терзания, не может побороть свою кулацкую жадность. Нет, Екаб отнюдь не злодей — не плакатный кулак с красной рожой и заgreбушими руками, — но по самой своей классовой сути он способен обречь на гибель любимого брата, а в конечном счёте — и на любую жестокость...

Это рассказ большой обобщающей силы. При всей тонкости рисунка Андрей Упит вонзает свой резец глубоко, до самой сердцевины явления, где сокрыта его сущность. В его рассказах есть та «поэзия достоверности», при отсутствии которой литература не более, чем набор фраз.

Рассказ «Совесть» — как бы вариант «Братьев». Кулак Викис по дороге домой из церкви находит на земле серебряный портсигар. Он догадывается, кто обронил его, и, конечно, обязательно вернёт: не такой человек Викис, чтобы присваивать чужие вещи. Да это и не к лицу ему, церковному старосте, уважаемому человеку. Но, упрятав портсигар в карман, ощущая его блаженную тяжесть, Викис уже не может расстаться с ним. Такая красивая и дорогая вещь! Он мучится и стыдом и страхом разоблачения, но ничего не может поделать с собой: будь что будет, но портсигар он не вернёт...

Конечно, в этих рассказах совершенно различные ситуации, Екаб совсем иной человек, чем Викис, но в обоих одна и та же кулацкая сущность. Что толку, если их подлое сердце на миг встревожится «благогородным порывом», — тем омерзительнее их подлинный облик. Автор нашёл как бы ключ к кулацкой душе, в какие бы одежды она ни рядилась. Нет, Викис — это не «вариант» Екаба. И Екаб и Викис —

это живые, во плоти и крови, представители типа, запечатлённого и заклеянного Упитом.

Умение типизировать — одно из крупнейших достоинств Андрея Упита. Знаешь, веришь, что те эпохи в жизни его родины, о которых он повествует, рождали каждая именно этих, именно таких людей. Батрака Апога, ещё не ведающего истинных своих врагов, Мартына, уже готового к борьбе; жадных, бессовестных кулаков Викиса, Луциса и других, пришедших на смену баронам-помещикам в эксплуатации батраков и исполщиков. А типы пасторов, с несомненной точностью и уничтожающей иронией запечатлённые Упитом в ряде рассказов! Если это и «антирелигиозные» рассказы, то лишь в той мере, в какой автор проникает в самую душу «служителей культа»: он не полемизирует — он показывает.

Писатель большого дарования и безмерного жизненного опыта, Андрей Упит свободно владеет самыми различными видами «рассказного» жанра: бытовым рассказом, гротеском, памфлетом, сатирой. Мир его интересов обширен и выходит далеко за пределы его родной Латвии, которая — за последние полстолетия — известна ему вся: во времени и пространстве. Под скромным наименованием «гротеска» в сборнике есть превосходный рассказ-памфлет «Обращённый», острит которого направлено против колонизаторов, нещадно грабящих и уничтожающих коренное население Африки. Этот рассказ, исполненный разящей, гневной иронии, звучит сегодня не менее злободневно, чем тридцать лет назад, когда был написан. Это — нержавеющее оружие, выкованное отличным мастером...

Приходится пожалеть, что составители этого прекрасного сборника включили в него ряд слабых рассказов-шаржей, рассчитанных лишь на определённое время и место: «Рейнис и Юлька, или исправленный Шекспир», «В сферах вечности», «Причины и следствия» и другие. Они и нехарактерны для высокого и сильного дарования Андрея Упита и устарели по своей тематике.

**Юрий НАГИБИН.**

## Несовершенства содержательного романа

Роман А. Новикова «Ты взойдешь, моя заря!» — продолжение его книги «Рождение музыканта», посвящённой детству и юности М. И. Глинки.

В новом романе автор использует богатый историко-биографический материал и сообщает читателю много интересных сведений о композиторе, его эпохе и окружении.

А. Новиков раскрывает широту музыкального кругозора гения русской музыки, умевшего постигать духовное своеобразие любого народа, не утрачивая собственной национальной оригинальности. Глинка показан и как мыслитель и как композитор; показан в министерстве, в светских салонах, в родной усадьбе, в крестьянской избе, в Москве, в Петербурге, за границей. Он воспринимается как передовой человек своего времени и как человек великого творческого подвига.

И всё же неподражимо своеобразная личность композитора выглядит в романе несколько обеднённой.

Причина этого, на наш взгляд, в том, что, сосредоточившись на изображении фактов биографии Глинки и раскрытии связей его с современниками (что само по себе принесёт пользу читателю), автор меньше поработал над воссозданием самого характера великого музыканта. У А. Новикова отсутствует обдуманное, до последней чёрточки ясное представление о своём герое. Несмотря на то, что по ходу действия Глинку «Рождения музыканта» от Глинки романа «Ты взойдешь, моя заря!» отделяет не более месяца, он кажется во второй книге во многом другим человеком, чем в первой.

В первой книге Глинка был сдержанным и молчаливым. Во второй он почему-то стал многословным даже в самых неподходящих для этого ситуациях: «В жизни нашей даже живые человеческие души и те закрепощены, а глянть в песни — весь порядок держится в них на полном раскрепощении голосов. Нету, значит, среди песенных голосов ни господ, ни подначальных... А ведь именно песенные голоса не меньше, чем слово, являют вольный распорядок, желанный народу». Мог ли Глинка, наделённый живым чувством юмора, произнести

такую тираду перед десятилетней девочкой, играющей в куклы, как он делает это в романе?

Напрасно А. Новиков изображает своего героя законченным реалистом и врагом крепостного права уже в эпоху восстания декабристов. Реализм и антикрепостничество были высшими, а не исходными точками развития композитора. В 1825 году Глинка — застенчивый, болезненный юноша, «мимоза», как он сам себя в шутку называл. Лекции Куницына, Галича, Арсеньева, близость с Кюхельбекером и другими будущими декабристами воспитали в нём любовь к свободе. Но его протест против рабства и тирании не был настолько зрелым, чтобы, подобно некоторым своим товарищам по пансиону, он оказался в рядах декабристов.

А. Новиков совсем обходит молчанием Глинку — автора сентиментальных элегий, «парня романтического устройства». Зачем? Ведь это лишает писателя возможности показать всю сложность пути композитора к жизнерадостной поэзии действительности.

Изображая зачастую лишь готовые результаты, А. Новиков иногда нарушает историческую правду. Исследователям и читателям творчества М. И. Глинки известно, что решение написать большую национальную оперу созрело у композитора только в середине тридцатых годов. «Мысль о национальной музыке (не говорю ещё оперной) более и более прояснялась», — рассказывает Глинка в «Записках» о зиме 1834 года. Начав работать в 1835 году над «Иваном Сусаниным», он всё ещё колеблется. «Первая мысль Глинки была написать не оперу, а нечто вроде картины, как говорил он, или сценической оратории...» — вспоминает В. Одоевский. Однако герой романа приступает к созданию национальной оперы уже в 1826 году. Если верить автору, Глинка десять лет ищет сюжет, пригодный для направленной против царя оперы-иносказания. При этом музыкальные искания Глинки выступают в романе преимущественно как литературные. Автор говорит о размышлениях Глинки над сюжетами, словами, речами, не касаясь настоящей стихии великого композитора — музыки. Рисуя увлечение Глинки сюжетом пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», он заставляет его рассуждать следующим обра-

А. Новиков. «Ты взойдешь, моя заря!» «Советский писатель», М. 1954.

зом: «Когда мы ещё в пансионе читали Русланову поэму, все мы чувствовали, как некий, отнюдь не сказочный Черномор простирает зловещую тень над Русью... Ино-сказание понимать надобно... Все мы так понимали. Нет у Пушкина зряшного вымысла». Автор спорит здесь с В. Стасовым, писавшим, что Глинку прельстила «милая, шаловливая, юношески весёлая сказка Пушкина».

Произвольно охарактеризованы в романе разнообразные и глубокие музыкальные впечатления, вынесенные Глинкой из первой поездки за границу. Герой романа критикует Вебера за то, что его «Волшебный стрелок» не воплощает «главного в народной жизни», упрекает Бетховена за то, что в его опере «Фиделио», «построенной на любовной интриге», «тесно народу». Литературный сюжет служит здесь высшим критерием народности в музыке. Глинка был далёк от подобного взгляда. Он действительно критиковал Вебера, но не за сказочный сюжет, а с музыкальной стороны. «Фиделио» же он любил больше всех опер на свете.

Удивляет в устах Глинки и современная музыковедческая терминология, чуть ли не дословные цитаты из Б. Асафьева, вроде высказывания о «новых путях к симфонизму, если понимать симфонизм не как форму только, но как систему мысли». Ведь во времена Глинки термина «симфонизм» ещё не существовало...

Многие страницы романа посвящены эпохе Глинки. Судьба и творчество композитора выступают в нём на фоне общественных событий. К сожалению, при создании этого фона автор прибегает к скорописи, упоминая подчас на полстранице несколько важнейших исторических событий. В книге — около сотни персонажей. Среди них — почти все выдающиеся современники Глинки. В характерных речах Гоголя и Грибоедова, в бесцеремонности императора, в увёртливости придворного мецената Виельгорского, в пошлости жены композитора и в туманных рассуждениях Жуковского о музыке проглядывает уловленное автором своеобра-

ние. Но образы А. Пушкина, А. Керн, С. Соболевского, Мельгунова, Римского-Корсакова бледнее. А иные из персонажей, например, Лев Пушкин, Тургенев, Белинский, мелькнув в какой-нибудь главе, исчезают, не сыграв в романе никакой роли.

Порой в обрисовке второстепенных для него лиц автор беспричинно уклоняется от истины. Бесконечно искренние и сердечные отношения Пушкина с Дельвигом представлены в романе как назойливое выманивание предприимчивым альманашником стихов у знаменитости. Дельвиг во всех главах, где он упоминается, либо выпрашивает у Пушкина стихи для «Северных цветов», либо по-обывательски предостерегает: «Много опасного в твоей трагедии, Александр Сергеевич», или «Нет, не одобрил бы Василий Андреевич»... Разве такое отношение к искусству характерно для Дельвига?

Характеризуя эпоху Глинки, автор обильно цитирует публицистические статьи современников композитора и подробно комментирует эти цитаты. Увлекаясь цитированием, он подчас забывает, что для романиста документы — лишь материал, над которым предстоит упорная работа, камень, из которого он, подобно скульптору, должен высечь человеческий образ.

Порой А. Новиков пытается придать книге видимость исторического колорита с помощью нехудожественных приёмов. Герои его романа иногда говорят языком, каким не говорят в наши дни. Но этим языком не говорили и во времена Глинки. В словаре Даля мы не найдём таких употребляемых в романе выражений, как «в средоточии» вместо «сосредоточившись», «в одновремении» и т. п. Вряд ли характерны для языка эпохи Пушкина и Глинки такие вневременные кальки, как «безнародность», «действователи», «оперисты», «самозакрылось», затрудняющие язык романа.

Всё это снижает достоинства книги, богатой познавательным материалом.

**Н. МУРАВИНА.**

## Живые страницы истории

Новый роман Петро Панча «Клокотала Украина» посвящён великой освободительной борьбе украинского народа в XVII веке.

События, изображённые в нём, охватывают период от Маслова Става (1638), когда польское правительство отобрало у казаков права и привилегии, до приёма Хмельником московских послов весной 1649 года.

Иначе говоря, П. Панч заканчивает свой роман почти тем, с чего начинает «Переяславскую Раду» Натан Рыбак.

Роман Панча разбит на три части и двенадцать глав, поэтично названных «думами».

Первые шесть «дум» показывают, как вследствие жестокой эксплуатации, зверств и издевательств над украинским народом со стороны польских и отечественных магнатов и шляхты назревали условия народного восстания. Остальные «думы» рисуют начало великой освободительной войны. Изгнание польского гарнизона из Сечи, поражение поляков под Жёлтыми водами, славная Корсуньская победа, разгром польского войска под Пилявцами, осада Львова — вот главные события, изображённые в романе.

Первая часть романа Панча появилась под названием «Запорожцы» ещё в 1946 году. Она тогда же подверглась в украинской прессе справедливой критике. Указывалось, что автор недостаточно раскрыл классовые противоречия на Украине в первой половине XVII века. Серьёзные критические замечания в адрес второй и третьей частей романа, опубликованных в прошлом году в журнале «Дніпро», были сделаны с трибуны XVIII съезда Коммунистической партии Украины, а затем при обсуждении романа в Украинском Союзе советских писателей. П. Панч самокритично и творчески отнёсся к этим доброжелательным высказываниям; он доработал роман, устранил его идейно-художественные недостатки, в результате чего создал интересное произведение.

В окончательном тексте романа идея дружбы русского и украинского народов стала ведущей. Об объединении с Россией говорят запорожцы в Сечи, выбирая гетманом Богдана Хмельницкого. О том же

думают при встрече Хмельницкий и Максим Кривонос. Идея дружбы двух единокровных народов раскрывается в романе и в непосредственном участии отряда донских казаков в освободительной войне против польской шляхты и в образе бывалого русского воина Проня Никитина, ставшего воином армии Хмельницкого.

Заслугой Панча является созданный им в романе правдивый, запоминающийся образ украинского народа — не идеализированного, не сусального, а сильного, мужественного, не унывающего в самой большой беде. Жизненны, естественны у Панча и пожилой казак, рассудительный Гнат Верига, и добродушный Добрыдень, и сметливый Мусий Шпичка, и старый казак Покута, гибнущий геройской смертью под пытками.

Автору можно сделать лишь один упрёк. Простой народ у него порой предстаёт слишком простоватым даже и для той эпохи. Например, повстанец Прелый из отряда Саввы Гайчуры сначала рассказывает Кривоносу, кто начальник их отряда, а потом удивлённо спрашивает прославленного запорожца, откуда он узнал имя начальника. Так же простоваты обитатели хутора Вериги, их разговоры и манера держаться. Ремарки: «Все затаили дух», «молча смотрели люди друг на друга» — подчёркивают, что перед нами несколько театрализованная, подчиняющаяся авторской режиссуре масса.

Если в «Запорожцах» образ Кривоноса заслонял собой характер Хмельницкого, то в новом романе найдены надлежащие пропорции. Среди исторических лиц, выведенных в романе, первое место принадлежит Богдану Хмельницкому. Гетман показан как мудрый, осторожный политик и талантливый военачальник, выражающий интересы украинского народа. Обладая государственным умом, Хмельницкий ясно видит, что путь украинского народа ведёт к воссоединению с Москвой. Мысли Хмельницкого о борьбе за освобождение украинского народа совпадают с думами выходца из народных низов Кривоноса, изображённого с большой теплотой.

На поле битвы, при встрече с простыми людьми, во время военного совета Кривонос ведёт себя как мужественный, непоколебимый защитник народа. Трогательна

история его любви к смелой и красивой казацкой девушке Ярине. Почти все эпизоды, в которых участвует Кривонос, реалистически крепки, человечески содержательны. Маловероятно лишь сцена смерти Кривоноса (кстати сказать, противоречащая историческим фактам — известно, что Кривонос умер от чумы), в которой тяжело раненный Кривонос вскакивает на коня, несётся по полю и падает мёртвым.

В ряду положительных героев, созданных воображением автора, особенно интересен характер возлюбленной, а впоследствии жены Кривоноса — Ярины. Он дан в развитии. На первых страницах романа мы встречаемся с привлекательной девушкой-подростком. В дальнейшем Ярина — боевой товарищ и друг Кривоноса, храбрый вожак повстанческого отряда и бдительный разведчик в лагере врага. Особенно впечатляет сильная и с большим художественным тактом написанная сцена гибели Ярины в костёле от рук разъярённой польской шляхты. Мы решительно не согласны с рецензентом «Советской Украины» И. Рыбинцевым, утверждающим, будто бы образу Ярины недостаёт «нежной женственности». Для опровержения этого упрека достаточно сослаться хотя бы на сцену встречи на поле боя Ярины с любимым ею Максимом Кривоносом, в которой ясно проявились чуткость и женская нежность души Ярины. Писателю удалось сочетать в образе Ярины женское обаяние, нежность и страстность со смелостью и выдержанностью. П. Панч действительно создал обаятельный женский образ «казачки времён героической борьбы украинского народа за освобождение».

В лагере врагов украинского народа

удачны образы грубого, тупого и занесенного гетмана коронного — Николая Потоцкого; развратного, наглого угнетателя — стражника коронного Самуила Лаша; злобного врага украинского народа Яремы Вишневецкого — самовластного самодура, чванливого позёра, зверски расправляющегося с восставшим народом.

П. Панч подчёркивает классовое расслоение в казацко-крестьянском войске; вот картина зимнего возвращения после победы; старшины в тёплых шубах едут в отдельных экипажах, казаки в полушубках — на конях, а беднота — оказанные мещане и крестьяне — плетётся пешком, еле прикрываясь от холода драными свитками.

Как художник, П. Панч идёт от народных преданий, фольклора; иногда он даже этнографичен. Хороши страницы романа, на которых описывается Запорожская Сечь. Читатель узнаёт из них много нового о быте, нравах, обычаях запорожцев, и вместе с тем здесь ясно чувствуется гоголевская традиция.

Перевод романа, сделанный И. Карабутенко и А. Островским и опубликованный в альманахе «Дружба народов», в общем хорош. Остаётся пожелать им исправить отдельные недочёты. Так, например, украинское «терпец урвався» очень хорошо переводится не «терпению пришёл конец», как это передано переводчиками, а «терпение лопнуло»; а «наче намаханий із-за рогу мішком» — не «из-за угла мешком стукнули» (как это сказано в переводе), а русским, народным «из-за угла мешком прибитый».

В целом новый роман П. Панча — интересная, содержательная книга.

**А. САХАЛТУЕВ.**



## Горький — пролетарский интернационалист

„Корень Горького — в каждом народе». Эти слова из стихотворения Павло Тычины невольно вспоминаешь, читая рецензируемую книгу. С её страниц возникает перед читателем обогащённый новыми штрихами благородный образ великого писателя — верного друга народов, страстно

боровшегося с человеконенавистническими «теориями» расизма и национализма.

М. Юнович показывает, как постепенно, благодаря самым различным влияниям, созрел революционный интернационализм Горького. Наряду с непосредственными впечатлениями о жизненном укладе и национальном характере многих людей, с которыми он общался в молодые годы, большое значение имели для него духовные ценности

М. Юнович. «М. Горький в борьбе за равенство и дружбу народов». «Советский писатель», М. 1954.

мирового фольклора, рано усвоенные гуманистические идеи русских писателей и мыслителей, убежденно выступавших против национальной исключительности и национального угнетения. Решающую же роль в формировании горьковских взглядов по национальному вопросу сыграли ленинские работы, в которых писатель, как он сам говорил, почувствовал «подлинную революционность».

Значительная часть книги М. Юнович посвящена той мужественной борьбе, которую Горький вёл в дореволюционную пору за равноправие и культурное развитие народов. Выступления писателя против спровоцированных царскими сатрапами армяно-татарской резни и еврейских погромов, дружеская помощь финским революционерам, боровшимся за национальную независимость своей страны, поддержка демократических кругов Украины и Белоруссии, связь с рабочим движением Италии, приветствие китайской революции 1911—1912 годов — обо всех этих фактах неутомимой общественной деятельности Горького автор рассказывает живо и убедительно, опираясь на интересные, нередко впервые привлекаемые материалы из архива писателя.

О сердечной симпатии Горького к народным массам Азии свидетельствует, например, цитируемое в книге ранее неизвестное письмо писателя, адресованное одной из общественных деятельниц Индии. Обращаясь к последней с просьбой написать для русского читателя статью на тему «Индусская женщина, её современное положение и её роль в борьбе Индии за свободу», Алексей Максимович заявлял: «Русская демократия и русская женщина будут очень благодарны вам за то, что вы ознакомите их с тем, как живут и борются люди с берегов Ганга, демократы и женщины великой Индии».

Правильно поступает М. Юнович, показывая сложность решения национального вопроса Горьким. В книге идёт речь и о тех временных идейных ошибках, которые были у писателя в дореволюционное время, например, в его статьях «Две души» и «Издалека». Большевицкая печать, Ленин помогли тогда Горькому преодолеть некоторые его заблуждения, до конца правильно понять сущность пролетарского интернационализма.

С борьбой Горького за равенство и друж-

бу народов неразрывно связана его плодотворная деятельность организатора и творческого руководителя передовой литературы народов России. В книге М. Юнович этому вопросу, естественно, уделено большое внимание. Сообщаемые здесь факты как бы дополняют книгу Н. Пиксанова «Горький и национальные литературы», вышедшую около десяти лет назад, они расширяют наше представление о связях основоположника социалистического реализма с украинской, белорусской, польской, финской, татарской, грузинской, армянской и латышской литературами в период между двумя революциями. Весьма показательно, что уже тогда Горький мечтал об издании все-русского литературного журнала, который был бы, по его словам, «одинаково интересен» для всех народностей России. Из книги М. Юнович мы узнаём также о глубоком интересе Горького к литературам славянских народов, в частности к произведениям Жеромского, Ботева, Вазова и других.

Исключительный размах приобрела горьковская пропаганда идеологии братства народов в советские годы. Писал ли Горький о новых городах в Киргизии и на Кавказе, об индустриальных стройках на Украине и в Армении, говорил ли он о том новом, что внесли в хозяйственную жизнь Туркмении мощные ирригационные сооружения, а в экономику Казахстана — Турксиб, рассказывал ли о достижениях культурной революции в Татарии и Узбекистане — всякий раз он подчёркивал, что в Советском Союзе «все племена и расы совершенно равны в правах на жизнь, на труд, на развитие своих культур».

Один из разделов книги М. Юнович посвящён выдающейся роли Горького в сплочении и развитии многообразной по форме, но единой по своим идейным целям и задачам «всесоюзной литературы». Но автор привлёк далеко не весь материал, относящийся к этой теме. Свежи и интересны отдельные новые данные, приведённые им, такие, как сообщение о письме Горького П. Ф. Юдину, содержавшем предложение издать очерковые сборники национальных писателей о положении различных народностей до Октября и в советское время. Но в целом раздел написан скупо, конспективно.

Весьма актуальна в книге её последняя глава, раскрывающая отношение Горького к национально-освободительному движению

в колониальных и полуколониальных странах. С каким живейшим интересом и сочувствием следил, например, Горький за освободительной борьбой китайского народа! В 1932 году, обращаясь к советским людям, Горький радостно восклицал: «Красный Китай не сказка». Уверенный в полной победе китайского народа над своими поработителями, великий пролетарский писатель заявлял в 1934 году: «...едва ли удав японского империализма способен задушить и проглотить такого слона, каким является Китай. Вероятно, он встанет поперёк горла жадной рептилии быстрее и с большим успехом, чем становится безоружная Индия поперёк горла Англии». Прозорливо предсказывал Горький сегодняшний, счастливый день Китая.

Не ограничиваясь анализом публицистического и эпистолярного наследия Горького, М. Юнович стремится в своей книге показать, как тема дружбы народов органически входит в его художественные произведения, обогащает их полнокровными образами представителей различных наций. Нельзя не приветствовать такую попытку, тем более, что она почти не делалась раньше горьковедями. Однако и то, что удалось здесь автору, — только начало большой и важной исследовательской работы.

Рассматривая такие произведения, как «Сказки об Италии», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина», М. Юнович ограничивается общими, краткими определениями характеров национальных типов у Горького, не раскрывает их внутреннего богатства и слож-

ности. Полнее и лучше удалось автору охарактеризовать пафос революционного интернационализма у Павла Власова и Андрея Находки — героев повести «Мать». Но и это не может изменить общего впечатления о недостаточно глубоком анализе темы братства трудящихся всей земли в художественном творчестве Горького.

Описательностью страдают те страницы книги, где автор раскрывает проблематику дружбы народов в публицистике Горького советских лет.

Во многих своих частях рецензируемая книга имеет обзорный, а не исследовательский характер. Но и в работе такого типа нельзя было обойти молчанием известную статью Горького «О русской интеллигенции и национальных вопросах», опубликованную в 1912 году, как ответ на анкету журнала «Украинская жизнь», беседу Горького с писателями Армении летом 1928 года, его высказывания о расцвете культуры в Чувашии и ряд других важных материалов.

Книга М. Юнович написана публицистически остро, ясным и выразительным языком, — в этом её несомненное достоинство.

В последние годы литературная наука о Горьком обогатилась серьёзными работами. Рецензируемая книга, поскольку она расширяет наше представление о Горьком, найдёт живой отклик. Необходимо, однако, чтобы автор продолжил работу над важной темой, значительно расширил свою книгу, придав ей более исследовательский, монографический характер.

**А. ШУМСКИЙ.**

★

## Самодеятельности — настоящую помощь!

Десятитысячный тираж книги Н. Горчакова «Спектакль художественной самодеятельности» разошёлся быстро. Этот тираж — лишь капля в море. В нашей стране сто тысяч самодеятельных драматических коллективов и в них миллион восемьсот тысяч участников!

Потребность в квалифицированном совете, подсказке опытного человека у нашей художественной самодеятельности так велика, что ей жизненно необходима целая литература консультативного назначения.

Н. Горчаков. «Спектакль художественной самодеятельности». «Молодая гвардия», М. 1954.

И так как до сих пор её нет, то и не удивительно, что книга Горчакова пошла на расхват: в ней рассказано и об основах системы Станиславского, и о работе режиссёра над пьесой, и о работе режиссёра с актёрами.

С большим интересом и пользой для себя любой руководитель драматического самодеятельного коллектива, да и вообще любой читатель, прочтёт первую главу книги Н. Горчакова — «Советский театр и система Станиславского». Автор раскрыл основные положения Станиславского, подчеркнув, что система не даёт рецептуры для исполнения различных ролей, тем менее пре-

тендует она на то, чтобы давать указания, «как стать великим актёром». Система — путь к верному самочувствию актёра на сцене. Достигнув его, актёр «может совершать нужные ему по ходу пьесы действия. Внутренние — психологические и внешние — физические».

Конкретные примеры физических действий и «мысленных действий» вводят читателя в круг понятий и терминов системы. Понятия эти становятся «весомы и зримы» благодаря тому, что Н. Горчаков всю свою книгу строит на разборе одной пьесы, показывая на ней, как создаётся спектакль.

Пьеса эта — «Макар Дубрава» А. Корнейчука. Проникнутая духом современности, несложная по постановочным приёмам, эта вещь как нельзя лучше подходит для осуществления самодеятельным кружком. Взяв «за основу» одну пьесу, Н. Горчаков показал работу над нею со многих точек зрения... Но этот же приём и сузил возможности автора: оставив за пределами книги всю классику и принципы работы над одноактной пьесой, он лишил артистов самодеятельности очень важных для них указаний.

На целинных землях мне довелось подробно говорить с руководителем драмкружка Соль-Илецкого районного Дома культуры В. Мацкевичем. Он увлечённо рассказывал о работе над «Таней» Арбузова и мечтал о постановке трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Характерно, что его смущала не сложность воплощения шиллеровских образов на самодеятельной сцене (в его коллективе, как в десятках и сотнях других, действительно немало истинно талантливых людей), а постановочные затруднения: отсутствие декораций и костюмов и, главное, квалифицированной помощи — режиссёрской и актёрской консультации. Всё это невольно пришло мне на память при чтении книги Н. Горчакова.

Дело в том, что чем дольше читаешь его книгу, тем отчётливее складывается впечатление об ориентации автора на некий идеальный коллектив, находящийся в великолепных условиях, начиная с квалифицированной режиссуры и кончая отличной постановочной частью, располагающей всеми условиями для создания превосходных декораций, световых и шумовых эффектов и т. д. и т. п.

Да, у нас есть и такие коллективы: Дворец культуры автозавода имени Сталина

в Москве, Выборгский Дом культуры в Ленинграде, Дворец культуры металлургов в Магнитогорске, столичный клуб имени Горбунова. Они и многие другие показывают такие самодеятельные спектакли, которые свидетельствуют о том, что «идеальный драматический коллектив», представленный в книге Н. Горчакова, — не абстракция. Но, увы, и не обычное, рядовое явление. Беру на себя смелость утверждать, что большинство кружков художественной самодеятельности находится у нас ещё в положении соль-илецких любителей: их руководитель — очень способный человек, энтузиаст своего дела, но отнюдь не режиссёр со специальным образованием; участники коллектива — люди очень занятые, которые отдают любимому искусству часы своего отдыха после работы...

Поэтому некоторые советы, даваемые Н. Горчаковым, выглядят подчас «уходом» автора от реальной обстановки и возможностей, в которых работают многие коллективы самодеятельности. Н. Горчаков, например, говорит о трёх разных костюмах Павла в «Макаре Дубраве», о живописном заднике и огромной цветущей яблоне первого акта, о множестве великолепных подробностей постановки пьесы Корнейчука. И говорит так, как если бы речь шла о профессиональном театре, скажем, областного центра, а не о самодеятельности, где возможности весьма ограничены.

Автор говорит о необходимости вырабатывать характерность образа и в пример приводит Станиславского, вспоминая, как тот показывал артистам МХАТ скупого — сначала мольеровского Гарпагона, потом пушкинского Скупого рыцаря...

Ориентация на высшие образцы совершенства, спору нет, правильна. Но когда речь идёт об артисте самодеятельности, пример Станиславского может его только испугать, как испугают его все остальные «отождествления» самодеятельного и профессионального театра. На протяжении всей книги находим мы утверждения об особенностях работы артиста, о его отношении к репетиционной и самостоятельной домашней работе, о работе режиссёра по глубокому и всестороннему анализу драматического произведения, о распределении ролей и прочие рассуждения, обнаруживающие прямое отождествление профессионального и самодеятельного коллективов.

И снова мне пришла на память встреча с одним реальным драмкружком. То было в станице Старо-Титаровской, на Кубани. Это кружок сильный, известный и в своём Темрюкском районе и даже во всём Краснодарском крае. Любители ставили «Калиновую рощу» Корнейчука, сами инсценировали отрывки из «Радуги» Василевской и «Молодой гвардии» Фадеева, показывали «Русалку» Пушкина, «Медведя» и «Предложение» Чехова... Причём «Калиновую рощу» и «Русалку» они показывали в естественных, зелёных декорациях своего парка, ставка и лимана... Но если бы избач Лидия Павловна Романец, которая во вне рабочее своё время, работая с колхозниками, механизаторами станичной МТС, сельскими учителями и рабочими маслозавода, подготовляя все эти и многие другие постановки, заранее знала, какие к ней предъявляются требования таким авторитетом, как Н. Горчаков, она бы, наверное, сказала: «Нет, я так работать не смогу — не то образование, не тот опыт и не те возможности у нас в Старо-Титаровке...»

Да разве в одной Старо-Титаровке?! Разве мастер столярного цеха В. Шматок, который в клубе строителей Керчи играл Ломова в чеховском «Предложении», разве контролёр ОТК цеха № 2 Московского завода имени Орджоникидзе А. Свирина, игравшая Круглову в сценах Островского «Не всё коту масленица», и все их товарищи по самодеятельному искусству могут и должны работать так же, как профессиональные

артисты? Конечно, нет! И как бы ни был интересен, глубок, тонок разбор «Макара Дубравы» Н. Горчаковым с точки зрения настоящего режиссёра и получившего специальную подготовку артиста, он не всегда и не во всём удовлетворит артиста самодеятельности. В этом разборе мало практических советов, применимых к конкретным условиям работы того или иного кружка.

Н. Горчаков подчёркивает, что главный грех самодеятельности — выбор пьесы без учёта того, кто будет её играть. Верно. Но при этом следовало бы сказать, что артисты самодеятельности часто грешат подражательностью, вместо того чтобы искать своего решения каждого образа и всего спектакля. Мне самой доводилось не раз наблюдать, как эта подражательность губит свежесть и непосредственность — главное очарование даровитых артистов самодеятельности, которые во что бы то ни стало стремятся походить на всамделишных любимых артистов во взаимовыгодном театре или на киноэкране... А между тем книга такого мастера, как Н. Горчаков, могла бы и «открыть секрет» выработки собственного почерка, хорошего вкуса.

Хочется думать, что в работе над следующим изданием книги Н. Горчаков приблизит её к действительным нуждам и возможностям нашей драматической самодеятельности, которая так нуждается в советах и помощи мастеров театрального искусства.

Анна ИЛУПИНА.

★

## Письма Флобера Тургеневу

В четырёх последних томах полного собрания сочинений Гюстава Флобера, изданных во Франции в 1954 году, содержится около 1300 писем и записок; сто восемнадцать из них адресованы И. С. Тургеневу. Редакторы издания справедливо отметили в предисловии к XIX тому ценность этих писем, уточняющих «ряд вопросов истории литературы» и свидетельствующих «о силе сердечной привязанности, об интеллектуальной близости, соединявших двух мастеров романа».

„Oeuvres complètes de Gustave Flaubert. Correspondance. Supplément, t. t. XIX — XXII (1830—1889)“, Paris, 1954 («Полное собрание сочинений Гюстава Флобера. Переписка. Приложения, тт. XIX—XXII (1830—1889)». Париж, 1954).

В первом же письме Тургеневу, написанном вскоре после знакомства, состоявшегося в 1863 году, Флобер говорил о произведениях Тургенева: «Всё в вас своеобразно, и всё — общечеловеческое. Как много прочувствованного, пережитого мною нашёл я у вас». Не удивительно, что писатели сразу нашли общий язык. В течение многих лет Флобер всё вновь и вновь напоминал о том, как дорога ему дружба Тургенева: «Часы, проведённые с вами в последний раз, были лучшими за истекшие восемь месяцев...». «Никогда, ни к кому не тянуло меня так, как тянет к вам. Общество моего милого Тургенева благотворно для моего сердца, ума, нервов...»

Прочитав ранее неизвестные ему две книги Тургенева — «Сцены из русской жизни» и роман «Рудин», — Флобер писал: «Не могу противиться потребности сказать вам, что я восхищён... Уже давно я считаю вас большим художником. Но чем более я изучаю вас, тем более глубоко изумляет меня ваш талант. Я восхищаюсь этой сдержанной страстностью, этим сочувствием к самым маленьким людям, одухотворённостью картин природы... Какое сочетание нежности и иронии, наблюдательности и красочности! И как всё это согласованно!.. Какая уверенная рука!.. Но более всего заслуживает похвал ваше сердце, то есть постоянная взволнованность, какая-то особенная восприимчивость, глубокое и потаённое чувство».

В августе 1873 года Флобер, рассказав Тургеневу о том, что он с волнением читал «Вешние воды», восклицал: «Какой человек мой друг Тургенев! Какой человек! Я хотел бы быть профессором риторики, чтобы объяснять ваши книги... Я думаю, что помог бы даже идиоту понять некоторые приёмы мастерства, которые меня изумляют. Пример: контраст между двумя образами женщин и их окружением в «Вешних водах». Я нахожу лишь одно слово: прелестно... Но поймите это слово в его настоящем, глубоком значении...»

В начале 1877 года Флобер читал в газете «Тан» первые главы романа Тургенева «Новь». «Как он оригинален, как хорошо построен! — писал Флобер о романе. — ...ни одного лишнего слова! Какая неистовая, потаённая сила!» Закончив чтение «Нови», Флобер сообщил, что на следующий день поутру он примется перечитывать этот роман, хотя и дорожит каждым часом для работы над «Буваром и Пекюше».

Флобер постоянно рассказывал русскому другу о своих новых замыслах и советовался с ним. «Я жду вас, — писал он из Круассе в 1872 году, — к 10 или 12 октября. Заранее готовьтесь к тому, что вы останетесь здесь надолго. Мне необходимо весьма подробно изложить вам план одной книги...» «Я очень хочу долго беседовать с вами и, в особенности, поговорить с вами о книжнице, которую я обдумываю...» — снова звал он к себе Тургенева через три месяца.

Тургенев перевёл две повести Флобера — «Легенду о св. Юлиане Странноприимце» и «Иродиаду» — и опубликовал их весной 1878 года в журнале «Вестник Европы». Написав третью повесть — «Простая душа»<sup>1</sup>, Флобер сейчас же пригласил в Круассе своего друга: «Итак, мой славный, милый старина, необходимо, чтобы вы как можно скорее приехали послушать эту вещицу, и ежели вы её одобрите, мне было бы приятно, если бы она появилась в русском журнале...» Но он не хотел, чтобы Тургенев занимался переводом его произведений в ущерб собственной работе: «Я не допущу, чтобы вы стали моим присяжным переводчиком. Переведя меня один раз, вы оказали мне честь; но повторение огорчило бы меня. В России достаточно людей, которые могут неплохо перевести меня, подобно тем, кто переводит корреспонденции Золя...»

Письма Флобера Тургеневу по-новому освещают творческие искания автора «Воспитания чувств» в последнее десятилетие его жизни: они были порождены его тревогой за будущее родины. Ещё до франко-прусской войны писатель с негодованием разоблачал авантюризм агрессивной политики господствующего класса: «Славные буржуа ныне воинственны!» Их тянет «расширять территорию, не теряя ни одного человека, не расходуя ни одного сантима...» После того как авантюристический милитаризм правителей Второй Империи привёл Францию к катастрофе, к поражению во франко-прусской войне, патриотическая тревога за будущее родины не покидала Флобера. Он писал в 1872 году: «С 1870 года я стал патриотом. Видя свою страну на краю гибели, я чувствую, как она мне дорога». В семидесятых годах Флобер больше всего боялся, что партии «Моральный порядок», возглавляемой президентом республики маршалом Мак Магоном, удастся обмануть и увлечь за собой часть населения Франции и что вновь восторжествует бонапартистская, милитаристская и клерикальная реакция. «Наслаждается ли вы распрами в стане бонапартистов?..» — спрашивал Флобер Тургенева в 1874 году, подчёркивая, что он видит в этих распрах, в интригах лагеря реакции фарс. И, решив

<sup>1</sup> Тургенев собирался перевести и её, но потом отказался от этого намерения, полагая, что царская цензура запретит эту повесть.

снова обратиться к изображению современных нравов, Флобер задумал написать произведения, сатирический, «фарсовый» гротеск которых должен был ещё более открыто и гневно разить реакцию, чем в «Воспитании чувств».

«Мне не даёт покоя потребность создать пьесу о бегстве Базэна», — писал Флобер Тургеневу, подчёркивая, что он имеет в виду комедию. Маршал Базэн в 1870 году предательски сдался в плен с большой боеспособной армией, рассчитывая восстановить на престоле Наполеона III при помощи войск Бисмарка. В 1874 году жена Базэна без особых усилий «похитила» его из крепости на острове св. Маргариты, в которую он был заключён. Флобер понимал, что нужно осмеять лагерь реакции, который дал возможность военному преступнику при помощи фарсово-шутовского побега остаться безнаказанным.

Флобер был убеждён в патриотической сущности сатиры, разоблачающей и осмеи-

вающей паразитический эгоизм, лицемерие, предательство правящего класса.

Письма Флобера Тургеневу показывают, что увлекавшие Флобера в семидесятых годах замыслы произведений жанра социально-политической сатиры — романов империи Наполеона III — качественно отличались от его предшествовавших произведений вследствие того, что его отрицательная оценка роли буржуазной реакции в жизни нации стала после 1870 года более осознанно патриотической, нежели ранее.

Издание четырёх томов писем Флобера — значительное явление в культурной жизни Франции. Эти письма привлекают внимание читателя к прогрессивным традициям в наследии французского классика, близким современной передовой французской литературе. Они напоминают, что одной из лучших традиций прогрессивной французской литературы всегда была её творческая связь с русской литературой.

Я. ФРИД.

★

## Не к лицу

В заметке под названием «Необоснованные претензии» («Знамя» № 5, 1955) подвергся критике один абзац моей рецензии на роман К. Брандыса «Граждане», помещённой в «Новом мире» (№ 3, 1955). Автору заметки не нравится то место в рецензии, где я обращаю внимание на неудачное сравнение в статье польского критика Р. Матушевского. Меня упрекают в том, что я «читала нотации» этому критику, обрушила на него «п.ток поучений» и прочее и прочее.

Однако процитированные в заметке отрывки моей рецензии явно противоречат утверждениям автора. В них, нам думается, нет ни «нотаций», ни «поучений». Есть замечание по частному поводу, касающееся характеристики одного из персонажей романа — Павла Чижя.

Мне хорошо знакомы работы Рышарда Матушевского (в частности его сборник статей о литературе «Двадцатилетия»), и я отдаю должное вкусу и эрудиции этого критика. Но, разумеется, и талантливый критик в хорошей статье может допускать те или иные частные ошибки или высказывать спорные суждения. Это именно, на мой взгляд, и произошло с Матушевским, когда он назвал молодого коммуниста

Павла Чижя «видонзменённым Люсьеном де Рюампре Народной Польши».

Люсьен де Рюампре — герой двух романов Бальзака («Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок») — был на содержании актрисы Корали, затем — сбегавшего с галер бандита и убийцы Вотрена. Свою очередную любовницу, Эстер, он «уступил» банкиру Нусингену, чтобы получить деньги на покупку имения, нужного Люсьену для заключения брака с молодой аристократкой. Начав карьеру в либеральных газетах, он быстро перешёл в лагерь роялистов, суливших ему больше выгоды. Создавая образ Люсьена де Рюампре, Бальзак с беспощадной правдивостью раскрыл процесс морального растления талантливой, но слабовольной и эгоистичного человека в условиях буржуазного общества.

Что общего между Люсьеном де Рюампре, для которого деньги, карьера стали единственным смыслом существования, и Павлом Чижом? Оба они честолюбивы и оба провинциалы, прибывшие в столицу. Достаточно ли этих данных для аналогии? На мой взгляд, далеко не достаточно. Нередко подоплёкой таких сомнительных сравнений бывает неправильный взгляд на челове-

ческую натуру, как явление внеисторическое, на черты характера, как на нечто вечное, независимое от конкретной исторической обстановки. Мы уверены, что Р. Матушевский далёк от такого рода взглядов. По всей вероятности, он и сам чувствовал неловкость своего неудачного сравнения и поэтому обставил его рядом оговорок.

Автор заметки в «Знамени» упрекает меня в неточном цитировании. Я пропустила слово «видоизменённый». Но это слово — увы! — ничего не «видоизменяет» в сущности вопроса! Если кто-то назовёт героиню современного романа «видоизменённой Татьяной», то в нашем сознании возникнет женский образ, в котором обаяние пушкинской героини сочетается с качествами нашей современницы. Но «видоизменённый» Яго или Иудушка Головлёв никак не вызовет в нас образа благородного человека. Видоизменённый негодяй остаётся во всех обстоятельствах негодяем.

Автор заметки считает, что Растиньяку более присущи черты, которые я приписываю Люсьену. Нет сомнения, что в соревновании, кто более аморален, Растиньяк занял бы первое место. Но ведь тот факт, что в «Человеческой комедии» имеется тип ещё более беспринципный и циничный, чем Люсьен де Рюбампре, не уменьшает беспринципности и цинизма последнего!

В заметке «Знамени» меня поучают в том смысле, что параллель между героями Бальзака и Брандыса — «художественное сравнение», которое я поняла «буквально», «упрощённо». Всякое литературное сравне-

ние является элементом писательского стиля; его цель — создать определённый художественный образ. Однако убедительного художественного образа не получается, если он построен из несравнимых элементов. Что же остаётся от такого сравнения и зачем оно?

Полемика, возникающая вокруг Павла Чижика и Люсьена де Рюбампре, невольно затрагивает и другие, более серьёзные вопросы. Защита явно неудачного абзаца в статье польского критика — это не что другое, как непонятный реверанс. Нуждаются ли польские литераторы в реверансах, комплиментарной критике, в снисходительном к себе отношении?

Вся моя оценка неудачного сравнения в статье Матушевского выражена буквально в следующих словах: «Нам это сравнение кажется рискованным и обидным для героя Брандыса».

Непонятно, как эта фраза под лихим пером автора заметки в «Знамени» превратилась в «нотации» и «поучения»?

Непонятно, в какой форме вообще представляет себе автор этой заметки возможность советского критика взять слово в прениях наших зарубежных друзей и высказать своё мнение по тому или иному поводу?

Что же касается формы самой заметки в «Знамени», то она написана с мало понятной раздражённостью и необъективностью. Серьёзному журналу со старыми хорошими традициями это никак не к лицу.

А. ДИРИНГЕРОВА.

★

## Политика и наука

### Молодой Китай

Китайская Народная Республика стала могучим бастионом мира и вместе с Советским Союзом возглавляет всемирный лагерь социализма и демократии.

Достижения трудящихся нового Китая, их энтузиазм вызывают горячие симпатии и восхищение у всех честных людей, которым дорого будущее человечества, его прогресс и свобода. Эти чувства проявились и в книге французского писателя Клода Руа «Ключи к Китаю» — убедительном в своей правдивости и художественной выра-

зительности рассказе очевидца, побывавшего в Китае в 1952—1953 годах.

«Очень старый Китай в то же время очень молодой Китай: его народ так же молод, как и его чаяния, так же молод, как юная Надежда и юная Справедливость», — этими словами Руа как бы подводит итог своих впечатлений. Он повествует об истории Китая и его современности, о столице республики и маленькой деревне, о новой жизни рабочих, крестьян, интеллигенции. Автор интересно рассказывает о борьбе Мао Цзэ-дуна и других руководителей китайского народа за марк-

Клод Руа. «Ключи к Китаю». Издательство иностранной литературы, М. 1954.

систско-ленинскую политику Компартии Китая. В книге излагаются беседы Руа с представителями самых различных слоёв китайской общественности, и через призму судеб этих людей ясно видишь утверждение нового в шестисотмиллионной стране.

Писатель образно передаёт свои наблюдения. Он пишет об аграрной реформе: «В тех областях, где реформа проведена давно, бумажные костюмы крестьян — яркосиние, новые, не заштопанные и не заплатанные. В остальных районах одежда выцветшая, дырявая, штопанная-перештопанная. Этот контраст настолько разителен, что его видишь невооружённым глазом». Касаясь вопроса культурного строительства, Руа отмечает такой, например, факт: в Северном Хубэе крестьянские кооперативы только за одну неделю продали 27 тысяч самопишущих ручек.

Автор — убеждённый друг нового Китая, китайского народа. Он издевается над измышлениями колонизаторов о «цивилизаторской миссии Белого Человека» и «жёлтой опасности», над распространяемыми на Западе реакционной прессой всевозможными вымыслами о КНР и противопоставляет им своё знание страны. «В Китае, — пишет он, — самая высокая плотность населения. А стныне я знаю ещё и то, что Китай — страна высоких человеческих качеств. Мир спасут лучшие. И тем лучше, что их миллионы, миллиарды». Руа высмеивает туристов, жадно ищущих в Китае «экзотику» стародавних времён. Он приводит сведения о новых амбулаториях, открытых в Пекине, с сотнях тысяч пекинских домов, получивших волопровод, описывает чистые, опрятные улицы столицы.

Значительная часть книги посвящена освободительной борьбе китайского народа. История этой борьбы богата яркими событиями. Вспомним тайпинское восстание и восстание Ихэтуань, деятельность Сунь Ят-сена и свержение монархии в 1911—1912 годах. Память трудящихся Китая свято хранит славные дела участников революционных боёв двадцатых годов, подвиги героев Великого похода Красной армии, воинов 8-й и Новой 4-й армий, в течение восьми лет наносивших удары по японским захватчикам, солдат и офицеров Народно-освободительной армии, разгромивших военную машину гоминдана.

Страницы книги, посвящённые армии китайского народа, читаются с большим ин-

тересом. Руа жпзо передаёт свой разговор с активными участниками многолетней вооружённой борьбы. Автор рассказывает о встрече с крестьянином Жэнь Цзэ-чжунем и драматургом Ли Бо-чжао, прошедшей школу подпольной работы, а затем сражавшейся в рядах Народно-освободительной армии Китая; знакомит читателя с литератором Лу Чжи, служившим в артиллерии, и с солдатом Гао Юй-бао, ставшим известным писателем. Их воспоминания создают прекрасный образ героической армии — плоть от плоти, кровь от крови великого и могучего народа, твёрдо решившего добиться свободы и осуществившего своё решение.

В старом Китае милитаристские, гоминдановские войска были бичом для населения, их приход рассматривался как стихийное бедствие, вроде нашествия саранчи. «Из хорошего железа не делают гвоздей, хорошие люди не становятся солдатами», «Дерево, изглоданное термитами, годится только на дрова, а ленивый сын годится только в солдаты» — эти пословицы отражают отношение народа к прежней, дореволюционной армии. Но история, замечает Руа, опровергает пословицы и выводит их из употребления. О теперешней роли и значении Народно-освободительной армии хорошо сказал автору молодой китайский полковник: «Армия нуждается в народе так же, как рыба в воде. Армия без народа — всё равно, что рыба без воды».

Преобразована не только китайская армия. Коренным образом изменились положение народа, вся его жизнь. Руа показывает это на многочисленных примерах. Вот бывший рабочий, ныне директор пекинской электростанции Лю Ин-юань. Ребёнком он уже испытал тяжесть двенадцатичасового труда на папиросной фабрике, принадлежавшей англичанину. Потом перешёл на завод электроламп, хозяином которого был японец. Много горя видел Лю Ин-юань после захвата Северо-Восточного Китая японскими империалистами. Новая жизнь началась для него 20 августа 1945 года, когда советские войска освободили Харбин. Вскоре в город вступили части Народной армии. Электростанция<sup>1</sup>, на которой работал Лю Ин-юань, была национализирована. Воодушевлённый победой народа, он отличился на восстановлении турбин, был удо-

<sup>1</sup> В русском переводе книги Руа некоторые электростанции ошибочно названы электростанциями.

стоен звания Героя труда и выдвинут директором электростанции в Чанчуне, а затем — в столице. И только тогда Лю Инюань научился читать. Жизненный путь рабочего, ставшего руководителем крупного предприятия, — типичный пример роста миллионов трудящихся китайцев, взявших власть в свои руки и ставших хозяевами своей страны.

В ряде глав книги рассказывается о древней и новой культуре Китая, его литературе, театре, живописи. Для Руа не остались незамеченными жадное стремление китайских тружеников к знаниям и забота Коммунистической партии Китая и правительства КНР о том, чтобы все блага культуры сделать доступными рабочим и крестьянам.

Говоря о китайском театре и нынешнем его зрителе, тонко чувствующем игру актёров, автор приводит слова, сказанные ему

выдающимся артистом Мэй Лань-фаном: «Подмостки — превосходный наблюдательный пост, откуда видно, как далеко шагнул народ, как он эволюционирует, совершенствуется».

В книге Клода Руа в той или иной степени освещены многие стороны жизни нового Китая. О некоторых из них упоминается лишь мимоходом, другим посвящены целые главы. Но не количеством страниц и рассматриваемых вопросов определяются качества этого произведения. Книга хороша тем, что даёт читателю яркое представление о талантливом и трудолюбивом народе, вставшем во весь свой исполинский рост и теперь вдохновенно строящем новое, социалистическое общество.

*Кандидат исторических наук*  
**М. ЮРЬЕВ.**

★

## Ценное издание

Появление первого тома «Истории медицины» — важное и отрадное явление в нашей научной литературе. В подобном издании нуждаются не только советские специалисты, но и медицинские работники стран народной демократии, прогрессивные учёные капиталистических государств. Этот труд может служить полезным пособием для самообразования, помогая расширению кругозора читателя.

Написанная коллективом авторов под редакцией Б. Д. Петрова, книга рассказывает о возникновении врачебной деятельности в человеческом обществе, о путях развития медицинской науки от примитивных представлений и практики, свойственных древним народам, до нашей современности, когда врачи располагают тончайшими и высокоэффективными методами лечения многих заболеваний.

Книга написана широко: развитие медицины характеризуется на фоне всеобщей истории, в связи с особенностями общественно-экономических формаций.

Любопытны главы, посвящённые медицине Месопотамии, Индии, Египта, в которых приводятся краткие сведения о материальной культуре и особенностях природных условий этих стран. В книгу введены новые материалы по истории медицины Китая.

«История медицины. (Материалы к курсу истории медицины)». Том 1. Медгиз, М. 1954.

Известны имена видных китайских врачей, живших ещё до нашей эры. Таковы, например, хирург Хуа-То, применявший обезболивание при операциях, Чжан Чжун-цзинь, прославившийся лечением лихорадок. В XVI веке учёным Ли Ши-чженем были обобщены накопленные китайской медициной познания в области лекарственных растений. Составленная им фармакопея изложена в пятидесяти двух томах.

С интересом читаются страницы, рассказывающие о деятельности врача древней Греции Гиппократ, придерживавшегося материалистических взглядов. «Природа тела есть точка отправления медицинского суждения», — писал он, считая, что организм и происходящие в нём процессы надо изучать в единстве и учитывать при этом влияние факторов среды на заболевание.

Крупнейшим естествоиспытателем в I—II веках был римский врач Гален, оказавший большое влияние на развитие медицины. Он много занимался вивисекцией и расширил представления о строении животного организма. Впоследствии схоласты и церковники, односторонне восприняв учение Галена, превратили его в догму, тормозящую дальнейшее движение науки.

В древний период и в средние века имели, однако, смутное представление о человеческом организме. Только с эпохи Возрождения началось изучение анатомии чело-

веческого тела. В XVI веке возникает школа Везалия, который усомнился в правильности ряда положений Галена, переносившего на людей данные, добытые путём вскрытия животных. Оценивая трактат Везалия «О строении человеческого тела», великий русский физиолог И. П. Павлов писал, что «это первая анатомия человека в новейшей истории человечества, не повторяющая только указания и мнения древних авторитетов, а опирающаяся на работу свободного исследующего ума».

В книге описываются великие естественнонаучные открытия конца XVIII — начала XIX века. Хорошо показана ожесточённая борьба старого и нового, прогрессивного и реакционного вокруг таких проблем, как кровообращение, оспопрививание, применение наркоза, антисептики, и других. Интересно поставлен вопрос о взаимоотношениях между так называемой «народной» и научной медициной. «Ценность народной медицины, — говорится в книге, — заключается в накоплении ею эмпирических наблюдений ряда поколений, установленных фактов, могущих служить материалом для науки».

В книге дана острая критика ряда лженаучных теорий, особенно таких, как фрейдизм и учение психосоматиков, показано коренное различие между постановкой здравоохранения в социалистическом и капиталистическом обществе.

Имеются в книге и отдельные недочёты. Ничем не оправдано, например, то обстоятельство, что в разделе «Микробиология» отсутствует важная часть учения о заразных болезнях и борьбе с ними — эпидемиология, о которой автор раздела (А. Рубакин) лишь вскользь упоминает в главе «Гигиена». Нет в этом разделе и имени основоположника отечественной эпидемиологии Д. К. Заболотного. Говоря об идеях плеоморфизма (безграничной изменчивости микробов) и мономорфизма (неизменности микробных форм), автор устранился от анализа этих ведущих течений в микробиоло-

гии и тем самым не дал читателю представления об их значении в ходе развития науки. В результате вопрос, почему мономорфизм превратился из прогрессивного направления в реакционное, остаётся невыясненным.

В рассказе об отдельных экспериментальных работах И. Мечникова не упомянуто имя прогрессивного французского учёного Э. Ру, который по праву делит с ним честь этих классических исследований. Не раскрыто, какие именно черты учения Парацельса были использованы фашистской «медициной».

В двух местах книги говорится о том, что «схоластика, господствовавшая в западноевропейских странах, никогда не имела большого влияния в нашей стране». Эту немаловажную особенность развития русской культуры и науки следовало бы объяснить подробнее. Более чем спорно категорическое утверждение, что крупные эпидемии не были известны древнему миру. Подобное мнение необходимо было как-то аргументировать.

Издание хорошо иллюстрировано. Жаль только, что не всегда указывается, откуда заимствован рисунок или где находятся изображённые памятники.

Книга написана простым, доходчивым языком. Однако в ней можно встретить явно неудачные выражения. Так, мы читаем: «процесс видообразования особей», «сделал много специальных (?) открытий в биологии, анатомии и физиологии», «города древней Руси... превосходили многие страны».

Первый том содержит материалы по всеобщей истории медицины, только частично затрагивая важнейшие моменты истории русской врачебной науки. Нет сомнения, что с ещё большим интересом читатели встретят второй том, целиком посвящённый развитию отечественной медицины, включая советский период.

**Ю. МИЛЕНУШКИН.**

★

## Забывтый историк и публицист

В письмах начинающим писателям А. М. Горький советовал читать труды А. П. Шапова, считая, что «он, в сущности,

**П. Кабанов.** «Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Шапова». Госполитиздат, М. 1954.

первый ясно и твёрдо поставил вопрос о месте и значении трудового народа в истории России». Деятельность Шапова сыграла немаловажную роль в развитии русской общественной мысли. Между тем его имя почти незнакомо широким кругам читате-

лей. Вот почему хочется отметить появление работы П. Кабанова «Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Шапова».

В своём предисловии к книге автор справедливо указывает, что советская наука до сих пор уделяла Шапову незаслуженно мало внимания, тогда как ему, несомненно, принадлежит «особое место среди учёных, выступавших на кафедрах русских университетов в XIX веке».

Афанасий Прокофьевич Шапов (1831—1876) прошёл путь, типичный для демократа, вышедшего из народных низов, пробившегося к науке и связавшего свою деятельность с интересами угнетённых и эксплуатируемых масс. Бурса, духовная академия и, наконец, преподавание в Казанском университете, где он быстро сделался любимцем студентов,— таковы первые этапы этого пути.

В 1861 году учёный выступил на панихиде по восставшим крестьянам, расстрелянным царскими карателями в селе Бездне. Его речь незамедлительно вызвала отклик царских чиновников. Шапов был арестован и привезён в Петербург. Только благодаря протесту, составленному при энергичном участии Н. Г. Чернышевского, правительство ограничило отрешением Шапова от должности. В Петербурге началось его сотрудничество в демократической печати. Вскоре он был сослан в Сибирь, где и умер.

Автор отмечает, что взгляды учёного окончательно сформировались в связи с революционной ситуацией 1859—1861 годов. Его перемены настроения нашли своё выражение во вступительной лекции к университетскому курсу русской истории, который он читал, в беседах со студентами о конституции, в статьях, напечатанных в журналах шестидесятых годов.

В добавление к материалам, использованным автором, можно указать также на недавно найденную в архиве Герцена рукопись Шапова, представляющую острый политический памфлет, проникнутый ненавистью к самодержавию, обличающий антинародную и эксплуататорскую сущность господствующих «каст».

Основной политической идеей, которую Шапов проводил в своих работах и выступлениях, была идея народовластия. Он находил её в старых формах русской жизни — в самоуправляющейся общине, в вечевом управлении, в земских соборах, которые, по

его мнению, характеризовали период русской истории до начала XVII века, пока не были вытеснены самодержавной централизацией. Вместе с другими революционными демократами Шапов верил, что община ляжет в основу будущего социального строя.

Хотя учёный и отходил от исторической правды, идеализируя русское средневековье и не видя в нём классового угнетения, его рассуждения о земском начале были прогрессивны для своего времени: они разоблачали буржуазно-дворянские теории, восхвалявшие самодержавие как надклассовую власть, равно заботящуюся о благе всех слоёв общества. Публицистические работы Шапова раскрывали насильнический, узурпаторский характер царизма.

Шапов близко подходил к пониманию классового строения русского общества. Не случайно он одним из первых русских деятелей познакомился с «Капиталом» Маркса. На примере сибирского купечества он характеризовал эксплуататорские стремления буржуазии, показывал тяжёлые условия жизни трудящихся.

Внимательно изучал Шапов крестьянское движение XVII—XVIII веков, особенно восстания, проходившие под руководством Разина и Пугачёва. Обращаясь к фактам современности, он заявлял, что выступившие в селе Бездне крестьяне разрушили «несправедливое мнение, будто народ наш неспособен к инициативе политических движений». Его утверждение, что обманутые помещицей реформой крестьянские массы «снова ждут Стеньку Разина», поднимало боевое настроение демократической молодёжи. Немалое значение придавал историк борьбе революционной интеллигенции, и одну из своих лекций посвятил декабристам — теме, неслыханной до того в университетских аудиториях.

П. Кабанов отмечает, что Шапов, как и все революционные демократы, признавал народ главным деятелем истории, основной производительной силой общества, вынесшей на себе весь труд «устроения земли русской». В своих статьях он стремился осветить конкретные географические, этнографические и хозяйственные условия, в которых происходил процесс освоения народными массами огромных пространств страны и овладения её природными богатствами. Автор правильно подчёркивает демократическое отношение Шапова к нерус-

ским народностям, его защиту равноправия и просвещения для всех национальностей, его протест против великорусского шовинизма.

Несомненно, учёный был далёк от исторического материализма, не видел связи происходивших процессов с развитием определённых способов производства и сменой общественно-экономических формаций. Понимая, что бедность народа зависит от эксплуатации его сильными и богатыми, он, тем не менее, признавал возможность перестройки общества на основе широкого и свободного распространения естественно-научных и технических знаний.

Развитие Шапова шло в русле материалистической, революционно-демократической идеологии. Большое влияние на него оказал Герцен. К сожалению, преемственность идей недостаточно подчеркнута автором.

Противоречия, встречающиеся у Шапова, П. Кабанов пытается объяснить изменением его взглядов в связи с новой общественно-политической обстановкой и отходом историка-публициста на позиции мирного пути

борьбы. Следует отметить, что даже в наиболее подъёмный период своего развития Шапов не был вполне последовательным революционным демократом. Об этом свидетельствует его спор с Чернышевским в 1862 году, содержание которого П. Кабанов, к сожалению, не попытался раскрыть хотя бы на материале литературных произведений обоих деятелей.

В ряде своих статей Шапов выдвигал на первый план местную материальную сторону исторического развития, называя её «областностью». Эта «краеведческая» особенность шаповской концепции слабо освещена в книге.

Учитывая широту и разнообразие круга передовых людей, объединённых общей позицией борьбы с самодержавием и крепостничеством, П. Кабанов правильно причисляет Шапова к революционно-демократическому лагерю. Нельзя не пожалеть, что автор не уделил внимания оригинальному, выразительному языку публицистики учёного.

*Кандидат исторических наук*  
**В. ЛЕЙКИНА-СВИРСКАЯ.**

★

## Посланцы Русского государства

Созданный в XVI веке и ведавший иностранными делами Посольский приказ был, по словам одного из его руководителей, Ордин-Нащокина, «оком всей великой России». Чтобы вести «промысел» — дипломатическую службу, — надобно, писал он, «мысленные очеса на государственные дела устремлять беспорочным и избранным людям».

О дипломатических способностях русских посланцев, их патриотизме, настойчивости, выдержке свидетельствует недавно выпущенный издательством Академии наук СССР сборник «Путешествия русских послов XVI—XVII вв.». В книгу включены тексты шести «статейных списков» — отчётов посольств, направленных в своё время в различные страны. Написанные в форме дневников, с протокольной точностью, эти отчёты являются ценнейшими источниками по истории Русского государства, его внешней политики, содержат обширные сведения о жизни и быте иноземных народов.

Сборник открывается статейным списком

«Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки». Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1954.

посольства И. М. Воронцова в Швецию, которое должно было принять от короля Эрика XIV «крестное целование» (присягу) в исполнении русско-шведского союзного договора 1567 года.

Прибыв в Швецию, послы попали в исключительно сложную обстановку дворцовой борьбы, в результате которой Эрик XIV был свергнут с престола. Крупные шведские феодалы, сторонники польской ориентации, интриговали против русских и пытались даже выселить их из «Стекольных» — Стокгольма. Положение осложнилось тем, что Эрик XIV заболел душевным расстройством, стал «не сам у себя своею персоною».

В сумятице событий, когда к власти пришёл брат короля Иоганн, злейший враг Москвы, мятежники ограбили русских дипломатов до нитки. Но даже в этих печальных обстоятельствах послы проявили большую стойкость. Сложившаяся ситуация помешала Воронцову выполнить его миссию, но в ходе длительных переговоров со шведскими деятелями он обнаружил исключительное упорство и выдержку, отстаивая честь и достоинство Русского государства.

Впервые публикуемый полностью отчёт И. П. Новосильцева рассказывает о посольстве в Турцию, предпринятом после набега султана Селима II на Астрахань в 1569 году. Русский посол при дворе могущественного турецкого владыки, в отличие от дипломатов других стран, «поклон правил стоя, а не на коленках, и салтан против того не промолвил ни одного слова», что явилось внешним выражением возросшей силы Русского государства. Селим II в своей ответной грамоте Ивану IV отказывался от каких-либо претензий на Астрахань.

Значительный интерес представляют статейные списки Ф. А. Писемского, крупного дипломата XVI века, совершившего с подьячим Неудачею Ховралёвым длительное путешествие в «Лунду» — Лондон, и Г. И. Микулина, побывавшего в Англии спустя восемнадцать лет после Писемского. Оба документа — важные источники по истории англо-русских отношений.

Английское правительство, рассматривавшее Россию лишь как объект торговой экспансии, отклоняло политический союз с ней. Тем не менее на торжественных аудиенциях у Елизаветы, в частых беседах с британскими сановниками Писемский проводил основную мысль: «и быти б государству Московскому с Ангилейским государством споможеньем всяким против всех своих недрузей общим заодно». В острой дипломатической борьбе, преследуя интересы своей родины, он упорно отвергал претензии Англии на монопольную торговлю с Россией.

В задачу посольства Микулина входило: известить о воцарении Бориса Годунова, а главное — выяснить характер отношений Англии с враждебными России державами, убедить Елизавету «стояти б на басурман за один». Переговоры Микулина с иностранными посланниками, заинтересовавшимися русским посольством, показывают его ум, дипломатический такт и умение. В отчёте довольно точно передан ход «великой смуты» — восстания Эссекса в 1601 году.

Завершается сборник статейным списком П. И. Потёмкина, видного военного и политического деятеля XVII века. Ему предписывалось официально сообщить французскому двору о заключении перемирия между Россией и Польшей и провести подготовительные меры к заключению союза для предстоящей войны с Турцией.

Посольство было принято Людовиком XIV в Сен-Жермене «с великим учтивством» и пышностью, имело беседы с первым министром Кольбером, представителями коммерческого мира. Реальным итогом переговоров явилось расширение русско-французских торговых связей. Потёмкин и его свита ознакомились с достопримечательностями Парижа и его окрестностей, посетили знаменитую гобеленовую мастерскую живописца Лебрена, театр Комедии, где великий Мольер показал им своего «Амфитриона». Потёмкину очень понравился спектакль, и он благодарил актёров и автора.

Богатейшее содержание опубликованных документов несомненно. Отбор документов для настоящего издания сделан в основном удачно.

Напечатанная в приложениях статья Д. С. Лихачёва «Повести русских послов как памятник литературы» имеет большое познавательное значение. Хочется указать лишь на одно спорное и противоречивое её положение. Справедливо отмечая, что статейные списки «отнюдь не принадлежат к памятникам художественной литературы», автор в то же время пишет: «Литература и деловая письменность борются в этих посольских повестях, попеременно одолевая друг друга».

На наш взгляд, нарисованная картина грешит преувеличением. Статьиные списки — это официальные документы Посольского приказа, рассматриваемые как один из видов актового материала. Следует ли превращать их в некую повесть литературного произведения с «деловой» письменностью, да ещё именовать при этом «повестями русских послов»?

Большую помощь читателю окажут археографический обзор, текстологические примечания, обстоятельные комментарии, словарь и указатели, имеющиеся в книге. Отметим в них некоторые отдельные недочёты. Так, например, в комментариях к статейным спискам Писемского и Микулина скрупулёзно перечислены имена многих придворных королевы Елизаветы, но обойдён важнейший вопрос о хищническом характере политики английского правительства второй половины XVI века, его стремлении превратить Россию в свою колонию, а Волгу — в транзитный путь для торговых связей с Персией, странами Средней Азии и Индией.

В комментариях к статейному списку Ф. Елчина не разъяснено, почему правитель Мегрелии Леван II, обратившийся в 1638 году к Михаилу Фёдоровичу с просьбой принять княжество «под свою царскую высокую руку», холодно принял посольство Елчина и, таким образом, вопрос о русском подданстве Мегрелии отпал.

Людовик XIV не дважды, как об этом ошибочно сообщается в комментариях, а трижды принял посольство П. Потёмкина. Ф. Писемский был вызван на тайную аудиенцию у Елизаветы не в 1581, а в 1583 году; решение рейхсрата по вопросу о русско-шведском договоре было принято не в

1564 году, а спустя пять лет. Известный русский дипломат Пётр Толстой ошибочно назван Н. Толстым. К сожалению, указанные опечатки не оговорены в списке исправлений, которых насчитывается более тридцати.

Сделанные замечания носят, однако, частный характер и не могут поколебать весьма положительного мнения о научном аппарате издания. Книга, несомненно, вызовет значительный интерес не только среди специалистов-историков, но и среди более широкого круга советских читателей.

*Кандидат исторических наук*

**А. НИКОЛАЕВА.**



# ПРЕДИКИ

## О ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА

Во время Второго съезда советских писателей я несколько раз бывал в Кремле. В Благовещенском соборе меня поразили фрески, о существовании которых я и не подозревал. В нежнейших, порой едва различимых абрисах выступали на этих фресках древние лики русских людей в их земной неповторимой прелести. Я ничего не знал об этих фресках, потому что они не описаны и не изданы.

Во многих изданиях по искусству мы часто видим одни и те же памятники. Даже многотомная «История русского искусства», издаваемая Академией наук СССР, не блещет особенной новизной.

А ведь в самой Москве, в помещении Андрониевского монастыря, имеется замечательный музей имени Андрея Рублева. В нём не только сохранились фрески нашего величайшего живописца древности, но и сосредоточено огромное собрание других произведений древнерусской живописи, которой мы так же вправе гордиться, как в Италии гордятся Чимабуэ, Джотто и фра Анжелико. В печати неоднократно поднимался вопрос о том, что этому музею не уделяется должное внимание. Но положение не изменилось!

А ведь куда ни поедешь, где ни оглянешься — везде

множество малоизвестных, а то и вовсе не известных памятников древнерусской живописи. Эти памятники — бесценный источник не только

для изучения истории русского искусства, но и общей истории труда, быта и культуры древней Руси. И хотя по отдельным монографиям мы кое-что знаем о фресках Феропонтова монастыря, Крестовоздвиженского собора города Тутаева (бывш. Романов-Борисоглебск), церкви в Коровниках (г. Ярославль), однако нельзя считать, что мы знаем многое. Ещё хуже обстоит дело с популяризацией памятников культуры Великого Устюга, Сольвычегодска и других городов русского Севера, где развивалась самобытная художественная культура, возникали свои художественные школы.

Необходимо наладить систематическую широкую регистрацию, фотографирование, раскрытие, реставрацию и публикацию памятников древнерусского изобразительного искусства. Необходимо издание сборников, посвящённых этому искусству, наподобие выходившего до войны сборника «Вопросы реставрации». Необходимо основать специальную серию «Памятники древнерусского изобразительного искусства», как это делается с памятниками древнерусской литературы. Трудно переоценить культурное значение такой работы, которая открывает всему миру сокровища нашей национальной культуры.

Несколько лет назад знаковый продавец книжного магазина застенчиво предложил мне книгу «Сокровища Эрмитажа».

— Признаться, стыдно продавать. Но, может быть, вас заинтересует по материалу.

Книга была издана так отвратительно, воспроизведения картин великих мастеров так плохи, что её не решались выпустить. Весь тираж лежал на складе. Наконец книга была «уценена» и пущена в продажу. И мгновенно разошлась!

Мы давно хотим приобрести альбомы, в которых были бы собраны и запечатлены не только произведения наших художников, но и памятники мирового искусства. Мы хотим знать не только сокровища нашего Эрмитажа, но и собрания Лувра, Прадо, палаццо Пицци и палаццо Уффици, Старой Пинакотекки в Мюнхене и других всемирно прославленных музеев Европы.

Нам нужны монографии и альбомы, посвящённые разным художникам: Рембрандту и Рубенсу, Веласкесу и Эль Греко, Кранаху и Дюреру, Гольбейну и Маттиасу Грюневальду, Пуссену и Ватто, Курбе и Коро, Гогену и Ван-Гогу, Дега и Ренуару, Матиссу и Пикассо и, разумеется, многим другим.

Нельзя ли, подобно «Библиотеке поэта», организовать издание своего рода большой и малой серий «Библиотеки художника», содержащей памятники русского и мирового искусства, а не ограничиваться изданием донельзя упрощённых брошюрок?

Мы чрезвычайно бедны справочниками по истории искусства не только европейского, но и русского. Ведь не секрет, что до сих пор, если нужно навести справку о каком-нибудь русском художнике, особенно второстепенном, мы вынуждены обращаться к много-томному словарю художников Тиме и Беккера на немецком языке.

Этой бедой было бы легко помочь. В том же Эрмитаже дивно составлен обширный словарь русских художников — результат почти сорокалетней работы директора библиотеки Эрмитажа О. Э. Вольценбурга. Много раз поднимался вопрос об издании этого труда. Нельзя ли это осуществить? Ведь такое пособие стало бы незаменимым для всех музейных работников, библиотекарей, искусствоведов, да и самих художников.

**Александр МОРОЗОВ.**

★

### ОПРОВЕРГНУТЫЙ ПРЕДРАССУДОК

— Нет, Щедрина нельзя читать с эстрады. Современная публика его не воспринимает, не понимает, она не знает ту жизнь, которую он обличает и высмеивает. Мысль Щедрина слишком сложна, его сатирические гиперболы слишком смелы. Он не доходит, не заинтересовывает в громком чтении, — убеждал меня один из наших опытных мастеров художественного слова.

Но вот артист Малого театра Б. Попов после двух лет тщательной подготовки прочитал «Историю одного города». Полтора часа с напряжённым вниманием слушают его и в заводском

цехе, и на художественном совете Филармонии, и в кругу газетных работников.

Б. Попов и его режиссёр А. Шипов подошли к «Истории одного города» прежде всего как к великому реалистическому произведению. Да, конечно, в природе не могут существовать Органчик и градоначальник с фаршированной головой, и тем не менее в основе «Истории одного города» лежит самая доподлинная реальность. Так было!

Это не шутка, не забавная игра воображения, а горькая истина и мудрый смех.

Артист глубоко передал психологическую правду и многообразие художественных красок щедринского произведения. Психологический подтекст исполнения заключается у Б. Попова в чувстве безмерной обиды за тот гнёт и страдания, которые народ нёс в старой России. Поэтому самая неожиданная сатирическая гипербола оказывается внутренне оправданной. Воспроизводимые артистом щедринские образы и картины вызывают то жгучее ощущение боли, то неудержимый смех, то удивление перед мудростью писателя, верившего в торжество великих и светлых идеалов будущего.

Можно не сомневаться в том, что так прочитанная «История одного города» завоюет эстраду.

Но разве мало других произведений Щедрина, которые способны доставить живое удовольствие слушателям? Уж не говоря о многих сказках, нашим артистам и концертным организациям следовало бы, на-

пример, вспомнить о таком великолепном рассказе, как «Сон в летнюю ночь», в котором озорной и солёный юмор неотрывен от насыщенной подлинным пафосом веры в творческие силы русского крестьянства... А «Пошехонская старина», «За рубежом»?

Право, пора покончить с предрассудком относительно «недоходчивости» произведений Щедрина при эстрадном их исполнении.

**Я. ЭЛЬСБЕРГ.**

★

### КОММЕНТАРИИ НЕ ИЗЛИШНИ!..

А. П. Чехов как-то бросил ироническое замечание, что важен не Шекспир, а комментарий к нему. Ясно, что эти слова направлены против тех учёных-педантов, которые с излишней услужливостью ломаются в открытые двери и стараются разяснить читателям то, что и без них понятно. Но это не значит, что комментарии вообще излишни. Огромными, небывальными таражами выходят сейчас произведения русских, иностранных и национальных классиков. Всё ли понятно массовому читателю? Ведь авторы этих, даже широко известных, произведений обращались к своему читателю, для которого было обязательно знание языческой и библейской мифологии и для которого Зевсы, Ахиллесы, Леды, Лели и Хариты, Мария Магдалина и Юдифь, Навуходоносор и Олоферн были непременным обиходом школьной премудрости. А теперь многое из этого арсенала имён собственных, легендарных событий и мифов стало созер-

шенно обветшалым и нуждающимся в толковых объяснениях. Однако издательства, выпуская классиков, мало заботятся о характере комментариев и о том, кому они адресованы. Возьмём, к примеру, недавно вышедшую в Гослитиздате всемирно известную книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера» тиражом в 450 тысяч экземпляров. Книгу получит в руки не менее миллиона читателей, но какой процент этих читателей знает, кто были первые дза апостола и почему отвег Тома, что это «Давид и Голиаф», вызывает такую реплику автора: «Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены»? Право, не мешало бы разъяснить путаницу, которая царит в голове Тома, иначе заряд Марка Твена не попадает в цель. А разве всем понятно, почему доктор Робинсон занимается гробокопательством: ведь ответственность за это падает на американский мракобесный режим, при котором запрещалось вскрывать трупы для изучения анатомии, и медикам приходилось обходить закон и вырывать трупы из могил на благо науки. В живом и увлекательном произведении Марка Твена есть много таких «непонятностей» для современного читателя, особенно молодёжи, а ведь в названной книге нет ни одной строчки примечаний. Между тем в прежних изданиях «Тома Сойера», даже не рассчитанных на миллионного читателя, сплошь и рядом давались толковые сноски, помогавшие до конца понимать мысль автора. Сказанное относится и к другим массовым изданиям Гослитиздата, в которых от-

сутствует всякий комментарий. Было время, когда издатели впадали в другую крайность: они считали нужным объяснять всё решительно, что иногда приводило к глубокомысленным утверждениям комментаторов, что «жилет — пиджак без пол и рукавов» и т. п.

Есть немало хороших, ценных комментариев, главным образом к собраниям сочинений русских и иностранных классиков. Но и здесь тип этих комментариев не установлен. Нередко в изданиях, рассчитанных на квалифицированного читателя, излишне объясняется, что Одиссей — герой поэмы «Одиссея» и к тому же сын Лаэрта, а Рафаэль — великий итальянский художник. Благодаря этому комментарий страшно «распухает». Необходимо подумать о том, чтобы всякие объяснения, предназначенные для определённого читателя, не загромождали его мысль и память, а давали только самое интересное, ценное и нужное, чтобы они прямо разъясняли данное место в тексте. Работа над комментариями — очень трудоёмкая, требующая больших и разносторонних знаний, внимания и опыта. Однако в литературных и издательских кругах эта работа считается «полупотченной»; многие крупные специалисты предпочитают передоверить составление комментариев малоквалифицированным авторам. Бывает и так, что комментарии, греша против правды, дезориентируют читателя. В трёхтомнике сочинений Т. Г. Шевченко на украинском языке (Держлітвидав, К., 1949) в письме Шевченко к Н. Я. Макарову (май 1860

года) говорится: «Посылаю вам экземпляр «Кобзаря» на всякий случай без надписи. Передайте его А. И. с моим благоговейным поклоном...» Это письмо служит ценнейшим свидетельством глубочайшего уважения Шевченко к А. И. Герцену, которому он и посылает новое издание своей книги в Брюссель через общего знакомого Макарова. Но комментатор указанного трёхтомника Е. П. Кирилук любезно разъясняет, что А. И.—Анастасия Ивановна Толстая, жена вице-президента Академии художеств. При этом комментатор игнорирует факт, что А. И. Толстая жила в то время в Петербурге, а Шевченко часто бывал в доме у Толстых и мог лично передать своего «Кобзаря», да и к тому же с надписью.

Такой нелепый комментарий уже определённо вреден, так как искажает крайне важный факт общения Шевченко с русскими революционными демократами. К сожалению, примеры недобросовестного и поверхностного комментирования можно без труда увеличить. Надо обратить серьёзное внимание на качество работы авторов примечаний и комментария. Неблагополучно обстоит дело и с технической стороной публикации комментария. Теперь, как правило, все объяснения выносятся в конец книги, а в тексте объясняемые слова отмечаются цифрами, звёздочками или совсем не обозначаются. Читателю всё время надо обращаться в конец книги, что его отрывает от чтения и разбивает мысль. Не лучше ли, особенно для массового читателя, все необходимые разъяс-

нения делать в виде сносок, а историко-литературные сведения давать по возможности во вступительной статье? Словом, надо всё сделать для того, чтобы читатель по достоинству ценил труд комментаторов и не считал, что «комментарии излишни».

**Александр ДЕЙЧ.**

★

### ФИЛЬМЫ-ПЕСНИ

Кинематографисты, поэты и композиторы не раз высказывали мнение о необходимости выпуска короткометражных фильмов-песен.

Но пока это не сделано. А жаль!

Ведь речь идёт о том, чтобы лучшие советские песни, полюбившиеся наро-

ду, распространить ещё шире через киноэкран. Пусть дойдут эти песни до самых дальних советских мест и до кинозрителей за нашими рубежами. Кто усомнится в большом патриотическом и культурно-воспитательном значении такого начинания?

Можно создать и игровые фильмы-«пятиминутки», «десятиминутки» для демонстрации их наряду с киножурналами, видовыми фильмами и киноочерками или фильмы, воссоздающие зрительные образы, вызванные песней. Думается, что для молодых людей, юношей и детей можно было бы таким образом конкретизировать их представления, возникающие при звучании таких, к примеру, песен, как «Тачанка», «Пар-

тизан Железняк», «По долинам и по взгорьям», «Каховка» и другие.

Хорошо получились бы в кино лучшие песни Великой Отечественной войны, прежде всего песни сюжетные.

Очень важен выпуск фильмов-песен о борьбе за мир во всём мире. Отличные песни на эту тему есть у всех народов нашей страны. Их можно было бы объединить для особого фильма-плаката.

Большой интерес вызвал бы и кинопоказ хороших лирических песен, таких, как «Одинокая гармонь», «И кто его знает», «Ленинские горы», «Далеко-далеко» и многие другие.

С наших экранов должны зазвучать фильмы-песни.

**Александр ЖАРОВ.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Ленин Владимир Ильич.** Краткая биография. Издание второе. 312 стр. Цена 5 р.  
**Воспоминания родных о В. И. Ленине.** 216 стр. Цена 2 р.

**Д. Т. Шепилов.** Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму. Доклад 22 апреля 1955 года на торжественном заседании в Москве, посвящённом 85-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 24 стр. Цена 30 к.

**Н. С. Хрущёв.** За дальнейшее увеличение производства хлопка. Речь на совещании работников хлопководства республик Средней Азии, Закавказья и Казахской ССР в Ташкенте 20 ноября 1954 года. 32 стр. Цена 40 к.

**Ц. С. Бобровская.** Страницы из революционного прошлого. 1903—1908. 68 стр. Цена 75 к.

**Б. Волин.** В. И. Ленин в Поволжье. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

**И. Латышев.** Внутренняя политика японского империализма накануне войны на Тихом океане. 232 стр. Цена 3 р. 80 к.

**На новых землях.** 196 стр. Цена 1 р. 65 к.

**М. Розенталь.** Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса. 424 стр. Цена 6 р. 50 к.

**В. Ф. Харьков.** Борьба японского народа за мир, национальную независимость и демократические права. 80 стр. Цена 95 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Абульгасан.** Бастионы дружбы. Перевод с азербайджанского. 374 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Г. Брянцев.** Это было в Праге. Роман. 716 стр. Цена 14 р. 20 к.

**О. Колычев.** Наша земля. Стихи. 168 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Г. Лезгинцев.** В таёжной стороне. Повесть. 468 стр. Цена 7 р. 85 к.

**Б. Леонидов.** Третья палата. Повесть. 198 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Л. Лиходеев.** Своими глазами. Стихи 108 стр. Цена 2 р. 15 к.

**И. Нехода.** Книга лирики. Перевод с украинского. 152 стр. Цена 2 р. 45 к.

**В. Панков.** Советская действительность в изображении М. Горького. 254 стр. Цена 6 р. 10 к.

**А. Перегулов.** В те далёкие годы. Роман 576 стр. Цена 9 р. 55 к.

**А. Пришелец.** Мой костёр. Стихи. 304 стр. Цена 4 р. 5 к.

**Р. Стийенский.** Очаг свободы. Роман. 608 стр. Цена 11 р. 35 к.

**Я. Хелемский.** Встречи друзей. Стихи. 180 стр. Цена 3 р. 10 к.

**М. Шевердин.** По волчьему следу. Роман. 758 стр. Цена 13 р. 15 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Андрей Голово.** Мать. Роман. Перевод с украинского. 228 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Давид Гурамишвили.** Давитиани. Перевод с грузинского. 288 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Мирза Ибрагимов.** Наступит день. Роман. Авторизованный перевод с азербайджанского. 460 стр. Цена 8 р. 75 к.

**Кан Ге Э.** Проблема человечества. Роман. Перевод с корейского. 255 стр. Цена 5 р. 70 к.

**Джек Лондон.** Сочинения в семи томах. Перевод с английского. Том 3. Рассказы. 1910—1916 гг.—Смок Беллью. 687 стр. Цена 11 р.

**Д. Н. Мамин-Сибиряк.** Собрание сочинений в восьми томах. Том 6. Золото. Роман.— Повести, рассказы, сказки. 1884—1904. 752 стр. Цена 12 р.

**А. Полежаев.** Сочинения. 471 стр. Цена 9 р.

**Поэзия Советской Татарии.** Сборник. 448 стр. Цена 10 р.

**Расул Рза.** Ленин. Поэма. Авторизованный перевод с азербайджанского. 224 стр. Цена 6 р. 15 к.

**Али Сабахаттин.** Дьявол внутри нас. Роман. Перевод с турецкого. 252 стр. Цена 5 р. 60 к.

**К. М. Симонов.** Стихи и поэмы. 1936—1954. 580 стр. Цена 13 р.

**Егише Чарени.** Три поэмы о Ленине. Перевод с армянского. 32 стр. Цена 55 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Вера Ветлина.** Крымские путешествия. 392 стр. Цена 11 р. 55 к.

**В поход за выращивание кукурузы.** Сборник. 128 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Н. Грибачёв, А. Кривицкий, С. Смирнов.** Десна-красавица. 231 стр. Цена 7 р. 40 к.

**Владимир Комиссаров.** Гвардни лейтенант. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 30 к.

**М. Новосёлов.** Иван Васильевич Бабушкин. 1873—1906. 368 стр. Цена 6 р. 75 к.

Василий Смирнов. Саша Чекалин. Повесть. 320 стр. Цена 7 р. 65 к.

Василий Фёдоров. Весёлые родники. Поэмы и стихи. 95 стр. Цена 2 р. 65 к.

Георгий Холопов. Грозный год. 344 стр. Цена 6 р. 55 к.

Иван Шухов. Покорители целины. Очерки. 120 стр. Цена 1 р. 80 к.

#### ДЕТГИЗ

Г. Губай. Дети колхоза «Батан». Сокращённый перевод с татарского. 280 стр. Цена 5 р. 40 к.

Л. Гуруни. Золотое утро. Повесть. 456 стр. Цена 7 р. 95 к.

А. Дорохов. Сто послушных рук. 160 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Кожевников. Такими гордится народ. 160 стр. Цена 4 р. 45 к.

В. Чаплина. Питомцы зоопарка. Рассказы. 248 стр. Цена 5 р. 45 к.

А. Шестак. Солнце над Румынией. 192 стр. Цена 4 р. 30 к.

А. Югов. Отважное сердце Историческая повесть. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Т. VII. Статьи и рецензии. 1843 г. Статьи о Пушкине. 1843—1846. 739 стр. Цена 20 р.

А. Ф. Иващенко. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции. 489 стр. Цена 14 р. 25 к.

Материалы по истории СССР. Выпуск 1. Документы по истории советского общества. 519 стр. Цена 19 р. 50 к.

Начало первой русской революции. Январь—март 1905 г. 959 стр. Цена 35 р. 25 к.

Очерки истории СССР. Конец XV—начало XVII вв. Период феодализма. 955 стр. Цена 51 р.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Г. Богоров. Океан. 140 стр. Цена 2 р. 20 к.

Г. А. Деборин. Великая победа советского народа. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. Сборник статей. 220 стр. Цена 4 р. 45 к.

#### ГЕОГРАФИЗ

А. Н. Грацианский. Природа Югославии. 241 стр. Цена 7 р. 60 к.

В. Т. Зайчиков, Н. М. Казакова, М. Н. Горбунова. Восточный Китай. Приморские провинции. 310 стр. Цена 10 р. 30 к.

В. В. Похлёбкин. Дания. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Краль. О контрреволюционной антисоветской политике Массарика и Бенеша. Перевод с чешского. 279 стр. Цена 5 р. 75 к.

Развитие народного хозяйства Чехословацкой республики. 1949—1953. Перевод с чешского. 157 стр. Цена 5 р. 90 к.

А. Уиннингтот, У. Бэрчетт. Отъявленное вероломство. Перевод с английского. 286 стр. Цена 5 р. 55 к.

#### «СОВЕТСКАЯ НАУКА»

А. В. Иванов. Промысловые волны беспозвоночные. 354 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Л. Шварцман, Д. И. Писарев и русское естествознание. 31 стр. Цена 65 к.



#### Поправка

В статье И. Абрамова «Пути развития советской техники», опубликованной в № 2 журнала, последнюю строку на странице 206 следует читать: «В пятой пятилетке вступают в строй крупные гидроэлектростанции суммарной мощностью свыше четырёх миллионов киловатт».

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,  
**М. К. Луконин**, **С. Б. Сутоцкий**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 26.IV-55 г.

А 02760. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 10 бум. л.—274 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 948.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.